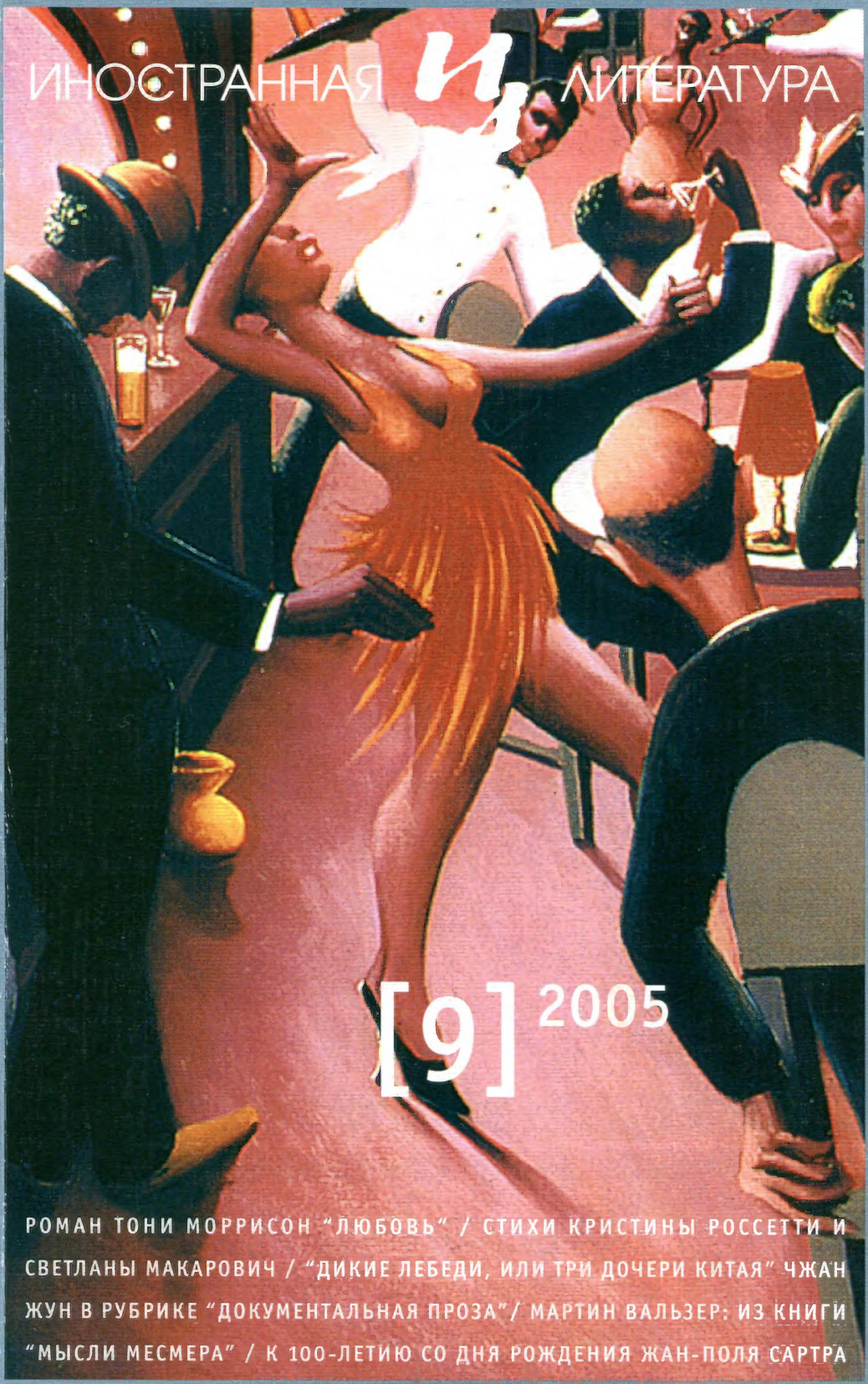
ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2005

РОМАН ТОНИ МОРРИСОН "ЛЮБОВЬ" / СТИХИ КРИСТИНЫ РОССЕТТИ И СВЕТЛАНЫ МАКАРОВИЧ / "ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, ИЛИ ТРИ ДОЧЕРИ КИТАЯ" ЧЖАН ЖУН В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА"/ МАРТИН ВАЛЬЗЕР: ИЗ КНИГИ "МЫСЛИ МЕСМЕРА" / К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЖАН-ПОЛЯ САРТРА

Основан в 1891 году

[9]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Тони Моррисон *Любовь*. Роман. Перевод с английского В. Бошняка

135 Светлана Макарович *"Не болит чужая боль"*. Стихи. Перевод со словенского и вступление Жанны Перковской

145 Мартин Вальзер *Из книги "Мысли Месмера"*. Перевод с немецкого Л. Бухова

Литературное наследие

152 Кристина Россетти *"Я отдала бы слово"*. Стихи. Перевод с английского и вступление Маши Лукашкиной

Документальная проза

165 Чжан Жун *Дикие лебеди, или Три дочери Китая*. Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Романа Шапиро

К 100-летию
со дня рождения
Жан-Поля Сартра

281 Жан-Поль Сартр *"Аминадав", или О фантастике, рассматриваемой как особый язык*. Перевод с французского и вступление С. Зенкина

Письма из-за рубежа

295 А. Ливергант *Золотой ключик, или Литинститут в Канаде*

БиблиофИЛ

298 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Авторы номера

301

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
*заведующая отделом критики и публицистики*

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

А. Я. Ливергант
*заместитель главного редактора*

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

# Тони Моррисон

*Нобелевская премия 1993 года*



# *Любовь*

Роман

*Перевод с английского* В. Бошняка

*ЖЕНЩИНЫ машут ногами, раздвигают их шире некуда, а мне что, я напеваю, мурлычу себе под нос. Мужчины распаляются, злеют, но понимают, что все это им на потребу. Это они, стало быть, отдыхают. Стоять сложа руки, когда все это у тебя на глазах, – удовольствие маленькое, но я не говорю ни слова. Я вообще по характеру спокойная. В детстве была девочкой вежливой, уважительной, а стала взрослой – тоже считалась скромной. Да и потом, позже, когда пришла зрелость, говорят, она не обделила меня толикой свойственной ей мудрости. В нынешнее время молчать считается как-то странно, люди моей расы в большинстве своем забыли прекрасное умение выразить многое немногими словами. Языки теперь болтаются абы как, без участия мозгов. Раньше-то я ведь умела – по-настоящему умела слово сказать, могла так сказануть, что матку затворяла, а то и нож останавливала. Нынче – нет, потому что еще с семидесятых, когда женщины начали прыгать верхом на стульях, когда по телевизору такие пляски пошли, что у баб всю промежность видать, а по журналам валом повалили голые задницы и раздвинутые ляжки (будто это все, что женщина собою представляет), – короче, еще тогда я замолчала напрочь. Прежде женщины не соглашались публично выворачиваться нараспашку, в те времена были все же какие-то тайны: что-то высказать, что-то попридержать. А теперь? Нет! Бесстыдство теперь в порядке вещей, вот я и помалкиваю, только мурлычу себе под нос. Под музыку, что я творю губами, у меня в голове пляшут слова. Люди заходят кто за порцией лангуста, кто просто время скоротать, и ни один не заметит – да и плевать им, если бы*

© Toni Morrison, 2003
© В. Бошняк. Перевод, 2005
Роман будет опубликован в издательстве “Иностранка”.

*заметили, – что говорят только они сами. А я как бы фон, вроде той музыки в кинофильме, которая звучит, когда впервые встречаются будущие влюбленные или когда в одиночестве бредет по пляжу муж, озабоченный тем, не видел ли кто, как он не устоял и совершил-таки непотребство. Мое мурлыканье людей ободряет – проясняет их мысли, вроде звуковой дорожки в том месте фильма, когда Милдред Пирс решает, спасая дочь, сесть вместо нее в тюрьму*[1]*. Подозреваю, что моя музыка, как ни тиха, но тоже оказывает похожее влияние. Действует как мелодия "Mood Indigo"*[2]*, когда она разносится над волнами – ведь под нее даже плывешь иначе. Она не заставит тебя нырнуть, но может отточить стиль, которым ты плывешь, или вдохнуть в тебя уверенность, будто ты хитер и удачлив. Так почему бы не заплыть подальше, а потом и еще дальше? Что тебе глубина? Она где-то там, внизу, и не имеет отношения к твоей крови, разогретой до самозабвенной храбрости клапанами кларнета и клавишами рояля. Я, конечно, не претендую на подобную силу. У меня ни диапазона, ни силы голоса, я – так, для себя напеваю, бубню, как старая женщина, которой стыдно за весь белый свет; она таким образом просто выражает свое несогласие с тем, куда катится уходящий век. В котором все познано и ничего не понято. Может, и во все времена так было, но меня это как-то не тревожило, пока лет тридцать назад не пришло в голову, что именно проститутки всегда задавали тон – именно они, и такой роли они удостаивались за откровенность. Ну, может, дело и не в откровенности, может, тут главное их жизненный успех. И все же, прыгают ли они верхом на стуле или пляшут полуголыми на экране телевизора, эти девицы из девяностых не так уж и отличаются от респектабельных женщин, что живут в наших краях. Края у нас очень крайние, дальше сплошной океан, живем в сырости и страхе Божием; а женское безрассудство у нас тут коренится глубже, чем трусики-стринги, спецодежда "садо-мазо" или кривлянье перед камерами. Но ни тогда, ни теперь, в приличных ли они трусах или без трусов вовсе, беспутным женщинам не утаить глупой наивности, этакой ребячливой настроенности на то, что принц – вот он, на подходе, уже спешит к ней. Особенно это относится к кривоносым хулиганкам-матерщинницам, да и к лощеным фифам с их двухместными машинами и бумажниками, набитыми наркотой. Даже тем синерожим, в чулках, свалившихся до щиколоток, кто шрамы выставляет напоказ будто медали за храбрость, и то не утаить балованного ребенка, девочки-обаяшки, что прячется где-то внутри, под ребрами или, еще говорят, под сердцем. Естественно, у каждой наготове печальный рассказ: слишком опекали, мало опекали, а то и про что-нибудь похуже. Какая-нибудь сказочка о злобном папаше и коварстве мужчин или о подлой мамочке и друзьях-подружках, которые без конца предавали. В каждой такой истории обязательно присутствует мерзавец, чудовище, из-за которого она стала злобной, не став храброй, и потому теперь ей проще впустить кого-то к себе между ног, чем в сердце, туда, где прячется сонно свернувшаяся девочка.*

*Подчас шрам так глубок, что жалостной сказочки уже мало. Тогда ту лавину безумия, что наваливается и погребает под собою женщин, заставляя их ненавидеть одна другую и губить своих детей, им остается объяснять единственно злом извне. В народе из бухты Дальней, откуда родом и я сама, поговаривали, бывало, о неких существах, их называли шлемоглавиками – мерзких гадах с больши-*

1. Имеется в виду фильм "Милдред Пирс" (1945), поставленный по роману Джеймса М. Кейна. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Композиция Дюка Эллингтона 1930 г. – первая из многих в его творчестве, – где он использовал приемы и интонации, характерные для блюза.

*ми шляпами на головах, – будто бы эти шлемоглавики выскакивают из океанских вод, нападают на беспутных женщин и едят непослушных детей. Когда моя мать сама была девчонкой, она их видела; в те времена люди грезили наяву. Потом шлемоглавики на какое-то время исчезли, но в сороковых годах появились вновь, причем их шляпы сделались еще больше, и на пляжах подчас стали происходить всякие странности: "Вон! Вон! Туда смотри! Говорили же, говорили тебе!" Вроде как с той женщиной, что кувыркалась на пляже с мужем соседки, а на следующий же день в цехе консервного завода с ней случился удар – так и упала с разделочным ножом в руке. А было ей от силы лет двадцать девять. Другая женщина – она жила в городке Силк и людей из бухты, что называется, в упор не видела, – так она как-то вечером спрятала в песке на участке свекра фонарик и документы на всю недвижимость, а их возьми да и выкопай ночью морская черепаха. Бедной невестке пришлось из кожи вон лезть, чтобы на слухи об этих украденных ею бумагах не сбежался весь Ку-клукс-клан. Когда опозорились эти две преступницы, никто никаких шлемоглавиков, конечно же, воочию не наблюдал, но я знала: без них не обошлось; знала я и как они выглядят – видела в тысяча девятьсот сорок втором году, когда компания дурашливых подростков заплыла за буйки и все утонули. Когда их затянуло под воду, над кучкой зевак, у которых от ужаса прямо ноги в песок вросли, и над зашедшейся в крике матерью одного из утопших собрались грозовые тучи и вдруг – раз! – и превратились в профили разинувших пасти чудищ в широкополых шляпах. Кое-кто слышал гром, но я могу поклясться, что до меня донеслось довольное урчанье. С того раза и на протяжении всех пятидесятых шлемоглавики непрестанно болтались за полосой прибоя, сновали туда-сюда вдоль пляжа, чтобы, как солнце закатится, чуть что, сразу выскочить (вечер – это уж сами знаете, время похоти, когда у черепах брачные игрища, а у нерадивых родителей слипаются глаза). Понятно, что и на демонов самый жор нападает к вечеру – чем они хуже нас? Но шлемоглавики любили поживиться и ночью тоже, особенно когда гостиница была полна приезжих, и те пьянели от танцевальной музыки, от соленого воздуха и их манило купание под звездами. То были дни, когда курорт Коузи с его пляжами был лучшим и самым известным местом отдыха для цветных на всем Восточном побережье. Все приезжали: Лил Грин, Фада Хайнз, Ти-Боунз Уокер, Джимми Лансфорд[1], оркестр "Дропс оф Джой"... Даже из такой дали как Мичиган или Нью-Йорк всем не терпелось сюда наведаться. Наш Сукер-бей кишмя кишел молоденькими лейтенантиками с их чуть ли не вчера обретенными женами, а также юными учительницами, агентами по недвижимости, врачами и бизнесменами. По всем пляжам дети то путешествовали, по-обезьяньи вцепившись в папину ногу, то зарывали дядю по шею в песок. Мужчины и женщины играли в крокет и сбивались в бейсбольные команды, постоянно запузыривая мяч не куда-нибудь, а в самые волны. Бабушки приглядывали за термосами – этакие были красные с белыми ручками – и выдавали еду из плетеных корзин, полных крабового салата, всяческой ветчины, жареных курочек, пирогов, сдобы, лимонного печенья – ах, просто слюнки текут! Как вдруг неожиданно в пятьдесят восьмом шлемоглавики внаглую нагрянули ясным солнечным утром. Какой-то кларнетист с невестой – бац! – оба утонули еще до завтрака. Автомобильную камеру, на которой они плавали, вынесло на берег всю в чешуе и будто клочьях бороды какой-то. Позволяла ли себе невеста в медовый месяц шашни на стороне, осталось неясным, об этом только шепотом шелестели, но ставшие известными факты были явно с душком. Чего-*

1. Известные афроамериканские джазовые музыканты.

*чего, а возможностей для этого у нее было хоть отбавляй. В гостинице Коузи одиноких бравых мужчин на квадратный фут приходилось больше, чем где-либо – кроме разве что Атланты да еще, может, Чикаго. Они приезжали сюда и за музыкой, но главным образом – чтобы потанцевать у моря и чтобы кругом красотки, красотки...*

*Когда утонувшую парочку разлучили, отправив в разные похоронные бюро, казалось, все – и женщины, у которых было на уме беспутство, и пустоголовые подростки – получили хороший урок, поняли: конец, амба, не уйдешь – быстрые, будто молния, шлемоглавики как выскочат, как выпрыгнут из прибоя! Сразу накажут заблудшую женщину, а если будет плохо себя вести ребенок, так его просто – ам, и нету. И лишь когда курорт зачах, они отстали, потеряли интерес – как карманники к очереди за бесплатным супом. Некоторые из тех, кто в укромных заливчиках все еще полощет в воде ловушки на крабов, возможно, что-то помнят, но на нет и суда нет – нет больше оркестров, нет проводящих здесь медовый месяц парочек, нет яхт, нет пикников и купальщиц, ничего нет; Сукер-бей теперь дивная свалка морского мусора, а поселок бухты Дальней вообще затопило, так что никому уже не интересно вспоминать о большущих шляпах и поблескивающей в бородах чешуе. Да ведь и с этих пор уже прошло лет сорок; старухи Коузи куда-то подевались, никому не показываются, и я боюсь за них, переживаю каждый божий день.*

*Кроме моей и нескольких еще рыбачьих хижин, весь поселок бухты Дальней ушел на двадцать футов под воду; однако все, что относится к курорту Коузи – отель и службы, – пока стоит. В том смысле, что пока не падает. Здания выглядят так, будто они отпрянули назад – попятились от ураганов и постоянно наносимого ветром песка. Диву даешься, что́ может близость океана сделать с пустыми постройками. Прямо на крыльце валяются чу́дные ракушки – лежат себе, словно опавшие лепестки или камеи с воскресного платья, и можно только гадать, как они сюда попали, что занесло их так далеко от уреза воды. Песок, что горками скопился в углах веранды и между стоек балюстрады, здесь белее, чем на пляже, и мельче, словно дважды просеянная мука. Вокруг беседки выросла по пояс наперстянка, а розы, которые нашу почву всегда терпеть не могли, тут и вовсе от ярости с ума сошли и, выпустив больше шипов, чем бывает у ежевики, неделями багровеют темными, как свекла, цветами. Дощатая обшивка стен отеля кажется посеребренной, облупившаяся краска выглядит будто потеки на плохо вымытом чайном сервизе. Массивные двойные двери заперты на висячий замок. Никто до сих пор не разбил их зеркальных стекол. Да и кто пойдет на это, когда в них видишь собственное лицо и всю картину у тебя за спиной: море жесткой, острой как нож травы, которой заросло все, что выше искрящегося пляжа, небо, как нарисованное на заднике декорации, и океан, – а уж ему-то плевать на все, лишь бы до тебя добраться. И как бы ни было бесприютно вовне, стоит глянуть внутрь, отель сразу пообещает тебе восторг и счастье в компании друзей. И музыку. Вот шевельнулся ставень – его петля звучит кратким кашлем трубы; и тут же дрогнет струна рояля, будто кто тронул клавишу – коротко, в четверть такта, чтобы ты знал: это не просто ветер, и лучше не ломиться в пустые холлы и запертые номера.*

*Погоды у нас в основном благостные и удивительный свет. Утро, и без того бледное, на глазах вянет, линяет, выгорает, переходя в белый полдень, а ближе к закату цвета становятся жестокими, дикими, способными вызвать испуг. Нефритовые и сапфировые волны бьются друг с дружкой, взметывая вверх столько пены, что не ровен час промокнут простыни в номерах. Вечернее небо ведет себя так, словно оно от другой планеты – где нет никаких правил, где солнце*

*при желании может стать лиловым, как слива, а облака вдруг возьмут да и раскраснеются, будто маков цвет. На берегу песок просто сахарный – во всяком случае, так хотелось думать испанцам, когда они его впервые увидели. "Сукра" назвали они залив, и это слово местные белые потом навсегда переиначили в Сукер. Вот вам и Сукер-бей.*

*Нашей погодой можно было наслаждаться бесконечно – понятное дело, кроме тех дней, когда пляж и гостиницу накрывало вонью консервного завода. Тогда отдыхающие обнаруживали то, с чем жителям, к примеру, бухты Дальней приходилось мириться день за днем, и только тут начинали догадываться, зачем мистер Коузи выселил свою семью из отеля, построив для нее на Монархстрит огромный дом. Хотя вообще-то запах рыбы мы не воспринимали как нечто ужасное. Воняли болота, воняли сортиры, и рыбная вонь лишь привносила в запахи разнообразие. Но в шестидесятых она стала проблемой. Женщины нового поколения жаловались – дескать, кошмар: платья провоняли, аппетита нет, да и всю лирику отшибает напрочь! Примерно в это время человечество решило, что нос у нас предназначен для запахов исключительно парфюмерных. Помню, как Вайда пыталась утихомирить подружку одного известного певца, которая принялась скандалить: мол, бифштекс у нее будто бы отдает мидиями. Меня это задело: еще чего, на кухне я ошибок не совершаю! Позже мистер Коузи стал всем рассказывать, что это и погубило бизнес – белые якобы надули его, дав ему скупить пляжи по соседству, потому что из-за близости консервного завода они все равно не могли приносить прибыль. Рыбная вонь обратила курорт в посмешище. Но я-то знаю: вонь, постоянно висевшая над бухтой Дальней, накрывала Сукер-бей лишь раз или два в месяц, а с декабря по апрель ее вовсе не было – в это время клети крабовых ловушек оставались пустыми, завод стоял. Нет-нет. Мне не важно, что он кому говорил, но бизнес пустило по́ ветру другое. Свобода, сказала Мэй. Выбиваясь из сил, она пыталась сохранить хотя бы что-то, когда ее свекор уже опустил руки; она была убеждена, что их бизнес, всю ее семью погубили гражданские права. Имея в виду, что цветные стали с бо́льшим удовольствием жечь города, чем танцевать на морских курортах. Это вообще было на нее очень похоже – на эту Мэй: и отродясь-то дура, так стала еще и чокнутая. Дело в том, что тот, кто в сороковые хвастал, что в отпуске побывал у Коузи, в шестидесятые уже горделиво ронял что-то про "Хилтоны" и "Хайатты", про круиз на Багамы и отдых в Очо-Риосе[1]. Истина в том, что ни ракообразные, ни попытки добиться расовой интеграции не виноваты. И даже не напоминайте мне про ту девицу с ее бифштексом, что отдавал мидиями: если посетителям иначе не послушать Уилсона Пикетта или Нелли Латчер, они где хочешь, хоть рядом с сортиром сядут. Это раз, а кроме того, поди еще отличи один запашок от другого, когда жара, толпа, тебя прижали носом к партнеру, а играют при этом тему "Harbor Lights"! Так что пока Мэй деньденьской ругала Мартина Лютера Кинга, виня его во всех своих бедах, гостиница по-прежнему делала деньги, хотя клиентура, надо признать, увы, стала другая. Говорю вам: не того она ругала! Мистер Коузи, между прочим, умнейший человек был. Он здесь стольким цветным помог, скольким правительство и за сорок лет не поможет. Потом – это он, что ли, заколотил дверь отеля и продал семьдесят пять акров застройщику из "Иквэл Опотьюнити", чтобы они сляпали там тридцать два дома, да так похабно, что моя лачуга и то в сто раз лучше! У меня хоть полы из струганных вручную дубовых плах, не то что их сосно-*

1. Курортный город на Ямайке.

*вые обрезные доски, и пусть у меня, может, стропила не совсем по линеечке, но уж зато выдержаны и высушены как положено.*

*Прежде чем поселок в бухте Дальней стал океанским дном по вине урагана с женским именем Агнес, там побывала засуха, хотя и совершенно безымянная. Продажа земель только что завершилась, участки едва обозначили и нанесли на схему, как вдруг у тамошних хозяек из кранов потекла грязь. Высохшие колодцы и приобретшая мерзкий солоноватый вкус вода так их напугали, что они тут же забыли про вид на море и кинулись в жилищный департамент за двухпроцентными ипотечными ссудами. Конечно, дождевая вода им не хороша уже! Беды и напасти, безработица, засухи вслед за ураганами (болота аж коркой зарастают, да такой сухой, что исчезают москиты) – я во всем этом видела просто жизнь как она есть. Потом построили муниципальные дома, и кварталу дали название Морская набережная, которой там как раз и не было. Жилье начали продавать ветеранам Вьетнама и белым пенсионерам, но когда на Морскую набережную устремились безработные, у которых одни талоны на кормежку, зашевелилась и церковь, и программы разные пошли для поддержки обойденных и обездоленных. В какой-то мере выручала помощь федерального центра, пока наконец не началось благоустройство. Ну, тут уж работы всем хватило. А теперь здесь полно тех, кому в контору или в больничную лабораторию надо каждый день ездить за двадцать две мили на север. Снуют себе туда-сюда от своих миленьких, дешевеньких домиков к гипермаркетам с киноцентрами и обратно – и так счастливы, мысли никогда ни одной тревожной, разве станут они вспоминать о каких-то шлемоглавиках! Да и сама-то я о них не вспоминала, пока не начала скучать по старухам Коузи: как они там, думаю, уж не пришибли ли в конце концов друг дружку. Кому кроме меня до них есть дело – живы они там или померли: скажем, одна на крыльце, блюет, в руке сжимая нож, которым перерезала горло другой, накормившей ее отравой... или одну разбил паралич, когда она застрелила другую и теперь лежит, не в силах шевельнуться, помирает с голоду прямо под дверцей холодильника? Ведь много дней пройдет, пока найдут. Разве что явится тот мальчишка, внук Сандлера – ему они раз в неделю платят. Может, и впрямь мне лучше оторваться на часок от телевизора.*

*Раньше одна все проезжала тут на ржавом старом "олдсмобиле" – то в банк, а то и к нам сюда, котлетку имени маркиза Солсбери откушать. Много лет уже ни за чем иным они из дому не выходят. Во всяком случае, с тех пор как одна вернулась с уол-мартовским[1] полиэтиленовым мешком в руке, и даже издали, уже по одному тому, как горбились ее плечи, видно было, что ей пришлось несладко. Серебристо-белых дорогих чемоданов, с которыми она уходила, нигде поблизости видно не было. Я думала, вторая захлопнет перед ее носом дверь, но нет. Пожалуй, они обе друг дружки стоят и знают это. Скряги каких поискать, к тому же не чересчур приветливые, они если и привлекают к себе взгляды, то сплошь косые. А им-то что – живут себе в доме мистера Коузи как у Христа за пазухой, только с ними теперь поселилась еще и девчонка в короткой юбке, – нет, ей-богу, такой короткой, что были бы видны трусы, кабы они на ней были, – и с тех пор как она там с ними поселилась, я стала о них беспокоиться: ну как бросят меня тут одну, а у меня что осталось-то – твердить все ту же бабушкину сказку? И ведь знаю, что чушь, нелепая выдумка – сбрендивших девок пугать да кое-как одергивать непослушливых детей. Но уж чем богаты, тем и рады, как говорится. Что-то надо придумать другое. Получше. Что-*

1. Сеть розничной торговли "Уол-Март", основанная Сэмюэлем Муром Уолтоном (1918–1992).

*нибудь о том, как бесстыжая баба губит приличного мужика. А под это можно будет и помурлыкать.*



## 1

# Портрет

Когда ее шаги раздались на улицах Силка, температуру задавал пронизывающий ветер и солнцу при всем желании не поднять было столбики наружных термометров более чем на пару градусов выше точки таянья льда. На берегу скопились битые плитчатые ледышки, а в городе, на Монарх-стрит, дома, казалось, хныкали, сбившись кучкой, будто щенки. Лед скользко поблескивал и исчезал в тенях вечерних сумерек, отчего тротуары, по которым она вышагивала, становились предательскими даже под уверенной ногой, а она прихрамывала, так что и подавно. Ветер вынуждал ее наклонять голову и щуриться, но, как человек пришлый, на каждый дом она смотрела во все глаза — искала адрес, который совпадет с тем, что значился в объявлении: Монарх-стрит, дом 1. Наконец свернула на дорожку к гаражу, у ворот которого Сандлер Гиббонс срывал полоску пластика с запечатанного пакета с антиобледенителем. Ему запомнилось, как при ее приближении постукивали каблуки по бетону, как она отставила ногу, остановившись, и дынного цвета солнце у нее за спиной, и свет из гаража ей в лицо. Запомнилось, что было приятно слушать ее голос, когда она спросила, как пройти к дому, где жили женщины, которых он знал всю жизнь.

— Вы уверены? — переспросил он, когда она назвала адрес.

Она вынула из кармана куртки клочок бумаги, проверила, держа голыми пальцами, без перчаток, потом кивнула.

Сандлер Гиббонс прошелся взглядом по ее ногам и решил, что колени и бедра у нее, наверное, задубели от холода, на который обрекает их мини-юбка. Затем он подивился высоте каблуков и покрою короткой кожаной курточки. Сперва он подумал было, что она в шапке — большой, пушистой, греющей уши и шею. Потом понял, что это волосы — их сдувало ветром вперед, и они отвлекали, не давая толком разглядеть лицо. Она показалась ему милой девочкой, изящной, даже воспитанной, но сбившейся с пути.

— Старухи Коузи, — сказал он. — Это их дом вы ищете. Он давно уже не номер первый, но им ведь не объяснишь. Им вообще ничего не объяснишь. Он теперь 1410-й или 1401-й, что ли.

Настала ее очередь удивленно переспрашивать.

— Да говорю же вам! — вдруг впал он в раздражение: это, должно быть, ветер, подумал он, поэтому слезы из глаз. — Вон прямо туда идите. Мимо него не пройдешь, разве что если нарочно. Огромный, что твой кафедральный собор.

Она поблагодарила, но когда он в спину ей вдруг выкрикнул: "Или что твоя тюрьма", не обернулась.

Что заставило его произнести это, Сандлер Гиббонс и сам не понял. Думал вроде бы о жене. Как она сошла с автобуса и, осторожно ступая по скользкой мостовой, бредет к их подъездной дорожке. Тут она уже не упадет — с гарантией! — потому что благодаря способности предвидеть и

здравому смыслу, которым он всегда славился, ее муж оказался подготовлен даже к морозам, хотя вообще-то их в здешних местах отродясь не бывало. Однако само собой выскочившее слово "тюрьма" означало, что в действительности мысли были о внуке Роумене — ему пора было вернуться из школы часа полтора назад. В свои четырнадцать мальчишка уже вытянулся, даже чересчур, стал крепок, и какая-то ленца в нем завелась, да и скрытность, из-за которой дед каждый раз мял в ладони большой палец, когда видел внука. Они с Вайдой Гиббонс оба были внуку рады, с готовностью взяли его на воспитание, когда их дочь и зять уехали на заработки. Мать записалась в армию, отец в торговый флот. У них, по сути, выбора-то не было: когда закрылся консервный завод, работа осталась разве что на подхвате — женщинам мыть полы в Гавани, мужчинам собирать на дороге мусор. "Папка с мамкой не у дел — вот сынок и налетел!" — говаривала когда-то мать Сандлера. Конечно, хорошо, что у мальца постоянная работа дворника, но одним этим не удержишь Роумена в узде и вне поля зрения полицейских, которые прямо землю копытом роют, при том что рыть им тут особо негде. Собственное детство Сандлера прошло под знаком страха перед "виджилантами" — были тогда такие довольно злобные и шустрые белые, что объединялись в "гражданские комитеты бдительности" (Vigilance comittees), но теперь их энтузиазм полностью передался молодчикам в темно-синей форме. Полицейский участок, в котором тридцать лет назад был один шериф и одна секретарша, теперь для поддержания порядка располагал четырьмя машинами патрульной службы и восемью сержантами с портативными рациями.

Он как раз вытирал с ладоней соляную пыль, когда одновременно появились оба его подопечных — одна тут же вскричала: "У-ууу! Здорово ты придумал! Я уж боялась, шею себе сверну!" Другой возмутился: "Бабушка, ну что ты несешь такое? Я же всю дорогу от автобуса вел тебя за руку!"

— Конечно, конечно, деточка, — улыбнулась Вайда Гиббонс, надеясь лишить этим мужа всякой почвы для критики в адрес внука.

За обедом, едва от печеной картошки на душе потеплело, Сандлер вернулся к разговору, начатому еще когда они втроем накрывали на стол.

— Так кого, говоришь, она искала? — нахмурившись, спросила Вайда. Свинина подогретая — она подогретая и есть: жесткой стала, что ты будешь делать!

— Я понял, что старух Коузи. Адрес у нее был ихний. То есть, в смысле, старый адрес. Когда тут кроме них и не жил никто.

— Он у ней что — на бумажке записан был? — Жена положила себе к мясу ложечку майонеза.

— Ну, ты странная женщина: можно подумать, я туда к ней заглядывал. Видел только, что она сверяется с бумажкой. Маленький такой клочочек, и вроде как из газеты вырван.

— Конечно, ты больше под юбку заглянуть пытался! Там прорва информации.

Роумен прикрыл ладонью рот и сощурился.

— Вайда, не унижай меня в присутствии ребенка!

— Так ведь первое, что ты сообщил о ней, было про юбку. Я только отметила, что тебя больше всего в ней вдохновило.

— Я сказал, что юбка была короткая, ну и что?

— А насколько короткая? — подмигнув Роумену, не унималась Вайда.

— Баушка, они сейчас носят их вот аж посюда. — Рука Роумена исчезла под столом.

— Аж посюда — это покуда? — Вайда склонилась вбок.

— Слушайте, оба вы, хватит, а? А то вообще больше ничего не скажу.

— Может, она его какая-нибудь... внучато-внебрачная? — спросила Вайда.

— Может. Только не думаю, не похожа. Если рост отбросить, похожа на этих — помнишь, у Кристины родичей был целый выводок — прямо вылитая. — Тут Сандлер потянулся к баночке с перцами халапеньо.

— Так ведь из того выводка никого ж не осталось.

— А вдруг у ней была дочь, о которой ты не знаешь! — Внук сказал это невзначай, для поддержания разговора, но опять они посмотрели на него так, словно у него ширинка не застегнута, вот вечно они!..

— Язык попридержал бы, — проронил дед.

— А чего сразу язык-то, чего я сказал, дедуль? Мне-то откуда знать?

— Вот не знаешь, так и помалкивай!

— Шш-ч...

— А, ты еще шипеть на меня будешь?!

— Сандлер, охолони. Можешь ты его хоть на минуту в покое оставить? — вступилась за внука Вайда.

Сандлер открыл было рот объясниться, но, подумав, решил откусить лучше немного перчика.

— В любом случае, чем меньше я слышу о девках Коузи, тем лучше я себя чувствую.

— Девках? — Роумен слегка опешил.

— Ну, про себя я их так именую. Чванливые, наглые мерзавки, которые смотрят на людей как на грязь под ногами, а причины у них для этого те же, что у кастрюли, что смотрит сверху вниз на сковороду.

— А со мной они запросто, — возразил Роумен. — Во всяком случае которая тощенькая.

— Ага, — покосилась на него Вайда, — и ты веришь. Она платит, и это все, что тебе от них требуется — от той ли, от другой...

Роумен даже поперхнулся. Вот, теперь и она на него насела.

— А что ж вы тогда гоните меня работать на них, если они такие гадины?

— Гоним? — схватил себя за большой палец Сандлер.

— Ну, вы же сами меня туда послали.

— Вайда, щенка пора топить. Он добра от дерьма не отличает.

— Мы тебя к ним послали, потому что тебе нужна какая-нибудь работа, Роумен. Ты у нас четыре месяца и только теперь стал на человека похож, слегка хоть отъелся.

Роумену захотелось от обсуждения его недостатков перейти к слабостям нанимательниц, и он сказал:

— Мисс Кристина, кстати, каждый раз угощает меня чем-нибудь вкусненьким.

— Я не хочу, чтобы ты брал от нее еду.

— Вайда!

— Не хочу.

— Но это же только слухи.

— Слухи, но что-то больно уж правдоподобные. Да и той, другой, я доверять тоже не стала бы. Знаю, на что она способна.

— Вайда!

— А ты забыл? — У Вайды удивленно взлетели брови.

— Так ведь точно никто ж не знает.

— О чем? — заинтересовался Роумен.

— Да была когда-то дребедень одна... — пробормотал дед.

Вайда встала, подошла к холодильнику.

— Кто-то убил его, и это так же точно, как то, что я сижу здесь. У мужика все было в полном порядке.

На десерт ели консервированные дольки ананаса. Вайда разложила их по вазочкам, поставила перед каждым. Сандлер равнодушно откинулся на стуле. Вайда поймала его взгляд, но решила не реагировать. Она работала; он получал смешную пенсию бывшего охранника. Он, конечно, содержал дом в образцовом порядке, но от нее все-таки ожидалось, что, придя с работы, она каждый день должна готовить полноценный обед.

— У какого мужика? — спросил Роумен.

— У Билла Коузи, — отозвался Сандлер. — Когда-то он владел гостиницей и кучей всякой другой недвижимости, включая землю под этим домом.

Вайда покачала головой.

— Я видела его в день смерти. За завтраком здоров, к полднику помер.

— Ему следовало бы за многое ответить, Вайда.

— Вот за него кто-то и ответил: "Не будет полдника".

— Ты-то, конечно, готова старому распутнику все простить.

— Он нам платил хорошие деньги, Сандлер, и обучал, кстати. Вещам, которые я никогда в жизни бы не узнала, если бы мы по-прежнему ютились на болоте в лачуге на сваях. Ты знаешь, на что похожи были руки моей матери. Благодаря Биллу Коузи никому из нас не пришлось до конца жизни так надрываться.

— Не так уж было и плохо. Иногда я по тем временам даже скучаю.

— Скучаешь? По чему? По помойным бакам? По змеям?

— По зелени, по деревьям.

— Да ладно! — Вайда бросила ложку в вазочку с точно рассчитанной силой, чтобы она как следует звякнула.

— А помнишь летние грозы? — не обратив внимания, продолжил Сандлер. — Воздух какой перед...

— Подымайся, Роумен. — Вайда похлопала мальчишку по плечу. — Поможешь вымыть посуду.

— Я не доел еще, баушк.

— Нет, ты доел. Вставай.

Сердито фырча сквозь зубы, Роумен отодвинул стул и распрямился. Попытался поймать взгляд деда, но у того глаза смотрели куда-то внутрь.

— Луны, такой, как там, я нигде не видел, — еле слышно продолжал Сандлер. — От нее тянуло... — Но тут он справился с собой. — Впрочем, я не говорю, что хотел бы туда вернуться.

— Еще не хватало. — Вайда забрякала тарелками. — Чтобы туда вернуться, теперь нужны были бы жабры.

— А миссис Коузи говорит, там был настоящий рай. — Роумен пальцами полез за кубиком ананаса.

Вайда шлепнула его по руке.

— Там было гетто, плантация. А Билл Коузи нас оттуда вытащил.

— Да, вытащил — тех, кто ему был нужен, — нагнув голову, куда-то себе в плечо проговорил Сандлер.

— Ну, ты сказал, я слышала. Не пойму только, что бы это могло значить?

— Да ничего, Вайда. Ты говоришь святой, значит святой.

— С тобой невозможно спорить.

Роумен накапал в горячую воду жидкого мыла. В теплом растворе приятно было болтать руками, хотя ссадины на костяшках пальцев щипало. Склонившись над раковиной, он почувствовал, что бок тоже побаливает, но от разговоров бабки с дедом о старинных днях делалось както получше. Не так страшно.

Мимо нужного дома она действительно не прошла, да и в остальном мужик с пакетом соли тоже не соврал: дом был красивый, солидный и своей остроконечной крышей над третьим этажом действительно напоминал собор. Ступени крыльца, из-за льда покатые и блестящие, взывали к осторожности: перил не было. Однако девушка, процокав каблуками по дорожке, без колебаний взлетела к дверям. Не обнаружив звонка, хотела постучать, но заметила справа от крыльца полоску света и замешкалась. Вновь спустилась по округлившимся ступеням, прошла вдоль кривой, образованной наполовину врытыми в землю бордюрными камнями, и, обнаружив освещенную из окна чугунную лестницу, зашагала по ней вниз. Вот окно, ага, за ним и дверь. И ветер здесь не достает. Внутри — то, что одни назвали бы меблировкой в сельском стиле, другие скопищем хлама в подвале. Помедлила у окна; удалось разглядеть старую женщину за столом. На столе перед ней были дуршлаг, газеты и салатница. Девушка постучала в стекло и, когда женщина посмотрела вверх, улыбнулась. Та очень медленно поднялась и неожиданно резво засеменила к двери.

— Тебе чего? — Дверь отворилась ровно настолько, чтобы глянуть в щель. Одним серым глазом.

— Насчет работы, — сказала девушка. Изнутри потянуло чем-то связанным с морем.

— Тогда ты не по адресу, — сказала старуха, и дверь захлопнулась.

Девушка стала биться в дверь, стуча и выкрикивая:

— Там сказано Монарх-стрит! Ведь это дом один, дом один же!

Ответа не было, и тогда она опять перешла к окну, заскреблась в него, постукивая ногтями левой руки, а правой прижала к освещенному стеклу газетную вырезку.

Неотрывно глядя на девушку оловянными с досады глазами, старуха тоже пошла к окну, потом перевела взгляд с лица девчонки, с ее застывшей умоляющей улыбки на клочок газеты. Подслеповато сощурилась, снова поглядела девушке в глаза и снова на бумажку. Махнув рукой в сторону двери, исчезла из поля зрения, но перед тем ее глаза полыхнули ужасом; вспыхнули и погасли.

Впустив девушку, старуха не поздоровалась и сесть не предложила. Взяла бумажку с объявлением, прочитала. Карандашный кружок отделял несколько строк объявления о найме от тех, что ниже и выше.

Компаньонку и секретаршу ищет бизнес-леди зрелых лет. Работа легкая, но требует ответственности и доверия. Обращаться к миссис Г. Коузи.

Силк, Монарх-стрит, дом 1.

— Откуда это? — Тон женщины обвинял.

— Из газеты.

— Это я вижу. Но из какой? "Харбор джорнал"?

— Да, мэм.

— От какого числа?

— Сегодняшнего.

Та отдала объявление.

— Что ж. Наверное, будет лучше, если ты сядешь. — Металл в ее голосе стал помягче.

— Это вы миссис Г. Коузи?

Она смерила девицу взглядом.

— Если бы это была я, без тебя знала бы про твою бумажку, как думаешь?

Девчоночий смешок прозвучал кратким звоном колокольчика.

— Ой, в самом деле. Простите.

Обе уже сидели, женщина вернулась к прерванной работе: лущила креветок. Двенадцать перстней, по два на трех пальцах каждой руки, ловили свет потолочной люстры и, казалось, возвышали ее труд — из нудной тягомотины превращали в таинство.

— У тебя имя есть?

— Да, мэм. Джуниор[1]. — Старуха подняла взгляд.

— Это папаша твой выдумал?

— Да, мэм.

— Господи помилуй.

— Хотите, можете звать меня Жуни́.

— М-мм, не хочу. А второго имени папаша тебе не дал? Какая-нибудь Гуль, Голь? Мась, Пусь?

— Вивьенн, — отозвалась девушка. — С двойным "н" на конце.

— Еще и с двойным "н"? Ты здешняя?

— Ну, как бы да. Но я надолго уезжала.

— Никогда не слыхивала, чтобы в наших местах кто-нибудь назвал девочку Вивьенн — хоть с двойным "н" на конце, хоть с одинарным.

— Ну так они-то не местные. Они приехамши.

— И откуда же?

Кожаная куртка звучно скрипнула, оттого что Джуниор Вивьенн передернула плечиком и потянулась через стол к посудине с креветками.

— Откуда-то с севера. Мэм, можно я помогу вам с этим делом? Я классно готовлю.

— Нельзя. — Старуха воздвигла ладонь как преграду. — Ты мне ритм собьешь.

Над закипающим на плите чайником поднялся плюмаж пара. Позади стола стена была заставлена посудными шкафами, дверцы которых, потускневшие и захватанные, будто сами были сделаны из теста. Молчание

1. Junior (*англ.*) — младший; обычно присоединяется к имени старшего сына, если того зовут так же, как отца; в качестве имени "Джуниор" звучит странно.

двух женщин растянулось, стало напряженным. Джуниор Вивьенн заерзала, кожаным скрипом перекрывая щелканье креветочной шелухи.

– А что, мэм, здесь миссис Г. Коузи или как?

– Здесь.

– Ну, так можно я поговорю с ней? Пожалуйста.

– Дай-ка я взгляну еще разик. – Прежде чем взять объявление, старуха вытерла руки посудным полотенцем. – "...Требует ответственности и доверия", надо же! – Ее губы сжались. – Без этого никак. Естественно, – неодобрительно проговорила она и выпустила зажатую между большим и указательным пальцами бумажку, будто пеленку бросила в бак с водой. Снова вытерла руки и взялась за очередную креветку. Как раз у ногтя в вынутом из панциря полупрозрачном тельце виднелась темная нежная жилка. Ювелирно точным движением она жилку выдернула.

– Пожалуйста, разрешите мне наконец увидеться с миссис Коузи! – Джуниор оперлась подбородком на ладошку, постаравшись улыбкой смягчить настырность.

– Да чего там. Конечно. По той лестнице наверх, потом по другой лестнице. На самый-самый верх. – Она указала на лестничный марш, который начинался из ниши за плитой. Джуниор встала.

– А как меня зовут, тебе, похоже, все равно?

Джуниор обернулась, осклабившись в деланном смущении.

– Ах да, мэм. Простите. Конечно нет. Я так волнуюсь!

– Кристина меня зовут. Если получишь свою ответственную работу, тебе это имя придется запомнить.

– Да-да, конечно, я надеюсь. Рада познакомиться, Кристина. В самом деле. Второй этаж, вы сказали? – На ступенях ее сапожки зазвучали глухо.

Кристина отвернулась. Ей следовало сказать: "Нет, третий", но она не сказала. Тупо уставилась на огонек под кастрюлей с рисом. Собрав креветочные шейки, бросила их в кипящую воду и прибавила огонь. Вернулась к столу, выбрала головку чеснока и, по обыкновению любуясь своими богато украшенными руками, отломила от нее два зубка. Их она мелко нарезала и оставила на разделочной доске. Старый холодильник "филко" заворчал, затрясся. Прежде чем нагнуться к его нижней камере, Кристина успокоительно хлопнула холодильник ладонью, думая: что? что гадина затевает? Должно быть, испугалась, а может, и каверзу какую-то готовит. Если так, то какую? И как она ухитрилась без моего ведома поместить в газете объявление? Кристина взяла серебряную супницу и от того же сервиза стеклянную бульонную чашку; вздохнула: в углублениях двух "К", переплетенных вензелем на крышке, серебро почернело, и ничем эту черноту не возьмешь. Подобно всем в доме вензелям и завитушкам, эта двойная буква "К", когда-то нарядная, стала едва различимой. Даже на черенке ложки, что лежит в кармане фартука, инициалы, когда-то навеки сцепленные, превратились в тени на серебре. То была маленькая кофейная ложечка, но Кристина старалась любую пищу есть только ею – просто чтобы быть ближе к той девочке, которой эту ложечку подарили, не отпускать от себя образы, что она навевает. Выковыривая ею ломтики персика из домашнего мороженого, она вся отдавалась удовольствию, и пусть ветер обдает десерт песчинками, еще лучше – ближе к тем стародавним пикникам на природе.

Кристина намылила и прополоскала стеклянную чашку, тогда как ее мысли то и дело перескакивали от пляжных пикников к соусу "Силвер дип", от напоенного солью ветра к посудному ершику, а потом и к собеседованию, которое в данный момент происходит в спальне самой подлой старухи на всем здешнем побережье. Сидя лицом к лицу с этой лживой мисс Джуниор — ха! "можете называть меня Жуни?"! — Кристина представила себе рядом с фигурой девицы свою собственную, какой она была сорок, нет, даже тридцать лет назад, и соревнование это выиграла. У девицы неплохие ноги (ну, то есть колени и бедра, ибо это все, что позволяли видеть высокие сапоги) и узкая, выпуклая попка — нынче положено по таким с ума сходить. Но это же ничто в сравнении с Кристиной образца тысяча девятьсот сорок седьмого года, когда пляж был кремового цвета и весь блестел, а ласковым прибоем набегали волны такой синевы, что приходилось отворачиваться, чтобы не слишком больно било в глаза. Правда, звоночек зависти все же брякал — при каждом взгляде на лицо девки. И на лицо, и на шевелюру, буйную как у амазонки. Сперва Кристина на нее так и уставилась, потом, насторожившись, сосредоточилась на газетной вырезке. Не будь этой вырезки, никогда бы она не впустила в дом незнакомую девицу, у которой нет при себе даже сумочки. Впрочем, ковыряние в креветках давало времени достаточно, чтобы с нее тоже шкурку слущить, узнать — нет, не кто она, да это и не важно, но что собой представляет. Рутинная возня служила и предлогом не подымать глаз, потому что — ох, не нравилось Кристине, как ёкает ее сердце, едва она встретится с девушкой взглядом. В лице у той было что-то от недокормленного ребенка, и это раздражало. Такого ребенка хочется то ли крепко обнять, то ли отшлепать, дескать, ну что ты тут несчастненьким прикидываешься!

Кристина размешала чеснок в масле, растаявшем на сковородке, и поставила на огонь — это будет заправка для соуса. Посыпала мукой, которая сразу забронзовела, затем разбавила смесь бульоном и размешала до однородности.

"Я классно готовлю", — сказала девица и тут же давай тянуться немытыми руками к миске креветок. Сказала, что она "как бы" местная, сидя при этом перед самой известной во всем округе женщиной, которая знает каждого чернокожего, кто родился на пространстве от Ниггерхед-рока до Сукер-бея и от бухты Дальней до Силка; да и в Гавани она знает их добрую половину — ведь именно там провела она (может без толку, может с толком) весьма порядочный шмат жизни. Джуниор Вивьенн. Да еще с двойным "н". Звучит как строчка в списке сборной по бейсболу. Что ж сердце так заскакало? Она что, боялась, что та вдруг вспыхнет, загорится узнаванием, — потому и тон взяла такой резкий, острый как бритва, чтобы отсечь всякую подобную возможность? А черточки, предательски выдающие беглянку, бездомную, ей так знакомы, даже чересчур: мыло с автовокзала, чужие бутерброды, немытые волосы, платье, в котором та явно спала не раздеваясь, отсутствие сумочки, зубы, чищенные жевательной резинкой вместо надлежащей пасты. Ну, и зачем такая Гиде? Да и как могло попасть в газету объявление, когда не работает телефон? Должно быть, это внук Гиббонса помог ей — выполнив после работы во дворе еще и это поручение в ряду прочих. Как бы то ни было, но это ловушка, которую затеяла расставить наша змея на каблу-

чищах. Какой-то новый способ ограбить ее, лишить будущего, как лишила уже нормального прошлого.

— Вот черт подери! — прошептала Кристина.

Расставила пальцы пошире, готовясь получить знакомый радостный укольчик, "приход" как от наркотика, какой всегда давали бриллианты. Потом уложила в горшочек рис, креветки, соус — слой за слоем, тщательно, искусно. Горшочек будет еще теплым, когда она по-быстрому сообразит легкий салатик. И, наконец, разложив все на серебряном подносе, поднимется с ним по лестнице тремя маршами выше, где мерзейшая на побережье гадина — есть надежда — всем этим подавится.



— О господи, снег. — Она сказала это не оборачиваясь, только чуть пошире раздернула портьеру. — Идите сюда, посмотрите. Ну и нашел же где выпасть!

Джуниор приблизилась к маленькой старушке у окна и стала всматриваться сквозь стекло, пытаясь разглядеть снежинки, но ничего похожего не увидела. На вид старушке было минимум под семьдесят, радикальную черноту волос подчеркивала широкая полоска седины у корней, но аромат от нее шел как от маленькой девочки: мятные конфеты, травяная зелень, мех.

— Правда же странно? У нас никогда снега не было. Никогда.

— Мне тут человек один попался, так он соль разбрасывал, — сказала Джуниор. — Раз он ею обзавелся, стало быть, собирался использовать.

Женщина испуганно обернулась. Девица назвала ее лгуньей чуть ли не прежде чем поздороваться.

— Вы наниматься пришли? — Ее глаза обежали лицо Джуниор, потом обследовали одежду. Что соискательница места уже в доме, она поняла давно, задолго до того, как услышала шаги, которые не были шагами ни Кристины, ни Роумена. Затем она быстро встала у окна — чтобы занять выигрышную позицию, произвести впечатление. Однако явно зря беспокоилась. Девица была совсем не то, что она ожидала. И дело не только в спутанных немытых волосах и жалкой одежонке, а какая-то еще и нагловатая развязность проглядывала в ее манере держаться. В масть этому ее "Нну-дык!", которым она отозвалась на последний вопрос Гиды.

— Это надо понимать в смысле "да"?

Подобно подвальной кухне, комната была освещена сверх меры, как зал универмага. Все бра и настольные лампы — сколько их? шесть? десять? — были включены, все сияли, соперничая с люстрой. Взбираясь по неосвещенной лестнице, Джуниор краем глаза поглядывала, но что в доме есть, могла лишь предполагать. Ей пришло в голову, что обе старухи живут здесь будто каждая в своем луче прожектора и один луч отделен от другого (или соединен с ним) пространством темноты. Открыто разглядывая предметы, расставленные на столах, тумбочках, полках, она ждала, когда маленькая старушка прервет молчание.

— Меня зовут Гида Коузи. А тебя?

— Джуниор. Но вы можете называть меня Жуни́.

— Ой-ёй-ёй, — произнесла Гида и захлопала ресницами, как будто кто-то пролил красное вино на светлый бархат: конечно же, "ах, простите" и, конечно же, "ничего страшного", но пятно тем не менее попробуй выведи! Старуха отошла от окна, ступая скованно: комната так забита

мебелью, не разбежишься. Шезлонг, два туалетных столика, два стола письменных, два пристенных, несколько кресел с высокими спинками и низкими сиденьями. Всё под стать кровати, над которой в ярком свете отблескивал портрет мужчины. В конце концов Гида уселась за небольшой секретер. Положив руки на колени, она кивком предложила девушке сесть в кресло напротив.

— Расскажи, где ты работала прежде. В объявлении не говорилось, что понадобится резюма, но мне ведь надо знать, кто ты и что ты.

Джуниор улыбнулась. "Резюма" вместо "резюме" — прикольно!

— Мне уже восемнадцать, и я стану делать все, что вы захотите. Все-все!

— Это слышать приятно, но как насчет рекомендаций? Рекомендации у тебя есть? От кого-нибудь, с кем я могу связаться.

— Н-неа.

— Ну, и откуда же я могу знать, насколько ты честна? Скромна?

— Да если даже в письме так и напишут, из него разве поймешь? А я говорю — да. Возьмите меня и увидите. А не подойду... — Джуниор повернула руки ладонями вверх.

Гида коснулась уголков губ пальцами руки, маленькой, как у ребенка, и вывернутой словно крыло. Поразмыслив о своей мгновенной неприязни к странноватой Джуниор (эка ведь — Жуни?!), что горбилась напротив, она решила, что в этой грубоватой прямоте если и не сплошь одно притворство, то доля его все же очень весома. Она и еще кое-что обдумала: такая вот на все готовность — надолго ли? А ведь ей как раз и нужен кто-то, кого можно склонить действительно к чему угодно, кто испытал уже и холод, и голод. Ситуация в доме становится нешуточной. Кристина, с ее блядской душонкой, красуется тут бриллиантами перед их истинной хозяйкой, да к тому же и общие деньги растрачивает — транжирит на какого-то адвоката.

— Позволь я объясню тебе, в чем заключается работа. В чем то есть твои обязанности.

— Валяйте! — Джуниор, всем телом извиваясь, под писк и визг дешевой кожи высвободила руки из рукавов куртки. Бросилось в глаза, что оказавшаяся под нею черная футболка грудям поддержки не дает, однако бросилось в глаза и то, что поддержка им не нужна: соски торчат высоко, воинственно. Когда ворот куртки опал, взгляд сразу привлекли волосы. Штопор на штопоре, спираль на спирали, посредине пробор, и черным янтарем блестят под электричеством.

— Я пишу книгу, — сказала Гида, и улыбка удовлетворения осветила ее лицо. Все ее настроение, все отношение к беседе после упоминания о книге изменились. — Она будет о моей семье. О Коузи. Семье моего мужа.

Джуниор глянула на портрет.

— Это он?

— Это он. Нарисован по фотографии, так что сходство точнейшее. Тот, кого ты там видишь, удивительный человек. — Гида вздохнула. — Все материалы у меня есть, но кое-что надо проверить, ты ж понимаешь. Даты, написание фамилий. Все гостиничные книги имеются — кроме, пожалуй, двух или трех, — но у некоторых гостей... не у многих, но у некоторых... почерк был хуже некуда. К сожалению. Разумеется, большинство из тех, с кем я была знакома, писали очень разборчиво — нас так учили, понятное дело. Но вот беда: Папа не разрешал им печат-

ными буквами давать расшифровку рядом с подписью, как принято сейчас. Ему это было без надобности: уж он-то всех знал, кто хоть что-то из себя представляет — мог прочитать любую подпись, пусть даже крест поставят, хотя, конечно, к нам такие, кто вместо подписи ставит крест, не ездили. У наших гостей — ну, то есть у большинства из них — прекрасные почерка были, потому что, между нами говоря, чтоб к нам попасть, мало было быть грамотным, надо было занимать какое-то положение, чего-то достигнуть, понимаешь? Ведь шиш чего в жизни достигнешь по большому счету, если почерк плохой. Это только теперь все как курица лапой пишут.



Гида усмехнулась, потом продолжила:

— Прости. Ты небось все в толк не возьмешь, о чем речь. Я просто чуток разволновалась, завелась от всех этих воспоминаний. — Большими пальцами она поправила отвороты халата, вновь возвращаясь к собеседованию с соискательницей места. — Однако неплохо бы, чтоб ты и о себе рассказала — Джуниор, правильно? Да?

— Н-ну, типа...

— Ну вот, Джуниор. Ты сказала, что сумеешь делать все, что мне нужно, значит ты, видимо, работала где-то прежде. Если ты собираешься помогать мне с моей книгой, мне надо знать...

— Слушайте, миссис Коузи. Я умею читать, умею писать, о'кей? Соображалки у меня на это хватает. Хотите, чтоб я писала, чтоб я печатала? — сделаем! Чтоб причесала вас? — в лучшем виде! Чтобы помыла в ванне? — так помою же! Мне нужна работа и нужна крыша над головой. Я ж говорю, миссис Коузи, я то, что надо! Что доктор прописал, как грится! — Тут она подмигнула, и ошарашенная Гида на миг почувствовала нечто вроде горечи, как если у тебя что-то прямо из рук выхватят или будто волна вдруг унесет приглянувшуюся ракушку. Должно быть, этот острый тоскливый промельк и побудил ее, склонившись к самому лицу девушки, прошептать:

— Ты секреты хранить умеешь? — спросила и затаила дыхание.

— Да лучше всех ваших прежних знакомых!

Гида перевела дух.

— Потому что в этом деле все очень личное. Никто не должен ни о чем — ни сном, ни духом. Вообще никто.

— В смысле Кристина?

— В смысле вообще никто.

— Берусь!

— Ты даже не спросила, сколько будешь получать.

— Я берусь за эту работу. А платить вы будете. Мне прям сейчас начинать или завтра с утра?

Медленные, ритмичные шаги забухали по коридору.

— С утра, — проговорила Гида. Она произнесла это шепотом, и вышло серьезней некуда, будто выстрел.

Явилась Кристина с подносом. Вошла, не постучав, не проронив ни слова. Поставила поднос на секретер, у которого лицом к лицу сидели Гида и Джуниор, и вышла, ни разу ни с кем даже взглядом не встретившись.

Гида приоткрыла горшочек и вновь накрыла крышкой.

— Вот ведь! Лишь бы досадить мне, — пробормотала она.

— А на вид так очень даже аппетитно, — сказала Джуниор.

— Ну и ешь тогда, — приказала Гида.

Насадив на вилку, Джуниор отправила в рот креветку и застонала:

— М-ммм, вкуснотища! Она и впрямь знает, как надо готовить!

— Да уж — знает: ведь не ем я всяких этих раков.



На втором этаже навязчивых излишеств, какие бросались в глаза на третьем, не было в помине. Был коридор, две скромные спальни, что-то вроде кабинета и ванная размером во всю ту комнату над ней, где Джуниор потратила два часа, пытаясь разгадать, что на уме у женщины, ставшей теперь ее начальством.

Процесс не должен был длиться так долго, но вкус горячей домашней пищи отвлек ее, и она обо всем забыла. И только доедая вторую порцию, начала всматриваться, пытаясь разглядеть одно лицо под другим, и вслушиваться, доискиваясь истинного смысла разговора. А то, что Гида вытворяла вилкой, в конце концов вовсе отвлекло Джуниор от еды. Прижав вилку большим пальцем к ладони, та накалывала лист бостонского салата, возила им в масле и уксусе, протыкала оливки, поднимала зубцами колечки лука и все это опять роняла, снова и снова, не переставая болтать и ничего не съедая. Впрочем, Джуниор больше смотрела на руки хозяйки, чем на то, что она ими делала, — маленькие и гладкие, как у ребенка (только в одном месте шрам), они слегка выворачивались ладонями в разные стороны на манер плавников. Это что, артрит? — гадала Джуниор. Потому старуха и не может сама писать книгу? Или еще какая-нибудь старческая болезнь? С памятью, во всяком случае, у ней явно не все в порядке. Еще перед тем как принесли еду, Джуниор отметила про себя перемену в тональности речи Гиды, этакий медленный дрейф из класса в девчоночью раздевалку, из кабинета директора в бар по соседству.

Лежа под одеялом в кровати, которую отвела ей Гида, Джуниор зевала, борясь со сном, — пыталась осмыслить впечатления, собрать их воедино. Понимала, что ела слишком много и слишком быстро, как в первые дни в исправительном приюте, когда еще не научилась растягивать еду наподольше. И так же как тогда, уже опять хотела есть. Аппетиту не удивлялась: он всегда присутствовал, но чтоб такой неукротимый — надо же! Перед тем, наблюдая за сероглазой Кристиной, когда та чистила креветок, она держала его в узде, быстренько сообразив, что к прислуге, которая занимается готовкой с двенадцатью бриллиантовыми перстнями на пальцах, полезно (или даже необходимо) немножко подлизаться, подъехать исподволь. Не укрылась от нее и некоторая злобность Кристины, но и это она приняла с ходу, считая таковую положенной по рангу любой надзирательнице, естественной ее защитой; это не страшно, думала она, немного лести, немного нахальства, и я найду в ее броне трещину. Однако, до отвала набив живот нормальной человеческой едой после того, как много дней приходилось промышлять мелким воровством и отбросами, она позволила себе расслабиться, втянуть внутрь все усики и щупальца. Да черт с ней с осторожностью, когда такое счастье — засыпать одной, в тишине, да и в полной темноте наконец-то! Что в помещении, где спишь, просто нет унитаза, уже само по себе потрясно! Жутко хотелось помыться, но не тут-то было, с этим вышел пока что облом. Когда Гида сказала, что погода чересчур скверная, автовокзал далеко и почему бы тебе не переночевать

здесь, а за пожитками и завтра, мол, съездить не поздно, — Джуниор размечталась: вот, посижу сейчас, отмокну в настоящей ванне, наедине с ароматным куском цветного мыла. Однако вода, с шумом бежавшая по трубам наверху, до ванной второго этажа не добегала, так что из крана послышался лишь тихий вздох. Стало быть, тут Гида ее опередила, ну что ж, зато Джуниор вволю порылась в чулане — нашла там солдатскую каску, банку томатной пасты, два твердокаменных мешка сахара, крем для рук Джергенса, банку сардин, бутылку из-под молока, по горлышко набитую ключами, и два запертых чемодана. Попыталась было взломать их, однако плюнула, стала раздеваться. Помассировала себе ступни и залезла под одеяло, так и не расставшись с многодневной грязью.



Сон опустился так быстро, что, уже смутно себя сознавая, она ощутила нечто новое и незнакомое — чувство безопасности. Будто слабенький такой выдох облегчения, как в первые дни в исправиловке, когда ночь каждый раз пугала: в засаде таились вставшие на хвосты змеи с коротенькими ножками; высовывали тонкие зеленые язычки, поджидали, чтобы она свалилась с дерева. Бывало, что под нижними ветвями угадывался некто, стоявший от змей поодаль, и хотя ей не видно было, кто это, само его присутствие несло спасение. В результате с кошмарами она справилась, научилась ими даже управлять — все пыталась заглянуть в лицо незнакомцу. Это ей так и не удалось, и в конце концов он исчез вместе со стоящими на хвостах гадами. И вот ведь надо же — теперь она спит и во сне чувствует, что ее поискам, кажется, пришел конец. Портрет, висящий над кроватью новой начальницы, — вот чем они завершились. Красавец мужчина с подбородком плакатного десантника и ободряющей улыбкой, которая сулит многие лета горячей вкусной еды; к тому же его добрые глаза обещают, что он будет крепко держать девчонку на плече, пока она не натырит яблок сколько душе угодно, и даже с самых верхушечных веток.

## 2

## *Друг*

Вайда установила гладильную доску. Поди разбери, почему всем кроме "базисного персонала" — то есть врачей, медсестер и лаборантов — больница отказала вдруг в услугах прачечной? И теперь уборщики, работники пищеблока и те же санитарки вроде нее должны сами себе стирать и гладить халаты, отчего в памяти оживает консервный завод, с которого когда-то ее вызволил Билл Коузи, — тогда впервые в жизни она получила работу, на которую положено ходить при чулках. В больнице она тоже, конечно, в чулках ходит, но в белых и толстых. Не то что те тоненькие, женственно-прозрачные, какие приветствовались за стойкой портье в отеле Коузи. Да и платье требовалось приличное, в котором и в церковь прийти не стыдно. А за то, чтобы у нее были еще два платья на смену, заплатил сам Билл Коузи: вдруг постояльцы примут единственное платье за униформу! Вайда думала, что он вычтет стоимость этих платьев у нее из жалованья, но он не стал. Любил делать так, чтобы его любили. "Гулять так гулять", — говаривал он. Эти слова стали девизом его курорта, его напутствием каждому гостю: "Гулять так гу-

лять, но чтоб по эту сторону закона!" Воспоминания Вайды о работе в гостинице мешались в ее сознании с картинками из детства, когда в отель по многу раз приезжали люди с громкими именами. Даже перебои в обслуживании, связанные с несчастными случаями, когда кто-нибудь тонул в море, не отбивали у них охоты остаться сверх изначально оговоренного срока или вернуться на следующий год. Всё ради лучезарной улыбки хозяина и всеохватного гостеприимства, которым славился отель Билла Коузи. Его заразительный смех, всегда распахнутые объятия, его инстинктивное понимание нужд постояльцев сглаживали любые шероховатости, любые ляпы — от достигшей чужих ушей ссоры в среде персонала или каприза чьей-нибудь властной жены (тупой как пробка) до мелкой кражи и сломавшегося вентилятора на потолке. Шарм Билла Коузи и кухня Л. побеждали. Когда фонарики, окружавшие танцплощадку, качались под океанским бризом; когда оркестр воодушевлялся и появлялись дамы, одетые в муар и шифон и благоухающие жасмином; когда мужчины в элегантных туфлях и полотняных брюках с безупречными стрелками пододвигали женщинам стулья, чтобы сесть с ними колено к колену за крошечный столик, — разве могла что-нибудь испортить отсутствующая солонка или фраза, произнесенная поблизости чересчур резким тоном! Пары кружились, качались под звездами, не возражая и против долгих перерывов между танцами, потому что от океанского бриза они делались еще добрее и счастливее, чем от выпитых коктейлей. Ближе к ночи, когда те, кого не прельщала игра в вист, обменивались хвастливыми россказнями в баре, а разгоряченные парочки норовили раствориться во тьме, на площадке оставались лишь самые заядлые из танцоров и начинали откалывать коленца лихие до непристойности, причем музыканты каждому такому па придумывали свое ядреное название — специально, чтобы управлять толпой, одновременно смущая и подстегивая публику.

Вайда считала себя женщиной практичной — хотя и добросердечной, но здравой, настроенной всегда скорей скептически, чем мечтательно. Однако те девять лет, которые она отсчитывала от рождения единственной дочери Долли в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, вспоминались теперь как сплошное безоблачное счастье. Уже тогда развал шел полным ходом, но это скрывали, пока была еще возможность скрывать. Потом Билл Коузи умер, а его девки у гроба передрались. И в тот раз, как всегда, порядок восстановила Л. Склонилась к ним, два слова сквозь зубы процедила, и они замерли. Кристина закрыла складной нож; Гида подобрала свой дурацкий чепчик и перешла на другой край могилы. Так они и стояли — одна справа, другая слева от гроба, причем их лица, такие же разные, как мед и сажа, казались одинаковыми. Тут ненависть и там тоже. Она выжигает в человеке все, так что, каковы бы ни были ее причины, твое лицо становится точь-в-точь как у твоего врага. После этого уже никто не сомневался, что вся гульба кончена и бизнес столь же мертв, как его хозяин. Если и были у Гиды поползновения возродить его в том виде, как было, когда Вайда маленькой девчушкой жила в бухте Дальней, она сразу поняла их обреченность, потому что Л. в тот же день уволилась. Из кучи цветов на гробе она вынула одну лилию и больше не переступала порог гостиницы, даже вещи не пришла забрать — не взяла ни поварской колпак, ни белые парусиновые тапки. Прямо от кладбища в воскресных туфлях на двух-

дюймовых каблуках прошла пешком до бухты Дальней, отодрала доску, которой была заколочена дверь материной лачуги, и поселилась там. Гида старалась, делала, что было в ее силах, чтобы держать бизнес на плаву, но шестнадцатилетний диск-жокей с одной магнитофонной декой привлекал лишь местную молодежь. Ради него разве поедут в этакую даль люди с настоящими деньгами, разве станут бронировать номера, чтобы слушать всякие тру-ля-ля, которых и дома навалом; очень-то надо им толкаться на открытой площадке среди тинэйджеров, заплетающимися ногами изображающих танцы, известные им разве что понаслышке. Особенно если кухня, сервис и постельное белье — лишь пародия на ту изысканность и элегантность, каковая теперешним постояльцам не нужна, да и непонятна.



Вайда возила носиком утюга вокруг пуговиц, вновь и вновь поражаясь мужскому скудоумию: какой кретин сделал эту прорезь в металле, неужто полагал, что его придумка в самом деле окажется полезной! Должно быть, тот самый дурень, который решил, что стограммовый утюжок лучше, чем тяжелый чугунный. Легче — это конечно, но он не способен выгладить то, что действительно в этом нуждается, гладит разве что мелочи, на которых морщины можно распрямлять и мокрой рукой: футболки, полотенца, дешевые наволочки. Но не такой вот толстый полотняный халат с двенадцатью пуговицами, четырьмя карманами и воротником, скроенным не абы как, это вам не просто ленивое продолжение лацканов. Значит, вот чего она в жизни сподобилась!

Что с работой в больнице ей крупно повезло, Вайда, конечно, понимала. Хотя платили не очень щедро, но именно эти деньги помогли ей наполнить дом звуками тихих услужливых звоночков: вот звякнул таймер микроволновки, а это завершилась программа стирки, включился отжим; а ну-ка, ну-ка, хозяева, осмотритесь: что-то у вас дымится, да и трубка телефона не повешена. Зажигаются и гаснут огонечки, когда варится кофе, поджариваются тосты, греется утюг. Но это крупное везенье не мешало ей тосковать по той, другой, давнишней работе, которая приносила меньше денег, но больше удовлетворения. Курорт Коузи был не просто центром развлечений — то был своего рода дискуссионный клуб и тихое прибежище, где люди могли поспорить о насилии в городах, об очередном убийстве в Миссисипи, могли поговорить о том, что́ в связи с этим они намерены делать помимо того, чтобы смотреть на подрастающих детей со скорбной обреченностью. Тут начинала играть музыка, вселяя веру, что у них получится — они сумеют все превозмочь и выжить.

Отдать ей должное, держалась крепко — Гида эта самая. Должное, но не сверх того: помогла называется! — вместо денег дала одной пострадавшей от наводнения семье рваные полотенца и простыни. Коузи был еще жив, до физической его кончины оставалось несколько лет, он лишь состарился и потерял интерес ко всему кроме Ната "Кинга" Коула[1] и "Дикой индейки"[2], а Гида уже всюду совала нос, командовала, прямо как Скарлетт О'Хара[3], только при этом дура набитая: советов не слушала, верных людей увольняла, брала на работу черт-те кого и

1. Нат "Кинг" Коул (1917—1965) — один из лучших джазовых пианистов эпохи свинга.
2. Сорт виски.
3. Героиня романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

собачилась с Мэй, которая и впрямь грозила перекрыть ей кислород. При живом Коузи она не могла уволить невестку, почти что падчерицу хозяина, хоть он и пропадал чуть не каждый день на рыбалке, а по ночам чаще всего веселился с подвыпившими приятелями. Ведь вот же до чего дошло: солидный, импозантный мужчина сдал все позиции враждующим друг с дружкой женщинам и позволил развалить все, что он построил. И как только им это удалось! — поражалась Вайда. Как могли они напустить полный отель шпаны, нечисть какую-то, голь перекатную, поденщиков с консервного завода, а эта публика и полицию на хвосте приволокла. Вначале Вайду подмывало возложить вину за теперешнюю, потрепанную клиентуру на Мэй с ее клептоманией, да и поденщики эти черт знает что только не тащили домой из отеля, но Мэй и раньше подворовывала, еще когда Вайда у них не работала, задолго до того, как уровень гостей опустился. Надо сказать, что она столкнулась с этой привычкой Мэй в первый же день, едва приступив к работе. Как раз регистрировалась приехавшая из Огайо семья из четырех человек. Вайда открыла книгу прибытия. Дата, фамилия и номер комнаты аккуратно впечатаны слева; справа место для подписи постояльца. Вайда протянула руку к мраморной подставке под авторучку, но ручки ни там, ни где-либо поблизости не оказалось. В недоумении она все перерыла в столе. Как раз когда она протягивала главе семейства карандаш, появилась Гида.

— Что-о? Почему вы даете ему карандаш?

— Ручка куда-то делась, мэм.

— Не может такого быть. Поищите как следует.

— Да я уж искала. Ее нет.

— А в сумочке у себя смотрели?

— Простите?

— Может, в карман сунули? — Гида обернулась к гостям, изобразив смиренную улыбку: мол, вот как ей тяжко приходится с таким никчемным персоналом.

Вайде тогда было семнадцать, и она только что стала матерью. Ответственный пост, на который назначил ее мистер Коузи, дал ей возможность высоко и — как она надеялась — навсегда выпрыгнуть из чана с рыбой, у которого она до этого работала и где по-прежнему трудился ее муж. Под грозным взглядом Гиды у нее пересохло во рту и затряслись руки. По логике вещей за этим должны были последовать слезы и унижение стало бы окончательным, но тут пришло спасение — в пышном белом колпаке шеф-повара. Спасительница держала злополучную авторучку в руке; сунула в подставку и, повернувшись к Гиде, говорит:

— Мэй. И вы прекрасно это знаете.

Так Вайда поняла, что учиться предстоит не только тому, как регистрировать гостей и обращаться с деньгами. Как на любой работе, здесь действовали давно сложившиеся союзы, происходили загадочные сражения, одерживались жалкие победы. Мистер Коузи выступал в роли короля; Л., женщина в колпаке шеф-повара, была первосвященником. Остальные — Гида, Вайда, Мэй, официанты, горничные, — как положено придворным, тесня друг друга, бились за улыбку сюзерена.

Тогда, за ужином, она сама себе удивилась, что вытащила на свет божий старую сплетню о смерти Билла Коузи. Ненавидя сплетни, особенно порождаемые завистью, она предпочитала верить тому, что сказал

врач: от разрыва сердца. Или тому, что говорила Л.: из-за разбитого сердца. Или даже тому, что повторяла Мэй: за школьным автобусом добегался. Но уж точно не измышлениям его врагов: будто бы его доконал застарелый сифилис. Сандлер говорил, что восемьдесят один год — это и так достаточно, Билл Коузи просто устал. Но Вайда видела муть в воде, которую он выпил, и то, что он схватился не за грудь, где лопается сердце, а за живот. Однако тех, кто мог желать его смерти — Кристины, чьего-нибудь мужа или же какой-то группировки белых бизнесменов, — нигде в обозримой близости не наблюдалось. Только она, Л. да один из официантов. Боже, что началось! Умирающее тело дергается, бьется, борется с вечным сном. Тут подоспела Гида, подняла визг, как безумная. А Мэй сбежала в дом на Монарх-стрит и заперлась в чулане. Если бы не Л., образцовый для всего округа гражданин так и не удостоился бы приличных похорон, положенных по его заслугам. Даже когда Кристина и Гида под конец все почти что изгадили, Л. встала между этими двумя брызжущими ядом гадюками и заставила их прикусить языки. Так, по всем сведениям, они до сих пор и держат их за зубами, поглядывая друг на дружку: умри ты сегодня, а я завтра. Значит, девица, которой Сандлер показал дорогу к их дому, скорее всего, родственница Гиды. Только у Гиды на этом свете еще осталась какая-то родня. Их было пять братьев и три сестры, стало быть, число племянниц может достигать полусотни. Но, может, она и вообще никакая не родственница. Вайда решила попросить Роумена, чтобы он выяснил — как-нибудь невзначай; да только сумеет ли он... или наоборот, чтобы спросил напрямую; впрочем, от него трудно ждать надежной информации. Последние дни он стал такой невнимательный, такой нервный. Самое бы время кому-то из родителей приехать в отпуск, пока мальчик не впутался в историю, которую будет не расхлебать ни ей, ни Сандлеру. От дворницкой работы руки такими не становятся. Бил кого-то. Бил со всей силы.

Освещенный единственной в подвале лампочкой, Сандлер ухмыльнулся. Ну у Вайды и глаз! Ведь он действительно, что называется, запал на ножки той девицы. Мороз, ветер, а никаких пупырышков — кожа гладкая, тугая, и чувствуется, что под ней упругие мышцы. Ноги танцовщицы — длинные, так в пляс и просятся, готовые взлететь, раскинуться, охватить тебя и обвиться вокруг. Как не стыдно! — подумал он, а ухмылка тем временем превратилась в непрошеный смешок: дедуле за пятьдесят, он верный и любящий муж, а вот ведь — сидит, хихикает в подвале у панели управления бойлером и рад по уши, что возбудился при виде юных ляжек. Он понимал, что грубоватый тон, которым он говорил с ней, возник как реакция на те ощущения, что она в нем пробудила, и был уверен, что она тоже это поняла.

Вперив взгляд в круговую шкалу, Сандлер прикидывал, что получится, если выставить термостат на 26 градусов — может, тогда как раз и будет в спальне 21, потому что при теперешней установке на 21 там получается 16. Задумавшись над этой проблемой, он вздохнул: похоже, отопитель, необходимость в котором при таком климате возникает нечасто, и сам сбит с толку, точь-в-точь как его хозяин. И вновь вздохнул, вспомнив плохо одетую девушку — впрочем, она, видимо, с севера, тогда ей минус один, конечно, нипочем. Что могло ей понадобиться от женщин Коузи — что от одной, что от другой, — невозможно себе пред-

ставить. Надо попросить Роумена — пусть выяснит. Нет, лучше не надо. Их отношения, в которые и так уже вкралась трещинка недоверия, приобретут совсем неправильный характер, если дед будет заставлять внука шпионить. Роумен должен быть прям и честен, а не подглядывать за тетками по этакой фривольной просьбе. Так можно вовсе подорвать свой авторитет. Но если парнишка что-нибудь вдруг расскажет — замечательно, послушаем, сам ли он что узнает или услышит от других. Об этих Коузи всегда ходили сплетни. В здешней части побережья — в Сукер-бее, бухте Дальней, в Силке — их выкрутасы еще пятьдесят лет назад давали пищу для кривотолков. Вполне естественно, ведь происходящее на курорте всех касалось. Именно Коузи давал работу — всю, кроме ловли и расфасовки крабов, — и привлекал приезжих, которым так сладостно было потом годами перемывать кости. А иначе так и варились бы тут в собственном соку. Уход богатых туристов по всем ударил, словно волна, которая вдруг схлынула, оставив на песке пустые ракушки и письмена водорослей — обрывочные и непонятные.

В их доме на Морской набережной холодные места имеются, ох, имеются — такие места, куда тепло, кажется, никогда не доберется. И жаркие места имеются. А вся его возня с термостатами, подогревом топливного бака и заменой фильтров так и осталась тем, чем была, — пустым мельтешением. Подобно всем жилищам их соседей, дом строили левой пяткой: двухдюймовые гвозди вместо четырехдюймовых, крыша облегченная, с гарантией вместо тридцати лет всего на десять, одинарные стекла, дребезжащие в рамах. С каждым годом все с большей нежностью Сандлер вспоминал поселок, из которого они с женой сюда переехали. Она была права, конечно: вовремя они тогда унесли ноги из бухты Дальней — как раз перед засухой, после которой все и затопило; жена ни разу даже не оглянулась. А он вот оглядывался чуть не каждый день, особенно как сейчас, поздним вечером в жуткий холод — как тосковал он по огню в пузатой, словно утюг, раскаленной печке, когда там потрескивает и пахнет дымком древесного плавника, чистого и сухого! Где увидишь такую красоту, какую творила луна, заливая хижины светом? А здесь, в благоустроенном и одобренном начальством квартале, слишком залитом слишком искусственным светом, луна ничего не значит. Планировщики полагали, что темнокожие наделают меньше темных делишек, если им наставить в два раза больше фонарей. Только в богатых кварталах да в сельской местности можно доверить людям бродить в потемках. Так что даже полная сияющая луна здесь казалась Сандлеру далеким фонариком крысолова, а не покровом чеканного золота, который она когда-то простирала над ним и над ветхой лачугой, где он жил мальчишкой, простирала, чтобы он еще раз посмотрел старый фокус, состоящий в том, чтобы тебе казалось, будто этот мир — весь твой. И так ему хотелось вновь заиметь собственную луну — чтобы она тянулась толстым золотым пальцем: вот он бежит, бежит по волнам и показывает точно на тебя. Не важно, в каком месте ты стоишь на пляже, он никогда не промахнется. Неколебимый и так же лично к тебе обращенный, как материнская ласка, этот золотой палец всегда находил его, именно его. И хотя Сандлер понимал, что источник этого сияния — холодный камень, неспособный даже на равнодушие, все равно он знал, что лунная дорожка светит ему, ему одному и никому больше. Как эта принесенная ветром девушка, что, выпав из вечернего воздуха, из всех

выбрала его, встала между гаражной лампочкой и закатом и, подсвеченная сзади, стояла в луче света, смотрела на него одного.

Билл Коузи мог сделать для Вайды и больше. Приглашал в машину погреться, предлагал отвезти, куда она скажет, никогда не ругал, не подвергал сомнению ее честность. И он бы своего добился — а как же, он почти всегда своего добивался. Вайда, как и многие другие, глядела на него снизу вверх обожающим взглядом, а говоря о нем, снисходительно улыбалась. Гордилась им — его манерами, его деньгами, тем примером, что он подавал: мол, потерпи, приложи смекалку, глядишь, у тебя тоже получится. Но Сандлер уже ходил с ним на рыбалку и знал кое-что — не то, конечно, что у мистера Коузи на душе, в голове или в бумажнике, но кое-какие его обычаи постиг.

Зашли под ветер, бросили якорь в заливчике, не на таком глубоком месте, как ожидал Сандлер.

Приглашение тогда удивило его, поскольку обычно Коузи к себе на яхту пускал либо особо важных гостей, либо (что бывало чаще) шерифа Бадди Силка — тот, кстати говоря, и правда происходил из семьи, которая своей фамилией окрестила целый город, а его улицы потом снабжала киношно-эпическими названиями. К Сандлеру мистер Коузи подошел прямо на улице, где тот припарковался в ожидании Вайды. Остановил свою небесно-голубую "импалу" рядом с пикапом Сандлера и говорит:

— Ты как завтра — занят, Сандлер?

— Нет, сэр.

— На работу не надо?

— Нет, сэр. Воскресенье на консервном выходной.

— А, правильно!

— А что — я вам нужен?

Коузи состроил гримасу, словно усомнился, приглашать — не приглашать, потом отвернулся.

Сандлеру оставалось созерцать его профиль, похожий на тот, что выбит на пятицентовой монете, минус прическа и перья. Биллу Коузи, еще вполне бравому мужчине, было уже семьдесят четыре года; Сандлеру тогда исполнилось двадцать два. Коузи был женат уже больше двадцати лет; Сандлер меньше трех. Коузи был при деньгах; Сандлеру платили доллар семьдесят центов в час. Он ничего не понимал: едва ли где найдешь двух мужчин, у которых меньше общих тем для разговора.

Придя к окончательному решению, Коузи посмотрел на Сандлера.

— Нацелился я тут немного порыбачить. Выйду на рассвете. Подумал, может ты захочешь присоединиться?

Целыми днями работая с морепродуктами, Сандлер не связывал рыбную ловлю с понятием "спорт". Его бы воля, рыбалке он предпочел бы охоту, но отклонить предложение было нельзя никак. Вайде бы это не понравилось, к тому же говорят, у Коузи такая яхта шикарная!

— С собой ничего не бери. У меня все есть.

Да уж, это точно, у тебя все есть, подумал Сандлер.

Встретились в четыре утра на пирсе, тут же отчалили, и все молчком. Никакой болтовни про погоду, никаких пари на будущий улов. Вчерашнего радушия у Коузи, казалось, сильно поубавилось. Сандлер приписал эту перемену в нем серьезности задачи: не так-то просто управляться с крейсерской яхтой — сперва вывести ее в океан, потом направить в заливчик, о котором Сандлер прежде не имел и понятия. А

может, дело в том, что странен был сам факт их пребывания тут вдвоем вдали от всех. Коузи с местными в открытую не якшался — то есть он брал их на работу, шутил с ними, даже вызволял из затруднительных ситуаций, но иначе как на время церковных мероприятий ни за столик гостиничного ресторана, ни на танцплощадку никого не пускали. Когда-то в сороковые годы местную публику отпугивали цены, но даже если какая-нибудь семья набирала достаточно денег, чтобы отметить у него в отеле, например, свадьбу, им отказывали. Вежливо. С сожалением. Но наотрез. Мест нет. Кое-какое недовольное брюзжание по этому поводу, конечно же, слышалось, но в большинстве своем народ в те времена не возражал, считая такую тактику оправданной. У людей не было ни подходящей одежды, ни средств, и им не хотелось чувствовать себя неловко рядом с теми, у кого все это имелось. Когда Сандлер был мальчишкой, довольно было уже только смотреть на приезжих — восхищаться их автомобилями и качеством чемоданов, слушать отдаленную музыку и танцевать под нее в темноте, в настоящей, глубокой тьме между тесно понатыканных хибарок, в своем палисадничке. Одного сознания того, что рядом курорт и знаменитый отель Билла Коузи, было достаточно. Иначе как объяснишь, почему тут была тишь да гладь, неслыханная больше нигде во всем округе, да даже и во всем штате. Семьи рабочих консервного завода и рыбаков ценили это. Так же как и уборщицы, каждый день ездившие в Силк, прачки, сборщики фруктов, учительницы из разваливающихся школ и даже заезжие проповедники, никогда не одобрявшие подогретых выпивкой сборищ и танцев под разнузданную музыку. На знаменитом богатом курорте, которым к тому же владел такой же, как они сами, всех охватывало ощущение радостного подъема, исполнения какой-то давнишней мечты. И эта воплотившаяся сказка жила, длилась даже тогда, когда отелю стали позарез необходимы те самые, кого когда-то не пускали на порог.

— Опять скумбрия появляется, — проговорил Коузи. — Тут у ней, я смотрю, вроде как на шоссе бывает — официальное место отдыха.

Он просветлел и вынул термос с кофе, как оказалось настолько разбавленного алкоголем, что цвет еще оставался, а вот запах... Фокус удался. Скоро они уже вовсю обсуждали достоинства Кассиуса Клея[1], умерив страсти, вызванные спором о Медгаре Иверсе[2].

Клев был дохлый, беседа, наоборот, шла живенько — вплоть до восхода солнца, когда действие алкоголя ослабело и в разговоре появились мрачные нотки. Мистер Коузи, глядя на каких-то шустрых червячков в животе у зубатки, сказал:

— Уничтожишь хищников, и тебя тут же мелкая сволочь живьем сожрет.

— У всех своя роль, свое место, мистер Коузи, — отозвался Сандлер.

— Верно. У всех. Кроме женщин. Ну просто всё заполонили.

Сандлер усмехнулся.

— Постель, — продолжил Коузи, — кухню, двор... И за столом, и под ногами, и на загривке!

1. Кассиус Марселлус Клей-младший (р. 1942) — знаменитый боксер. Между прочим, его маму звали Одесса. В 1960 г., став чемпионом мира в тяжелом весе, принял ислам и поменял имя на Мухаммед Али.
2. Медгар Иверс (1925–1963) — чернокожий активист движения за гражданские права, убитый белым расистом Байроном де ла Беквитом.

— Так это, может, не так уж и плохо? — осторожно возразил Сандлер.

— Нет. Нет. Это здорово. Замечательно.

— Тогда что ж таким грустным тоном?

Билл Коузи повернулся, глянул на Сандлера. Его глаза, еще яркие от выпивки, излучали боль, как треснутое стекло.

— Что обо мне говорят? — спросил он, сделав глоток из термоса.

— Кто?

— Да все вы. Ну, сам знаешь. За глаза.

— Что вы весьма уважаемый человек, мистер Коузи.

Коузи вздохнул — ответ явно разочаровал его.

— И так нехорошо, и этак хреново, — проговорил он. Затем вдруг перескочил на другое, как любят делать дети и сильно пьющие: — Знаешь, моему сыну Билли было примерно столько же, сколько тебе. Когда он умер то есть.

— Правда?

— Знавали мы с ним времена и неплохие. Очень неплохие. Мы были скорее как друзья, а не как отец и сын. Он ушел... так, словно кто-то специально выпрыгнул из могилы и унес его.

— Кто-то?

— Ну или что-то.

— А что с ним случилось?

— Подлейшая штука. Называется пневмония, перенесенная на ногах. Никаких симптомов. Пару раз кашлянул, и с приветом. — Сощурясь, он стал смотреть на воду, как будто истина плавает в море. — И я на какое-то время сломался. Долго потом выправиться не удавалось.

— Но удалось все же. Вы же выправились.

— Ну да. — Его лицо осветилось улыбкой. — Замаячила хорошенькая женщина, и тучи как-то рассеялись.

— Ну вот видите. А вы жаловались.

— Ты прав. Однако же мы были настолько близки, что я так и не потрудился толком узнать его. Все понять не мог, зачем он выбрал себе в жены такую, как Мэй. Может, он был совсем другой, а я смотрел на него как... на свою тень, что ли. А теперь я, пожалуй, уже и вовсе никого не понимаю. И как тогда требовать, чтобы понимали меня?

— Людей вообще трудно понять. Все, за что можно уцепиться, это их поступки, — сказал Сандлер, с недоумением думая: он что, и впрямь такой одинокий и непонятый? Весь в тоске по сыну, умершему двадцать с чем-то лет назад? Он, у кого друзей больше, чем пчел в улье, переживает по поводу того, что о нем говорят? При том, что женщины бьются за его внимание так, словно он духоносный старец какой! И он еще стонет, что все это гнетет его?

Сандлер подумал: ха, сейчас мы будем плакать пьяными слезами! Но лучше уж так, ведь иначе получится, что дяденька идиот. Глотать раскаленные камни и то легче, чем выслушивать жалобы толстосума. С некоторым чувством неловкости Сандлер переключил внимание на коробку с наживкой. Если подождать подольше, Коузи сменит тему. Тот так и сделал, но сперва напел несколько строк одной из песенок группы "Платтерз"[1].

1. Одна из первых вокальных групп в Америке, прославившаяся многими хитами, в том числе "Only you" (1955) и "The great pretender" (1956), в свою очередь прославленными потом Элвисом Пресли.

— А ты знаешь, что в этой стране все законы написаны так, чтобы черных держать в черном теле?

Сандлер поднял голову, задумался. Что он такое несет? Рассмеялся.

— Да ну, не может быть.

— Ох, и как еще может!

— А как насчет... — и запнулся, потому что не мог ничего вспомнить про законы, кроме как насчет убийства, и опять-таки не то, что нужно. Каждый, кто был в тюрьме, и каждый, кто не был, знает: черный убийца — это убийца, белый убийца — несчастный человек. Сандлер знал наверняка, что законы касаются в основном денег, а не цвета кожи, и он так и сказал.

В ответ Коузи зажмурился.

— Вот такой пример, — сказал он. — Человек кредитоспособен, все прекрасно, он может дать гарантии, обеспечение, но он негр, и ни хрена у него на ссуду в банке никакой надежды. Вот и думай.

Думать Сандлер как раз не хотел. У него юная жена и крошечная дочка. Все, что он знает о прекрасном, это Вайда, и никакой ему не надо другой надежды кроме Долли.

То была их первая совместная рыбалка, потом они вошли в обычай, отношения стали доверительными. Коузи постепенно убедил Сандлера бросить чистку крабов на консервном заводе. Если с чаевыми, то официанту в гостинице в карман перепадает больше. Несколько месяцев Сандлер осваивал новое поприще, но в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году, когда повсюду в городах — по крайней мере в крупных, названия которых на слуху, — пошли беспорядки, заводской босс предложил ему должность мастера, рассчитывая предупредить этим волнения, которыми легко может заразиться рабочая масса, сплошь состоящая из черных. Вышло как нельзя лучше. Да и Коузи проще было дружить с десятником, чем с одним из своих официантов. Но чем больше Сандлер о нем узнавал, тем меньше понимал. Симпатия временами превозмогала досаду, но бывало, что при всем расположении Сандлер все же чувствовал к нему неприязнь. Например, когда Коузи рассказал ему о том, как, когда он был маленьким, отец заставлял его играть в соседском дворе, чтобы подглядеть, кто выйдет из черного хода. Каждое утро с рассветом посылал его следить. Однажды какой-то мужчина действительно оттуда выскользнул, и Коузи доложил отцу. А вечером увидел, как того тащат по улице за телегой, запряженной четверней.

— Вы помогли поймать вора, убийцу? — восхищенно спросил Сандлер.

— Да, вроде как.

— Ну так и правильно!

— А за телегой с плачем бежали дети, целый выводок. Среди них девочка, маленькая. В отрепьях, как Лазарь. На куче лошадиного навоза она поскользнулась и упала. Вокруг смеялись.

— И что вы сделали?

— Ничего. Совсем ничего.

— Ну так вы ж были ребенком.

— Н-ну да...

Во время этого рассказа возникшее было у Сандлера чувство симпатии сменилось неловкостью, едва он задался вопросом: а что, может, Коузи тоже смеялся? Да и еще бывали моменты, когда Сандлер ощущал к

нему явную неприязнь, — взять хотя бы то, что Коузи отказался продать землю местной общине. Тогда мнения разделились — его или его жену винить в том, что земля оказалась продана застройщику, который нажился при этом еще и на деньгах из бюджетного фонда. Все загорелись, устраивали благотворительные базары, всякие распродажи, просто собирали, кто сколько может, и на первый взнос денег набрали. Замышлялось что-то вроде кооперации: конечно — малый бизнес, тут новичкам и послабления положены, откроем-то не что-нибудь, а культурные и образовательные центры, классы по афроамериканской истории и самообороне. Сперва Коузи вроде нисколько не возражал, но так затянул дело, что окончательно решать пришлось его вдове. Она все продала прежде, чем успели толком зарыть могилу. Так что, когда Сандлер в числе прочих переехал на Морскую набережную, его мнение о Коузи по-прежнему оставалось двойственным. Да, Сандлер все ближе узнавал его, наблюдал за ним, но это как-то не приводило к устойчивости суждения; то был процесс скорее образовательный. Сначала Коузи виделся ему с долларом в каждом глазу. По крайней мере так о нем говорили, и по тому, как он тратил деньги, выходило, что вроде бы да, говорили верно. Но когда с начала их совместных рыбалок прошло около года, Сандлер в богатстве Коузи стал видеть уже не кувалду в руках громилы, а скорее игрушку сентиментального подростка. Богатые могут вести себя как акулы, но движет ими при этом ребяческое желание непременно съесть каждую конфетку, не упустить ни одного удовольствия. Движут те детские мечты, что расцветают лишь на лугах девчоночьих фантазий — чтобы тебя обожали, ублажали, слушались и чтобы беспрерывно развлекаться. Вайда верила, что с портрета, висящего над стойкой портье, смотрит сильный и щедрый друг. Но это потому, что она не знала, на кого он смотрит.

Сандлер пошел по лестнице вверх из подвала. Его вынудили рано выйти на пенсию, но в то время это казалось даже и неплохо. Полночные прогулки по аллеям давали голове отдых, не мешая мыслям. Но теперь он стал подозревать у себя какое-то заранее не предвиденное мозговое расстройство: ловил себя на том, что начинает все больше сосредотачиваться на прошлом в ущерб сегодняшним делам. Когда он вошел в кухню, Вайда складывала скатерть, подпевая песенке в стиле кантри, что передавали по радио. Думая скорее о тех глазах, что походили на треснутое стекло, нежели о тех, что на портрете, он взял жену за плечи, повернул к себе и крепко обнимал, пока они танцевали.

Может быть, то, что он расплакался, как баба, было хуже самого повода для слез. Может быть, в них и сказалась слабость, которую остальные тут же засекли, угадали еще прежде, чем он сдрейфил и лоханулся. Еще до того как горячая волна затопила ему грудь при виде ее рук, криво обвисающих на белоснежных шнурках, которыми они были привязаны. Ни дать ни взять перчатки на бельевой веревке — пришпилены сикось-накось какой-нибудь грязной сукой, которой все равно, что скажут соседи. А сливового цвета лак на ногтях, обкусанных до мяса, придавал похожим на усохшие перчатки крошечным ручкам взрослый, женский вид, из-за которого Роумену уже она сама виделась грязной сукой — той самой, кому плевать на мнение соседей.

Следующим в очереди был он. И он был весь наизготовку, несмотря на эти крошечные ручки и несмотря на ее сдавленное кошачье вяканье.

Стоял у перекладины изголовья, электризуемый победными воплями Тео, чья голова дергалась над лицом девчонки — повернутое к стене, оно пряталось под волосами, рассыпавшимися, когда она извивалась, пытаясь вывернуться. В расстегнутых штанах, напрягшийся в предвкушении, он был готов уже стать тем Роуменом, которым всегда сам себя представлял: твердокаменным беспредельщиком, безбашенным и отвязным. Из семерых он оставался последний. Трое как кончили, так сразу прочь — поручкавшись по дороге с остальными, ушли из спальни опять туда, где бушевала пирушка. Фредди и Джамал сидели на полу; хоть и иссякли, но продолжали смотреть, как Тео, который это дело разжигал, кидает вторую палку. В этот раз он растягивал удовольствие, и только его радостные всхрюкиванья нарушали тишину, потому что девчонка уже не вякала. К тому времени, когда он вынул, комната пропахла капустой, гнилым виноградом и мокрой глиной. Свежа была лишь тишина.

Роумен ступил вперед, чтобы занять место Тео, и с удивлением стал смотреть, как его руки тянутся к перекладине изголовья. Узел на ее правой кисти развязался мигом, не успел Роумен его коснуться, и рука упала рядом с подушкой. Девчонка ею не воспользовалась — не стала ни драться, ни царапаться, даже волосы с лица не убрала. Роумен начал отвязывать другую руку, еще висевшую на шнурке от баскетбольных кедов. Потом он обернул девчонку простыней, на которой она лежала, и усадил. Взял ее туфли на высоких каблуках и с перекрестием красной кожи спереди — дрянь, годную только чтобы танцевать и выпендриваться. Послышался хохот и улюлюканье — это сперва, потом пошли издевки и наконец злые выкрики, но он с ней оттуда вышел, вывел ее сквозь танцующую толпу и на крыльцо. Дрожа, она вцепилась в туфли, он ей их отдал. Если кто из них двоих и был до этого пьян, то теперь протрезвел. Дыхание сносило холодным ветром.

Хотел что-то сказать, подумал, как девку звать-то — Фей? Фейт? — но вдруг почувствовал, что даже видеть ее не может. Если бы она стала его благодарить, он ее задушил бы. Повезло: не сказала ни слова. Глядя широко раскрытыми застывшими глазами, она надела туфли и одернула юбку. Все их теплые вещи — его новая кожаная куртка и что там было на ней — остались в доме.

Открылась дверь; выбежали две девчонки, у одной в руках пальто, другая протягивает сумочку.

— Мышка-Фей! Что случилось?

Роумен повернулся и пошел.

— Ты чего, подруга? Что с тобой? Эй, ты! Ты что ей сделал?

Роумен не остановился.

— А ну вернись! Он приставал к тебе? Ну а кто? Кто? Посмотри, что у тебя с волосами! Вот, надень пальто. Мышка-Фей! Ну, подруга, ну скажи уже что-нибудь, а?

Их тревога, забота, их крики слышались ему ударами цимбал, что подчеркивают, не заглушая, выкрик трубы — то слово, которым Тео обозвал его, то худшее на свете оскорбление, ругательство, самый звук которого, взвившись в воздух, будет звучать, раскатываться эхом, и оборвать его сможет только выстрел. Иначе этому конца не будет — никогда в жизни.

Последние три дня он был посмешищем. Вся их дружба, которой он только что с такой легкостью обзавелся — да не только что, тому уже че-

тыре месяца! — пошла прахом. Даже просто не опустить глаз, выдержать взгляд любого из шестерых, кроме Фредди, казалось наказуемой дерзостью, вызовом, и даже когда он ничего такого не пытался, вообще не смотрел в их сторону, все равно трубный звук не смолкал. Уже без Роумена они собирались у цепного забора; а если он зайдет и сядет за столик в закусочной "У Пэтти", сразу покидали заведение. Даже самые невзыскательные простушки-хохотушки чувствовали его отверженность, как будто весь его прикид вдруг стал отстойным: футболка — слишком белой, штаны слишком отглаженными, а кроссовки так и вовсе, что называется, лажовым кренделем шнурованы.



В первый день после той пирушки никто с площадки его не гнал, но мяч ни разу не паснули, а когда он перехватывал, приходилось из любой позиции пытаться бить по кольцу, потому что передать оказывалось некому. Все останавливались и, опустив руки, на него смотрели. Если подбирал из-под щита, специально устраивали штрафной, чтобы он отдал мяч, и вновь труба — не поймешь даже кто, откуда — плевала в него этим словом. В конце концов его просто сшибли с ног и ушли с площадки. Роумен сидел, часто дыша, и думал: драться — что! драться он — пожалуйста, но если начнешь отвечать на все эти фолы и подножки, опять рявкнет труба, и получится так, будто вновь защищаешь ту девку. Которую он не знает и знать не хочет. Если он даст сдачи, то получится, что дерется он не за себя, а за нее, Мышку-Фей, и тем самым доказана будет связь между ними, а это неправильно. Как будто он вместе с ней был там привязан к кровати; будто и ему тоже насильно раздвинули ноги.

В дальнем конце площадки сам с собою финтил и бросал по кольцу Лукас Брин, один из тех немногих белых пацанов, чьи баскетбольные таланты вызывали зависть. Роумен встал и пошел к нему, хотел присоединиться, но вовремя сообразил, что ведь труба-то может рявкнуть и еще некое словечко. Пробормотал "привет", искоса глянул и мимо.

Второй день — вообще тоска, хуже первого. Фредди принес ему забытую куртку и говорит: "Слышь, чувак, ты это дело — того, отряхивай", — но больше ничего не сказал, не завис ни даже на минуту. А с тех пор, как Роумен подружек Мышки-Фей увидел — тех самых двух девиц, что выскочили с ее пальто и сумочкой, — и они стали приветственно махать ему руками в окне школьного автобуса, он стал ездить на маршрутке. Черт с ним, что лишних мили две туда-сюда до остановки, но лишь бы с ней самой, с Мышкой-Фэй, нос к носу не столкнуться. Но нет, не видел больше ни разу. И никто не видел.

На третий день его били. Все шестеро, включая Фредди. С умом, расчетливо. Лупили по чем попало, кроме лица — на всякий случай, вдруг он еще и стукач и тут же всем объяснять пойдет, откуда у него разбитая губа или фингал под глазом; вдруг он вообще такая баба, что только спросят, и расколется, укажет на них дрожащим пальчиком. Вшестером, а? Роумен драться умел; наставил им шишек, кому-то въехал коленом в пах, кому-то порвал рубаху, но потом ему скрутили руки за спину и стали делать облом-ребро и харч наружу. Этот самый харч был уже на подходе, когда подъехала машина, загудела клаксоном. Все прыснули кто куда, в том числе и Роумен, хотя ноги подкашивались и приходилось зажимать рот, но быть спасенным страшило его больше, чем выпасть в осадок с блевотиной на штанах. В кустах мимозы на пустыре за котлетной "У Пэтти" его вырвало. Пока разглядывал в траве бабкину стряпню, думал о том, су-

меет ли когда-нибудь оправдаться за ту подлянку, что сыграло с ним его тело. Усмешка Тео, отвращение Фредди — это все без вопросов, он чувствовал точно то же самое и не мог понять, что ж он тогда так повелся — вдруг сердце застучало, размяк: ах бедняжка, ах замучили ее, — когда три секунды назад это была добыча, которую он готов был рвать зубами. Если бы он ее такую на улице нашел — ну тогда реакция понятна, но когда ты в компании, один из тех, кто девку прифигачил... Черт! Что это было, почему, что заставило его развязать, прикрыть ее... Господи! Прикрыть! Замотать простыней! Поднять на ноги и вывести вон! Что — сушеные ручонки сработали? Голые мужские задницы вподергайку — одна, вторая, третья, — это, что ли? Или капустная вонь пополам с беспрестанным басовым буханьем за дверью? Когда обхватил ее и повел прочь, он был еще весь на взводе, опал лишь когда они вместе вышли на холод. Что заставило его сделать это? Или скорее кто?

Да знал он, знал кто! Реальный Роумен, который впутался и помешал формованию нового, кованого, грозного. Фальшивого Роумена, что стоял, красовался у кровати с привязанной девкой, реальный Роумен взял на понт, перехитрил и теперь держит здесь, в его же собственной кровати, заставляет прятать голову под подушку, исходить бабскими слезами. И ревет, ревет в голове труба каким-то прямо-таки мегафонным ревом.

## 3
## *Странница*

Выселки и Монарх-стрит, дом 1 — все равно что разные планеты. Была свалка, что-то там понастроили, потом разрослось, и после Первой мировой войны Выселки заняли уже и склон горы, и всю долину. Никто этого слова не употребляет — ни на почте, ни при переписи населения. Впрочем, в полиции хорошо его знают, слыхал и кое-кто из тех, что работали в старом управлении общественного призрения, но новые служащие окружного отдела социального обеспечения — едва ли. Время от времени в школе Десятого района появляются оттуда ученики, но учителя не пользуются словом "Выселки". "Сельские" — так именуют они этих странных необучаемых детей. И хотя это жутко раздражает нормальных учеников из приличных фермерских семей, но воспитатели и психологи должны же были избрать какой-то нейтральный термин, чтобы понимать, о ком речь, и при этом не настраивать против себя их родителей — ведь те могут что-то и пронюхать. Термин вполне прижился, хотя ни один родитель из Выселков никогда не являлся — ни с проверкой, ни за консультацией; не приходили ни просить, ни разрешать; претензий тоже никогда не предъявляли. Иногда их детям в немытые руки суют анкеты и записки, и как в прорву — ни ответа, ни привета. Пару месяцев сельские приходят, сидят, глядя в чужой учебник, "стреляют" бумагу и карандаши, но упорно молчат, будто приходят не получать образование, а убеждаться, что это в принципе возможно; не делиться информацией, а присутствовать при дележе. В классе сидят тихо, ни с кем не общаются — они и сами не хотят, да и соученики избегают их, предпочитая не связываться. Все знают, что "сельские" — отчаянные драчуны, злобные и без-

жалостные. Известен случай, когда в конце пятидесятых директор школы ухитрился найти, а затем и посетить дом "сельского" по имени Отис Рик. Отис на переменке выбил кому-то из детей глаз и не желал даже понимать, о чем речь, а не то чтобы подчиниться приказу об исключении, который сунули ему в карман рубашки. Он приходил каждый день, все в той же рубашке с засохшей кровью его жертвы на рукаве. Об этом официальном визите с требованием, чтобы Отис навсегда исчез, известно мало что — кроме одной яркой детали. Когда директор покинул дом Рика, ему пришлось через всю долину идти пешком, потому что ему не дали ни времени, ни возможности добраться до машины. Обратно в город его "десото" притащили на буксире полицейские: ничто не могло заставить владельца отправиться за машиной самому.

Очень старые люди, чья молодость пришлась на времена Великой Депрессии, те, кто до сих пор называет эту часть округа "Выселками", могли бы рассказать, откуда взялось ее население, — но это если бы их спросили. Однако их мнением интересуются редко, а народ Выселков живет, как ему хочется; невежественных и презираемых, этих людей терпят, избегают и боятся. Точно так же было и в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда закрыли джутовую фабрику; кто мог уехать — уехал, а кто не мог (черные, потому что им вообще сунуться некуда, да и некоторые из неперспективных белых) продолжали там вариться в собственном соку, друг на дружке женились (если это можно, конечно, называть таким словом) и непрестанно бились над проблемой, как выжить еще один день. Дома́ строили из мусора и отходов; иногда пристраивали где комнатку, где сарайчик к брошенным хижинам, которые джутовая компания предоставляла рабочим, — эти крошечные домишки (из двух комнат с кухней) гроздьями лепились к склону и пластались по всей долине. Воду брали в реке и собирали в дождь, доили коров и варили самодельное пиво; охотились, искали в гнездах яйца, огородничали, а если удавалось где-то подзаработать, покупали сахар, соль, растительное масло, содовую шипучку, кукурузные хлопья, муку, сушеные бобы и рис. Если подзаработать не удавалось, воровали.

Вопреки уничижительному названию, в Выселках процветала свобода и местный патриотизм; только бегство считалось там за измену. Однажды это преступление совершила девочка со сросшимися пальчиками ноги; девочку звали Джуниор. Вивьен, ее мать (без всякого, между прочим, сдвоенного "н" на конце), хотела как можно скорее дать ребенку имя. Но после родов прошло три дня, а она все никак не могла надолго прийти в сознание, чтобы сделать выбор, и за это время отец придумал назвать новорожденную Джуниор — то ли в честь себя (его звали Итон Пейн Джуниор, то есть Итон Пейн Младший), то ли в честь своей обиды, ведь у Вивьен уже было четверо мальчиков, но все не от него. Вивьен в конце концов все-таки выбрала ребенку имя и, может быть, даже пару раз им воспользовалась, когда Итон ушел от нее обратно к отцу. Но это "Джуниор" прилипло. Джуниор и все тут — с этаким еще призвуком мужского рода, вроде как называют иногда ребенка "Мелкий" независимо от пола, — и никому это не мешало, да и больше тоже ничего не требовалось, пока не приспело ей идти в школу. "Джуниор Вивьенн", — глянув исподлобья, буркнула девочка, и когда учительница хмыкнула в кулак, первоклашка, почесав локоть, вдруг сообразила, что можно было бы сказать "Джун"... или нет, лучше — "Жуни?".

Чтобы девчонки ходили в школу, это в Выселках не приветствовалось, но у Джуниор все дядья и все братья — как двоюродные, так и сводные — хоть какое-то время школу посещали. В отличие от них она почти не прогуливала. Дома она вечно была одна, без надзора, и чувствовала себя дворовой собачонкой. Собак в Выселках водилось с полсотни, и содержание их было беспорядочным — то она на короткой цепи, то — глядь! — бегает по помойкам сама себе голова. От драки до кормежки они спали — либо у кола на привязи, либо клубком у крыльца. Предоставленные самим себе гончие спаривались с овчарками, колли с лабрадорами. К тысяча девятьсот семьдесят пятому году, когда родилась Джуниор, вывелась странная, невиданная и, как ни удивительно, довольно симпатичная на вид порода; люди понимающие узнавали собак из Выселков с одного взгляда, а те гоняли чужаков почем зря, и если уж на охоту попадут, так там они просто чудо.

Джуниор много лет скучала по отцу, упорно просила, чтобы ее к нему сводили.

— Ты замолчишь когда-нибудь или нет? — вот все, что она слышала в ответ от Вивьен, пока однажды мать не сказала: — Он в армии. Говорят.

— А когда вернется?

— Ах, да кому он нужен, детка! Кто он такой? Иди поиграй лучше.

Она уходила, но продолжала ждать высокого, статного мужчину, который назвал ее в честь себя, чтобы показать, что он ее любит. Как тут не будешь ждать.

Мать и собаки ей в конце концов наскучили, братья оказались медлительны и туповаты, дядья пугали, да и к их женам ее почему-то не тянуло, так что Джуниор с удовольствием пошла в Десятую районную — во-первых, чтобы не сидеть сиднем в Выселках, а во-вторых, в школе ей нравилось. Из "сельских" она была первая, кто внятно отвечал и дома пытался делать уроки. В классе девочки сторонились ее, а тем немногим, кто пробовал посеять семена дружбы, быстро давали понять, что придется делать выбор между зачуханной "сельской", у которой сменного платья и то нет, и "нашими" девчонками, коварными и умеющими отомстить. Всякий раз выбор оказывался не в пользу Джуниор, но она делала вид, будто, отвергнутая, она одержала победу, и с улыбкой смотрела, как ее подруга по прошлой переменке — эта заблудшая овца — возвращается в овчарню. А подружиться с нею удалось мальчишке. Учителя думали, это потому, что он кормил ее йогуртом и меренгами из своих завтраков — у самой-то у нее подчас весь завтрак состоял из одного-единственного яблока или бутерброда с майонезом в кармане вязаной женской кофты, в которой она ходила. Дети, однако, полагали, что он с ней после школы не иначе как "глупостями" где-то в канаве занимается, они ему прямо так и сказали. Но он был мальчик не простой, его отец служил директором на производстве, где разливали по бутылкам всякие напитки, он мог их родителям дать работу, а мог и уволить, и мальчик это им объяснил.

Его звали Питер Пол Фортас, и это многое объясняет: попробуй выдержи одиннадцать лет кличку "Пи-пи" — поневоле закалишься, тебе будет плевать на мнение окружающих. Питер Пол и Джуниор телом не интересовались. Джуниор хотела знать, чем красят сироп для кока-колы и как работает автомат, который набивает крышки на бутылки. Питер Пол жаждал выяснить, правда ли на горе есть медведи, и разобраться в

повадках змей: говорят, они на запах молока приползают, или есть другие сведения? Они обменивались информацией, словно жучки на скачках, — никакой лирики, все строго по делу. Правда, однажды он спросил ее, она, мол, что — цветная? Джуниор сказала, что не знает, но выяснит, если ему интересно. Он махнул рукой, дескать, не важно, все равно домой приглашать ему можно только мормонов, а где их взять? — здесь что белые, что цветные, все язычники. Так что тут уж — что ж... уж ты не обижайся! Она кивнула, ей было приятно, что он назвал ее таким серьезным, звучным словом.



Ради нее он воровал: то шариковую ручку, то пару носков или желтую заколку для волос, которые она причесывала пятерней. Когда на Рождество она подарила ему детеныша щитомордника в банке, а он ей большущую коробку цветных мелков, кто из них был счастливее, сказать трудно.

Но щитомордник — это ведь змей как-никак, что их и сгубило.

У Джуниор были дядья, бездельники лет под двадцать, чьи мозги сильно повредились на почве общей унылости жизни, поэтому они то буйствовали, то впадали в спячку. Они не поверили, что змей в банке — часть домашнего задания, как Джуниор объясняла в ответ на их: "Э, овца, ты чо там, типа, волокешь?" А может, если бы и поверили, не важно: само деяние было для них оскорбительно донельзя. Нечто, взятое в Выселках, уносят в пространство, где им не светит настолько, что как бы даже западлó там светиться; наоборот, тьма тамошней официальщины недостойна тех горних высей, откуда они победно испускают истинный, природный свет. А может, просто спячка у них кончилась или один с другим пивом не поделился. В общем, не важно почему, но в то послерождественское утро дядья были бодры и искали, чем поразвлечься.

Джуниор еще спала, положив голову на грязноватую подушку "Спаси Христос" и завернувшись в одеяло, служившее заодно и матрасом. Подушка была рождественским подарком жены одного из дядьев — та вытащила ее из мусорной корзины своего тогдашнего работодателя, — но ничего, сны навевала приятные. Мелки, прижатые к груди, делали сны цветными. Она спала так крепко, что дяде пришлось будить ее, пнув башмаком в зад, да не один раз. Ее вновь допросили насчет змея. Пока раскрашенный мелками сон понемногу рассеивался, Джуниор пыталась уяснить, что дядям нужно, ибо любые "зачем" и "почему" с ними все равно не имеют смысла. Например, они сами не знали, зачем подожгли сиденье автомобиля, когда могли украсть и продать его. Или почему им так важен этот змей. Им нужно было, чтобы щитомордник вернулся в родные пенаты.

А если она не вернет его, они угрожали надрать "ее мелкую девчоночью задницу" и "отдать ее в руки Воша". Об этом последнем она много раз слышала, и одна мысль о нем — то есть что ее отдадут в руки того старика из долины, который любит разгуливать, встряхивая в руке свое интимное хозяйство и распевая при этом псалмы, — уже одна только эта мысль подкинула ее с пола и вынесла мимо хватающих рук за дверь. За ней гнались, но она была шустрая. Собаки на цепях залаяли, собаки без цепей помчались рядом. Навстречу шла Вивьен — возвращалась из уборной в дом.

— Ма! — возопила Джуниор.

— Оставьте ее в покое, хорьки вонючие! — Мать пробежала несколько шагов, но сразу устала; пришлось швырнуть пару камней в убегающих младших братьев — так, в общем-то, больше для виду. — Оставьте ее в покое, скунсы! Вы у меня получите!

Эти, может быть, не очень оптимистичные, но искренние и своевременные слова поддержали бегущую девчонку. Босая, с прижатой к груди коробкой мелков, Джуниор петляла, ныряла и уклонялась, и ухитрилась оторваться от улюлюкающих дядьев. Очухалась в лесу, да в таком, где у любого лесоруба слюнки потекут. Пеканы[1] таких размеров, о каких с двадцатых годов не слыхивали. Клены, растопырившие в стороны по шесть-семь ветвей толщиной с дерево. Акации, калифорнийский орех, белый кедр, ясень. Деревья здоровые и не очень. На некоторых огромные черные грибы — симптом болезни. Другие внешне вроде бы хоть куда, покуда легкий, игривый ветерок не взъерошит им крону. Они тотчас — бабах! — и валятся, как от инфаркта, а из разлома сыплется медная и золотая мука.

Перебегая и останавливаясь, Джуниор оказалась в пронизанной солнцем рощице бамбука, перевитого диким виноградом. Улюлюканья давно слышно не было. Она подождала, потом залезла на яблоню, посмотреть, что делается на склоне, да и в долине — обзора хватало. Нигде никаких дядьев. Только просвет в лесу, где течет ручей. А за ручьем — дорога.

Когда она вышла на обочину, солнце стояло уже высоко. Что руки исцарапала и всякая труха в волосах — пустяки, жалко было семи мелков, которые сломала по дороге; сломала, не успев хотя бы раз воспользоваться. Вивьен не может защитить ее ни от Воша, ни от дядьев, поэтому она решила отыскать дом Питера Пола, подождать где-нибудь неподалеку... а дальше что? Ну он как-нибудь ей поможет. Но она никогда в жизни, ни за что не скажет ему, чтобы вернул маленького щитомордника.

Она вышла на дорогу, но не успела пройти и пятидесяти футов, как сзади загромыхал грузовичок, набитый дядьями. Конечно, она прыгнула влево, а не вправо, но они это предугадали. Передним бампером ее бросило на бок, задним колесом смяло пальцы ноги.

Везли по колдобинам в кузове, укладывали на койку Вивьен, лили в рот виски, подсовывали к носу нашатырь — ничто не приводило ее в чувство, пока храповик боли не заклинился на отметке "невыносимо". Джуниор открыла глаза, ее затрясло и так скрутило — не вздохнешь. Вдыхала каждый раз чуть не по чайной ложке. День за днем она так лежала и сперва не могла, а потом не хотела ни плакать, ни разговаривать с матерью, которая объясняла ей, как она должна быть благодарна дядьям, что нашли ее, валяющуюся на обочине, после того как — бедная доченька! — ее сбил машиной наверняка какой-нибудь городской мудак: конечно, они там все такие важные, где уж ему останавливаться; переехал и шурует дальше, нет чтобы выйти, глянуть: может, ты ее убил, а нет — так подвези!

В молчании Джуниор смотрела, как пальцы ног распухают, краснеют, потом синеют, чернеют, идут пятнами, пятна сливаются... Мелки ис-

1. Пекан — дерево семейства ореховых высотой до 50 метров.

чезли, а державшая их рука теперь сжимала нож, готовая встретить Воша или кого-либо из дядьев — да любого, кто попытается не дать ей совершить единственно возможное по понятиям Выселков преступление: удрать оттуда, выбраться, уйти. Больше не видеть всех этих людей, которые гнались за нею, раздавили ей ногу, всё врут, твердят, будто ей повезло, — да и тех тоже, кому в компании со змеем лучше, чем с девочкой. Через год она сбежала. Еще через два ее уже кормили, мыли, одевали, учили, холили и лелеяли. За решеткой.



Джуниор сбежала в одиннадцать лет, несколько недель бродяжничала, и никто ее не замечал. Потом вдруг заметили, когда она в магазине "Все по доллару" украла куклу "десантник Джо"; поскольку своего "десантника" она ни за что не отдавала, ее взяли под стражу и поместили в приемник-распределитель, где она укусила женщину, которая вырвала куклу у нее из рук. А в исправительный приют ее пришлось поместить потому, что она отказалась сообщить о себе что-либо кроме имени. Ее записали как "Джуниор Смит"; так она "Джуниор Смит" и оставалась, пока государство ее не отпустило, и тут она решила вернуть себе настоящее имя, для шика подвесив на кончик двойное "н".

По школьной программе в приюте тоже учили, но главным образом учили другому. И то и это обучение пригодилось — закалило и отточило ту ловкость, что нужна была, чтобы завоевать себе место в большом роскошном доме на Монарх-стрит, где не расхаживает в полумраке по коридору женщина в форме, в любой самый дикий момент для контроля открывая двери, и где не выпит весь воздух сонно буркающими телами вокруг. Место что надо, и потом — здесь он, и каждой мелочью он дает понять, что тут ее только и дожидались. Едва увидев портрет незнакомца, она поняла, что ее дом — здесь. В первую же ночь он ей приснился: нес ее на плече через сад, где росли яблоки "северный разведчик" — огромные, зеленые и тяжко нагибающие ветви.

На следующее утро за завтраком (грейпфрут, омлет, овсянка, жареный хлеб, бекон) Кристина была уже не столь враждебна, но все еще держалась настороже. Джуниор пыталась позабавить ее, передразнивая Гиду. Что называется, расклад пока был еще не очень ясен, она не понимала, куда грести. Лишь когда покончили с едой и она снова оказалась в спальне Гиды, стало ясно наверняка. Божий дар. Это ни с чем не спутаешь.

Не очень ловко себя чувствуя в красных Гидиных апартаментах, Джуниор, пока та рылась в каком-то сундучке, встала у окна, выглянула, и опять внизу оказался тот мальчишка. Чуть раньше она видела, как Кристина выехала из гаража и унеслась, а мальчишка с ведром остался ежиться от холода во дворе. Теперь она наблюдала, как он проводит под носом тыльной стороной ладони и вытирает руку о джинсы. Джуниор улыбнулась. И все еще улыбалась, когда Гида заговорила.

— Вот! Я нашла. — Она держала фотографию в серебряной рамке. — Ценные вещи я запираю то тут, то там и подчас забываю где.

Джуниор отошла от окна, встала перед сундучком на коленки и стала разглядывать фото. Свадьба. Пять человек. Он — в роли жениха — смотрит на девушку справа, та держит единственную розу и с вымученной улыбкой глядит в камеру.

— Она похожа на ту женщину, что живет внизу, на Кристину, — указав на нее, сказала Джуниор.

— Ну, сейчас-то уже не очень, — возразила Гида.

Девушка с розой держала его за руку, а он, глядя на нее, другой рукой обнимал за голые плечи свою крошечную невесту. Под невероятно пышным, спадающим с плеч подвенечным платьем Гида как-то терялась; апельсиновые цветки в руке поникли. Слева от Гиды стоял скользкого вида красавчик, улыбающийся женщине, что была слева уже от него, а та нервно стиснутыми руками выражала больше, чем просто отсутствие букета.

— Я не очень-то изменилась, правда? — спросила Гида.

— А почему ваш муж смотрит на нее, а не на вас?

— Старается подбодрить ее, я думаю. Это в его духе.

— А это у вас была подружка невесты? — спросила Джуниор, показывая на стиснувшую кулаки женщину. — У нее не очень-то радостный вид, а?

— Нет. Это вообще не очень была радостная свадьба. Хотя Билл Коузи был завидным женихом. На мое место многие претендовали.

Джуниор снова принялась изучать фото.

— А это что за парень?

— Наш шафер. В свое время очень известный музыкант был. Ты молода слишком, вряд ли ты о нем слышала.

— Об этих людях вы и пишете?

— Да. Ну, о некоторых. Главным образом о Папе — моем муже то есть, — о его родственниках, его отце. Ты не представляешь себе, какое это было благородное семейство, какие все были утонченные. Причем когда еще — во времена рабства!..

Тут Джуниор перестала слушать — и сразу по двум причинам. Одна состояла в том, что она разуверилась в желании Гиды писать книгу; той не писать хотелось, а болтать, хотя зачем ей платить кому-то, чтобы разводить турусы на колесах, Джуниор для себя еще не уяснила. Второй причиной был мальчишка, который ежится во дворе. Тихо слышались скребки лопатой — он там сгребает талый снег, потом постукивание — колет лед.

— А он что — живет здесь?

— Кто?

— Тот пацан во дворе.

— А, это мальчишка Сандлера. Он помогает нам — сбегать куда-нибудь, двор подмести. Хороший мальчик.

— И как его зовут?

— Роумен. Его дед дружил с моим мужем. Вместе рыбачили. У Папы было две яхты, вон как. Одну именем первой жены назвал, а вторую моим.

*Шестнадцать, может, и старше. Какая шея!*

— ...он всяких выдающихся людей брал ловить рыбу в открытом море. Шерифа, например — Чиф Силк, "Начальник Силка", так его называли. Лучшим был другом Папиным. Еще знаменитых певцов, руководителей разных джазов. Но брал и Сандлера, хоть тот и просто работяга с консервного — тогда местные почти все там работали. Папа со всеми умел общий язык найти...

*Ему бы в этих старушечьих апартаментах вряд ли понравилось.*

— Все обожали его, и он всем тоже добро делал. По завещанию он, конечно, почти все мне оставил, а некоторых послушать, так жена пусть как хочет перебивается...

*Вроде как те, в спортлагере, что играли в баскет, а мы смотрели сквозь проволочную сетку, задирали их. Они оглядывались, кой-что нам тоже обещали в таком же духе.*

– Мне повезло, я знаю. А моя мать сначала была против. Папин возраст, да все такое. Но Папа умел по-настоящему ухаживать, если оно того стоило. И вишь ты, как получилось. Почти что тридцать лет полного счастья...

*Охрана выходила из себя. Гоняли ребят, срывали на них зло, потому что с нами-то что сделаешь – все равно смотрим, и слюнки текут, фанатки этакие, а у них футболки насквозь мокрые от пота.*

– Ни он, ни я ни разу на сторону и не глянули. Но уж отель на себе тащить – это, я тебе скажу, работенка. А все было на мне. И ни на кого нельзя положиться. Ни на кого...

*Шестнадцать минимум, может, больше. Тоже в баскет гоняет. У меня глаз верный.*

– Да ты слушаешь меня, нет? Я сообщаю тебе важную информацию. Ты должна будешь все это записать.

– Я запомню.

Через полчаса Джуниор вновь натянула кожаную куртку. Когда Роумен увидел ее на подъездной дорожке, подумал, должно быть, то же, что и его дед, и помимо воли расплылся в ухмылке.

Джуниор это понравилось. Однако неожиданно у него, совсем как у тех мальчишек из лагеря, опустились плечи – изобразил безразличие: я, мол, тут ни при чем, отошьешь, так и ладно, а может, все-таки подрулить невзначай? Времени на то, чтобы выбрать тактику, Джуниор ему не дала.

– Только не надо мне рассказывать, что ты этих старух тоже пялишь.

Тоже!

Роумен смутился, но неловкость смыло волной гордости. То есть она считает, что я на это дело способен. Что оприходую любую, кого захочу – и по две, Тео, и по две!

– Они тебе так сказали?

– Нет. Но втихаря об этом подумывают, зуб даю.

– А ты им родственница?

– Еще чего. Я тут теперь работаю.

– И чего делаешь?

– Да так, всякое разное.

– Это что значит "разное"? Например – что?

А Джуниор приспичило Божий дар пустить в ход. Посмотрела сперва на лопату в его руках. Потом на его ширинку и наконец взглянула в лицо.

– У них там есть такие комнаты, куда они ни в жисть не заходят. А там диваны и все-все.

– Да ну?

*Ах, молодежь, господи! Интересно, они по-прежнему называют это влюбленностью? – этот магический топор, что с маху отсекает весь мир, так что двое стоят одни и трепещут. Но как бы они его ни называли, это неопределимое нечто готово перешагнуть через что угодно, всегда берет себе самый удобный стул, самый сладкий кусок, правит на земле, по которой ходит – будь то дворцовый парк или гнилое болото, – и себялюбием красуется. Когда я еще не дошла до этой своей бубнежки, случки я видала всевозможные. Чаще всего то, что планировалось на сезон, длится две ночи. Некоторые, особо рисковые, этакие любители осед-*

*лать волну, похваляются исключительным правом называть свои потуги настоящим, высоким именем, пусть даже в их кильватерной струе все тонут. Люди без воображения кормят это чудище сексом – пародией на любовь. Они не знают, как это бывает по-другому, лучше, когда никто ничего не теряет, а все только обогащаются. Но чтобы так любить – тихо и без вывертов, – необходимо наличие интеллекта. Но этот мир театрален донельзя, и, может быть, поэтому многие норовят его переиграть, перетеатралить, все свои чувства выставить напоказ, только чтобы доказать, дескать, они тоже способны что-то выдумать: то есть всякую картинную хрень вроде схваток не на жизнь, а на смерть, измен и прочего поджигания простынь. Разумеется, все впустую. Этот мир каждый раз их переигрывает. Пока они рисуются, выпендриваются, копаются в чужих могилах, сами себя вздергивают на крест и с безумным видом бегают по улицам, вишни потихоньку из зеленых делаются красными, устрицы болеют жемчугом, а дети ртом ловят дождевые капли – должны вроде быть холодными, а они теплые; теплые и отзывают ананасом, но вот они все тяжелее, чаще, и уже такие частые и полновесные, что никак не получается ловить по одной. Плохие пловцы поворачивают к берегу, а хорошие ждут серебряного ветвления молнии. Набегают бутылочного цвета тучи, сдвигая дождь в глубь суши, где пальмы притворяются, будто потрясены ветром. Женщины бегут кто куда, прикрывая волосы, а мужчины к ним пригибаются, обнимая за плечи и прижимая к груди. В конце концов я тоже бегу. Я говорю "в конце концов", потому что я люблю хорошую грозу. Я именно из тех людей на полубаке, что, раскинув руки, пытаются лечь на ветер, когда вахтенный уже орет в мегафон: "Всем вниз!"*

*Может быть, это потому, что в такую погоду я родилась. Утром, которое и рыбаки и береговые птицы сразу признали зловещим. Мать, как тряпка вялая в ожидании запаздывающего ребенка, вдруг, говорит, вскинулась, оживилась и решила пойти развесить постиранное. Только потом сообразила, что это она опьянела от чистого кислорода, которого всегда много перед грозой. Развесив полкорзины, заметила, что день стал черным, а я начала бить ногами. Она позвала моего отца, и вдвоем они меня вынули прямо под дождь. Можно сказать, что я как-то отмечена этим переходом из лонных вод прямо в ливень. Примечательно, кстати, что, когда я первый раз увидела мистера Коузи, он стоял в воде, прямо в море, и свою жену Джулию держал на руках. Мне было пять лет, ему двадцать четыре, и ничего подобного я никогда прежде не видала. Она покоилась в его объятиях, закрыв глаза, качая головой; светло-голубой купальный костюм раздувался и опадал, когда набегающие волны умножали силу ее мужа. Она подняла руку, тронула его за плечо. Он ее крепче прижал к груди и вынес на берег. Тогда мне показалось, что слезы у меня выступили от солнца, а вовсе не из-за всех этих пенорожденных нежностей. Но девять лет спустя, когда я услышала, что ему нужна прислуга в доме, я всю дорогу до его крыльца бежала бегом.*

*То, что осталось от уличной вывески, выглядит как "Каф..ерий Масейо", но на самом деле эта забегаловка – моя. То есть моя-то моя, но... не важно. Для Билла Коузи я кухарила уже чуть ли не полста лет, но тут он умер, и не завяли еще похоронные цветы у него на могиле, как к его женщинам я развернулась задом. Что могла, я для них сделала; настала пора уходить. Чтобы не сдохнуть с голоду, стала брать на дом постирушку. Но клиенты, которые то и дело приходили, уходили, стали раздражать меня, и я сдалась на уговоры Масейо. Он приобрел к тому времени кое-какую известность своей жареной рыбой (снаружи черной, будто сажа, и хрустящей, а внутри нежной, как слоеное пирожное), но*

*вот гарниры у него неизменно навевали тоску. А то, что я делаю с окрой[1], со сладким картофелем, какой я готовлю хопинджон[2] – да что угодно назовите, – может заставить все нынешнее поколение невест на выданье со стыда сгореть, хотя они теперь в этом смысле все равно что мертвые – сраму не имут. Когда-то в каждом приличном доме был серьезный повар – который поджаривал хлеб на огне, а не в алюминиевой коробке; кто не машиной, а ложкой вбивал воздух в тесто-болтушку и знал секрет коричного хлеба. Теперь-то, что ж, это все ушло. Люди дожидаются Рождества или Благодарения, чтобы отдать должное кухне. Иначе им пришлось бы всем собраться в "Каф..ерии Масейо" и молиться, чтобы я не свалилась замертво у плиты. Прежде я на работу ходила всю дорогу пешком, но потом у меня начали опухать ноги, и пришлось уволиться. Несколько недель я лежала целыми днями у телевизора, но здоровье не поправлялось, и тогда Масейо постучался в дверь и сказал, что не может больше мириться у себя с пустыми столиками. Дескать, если я еще раз приду к нему на выручку, он с радостью будет каждый день возить меня на машине из бухты Дальней в Силк и обратно. Я объяснила ему, что дело не только в ходьбе – мне и стоять-то трудно. Но он и это продумал. Раздобыл для меня высокое кресло на колесиках, чтобы я могла кататься от плиты к разделочному столу и к раковине. С ногами у меня потом стало получше, но я так привыкла к колесному транспорту, что больше не могу от этого кресла отказаться.*

*Все те, кто помнил, как меня по-настоящему зовут, либо умерли, либо уехали, а теперь никто и не спросит. Даже дети, у которых времени прорва, ведут себя со мной так, будто я уже и не живая вовсе, и вопросов обо мне не задают. Одни думают, что мое имя Луиза или Люсиль, потому что видели, как я, взяв карандаш администратора, расписываюсь за конверты с моей долей прибыли буквой Л. Другие, что-то где-то обо мне услышав, говорят, что Л. – это вместо Эл., а стало быть, я Элеонора или Эльвира. Все они ошибаются. Да и они уже давно не любопытствуют. Подобно тому как никто заведение ни "У Масейо" давно не называет, ни недостающие буквы в названии восполнить не пытается. Все знают, что есть такой "Каферий", ну и ладно, а я там, словно какой-нибудь особо чтимый посетитель, избалованный колесным транспортом, по-прежнему катаюсь себе и катаюсь – можно сказать, как сыр в масле.*

*Очень наше заведение нравится девушкам. Попивая охлажденный чай с гвоздикой, они наперебой с подружками только и повторяют, что он сказал, описывают, что он сделал, и пытаются угадать, что же он все-таки при этом имел в виду. К примеру:*

Он не звонил три дня, я позвонила, а он и говорит, давай, мол, прямо сейчас встретимся. Вот видишь? Он бы не поступил так, если бы не хотел быть с тобой. Да ну-ууу... В общем, когда я пришла, мы долго-долго гуляли, и в первый раз он по-настоящему меня слушал. Конечно. Отчего ж нет? Что ему надо было, так это всего лишь дождаться, когда ты заткнешься, чтобы он мог тоже языком почесать. А я думала, он встречается с этой, как ее? Да нет, они расстались. Просил меня к нему совсем перебраться. Да конечно-конечно, но сперва, милый мой, надо расписаться. Ах, никто кроме него мне не нужен. Ты точно в этом уверена? Но уж никаких общих счетов в банке, слышишь? Рыбку-то будешь, нет?

1. Окра (бамия, гибискус съедобный) – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых.
2. Жаркое с горохом и рисом, обычно готовится на новогодний ужин.

*Глупые. Зато в часы обеда придают пикантность обстановке в заведении и улучшают настроение разочарованных жизнью мужчин за соседними столиками – у мужиков всегда ушки на макушке.*

*Никаких официанток у нас нет и не было в помине. Готовые блюда мы выставляем на лотки с подогревом – набирай себе на поднос и иди к кассе, где стоимость подсчитывает Масейо, либо его жена, или кто-нибудь из его полудурков сыновей. Потом можешь есть или взять с собой.*

*Девушка без белья – она себя называет Джуниор – заходит довольно часто. Когда я в первый раз ее увидела, подумала, что она из банды мотоциклистов. В сапогах. В коже. Лохматая. Масейо тоже от нее не мог глаз отвести – даже кофе едва мимо чашки не налил. Второй раз она пришла в воскресенье, чуть раньше, чем кончается служба в церкви. Вдоль стойки с горячим она прошла, глядя на тарелки такими глазами, как в телеобращении "Помоги этому ребенку". Я отдыхала у раковины, дула в чашку с бульоном, собираясь окунуть туда сухарик. Отметила про себя, как она шла: точь-в-точь будто пантера какая-то. Буйная грива исчезла. Теперь волосы у нее были заплетены в тысячу длинных косичек, и у каждой на кончике что-то блестящее. Ногти выкрашены синим, и помада на губах темная, цвета ежевики. Все еще в кожаной куртке, а юбка на сей раз длинная, но такая, что сквозь нее все видно – этакое цветастое ничто, овевающее колени. Все ее причинное место напоказ среди красных георгинов и травяных каких-то метелок.*

*Пока мисс Джуниор выбирала, один из обормотов сыновей Масейо стоял, подпирал стенку. Рта не раскрыл, ни "добрый день" не сказал, ни "вам помочь?" – ничего из всех тех любезностей, которыми положено встречать посетителей. А я студила свой бульон и ждала, кто из них первый начнет вести себя по-человечески.*

*Оказалось, она.*

*Судя по ее заказу, обедать она собиралась с другом или с подругой, потому что Кристина вернулась завзятой поварихой, так что вряд ли девица все это понесет Гиде. Как бы то ни было, она заказала три гарнира, два мяса, один рисовый пудинг и кусок шоколадного торта. Сын Масейо – Тео его зовут, – ухмыляясь еще поганее обычного, отвалился от стены и пошел все это накладывать в пенопластовые тарелки. Маринованный помидор перевалился у него через ребро, разгораживающее отдельные выемки, и выпачкал картофельный салат красным; потом малый свалил с вилки жареное мясо поверх цыпленка под соусом. Меня так разозлило это его неуважение к еде, что сухарик я уронила в бульон и там он распался в хлам.*

*Она не отрывала глаз от лотков. Ни разу не посмотрела в мерзкую рожу Тео, пока он не отсчитал ей сдачу. Потом глянула прямо ему в глаза и говорит: "А я знаю, зачем тебе групповуха. Один на один небось пиписька не встает?"*

*Тео выплюнул ей вслед грязное ругательство, да попусту: кроме меня его никто не услышал. И после того как давно уже захлопнулась дверь, он все повторял то же слово. Что показательно. Слов молодежь не тратит потому, что их запас у нее ограничен.*

*Когда вошел Масейо, чтобы сменить его на посту, пока из посетителей, что набегут из церкви, не начала собираться очередь, сидевший за кассовым аппаратом Тео уже весь пребывал в мечтаньях – на воображаемой площадке выполнял дриблинг и всякие финты с воображаемым мячом. Как будто университет Орландо[1] уже зачислил его в команду, по совместительству разрешив рекламиро-*

1. Филиал Государственного университета штата Флорида.

*вать овсянку "Уитиз" компании Дженерал Миллз[1]. Неплохой способ отделаться от стыда. Во всяком случае быстрый. А кому и жизни не хватает.*

*Да, я о девице говорила, о Джуниор. Что-то в ней напомнило мне одну местную женщину. По имени Каллистия. Ну то есть во времена ее молодости, конечно, хотя сомневаюсь, чтобы Джуниор или кто бы то ни было из современных прошмандовок могла с ней сравниться. С ней мистер Коузи тоже был знаком, но если б вы его спросили, он не признался бы. Мне бы признался. Мне мистер Коузи не лгал никогда. Но дело не в этом. Его первую жену я знала лучше него. Я знала, как он обожал ее, и знала, как изменилось ее мнение о нем, когда она уяснила, откуда его деньги. Сказки для соседей – это одно, а в действительности его отец, которым он так хвастал, заработал стартовый капитал будучи стукачом, агентом-информатором властей. Из тех, на кого может рассчитывать полиция, когда надо узнать, где прячется нужный им цветной парнишка, кто продает выпивку, кто на какую собственность положил глаз, что говорили на церковном собрании, кто гнал волну перед выборами или собирал деньги на школу – всякие такие вещи, немаловажные по меркам южных штатов. Ему хорошо платили, предупреждали, если надо, об опасности и пятьдесят пять лет всячески продвигали, а он, Дэниел Роберт Коузи, всех держал в поле зрения своих мертвенных злых глаз. Говорили, что только ради ощущения власти, потому что радости он от этого не получал, а деньги, которые платили за то, что он у белых на побегушках, не принесли покоя ни ему, ни его семье. Белые называли его Дэнни-бой. Но неграм его инициалы ДРК послужили поводом называть его тем именем, под которым он и был всем известен: Дарк[2]. Деньги он обожал – как бумажные, так и мелочь, трясся над каждым пенни, не покупал сыну справных ботинок, а жене и дочерям пристойных платьев, пока не умер, оставив 114 000 презренных долларов наследства. Сын решил получить от своей доли удовольствие. Не то чтобы выкинуть совсем, но потратить на вещи, которые Дарк не одобрял: на приятное времяпрепровождение, на хорошую одежду, еду, музыку и танцы до восхода солнца в отеле, специально для всего этого построенном. Отца боялись; сын стал лучом света. Отцу платили полицейские; сын сам платил полицейским. За что отец наказывал, то сын поощрял. Что, отец скряга? А у сына легко признанять. Но щедрость не растопила лед в Джулии. Ее родителями были фермеры, у которых акр за акром отбирали землю как белые землевладельцы, так и злокозненные негры. Ее всю сковало, когда она поняла, какой кровью пропитаны деньги мужа. Но долго мучиться стыдом ей не пришлось. Родив, она двенадцать лет ждала, отдохнет ли природа на ее сыне или произведет все же что-нибудь этакое. Не знаю, то ли она удовлетворила свой интерес, то ли утратила, но последним ее шепотом было: "Ох, неужто папочка?"*

# 4
# *Благодетель*

Опускаясь в воду с шампунем, Гида зависла, привычно уцепившись за края ванны большими пальцами. Встав на колени, развернулась, села и посмотрела, доходит ли сиреневая пена до плеч.

1. Участие в кампании по прославлению этой овсянки в конце 1950-х стало вершиной карьеры знаменитого американского прыгуна с шестом Боба Ричардса (р. 1926). Ричардс был рукоположенным священником, спортивные журналисты называли его "прыгающим викарием".
2. Темный (*англ.*).

Так продолжаться больше не может, думала она. Когда-нибудь я утону — поскользнусь и упаду, а чтобы выбраться, рукам не хватит силы.

Ну есть, правда, какая-то надежда, что вещи, которые Джуниор якобы готова делать для хозяйки: "Хотите, чтоб я причесала вас? — запросто! Чтоб помыла в ванне? — так помою же!.." — она и впрямь будет делать, что это не пустые посулы ретивой соискательницы места. Попробую-ка я, решила Гида, ее как парикмахершу, а уж потом попрошу помочь с мытьем в ванне. С июля она все не могла собраться с силами, чтобы взять флакон краски да убрать наконец эту серебристую полоску у корней волос, затопить ее "темным каштаном". Интересно, часто думала она, как же так вышло: я никогда не брала в руки краба, не чистила ни лангустов, ни мидии, а руки в результате изуродованы хуже, чем у рабочих, которые этим занимались всю жизнь. Кремы, алоэ, "проктеры и гэмблы"[1] помогали слабо, и требовались регулярные ванны, чтобы помешать мучительному превращению той, что никогда не мучила морских животных, самой в подобие такового. Стало быть, решено: первые два задания Джуниор будут покрасить ей волосы и помочь с ванной — в том случае, конечно, если удастся достаточно надолго отвлечь ее внимание от Роумена.

Что сказала мальчишке Джуниор, слышать было не обязательно. Наблюдая за физиономией паренька из окна спальни, Гида подумала, что девчонка если и старалась понизить голос, то зря, могла бы и криком кричать. Его ухмылка, его глаза все выдавали. Скоро эта парочка сплетется воедино прямо здесь, у хозяйки под носом. Под одеялом в гараже? Нет. Джуниор храбрая девочка. Она тайком проведет его в свою спальню или в какую-нибудь другую комнату. Кристине это может не понравиться. А может, ей на это и плевать. Если в ней возгорится ненависть или ревность, она любого разорвет в куски. И если то, что говорят о ее прошлой помоечной жизни, правда, сделает это еще и с удовольствием. Никто не знает, куда эта сероглазая кошка прыгнет. В свою девятую жизнь[2], дай-то господи. Подумав, Гида решила, что оно и к лучшему, пусть эта подростковая любовь подержит девчонку на привязи, когда та начнет понимать, что красть не получится. Довольно уже и фокусов Кристины, которая деньги, выделяемые на хозяйство, воровски спускает на адвоката. А Роумен — ну пообжимается в уголке с этой Джун да и, глядишь, не такой зажатый станет. Это поможет ему выйти из-под каблука Вайды. Такой прямо пай-мальчик. "Да, мэм. Нет, мэм. Нет, спасибо, мне засветло надо домой". Что Вайда с Сандлером ему о ней наговорили? Или дело в Кристине? Впрочем что бы они ни наболтали, кошмара нет, был бы кошмар, не разрешили бы ему здесь работать. Просто не становись там очень уж своим, — должно быть, сказала Вайда. Однако если у Роумена будут причины сюда стремиться, он может стать еще полезнее, чем сейчас. Как точно он выполнил все указания, когда она надиктовала ему объявление в "Харбор джорнал"! Блатное остроумие Джуниор научит его любить свободу; он отойдет наконец от Вайды и перестанет относиться ко всем взрослым, способным платить налоги, как к врагам, а к пожилым женщинам вдобавок и как к дурам.

1. "Проктер энд Гэмбл" — популярная компания по производству моющих средств и предметов личной гигиены. Первая спонсировала выпуск радиопостановки — "The Puddle Family" (1932), которую поэтому стали называть мыльной оперой.
2. Возможно, имеется в виду расхожее речение, согласно которому у кошки девять жизней.

Гида к такому отношению притерпелась. Даже привыкла им пользоваться. В данном случае воспользоваться надлежит не только тем, что отозвавшейся на объявление особе нужны деньги, это само собой — деньги и только деньги, — а еще и тем, что в ней удачно сочетаются алчность и легкомыслие. Порисовались вчера вечером друг перед дружкой, повыделывались, и пока "мисс Вивьенн с двумя н" пускала слюнки, готовясь прибрать к рукам все ценное в доме, Гида пускала слюнки, готовясь прибрать к рукам ее самое; пока девчонка примеривалась, как захватить контроль над ситуацией, Гида внушала ей, что у нее все и так уже схвачено. Всю жизнь Гиду недооценивали, и это особенно отточило ее интуицию. Понимал ее только Папа, потому и выбрал из всего множества претенденток. Он знал, что у нее нет ни образования, ни способностей, ни приличного воспитания, но все равно выбрал ее, тогда как вокруг все думали, что об нее можно вытирать ноги. И вот теперь она здесь, а где они? Мэй в земле лежит, Кристина без гроша в кармане возится на кухне, Л. обретается в бухте Дальней. Где им и место. Она со всеми с ними дралась и побеждала и до сих пор побеждает. Ее счет в банке жирней, чем когда-либо. Одна Вайда вполне пристойно устроила свою жизнь, но и это только благодаря Сандлеру, который никогда не высмеивал и не оскорблял жену Билла Коузи. Относился уважительно даже тогда, когда его собственная жена смотрела на нее сверху вниз. Онто и пришел к ней просить, чтобы взяла на работу внука. Вежливый. Остался пить кофе глясе. Вайда бы ни за что не стала. Не только потому, что не любит Гиду, но она еще и Кристину боится — и правильно делает. Мелькнувший на похоронах Коузи нож был вполне серьезным оружием, а в жуткой жизни, которая была у Кристины, говорят, случались драки, аресты, чьи-то сожженные машины и проституция. Что может прийти в голову человеку, который приспособился жить на помойке, нельзя и вообразить.

Чтобы никто не знал о схватках между нею и Кристиной, когда та окончательно вернулась, — это нереально. По большей части дрались словесно — спорили о том, что означает двойное "К" на столовом серебре: оно просто так сдвоено или это инициалы Кристины. Могло быть и так и этак, потому что Коузи заказал этот набор, когда первой жены уже не было, но и второй еще не намечалось. Ссорились по поводу дважды краденных колец и того, зачем, собственно, понадобилось совать их мертвецу в руку. Но случались и настоящие драки, до синяков — руками, ногами, зубами и метательными орудиями. По комплекции и боевому духу судя, Кристине следовало бы побеждать одной левой. Маленькая и со слабыми руками, Гида, казалось, обречена была на поражение в каждом раунде. Но результаты оказывались по меньшей мере ничейные. Сила Кристины полностью уравновешивалась быстротой Гиды, а своим предвидением и коварством, позволяющими отразить любой удар, спрятаться, уклониться, Гида доводила противницу до изнеможения. Раз в год — ну, иногда и два раза — они бились на кулаках, таскали друг дружку за волосы, боролись, кусались, обменивались пощечинами. До крови не доводили, не извинялись и не уведомляли заранее — хоть раз, но каждый год непременно сорвутся и, пыхтя, предпримут еще одно ритуальное побоище. С годами это прекратилось, перешло в ледяное молчание, да и другие придумались способы выплеснуть горечь. К этому необъявленному перемирию привел их как

возраст, так и понимание того, что уйти ни одна из них не может. Не исключено, что верней всего была такая, ни разу ими не озвученная, мысль: эти их схватки только и давали что повод подержать друг дружку в объятьях. Иначе-то нельзя — при таком их взаимном возмущении. Как и дружба, ненависть требует большего, нежели просто физическая близость; ей нужно творчество и тяжкие усилия самоотдачи. Первая схватка, прерванная в тысяча девятьсот семьдесят первом году, обозначила обоюдное желание терзать и мучить друг друга. Началось с того, что Кристина выкрала у Гиды из стола драгоценности, когда-то выигранные Папой в карты, — какой-то барабанщик, к которому у полиции имелись претензии, предложил, а Папа согласился вместо денег принять бумажный пакет с обручальными кольцами. Теми самыми, которые Кристина потом будто бы пыталась вложить Папе в руку в гробу. А через четыре года вломилась к Гиде в дом с полиэтиленовым уол-мартовским пакетом в руке, пальцы которой были унизаны как раз этой самой коллекцией надежд других женщин: сказала, что имеет право жить там, где сможет заботиться о Мэй, своей больной матери — той самой матери, над которой она годами издевалась, когда вообще брала на себя труд о ней вспомнить. Прерванная битва тут же разразилась вновь и с перерывами продолжалась десятилетие. Затем пошли поиски более затейливых способов причинения боли — тут пришлось обратиться к информации личного характера, к тем воспоминаниям, что остались у них от детства. Каждая считала себя главной хранительницей. Кристина — потому что была здоровой и крепкой, могла водить машину, выходить по делам и вести хозяйство. Однако Гида знала, что все равно она главная, она побеждает, и не только потому, что деньги у нее, но и потому, что она обладает тем, в чем все кроме Папы ей отказывали, — умом. Она умнее этой балованной девчонки, испорченной дурным образованием в частной школе, свихнувшейся на мужиках, не приспособленной к реальной работе, да просто слишком ленивой, чтобы что-то делать полезное; этой паразитки, кормившейся за счет мужчин, пока они не выкинули ее на свалку, отправив домой кусать руку, которую ей следовало бы лизать.

Гида была уверена, что знает Кристину лучше, чем та сама себя. И несмотря на то, что с Джуниор знакома всего полсуток, ее тоже знает — вот как сейчас, например, знает, о чем эта шлюшонка думает: как обдурить артритную старуху, использовать ее для удовлетворения своих тайных страстишек. О которых Гида тоже все знает — о тех страстях, что могут у взрослых людей вышибать из глаз слезы ярости. Как, например, у Мэй, когда до той дошло, на ком свекор женится. Да и не только у взрослых. С Кристиной было то же самое, когда выяснилось, что ее лучшая подружка — избранница дедушки. Одна мысль о том, что себе в невесты он выбрал деревенскую девчонку, их обеих — маму и дочку — повергала в безумие. Девчонку, у которой не было ни ночной рубашки, ни купальника. Девчонку, которая ела первое и второе из одной тарелки. Просто не знала, что для супа предназначены одни тарелки, а для жаркого — другие. Которая спала на полу, а по субботам мылась в корыте с водой, мутной после ее сестер. Которой, видимо, по гроб жизни не избавиться от рыбной вони консервного завода. Ту, в чьей семье газеты использовали не для чтения, а для уборной. Ту, что не умела составить правильную фразу; знала кое-какие печатные буквы, но не умела писать.

Да ведь ее такую придется всю жизнь на помочах водить! Папа защищал ее, но он не все время был рядом, да и не везде, где она могла подвергнуться нападкам, потому что обидеть ее норовили не только Мэй и Кристина, как однажды вечером выяснилось. От полуграмотного жизнь требует каких-то других талантов — так Гида обладала безупречной памятью и, подобно большинству людей не читающих, легко справлялась с цифирью. Запоминала не только то, сколько чаек слетелось полакомиться медузой, но и то, каков был рисунок полета каждой, когда их спугнули. Что такое деньги, она постигла в совершенстве. Вдобавок слух у нее был острый и точный, как у слепого.

Стало быть, вечер. Жарило так, что вот-вот, казалось, заскворчит. Она сидела в беседке, ела легкий ланч. Салат из зелени, вода со льдом. В тридцати ярдах, в тени веранды, развалясь, сидели несколько женщин, попивали ромовый пунш. Две были актрисами (одна как раз пробовалась на роль в "Анне Лукасте"[1]); две — певицами; а еще одна училась вместе с Кэтрин Данхэм[2]. Разговаривали негромко, но Гида слышала каждое слово.

Как он мог жениться на ней? Да для защиты. От чего? От других женщин. Н-ну, не думаю. Бегает на сторону? Возможно. Вы в своем уме? — конечно бегает! А ведь недурна. И фигурка хоть куда. Хоть куда — не то слово, могла бы и в "Коттон-клаб"[3] наняться. Вот только с цветом кожи... Потом, там ведь пришлось бы улыбаться — хотя бы изредка. Да и волосы... ей надо ими заняться. Ну вот, при мне вы будете говорить про волосы! Но зачем, зачем он связался с ней? Ума не приложу. Общаться с ней, доложу я вам... В каком смысле? Не знаю, какая-то она деревянная. (Продолжительный смех.) То есть как это? Ну ты ж понимаешь, только что с дерева слезла. (Придушенный смешок.)

Пока этот разговор длился, по стенке стакана Гиды пробежали четыре извилистых ручейка; крадучись, проложили следы на запотевшем стекле. Гвоздичный перец округлил глаза в глазницах оливок. Лежащий на кружочке лука ломтик помидора изобразил несчастную улыбку, такую жалкую, что не забывается до сих пор.

Папа настоял, чтобы она училась управлять отелем, и она училась, несмотря на смешки за спиной и саботаж Мэй и Кристины. Те так и дымились, исходя возмущением, вновь и вновь загорались им — от пламенного сияния, которое эти двое излучали за завтраком, и от их предвкушающей накаленности за ужином. Представляли себе ее и Папу в постели, и это заставляло их изобретать все новые и все большие пакости. Папа выписал подвенечное платье из Техаса, и уже над ним, над этим платьем, загремела первая битва войны. Красивое и дорогое, оно оказалось, мягко говоря, великовато. Собирались ушивать, Л. воткнула, где надо, булавки, но платье исчезло, и нашли его лишь к вечеру в день венчания, когда было уже поздно. Л. завернула рукава, на живую нитку приметала подогнутый подол, и все же Гиде нелегко было, спускаясь по лестнице в холл отеля, улыбаться, и улыбаться, и улыбаться в течение всей церемонии. Которую ее родители не увидели, потому

1. Голливудский фильм (1949) режиссера Оскара Гомолки (1898–1978).
2. Кэтрин Данхэм (р. 1910) — американская танцовщица, хореограф, антрополог. Известна новаторскими интерпретациями ритуальных и этнических танцев; работала почти исключительно с неграми.
3. Легендарный в 20–30-х гг. XX в. ночной клуб в Гарлеме (Нью-Йорк); в "Коттон-клабе" работали лучшие джазовые музыканты своего времени.

что, за исключением Солитюд и Райчес Монинг, никому из ее домашних не было разрешено присутствовать. Официально это объяснялось трауром, еще не снятым после смерти Джоя и Уэлкама. А истинной причиной была Мэй, которая сделала все, что было в ее силах, чтобы всех этих Джонсонов, всю их шатию размазать по стенке. Она возражала даже, чтобы Папа оплачивал похороны — бормотала всякую невнятицу вроде того, что, дескать, нечего было мальчишкам плавать в "нашей" части океана. Из родственников со стороны невесты одним только ее младшим сестрам разрешили затесаться в толпу, внимающую клятвам новобрачных. Период безосновательной злобности у Мэй и ее дочери сменился разносной критикой невесты: ее манеры говорить, ее чистоплотности, застольных манер и того, что Гида тысячи вещей не знает. Что такое индоссамент[1], как заправлять кровать, куда выкидывают гигиенические прокладки, как накрывают на стол, сколько денег нужно оставлять на хозяйство. Читать написанное от руки она, видимо, научилась — если это ее неумение с самого начала не было нарочно придуманной шуткой. В те дни ей симпатизировала Л. и многому ее научила, можно даже сказать, выручила, помогла приспособиться к той жизни, которую Папа подарил только ей, ей одной. Она никогда не справилась бы с плаванием в таких предательских водах, если бы Л. не служила ей руслом. В то время Гида не очень-то об этом задумывалась и щедрость мужа принимала как должное. Он уже заплатил за похороны ее братьев; сделал подарок матери и вызвал благодарную улыбку у отца. Она совершенно не понимала, сколь многие — и особенно из ее родни — только того и ждали, чтобы присосаться. Обойденные и униженные, ее родичи силились воспользоваться случаем, ухватить фарт, но так у них ничего и не вышло. Брачная церемония едва-едва подошла к концу, а они уже на нее навалились. С намеками: "Я слышал, у них есть вакансии, но чтобы взяли, надо иметь приличную обувь...", "Ты видела, какое платье Лола своей матери подарила?.." С просьбами: "Спроси его, может, он одолжит мне хоть сколько-нибудь до...", "Ты знаешь, я совершенно без денег после...", "Я все тебе верну, как только..." И чуть ли не с ножом к горлу: "Ну, ты должна и мне теперь...", "Что, и это все?", "Самой тебе все равно ж не надо, правда же?" К тому времени, когда им впрямую запретили появляться на территории отеля, Гиде было уже так стыдно, что возражать не хватило сил. Тут даже Солитюд с Райчес усомнились в ее верности клану. Приезжая к ним в гости в бухту Дальнюю, она подвергалась упрекам и обвинениям, а когда рассказывала Папе, почему у нее так припухли веки, он утешал и поддерживал ее безоговорочно. Кроме него ей никто не был нужен, и слава богу, потому что только он у нее и был.

Сидя по шею в сиреневой пене, Гида откинула голову на фарфоровый выгиб ванны. Вытянувшись, она поискала пальцем ноги цепочку, чтобы вынуть сливную пробку; подождала, пока сойдет вода. Если теперь она поскользнется и потеряет сознание, по крайней мере будет шанс прийти в себя не захлебнувшись.

Это глупо, да и опасно ведь, думала она, выбираясь из ванны. Так делать больше нельзя.

1. Передаточная надпись на обороте чека или векселя и т. п., удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу.

Уже с полотенцем на голове, сидя в мужнином красном парикмахерском кресле, она решила попросить — нет, приказать Джуниор, чтоб та отныне помогала ей залезать и вылезать из ванны. Пусть это неприятно, пусть не хочется, но придется. Тут дело не в утрате независимости и не в неловкости от испытующих взглядов упругой молодой девчонки на ее бедную дряблую наготу. Что Гиду мучило и заставляло колебаться, так это — вдруг она утратит память тела, вдруг потеряет когда-то впитанное кожей чувство удовольствия. От ее первой брачной ночи, например, проведенной в его объятиях среди волн. Сбежав украдкой от занудливых гостей, они скользнули через черный ход во тьму и бросились — он в смокинге, она в спадающем с плеч свадебном платье — по шуршащей береговой траве на шелковый песок. Разделись. Нет, никаких дефлораций. Никакой крови. Никаких вскриков — ни боли, ни дискомфорта. Этот мужчина просто гладит, нянчит, купает ее. Она этак выгнулась. А он был сзади и, положив ладони ей под коленки, раскрыл ее навстречу набегающей волне. Кожа может забыть все это в обществе дерзкой девчонки, чья плоть сплошь в собственных сексуальных воспоминаниях, как в татуировках. Причем из самых свежих, несомненно, те, что связаны с Роуменом. Интересно, где именно он у нее отпечатался? И в каком виде? У Джуниор, скорей всего, их было столько, что и клейма, поди, уже негде ставить. И эти клейма, пробы и всякие прочие отпечатки кружевной сеткой покрывают все ее тело, так что один узор от другого неотличим, как неотличимы один от другого ее мальчишки.

А вот происшедшее с Гидой написано красками, к которым первоначальная свежесть только и возвращается что в воде с пузырьками. Придется все-таки что-то придумать; нельзя, чтобы присутствие Джуниор стерло, сгубило то, что ее плоть впервые познала в морской пене.

Однажды некая маленькая девочка забрела далековато — туда, где широкая синь за мысом, и дальше, вдоль косо набегающих волн прибоя, и вот уже под ногами не грязь, а чистенький песочек. Надетая на ней мужская нижняя рубаха насквозь промокла от океанских брызг. А вот на красном одеяльце другая маленькая девочка с белыми бантиками в волосах — сидит, ест мороженое. Вода в море синяя-синяя. Поодаль группа смеющихся людей.

— Привет! Хочешь мороженого? — спросила девочка, протягивая ложку.

Они ели мороженое, в котором попадались кусочки персиков, но вот подошла улыбающаяся женщина и говорит:

— Ну все. Теперь уходи. Это частный пляж.

Потом, когда ее ноги уже месили грязь, она услышала, как девочка с мороженым кричит:

— Нет! Стой! Останься!

И вот огромная сверкающая кухня; полно взрослых людей, они готовят, болтают, гремят кастрюлями. Та, что сказала "а теперь иди", улыбается еще шире, а девочка с мороженым теперь и вовсе ее подружка.

Гида надела чистую ночную рубашку и старомодный шелковый халат. Села к туалетному столику, оглядела свое лицо в зеркале.

— Уходить? — спросила она свое отражение. — Или остаться?

Как могла она сделать и то и другое? Они пытались выгнать ее, согнать с песка в грязь, остановить, спрятав свадебное платье, но та, что

кричала "Стой!", вдруг исчезла, а сказавшую "Уходи" держали в сторонке. Избалованные до потери разума богатством щедрого мужчины, они ничему не научились или научились чересчур поздно. Даже теперь — ведь что могут о ней подумать? Что ее жизнь — маета глупой обленившейся старухи, целыми днями напролет листающей газеты, слушающей радио и принимающей ванну три раза в день. Они не могут понять, что для победы требуется больше чем одно лишь терпение, — тут надобно голову иметь. И в этой голове не укладывалось, что есть женщина, к которой твой муж бежит, едва только она его поманит. Женщина, чье имя он не выдавал даже во сне. О, моя деточка. Милая деточка. Да пусть себе стонет; пусть отправляется "на рыбалку" без наживки и без снастей. Против этого имелись противоядия. Но теперь-то у нее нет тех запасов времени.

Кристина это поняла и подхватилась, вдруг поехала — куда? Консультироваться с адвокатом. С одной из так называемых "новых черных", хитрюгой, проучившейся двадцать лет, чтобы, как надеется Кристина, обвести вокруг пальца старуху, в свое время взявшую верх над целым городом, — а что, ведь невестку свою победила, Кристину сбежать вынудила и вознеслась превыше. Уж всяко выше всех этих родственничков, попрошаек и предателей, которые, что бы она ни сделала, все равно за ее спиной блюют. Никуда не денешься, сколько Гида себя помнит, она всегда подозревала, что в ее присутствии многих начинает тошнить. По правде говоря, Папа был единственным, кто такого подозрения у нее не вызывал. С ним она ощущала себя в безопасности независимо от того, что он там бормотал во сне. И вопроса о том, что́ он хочет оставить ей после смерти, просто не существовало. Было завещание, не было — никто не поверит, чтобы он Кристину, которую с тысяча девятьсот сорок седьмого года в глаза не видел, предпочел собственной жене. Никто, кроме разве что черных девок-законниц, невесть что о себе возомнивших и презирающих женщин поколения Гиды, у которой, между прочим, в зубных пломбах больше деловой интуиции, чем эти образованные дурищи смогут когда-нибудь заиметь.

Поскольку ничего другого не было, накорябанные на меню наметки завещания, которые нашла Л., имели и имеют законную силу — при условии, если не будет найдено других, позднейших и противоречащих им записей. При условии. При условии. А предположим, что наоборот: будут найдены позднейшие записи, подтверждающие и уточняющие те, что были найдены ранее. Не то чтобы настоящее, нотариально заверенное завещание — такого не было, а если и было, то полоумная Мэй его припрятала, как зарыла когда-то в песке документы на недвижимость, — а какое-нибудь пусть хоть опять-таки меню, но чтобы относилось оно ко времени после тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года и чтобы там черным по белому милая сердцу покойного "деточка Коузи" называлась по имени: Гида Коузи. Если, набросав свои пожелания в пятьдесят восьмом, Папа подтвердит их на каком-нибудь более позднем меню, которое найдет Гида, никакой судья не удовлетворит иск Кристины.

Новизны эта мысль не содержала. Гида мечтала о таком чуде очень давно, еще с тысяча девятьсот семьдесят пятого года, когда Кристина, сверкая бриллиантами, вломилась в дом и стала качать права. Новизну — и даже с примесью практичного совета — содержала вспышка, что прошлым летом вдруг озарила память Гиды. Намазывая руки лосьоном,

пытаясь сгибать пальцы, разводить их в стороны, рассматривая знакомый шрам на тыльной стороне ладони, Гида словно вновь была на месте происшествия. Душная кухня, разделочный стол заставлен коробками. В них электронож, миксер "санбим", тостер от "Дженерал электрик", причем все новое. Л., ничего не объясняя, отказывалась эти картонки даже открывать, не говоря уже о том, чтобы использовать содержащееся в них оборудование. Когда это было — в шестьдесят четвертом? Шестьдесят пятом? Гида спорит с Л. В кухню заходит Мэй, на ней эта ее дурацкая армейская каска, в руках еще одна картонная коробка — большая, вроде тех, в которых зубную пасту или шампунь развозят по магазинам. При этом Мэй сама не своя от беспокойства, думает, что и отель, и все его обитатели в смертельной опасности. Будто бы городские негры, уже захватившие бухту Дальнюю, идут сюда, несут жидкость для зажигалок, спички, бутылки с "коктейлем Молотова"; кричат, науськивают местных, призывая сжечь дотла отель и все, относящееся к курорту Коузи, чтобы проклятые дяди томы, шерифовы прихвостни, предатели расы и враги своего народа лишились бизнеса. Папа в ответ говорил, что все эти крикуны представления не имеют, что такое настоящее предательство; а еще говорил, что Мэй было бы впору замуж за его отца, а не за его сына. Оснований у нее не было ни малейших, поскольку не было никаких попыток нападения, ни намека на угрозу, даже на неуважение, однако в мозгах у Мэй завелась гнильца, и ничего доказать ей было невозможно, вот взяла да и назначила себя единственным защитником всего курорта.

Когда-то она была просто одной из многих яростных поборниц того, чтобы чернокожие шли в бизнес, ратовала за отдельные школы для черных, за больницы с черными сестрами и врачами, за то, чтобы в собственности у цветных появились банки, чтобы они сами, овладев престижными профессиями, служили своей расе. Затем она обнаружила, что ее воззрения перестали, как встарь, считаться плодотворными и возвышающими расу, а стали сепаратистскими и "националистическими". Мягкий Букер Т. в ее лице словно превратился в радикального Малкольма Икса[1]. Она запуталась, стала нервничать, заикаться и сама себе противоречить. Тех, кто исповедовал более-менее похожие взгляды, она склоняла к согласию чуть не силой и без конца спорила с теми, кто не совсем понимал, какие могут быть танцы до упаду на морском курорте, когда взрывают детей в воскресных школах, а также при чем тут собственность и законы, когда целые районы горят в огне. После того как черное движение разрослось и в новостях косяком пошли похороны, марши протеста и всякого рода бесчинства, Мэй вконец зарапортовалась: предрекала массовые репрессии и совсем оторвалась от нормальных людей. Даже те гости, что соглашались с ней, начали сторониться и уже не слушали ее мрачные пророчества. Мятеж ей чудился в официантах, оружие — в руках у дворников. Первым публично пристыдил ее один басист. "Ай, женщина. Заткнулась бы ты к чертовой матери!" Это было сказано не в лицо, а как бы за спиной, но достаточно громко, чтобы она услыша-

1. Букер Талавер Вашингтон (1856—1915) — реформатор системы образования, идеолог негритянской буржуазии. Борьбу за гражданские права черных считал преждевременной. Малколм Икс (1925—1965), настоящее имя Малколм Литл — активист движения "Черные мусульмане", в 1964 г. основал собственную мусульманскую секту. Проповедовал идеологию "черного национализма".

ла. Другие гости тоже стали проявлять неуважение, а то и просто вставали и уходили, когда она пыталась присоединиться к их обществу.

Постепенно Мэй успокоилась, но убеждений не переменила. Бродила повсюду, убирая и пряча горючие предметы, — потому что со дня на день тут ожидается пожар, — керосин и не поймешь что. Если из гранатомета да в окно — это знаете что будет? А еще и в песке кругом мины закопаны. Ее охват был широк, прицел точен. Ходила дозором по пляжу и ставила растяжки у двери своей спальни. Прятала документы и булавки. Еще в пятьдесят пятом году, когда тело погибшего от побоев подростка наглядно показало, насколько распоясались белые[1], а слухи о бойкоте в Алабаме[2] вызвали первое предощущение сдвига пластов, Мэй поняла, что есть только одна крепость — их гостиница, — и закопала ее поглубже в песок. Десятью годами позже невоспитанная и горластая публика, которая посещала теперь отель, уже ни в грош ее не ставила; смотрела как на корявый пень. А когда волны черного террора по тихим окраинам покатились не хуже, чем по каменным каньонам промышленных центров, Мэй решила взять под свое крыло и дом на Монарх-стрит. Ни тут ни там она ни на что не влияла, ушла в подполье, замкнулась, стала делать запасы на черный день. Деньги и столовое серебро распихивала по мешкам с рисом "Анкл Бенс"; среди дорогих скатертей припрятывала туалетную бумагу и зубную пасту; в дуплах деревьев устроила пожарный запас нижнего белья; фотографии, сувениры, безделушки и всякий хлам она пихала в сумки и коробки и растаскивала по беличьим заначкам.

Пыхтя и сгибаясь под тяжестью трофеев, она входит в гостиничную кухню, где Гида выговаривает Л.: почему, дескать, не хотите открыть коробки, использовать механизацию и с ее помощью готовить больше блюд за меньшее время. Л. не подымает глаз, молча продолжает валять в муке куски курятины, обмазанные яичной болтушкой. Раскаленный жир брызгает со сковороды и — шлеп! — прямо на руку Гиде.

До недавнего времени все, что она помнила о том событии, — ожог. Тридцать лет спустя, умащивая руки лосьоном, она вспомнила еще кое-что. Как раз перед огненным плевком жира. Она остановила Мэй, проверила, что в коробке, увидела ненужные пакеты с оставшимися с прошлого Нового года салфетками для стаканов с коктейлями, пачки палочек для помешивания в стаканах, бумажные шляпы и стопку меню. Услышала слова Мэй: "Куда-то все это надо деть". В тот же вечер новые механизмы исчезли, чтобы много позже обнаружиться на чердаке — то был хотя и молчаливый, но окончательный вердикт Л. Да ведь ясно же: тот короб с хламом, что притащила Мэй, до сих пор там, на чердаке. Штук пятьдесят этих меню в нем. Меню продумывались еженедельно, ежедневно — или раз в месяц; все зависело от каприза Л., и каждое меню снабжалось датой, свидетельствующей о свежести еды, о том, что она на-

1. По-видимому, имеется в виду убийство в 1955 г. Эмметта Тилла, негритянского подростка 14 лет, который свистнул вслед белой женщине, и за это двое белых его забили до смерти. Дело Эмметта Тилла послужило одним из мощных толчков, повернувших общественное мнение в пользу движения за гражданские права.

2. 1 декабря 1955 года в г. Монтгомери (Алабама) черная активистка движения за гражданские права Роза Паркс была арестована за отказ уступить место белому пассажиру в автобусе. В ответ афроамериканцы организовали комитет и добились бойкота общественного транспорта. Это событие стало началом массового движения за десегрегацию, в результате которого на политическую арену вышел такой известный деятель, как Мартин Лютер Кинг (1929–1968).

стоящая — домашняя, с пылу с жару. Если жир брызнул ей на руку в шестьдесят четвертом или шестьдесят пятом... — ну конечно, ведь Мэй тогда, в ужасе от событий то ли в Миссисипи, то ли в Уотсе[1], совсем спятила, за ней надо было по пятам ходить, следить, чтобы не растаскивала нужные вещи... Тогда, значит, эти меню, что у нее были в коробе, написаны через семь лет после того самого, от тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, которое признано единственным законным завещанием Билла Коузи. Выходит, в том коробе просто залежи подлинных и нетронутых меню. А нужно-то всего одно. Одно меню, одна преступная душонка и одна молодая, твердая рука, умеющая бегло писать.

Ах, Мэй, Мэй! Годы коварства и интриг плюс десятилетия безумия в сумме дали нечаянный подарок, который и впрямь ведь может спасти положение. Если бы она была жива, это бы ее наверняка убило. Задолго до своей реальной смерти Мэй уже сделалась привидением из балаганного шоу, плавала по комнатам и словно бы даже колыхалась, мрела полупрозрачно; хоронясь за дверями, выжидала момент, чтобы спрятать очередной артефакт из той жизни, которой норовила лишить ее Великая Черная Революция. Впрочем, нынче она может покоиться в мире, потому что в семьдесят шестом году, то есть в тот год, когда она умерла, милая ее сердцу смертная казнь уже опять была в моде, так что Революцию она пережила. Хотя может-то может, но не покоится, поскольку и поныне ее призрак — нет-нет, не Революции, а этой дуры в каске и при кобуре — еще как жив и набирает силу.

Апельсиновый запах — вот с чем Кристина ожидала встретиться по дороге в Гавань, потому что с этой дороги трижды начинались ее попытки бегства и все три раза пахло апельсинами. Первый раз шла пешком, второй ехала на автобусе, и в обоих случаях посаженные вдоль дороги апельсиновые деревья осеняли ее побег легким цитрусовым ароматом. До боли знакомая, эта дорога служила даже стержневым мотивом сновидений. От самого глупого до страшного, пугающего, сюжет каждого запечатленного памятью сна разворачивался на этой дороге или где-то около, и шоссе № 12 если и не впрямую возникало перед глазами, то маячило, проступало фоном, готовое служить основой для кошмара или обеспечить вещественное обрамление бессвязной радости сна приятного. Теперь она в спешке давит на педаль газа, ощущая тревогу, явно отзывающую кошмаром, как, бывает, бежишь во сне, задыхаешься, и ни с места! — да и с ароматом неладно: мороз убил апельсиновые завязи вместе с их ароматом, и Кристина остро ощущает его отсутствие. Она опустила боковое стекло; подняла и снова опустила.

В представление Роумена о помывке машины явно не входило открывание дверей, и в результате снаружи "олдсмобиль" сверкает, а внутри пахнет карцером. Когда-то она за один только запах взяла да и ухайдакала автомобиль, который был классом куда выше этого. Пыталась уничтожить и его, и все, что он собою воплощал, но главным образом убить того белофиалочника, из-за которого все внутренности саднило и, как чужой, не слушался язык. Владелец, доктор Рио, так и не ознако-

1. Уотс — юго-западная окраина Лос-Анджелеса. Приобрела скандальную известность в августе 1965 г. из-за расовых волнений. Тысячи негров взбунтовались, жгли магазины, мародерствовали. Прежде чем порядок был восстановлен, погибли 34 человека, больше тысячи пострадали.

мился с повреждениями, потому что его новая девушка от машины спешно избавилась, чтобы ее вид не разбил ему сердце. В общем — шарах наотмашь молотком по лобовому стеклу! вжик-вжик бритвой пухлую кожу сидений! а потом еще и обрывками скотча (в том числе и праздничного, эл-гриновского, с повторяющейся надписью "Веселитесь и Развлекайтесь!") обклеила приборную доску и руль, но он об этом только слышал, воочию не видал, нет. И от этого было так же больно, как от того, что он ее бросил. Уничтожить "кадиллак" вообще нелегко, но если ты его раздолбала среди бела дня, да еще и будучи в бешенстве от запаха одеколона другой женщины, тогда это достижение, достойное того, чтобы виновник торжества увидел и оценил. А доктор Рио не испил уготованную ему чашу, новая пассия помешала (во всяком случае, так сказала Кристине квартирная хозяйка). "Это она напрасно, — сказала тогда Манила. — Новой девке не надо было оберегать его — пусть бы узнал, что может сделать брошенная любовница. Дала бы посмотреть, что бывает, когда избавишься от надоевшей женщины, глядишь, это помогло бы ей самой — свой собственный прокат в его объятиях превратить в долгосрочный лизинг".

В сполохах воспоминаний о докторе Рио сожаления о наперекосяк пошедшей жизни несколько померкли, как померкла и неловкость от того, что она наделала с его любимым "кадиллаком". Несмотря на постыдный конец их романа, три года, проведенные с ним — ну, не совсем с ним, скорее поблизости: развести его с женой оказалось совершенно невозможно, — о, эти три года были чудесны! Из кинофильмов она знала о горькой участи содержанок — как они в конце концов умирают или бывают наказаны появлением незаконных детей, которые тоже умирают. Подчас таких женщин тяжко гнетет вина, и они рыдают в подол обманутой жене. Но даже через двадцать лет после того, как она получила отставку у любителя свежатинки белофиалочника Рио, Кристина все равно чувствовала — и настаивала на этом, да, настаивала: годы, когда она была содержанкой, были лучшими в жизни! Когда она встретила доктора Рио, ей был сорок один, а ему шестьдесят, и это делало ее "молодой возлюбленной", а его "мужчиной в возрасте". Теперь, когда ей под семьдесят, эти слова не значат ничего. Он наверняка уже в могиле — а нет, так лежит, обложенный подушками, в постели с зажатой в кулаке сотней баксов, а какая-нибудь сидящая на вэлфере[1] малолетняя мамочка за эти деньги щекочет ему пятки, пока дневная сестра манипулирует кислородной подушкой. Чтобы придумать эту сцену, Кристине пришлось изрядно напрячь воображение, потому что в последний раз, когда она его видела, он был столь же обворожителен, как и в первый. Элегантно одетый, богатый и победительный джи-пи[2], веселый и темпераментный. Ее последний шанс устроить свою жизнь, отнятый вторым в мире по древности врагом — другой женщиной. Девушки из пансиона Манилы ей донесли потом, что доктор Рио каждой новой любовнице дарит одеколон — тот самый, один и тот же. А Кристина-то думала, ей одной — интимный дар внимательного поклонника. Ему нравится этот аромат? — хорошо, значит и ей понравится! Если бы она

1. Вэлфер — программа социальной помощи малоимущим, не обеспеченным социальным страхованием.
2. От General Practitioner (*англ.*) — врач общего профиля, как правило, семейный доктор.

осталась у Манилы чуть подольше или навещала время от времени ее проституток, она бы мигом поняла, как просты затасканные приемчики доктора Рио: разыгрывает из себя по уши влюбленного, соблазняет, предлагает дорогую квартиру на Трилейн-авеню и присылает очередной пассии на новоселье белые фиалки и драцену в горшке. В отличие от роз и других цветов, которые дарят срезанными, драцена должна означать законность и постоянство. А белые фиалки что? — а черт его знает. Может, он где-то про них вычитал — в каком-нибудь мужском журнале, все содержание которого сводится к тому, чтобы объяснять мужикам разницу между шампунем и кондиционером. В каком-нибудь мелованно-глянцевом, прилизанно-пошлом издании для переростков, замаскированных под мужчин, где учат технике соблазнения, будто нужна какая-то еще техника, если женщина для себя с мужчиной определилась. Да он мог бы послать ей хоть бутылку хлорки или засохшую новогоднюю елку — все равно бы она делала все, что он захочет, за те возможности, что с ним открывались. Полная свобода, забота и уход, беспечный секс, щедрые подарки. Путешествия (правда, короткие и тайные, а то как бы жена не пронюхала), вечеринки и пирушки, острые ощущения и вполне пристойное место в негласной иерархии некоторого слоя более-менее обеспеченных цветных, где доросли уже и до обмена партнерами, если у тех есть диплом хотя бы колледжа и все в порядке с финансами.

Шоссе № 12 было пусто, и от тревожной безотлагательности миссии Кристину отвлекали лишь разрозненные картинки прошлого. Какой был резкий переход от романтических круизов в каютах первого класса к проблемам с полицией, когда в машину вталкивают, нажав пятерней на темя; то она пирует на банкете Национальной ассоциации предпринимателей, то сидит, качается, изо всех сил обхватив себя руками, на проституточчьем матрасике, который надо каждый день проветривать, избавляясь от вони предыдущего клиента. Переезжая обратно к Маниле, чтобы всецело положиться на ее безотказную, хотя и недолговечную щедрость, Кристина спустила остатки белых фиалок — уже своих, на свои деньги купленных — в сортир, взяла полиэтиленовый пакет и запихала туда туфли, собственную спесь, кофточку с голой спиной и пузом, лифчик и бриджи до колен. Все, кроме бриллиантов и детской серебряной ложечки. Ценности спрятала под "молнией" в косметичке вместе с одолженными Манилой пятьюдесятью долларами. Девушки, обитавшие у Манилы, в большинстве случаев ее понимали; хотя, впрочем, не всегда. Зато всегда гордились собственной добротой — "Ой, ну девчонки, сердца-то у нас, а? — из чистого золота!" (из того, видимо, золота, которое им удавалось незаметно извлекать из чужих бумажников или вытягивать посредством мягкого шантажа) — и всегда оптимизм в них бил через край. Плюнь, советовали они Кристине, не тревожься: рано или поздно он дождется — ему еще оторвут кое-что лишнее; кроме того, ты по-прежнему конфетка хоть куда, а богатые сластены кругом так и ходят, так что где наша не пропадала. Оптимизм она одобряла, но утешения он не давал. Ну да, неделю за неделей она тянула резину, отказывалась мирно освободить квартиру, но зачем же так грубо вышвыривать? Подумать только, ей не дали взять с собой меха, замшевый плащ, кожаные штаны, льняные костюмы, туфли от Сен-Лорана... даже колпачок противозачаточный и то... Наше или не наше, но пропало многое, причем бесповоротно. В четырех шикар-

ных чемоданах, с которыми она ушла из дома в сорок седьмом, было все, что, по ее мнению, может когда-либо понадобиться в жизни. В семьдесят пятом уол-мартовский полиэтиленовый пакет содержал все, что у нее в этой жизни было. Принимая во внимание тот опыт, которым она всякий раз обогащалась, даже странно, что ее побеги из Силка с каждым разом становились все менее результативными. Первый, в тринадцать лет, был результатом вспышки на почве скандальности характера, но изжил себя за восемь часов; второй произошел в шестнадцать, то было настоящее, отчаянное бегство, которое, впрочем, окончилось столь же плачевно. В основе обеих эскапад лежала злость и желание нагадить, зато в тысяча девятьсот семьдесят первом году, в третий и последний раз, уход диктовался достаточно разумным стремлением избежать убийства, мысль о котором так и сверлила мозг. Ей приходилось покидать многие места, прежде казавшиеся манящими, — Харбор, Джексон, Графенвёр, Тампу, Уэйкросс, Бостон, Чаттанугу, — и переселения давались легко, пока доктор Рио не шуганул ее чуть не буквально под зад коленом, причем никаких веских причин для этого она, как ни доискивалась, не находила, кроме разве что желания приобрести свежий цветок драцены да впихнуть куклу помоложе в меха, которые, видимо, передаются у него по наследству от одной любовницы к другой. За сим последовал период глубокой задумчивости в пансионе Манилы (так названной в честь героических подвигов отца[1]). Там-то Кристина и выдумала способ, как превратить возвращение в Силк на взятые в долг деньги из постыдной капитуляции, во-первых, в акт исполнения дочернего долга (должна же она заботиться о больной матери!), а во-вторых, в благородный поход за справедливостью, сиречь за ее законной долей в наследстве Коузи.

Автобус, дорога домой — это запомнилось отрывочно; она то просыпалась, то мирно задремывала; морская соль и во сне продолжала щекотать ноздри. Но одно пробуждение было исключительно бурным: когда взгляду впервые за двадцать восемь лет открылся Силк, ярость взорвалась и ослепила ее. Аккуратные домики выстроились вдоль улиц, названных в честь то исторических персонажей, то пород деревьев, которые вырубили, чтобы сделать материалом стен и стропил. Заведение Масейо стояло на прежнем месте, через дорогу от церкви Агнца Божьего — не сдаваясь, мужественно держалось против новой котлетной закусочной "У Пэтти" на улице Принца Артура. И вот родной дом: вроде такой знакомый, но ты уезжаешь, а он продолжает меняться у тебя за спиной. Щедрые мазки маслом на холсте, который ты носила в голове, превращаются в потеки краски на стенах. Яркие, волшебно-живые соседи становятся туманными, контурными подобиями самих себя. Тот дом, что был гвоздем пришпилен к декорациям твоих мечтаний и кошмаров, вдруг от них отстегивается, и вот уже он не роскошный, а довольно потертый, но от этого становится еще более желанным, ибо то же, что случилось с ним, случилось и с тобой. Дом не съежился, это съежилась ты. Окна не перекосило — перекосило тебя. Значит, он стал еще более твоим, чем когда-либо.

Взгляд Гиды, долгий и холодный, мог значить что угодно, только не приглашение, поэтому Кристина силком прорвалась мимо нее в дверь.

1. Видимо, имеется в виду его участие в битве за Манилу во время Второй мировой войны.

После весьма кратких переговоров они пришли к некоему подобию соглашения, потому что Мэй была безнадежна, в доме грязь, у Гиды из-за артрита переставали действовать руки и никто во всем городе их обеих терпеть не мог. В результате окончившая частную школу хлопотала по дому, а не осилившая толком грамоту им правила. Проданная одним мужчиной билась с продавшейся другому. Какой же безумный накал отчаяния ей понадобился, чтобы вернуться, впереться и закрепиться в доме, владелица которого готова была сжечь его, лишь бы ее в нем не было! Однажды она и в самом деле подожгла кровать Кристины, причем именно с этой целью. Так что на этот раз для безопасности Кристина устроилась в маленькой квартирке рядом с кухней. Ее дыхание становилось чуть спокойнее лишь когда она видела бесполезные руки Гиды, но, зная, на что эта женщина способна, сдержать свое сердце, которое в присутствии Гиды начинало биться рвано и неровно, не могла. Нет никого хитрее и коварней; и мстительнее никого тоже нет. Так что дверь из кухни в свое жилище Кристина снабдила крепким замком, а ключ от него прятала.

Дорогу переползала черепаха, Кристина затормозила, но, взяв правее, чтобы объехать ее, наехала на другую, которая ползла следом за первой. Кристина остановила машину и посмотрела в зеркало заднего вида — левое, правое, внутрисалонное, — как она там, жива или нет? Беспомощно шевелит задранными кверху лапами или на дороге неподвижный треснувший панцирь? Руки дрожали. Ничего не увидев, Кристина вышла из машины и побежала по дороге назад. Мостовая пуста, апельсиновые деревья не шелохнутся. Нигде никакой черепахи. Она ей что, привиделась — эта вторая черепаха? Та, которую обогнали, мисс Претендентка на серебро, раздавленная колесом, съехавшим на обочину, чтобы спаслась ее более удачливая сестрица. Озирая дорогу, Кристина не задавалась вопросом, зачем ей это; не спрашивала себя, отчего она схватилась за сердце из-за какой-то черепахи, ползущей по шоссе № 12. Но тут на южной стороне дороги, куда направлялась первая черепаха, наметилось какое-то шевеление. Кристина медленно приблизилась и с облегчением обнаружила два поблескивающих зеленоватых купола, сдвигающихся в сторону деревьев. Колеса не задели мисс Серебряную, и пока водительница за рулем переживала и дергалась, та догнала свою шуструю подругу. Не в силах двинуться с места, Кристина следила за парочкой, пока черепахи не исчезли, и вернулась к автомобилю, только когда к нему сзади стала подползать еще одна. Когда она выползла с обочины на мостовую, автомобилистка улыбнулась: "У вас что там, в доме сортира нет?"

— Давай-ка разворачивайся, ты, засранка!

Она показала черепахе толстый воздетый палец и отъехала.

Нет, ну, адвокатесса, конечно, удивится — они с Кристиной на сегодня не договаривались, — но никуда не денется, примет. Сколько раз уже Кристина внаглую заявлялась в офис, однако не прогнали ни разу.

Ее смещение из положения балованной девчонки к позорной бездомности не было ни медленным, ни незаметным. Все всё знали. Ясно было, что возвращение домой в элегантном авто, за рулем которого богатый муж, ей не светит. Не вернется она и с дипломом, окруженная счастливыми детьми. Не будет никаких пленительных историй о том, как тяжело вести собственный бизнес да как мало остается времени на

себя — все пристают, всем от тебя постоянно что-то надо: властям, клиентам, пациентам, агентам или, в крайнем случае, тренерам. Короче, никакого обхода старых знакомых со скрыто-снисходительными речами, полными намеков на удовлетворенность и самореализацию личности. Она в полном дерьме. А как ославлена! Но она все-таки Коузи, а в Гавани эта фамилия на людей по-прежнему действует, заставляет широко раскрывать глаза. Уильям Коузи владел когда-то множеством домов, курортным отелем, двумя яхтами и умопомрачительным, мифическим количеством денег в банке; на него смотрели как на чудо, но из-за него же весь город вздрогнул, когда узнали, что он не оставил завещания. Лишь каракули на одном из меню тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года давали какие-то намеки, как-то выражали его вдохновленную парами виски волю. Которая состояла в следующем: 1) "Джулия 2" — доктору Ральфу, 2) запасы "Монтенегро коронас"[1] — шерифу Силку, 3) отель — жене малыша Билли, 4) дом на Монарх-стрит и "что там останется бренчать в кармане" — "моей милой деточке Коузи", 5) машину (ту, что с убирающимся верхом) — Л., 6) запонки и галстучные булавки — Милдэди... и так далее и тому подобное вплоть до коллекции грамзаписей, которые должны были отойти Немому Томми, "лучшему блюзовому гитаристу на этой грешной земле". В настроении наверняка приподнятом рюмкой неразбавленной "дикой индейки", вечерком, в компании подвыпивших приятелей он сидел и корябал промеж распоряжений о гарнирах и фирменных блюдах, о закусках — горячих и холодных — и прочих всяких десертах, как и что из его достояния распределить между теми, кто больше других ему потрафил. Через три года после его смерти кое-кого из тех выпивох нашли, и они подтвердили как само событие, так и подлинность почерка, не говоря уже о здравости ума, в котором мысли на эту тему, похоже, с тех пор больше ни разу не возникали. Вопросы дыбились, как гремучие змеи перед броском. Почему доктору Ральфу он отдает лучшую, самую новую яхту? Что делать с этими "коронас"? Шериф Бадди уже не первый год в могиле, значит их что — его сыну отдать? Так этот нынешний Босс Силк не курит, и потом — кто такой Милдэди? Лидер-вокал из "Перпл Тоунз", сказала Гида. Нет, бывший уполномоченный муниципалитета по Пятой улице Страттерз, не согласилась Мэй, но он в тюрьме, а заключенным можно ли вступать в наследство? Так это же просто пластинки, дура, и по имени он тебя не назвал, что делать будешь? а тебя вообще не упомянул! и зачем отдавать машину, хоть с верхом, хоть без верха, той, что не умеет водить да чтобы продать не надо ничего водить уметь да это вообще разве завещание это чистый анекдот! В результате все сосредоточились на булавках и запонках, сигарах и нынешней цене старых облигаций, ни разу не задав главного вопроса — кто такая эта "моя милая деточка Коузи"? Позиция Гиды была очень сильной — особенно в свете того, что мужа она называла Папой. Однако, поскольку одна лишь Кристина являлась в биологическом смысле его отпрыском — деткой или "деточкой", ее притязания на основании кровного родства не уступали таковым со стороны Гиды как вдовы. По крайней мере так думала она, и так же считала Мэй. Но многие годы отсутствия плюс то, что Кристина никогда в отеле не работала (разве что как-то летом на подхвате), ослаб-

1. Сорт сигар.

ляли ее позиции. С некоторым недоумением суд изучил засаленное меню, лишь чуть, быть может, задержавшись на салате из капусты с ананасом и "Злом Чили, Грозе Толстяков", выслушал троих адвокатов и в предварительном порядке (до представления более веских доказательств) присудил возникший в пьяном бреду титул "Милой Деточки Коузи" Гиде.



Однако присяжная поверенная Гвендолин Ист держалась другого мнения и не так давно сообщила Кристине, что основания для попытки отменить вердикт по апелляции у них есть. В любом случае, сказала она, пространство для маневра остается, даже если никаких свидетельств, дискредитирующих имеющееся, не будет найдено. Кристина годами искала такое новое свидетельство — в отеле, в доме, — но не находила ничего (кроме дребедени, указующей лишь на сумасшествие Мэй). А если что-нибудь и существует — то есть настоящее, вразумительно отпечатанное завещание, — то оно, скорей всего, у Гиды в одном из нескольких запертых секретеров за дверью спальни, тоже еженощно запираемой "от непрошеных гостей". Но теперь надо действовать быстро. Больше нельзя ждать, пока соперница умрет или, как минимум, утратит дееспособность после инсульта. Теперь в салате появился третий ингредиент. Гида наняла девку. Чтобы она, как пояснила эта Джуниор Вивьенн за завтраком, "помогала ей писать мемуары". Кристина даже поперхнулась кофе при мысли о том, как слово "писать" может относиться к особе, которая и в школу-то ходила в общей сложности едва ли пять лет. Джуниор, и та — да, точно, она тогда выскребала мякоть грейпфрута — ухмыльнулась, произнеся "мемуары" в точности так, как это получалось у неграмотной Гиды. "О своей семье", — повторила за Гидой Джуниор. О какой такой семье? — недоумевала Кристина. О том выводке прибрежных крыс, которые мылись в бочке и спали в одежде? Или она что — и на кровное родство с Коузи претендует, а не только на его землю?

Вновь и вновь пережевывая сказанное в тот раз девкой, Кристина ретировалась в свои покои — две комнатушки с ванной, примыкающие к кухне и предназначавшиеся под жилье для прислуги; когда-то в них жила Л. В отличие от прочих помещений, битком набитых воспоминаниями и всяким хламом, здесь была тишь, благодать и ничего лишнего. Кроме горшков с цветами, которые тут спасались от зверской погоды. Квартирка выглядела почти так же, как пятьдесят с чем-то лет назад, когда Кристина пряталась здесь у Л. под кроватью. Прыская водичкой на листья бегонии, Кристина поймала себя на том, что не способна решиться ни на какую новую линию поведения, поэтому сочла за благо посоветоваться с адвокатом. Она выждала, когда появится Роумен, а Джуниор будет вне поля зрения — где-то там, на третьем этаже. Перед тем, за завтраком, Джуниор, одетая в то, что ей одолжила Гида (да откуда бы еще мог взяться красный костюм невиданного со времен Корейской войны покроя), походила на бродяжку, принарядившуюся по-воскресному. За исключением сапог вся вчерашняя кожаная одежда исчезла вместе с запахом уличной жизни, который она притащила с собою в дом. Увидев Роумена, вяло слоняющегося на солнышке по двору — он якобы осматривал кусты вдоль проезда: насколько сильно их побило морозом, — Кристина подозвала его помочь с гаражными воротами, которые все еще клинило льдом, потом велела помыть машину. Когда он закончил, уехала, изо всех сил стараясь гнать побыстрее, чтобы успеть добраться до Гвендолин Ист прежде, чем адвокатская контора закроется.

С законом Кристина имела отношения достаточно разнообразные и видела наперед: этой Гвендолин верить нельзя. Может, у нее и есть опыт работы в суде, но вот про полицию, например, она явно ничего не знает — про их помощь или, наоборот, урон, который можно понести от полицейских задолго до того, как увидишь адвоката. Полицейские, которые уводили ее прочь от изувеченного "кадиллака", были вроде шерифа Бадди Силка — мягкие, уважительные, словно ее выходка была не только понятной, но извинительной. С ней обращались как с женщиной, напавшей не на автомобиль, а скорее на истязателя малолетних. Наручники застегнули спереди, а не сзади и толком не затянули. Не успела она сесть в патрульную машину, как сержант уже поднес ей зажженную сигарету и вынул из волос осколок разбитой фары. Ни один из полицейских не щипал ее за соски и ей не намекали, что лучший способ добиться от них непредвзятого в расовом смысле подхода — это отсосать. Единственный раз, когда она запросто могла убить (хорошо молоток в руки попал, а не нож с выкидным лезвием), они обращались с ней как с белой женщиной. Во время четырех предыдущих арестов — за подстрекательство к мятежу, драку в общественном месте, создание помех транспорту и сопротивление задержанию — у нее никакого оружия в руках не было, а обращались с ней как с отребьем.

Ведь это же подумать только: каждая серьезная любовь в ее жизни приводила прямиком в тюрьму. Первым был Эрни Холдер, она за него вышла в семнадцать — из-за него их обоих арестовали в подпольном игорном притоне. Потом Фрут — она его брошюрки распространяла; с ним она прожила дольше, чем со всеми остальными, но он стоил ей тридцати дней без всякой отсрочки: драка в общественном месте. Потом романы пошли косяком, но всякий раз кончались спектаклями, для которых в законе предусматривались стандартные названия: ругань означала оскорбление должностного лица; дергаешь руками, мешая надеть наручники, — сопротивление задержанию; бросишь сигарету чересчур близко к полицейскому автомобилю — попытка поджога; перебегаешь улицу, чтобы скрыться от моторизованного патруля, — создание помех движению транспорта. И, наконец, доктор Рио. "Кадиллак". Молоток. И тут задерживают мягко, почти что нехотя. Прождала час — никаких обвинений не предъявляют, ни тебе протоколов, ни допросов, вернули полиэтиленовый мешок и иди куда хочешь — вот те на!

И куда же ты хочешь? — пыталась сообразить она, тем временем унося ноги. Из собственной (его собственной) квартиры ее силком поволокли не сразу, сперва она вытребовала двухминутную передышку, чтобы пусть под их присмотром, но собрать все ж таки сумку. Нет-нет, сказали ей, одежда остается на месте....Что? — ладно, нижнее белье можешь забрать, косметичку тоже. (А там у нее ложка и двенадцать колец с бриллиантами — нанятые адвокатом громилы о них просто не знали.) Кроме колец, которые она и под страхом смерти не стала бы ни продавать, ни закладывать, у нее была опустевшая карточка "Мастеркард" и семь долларов с мелочью. И ощущение одиночества, какое бывает лет в двенадцать, когда волны у тебя на глазах смывают твой песчаный замок. Из ее близких друзей никто не рискнул прогневить доктора Рио; приятели не столь близкие над ее падением лишь посмеивались. Что делать, пошла к Маниле, попросилась. Ну хоть на несколько дней. Платить, правда, пока нечем. Просьба дикая, можно даже сказать бесты-

жая, — все-таки у Манилы не бордель, как иные ханжи порой ее приют называют. Она просто сдает комнаты нуждающимся женщинам. Отчаявшимся, брошенным или у кого временные трудности. А то, что эти женщины регулярно принимают посетителей или их временные трудности длятся годами, в это Манила не вдается.

В тысяча девятьсот сорок седьмом году Кристина подпадала под все три эти категории. Шофер автобуса, который направил ее на Секонд-стрит, 187 — "прямо против стекольной фабрики, там еще дверь такая розоватая", — либо не так ее понял, либо понял как раз слишком правильно. Она спросила, не знает ли он, где можно снять комнату, и он дал ей адрес Манилы. Несмотря на контраст между ее костюмом — белые перчатки, кокетливая маленькая шляпка, неброский жемчуг — и одежонками обитавших у Манилы девушек, степень ее безумия была им под стать. Из такси она вышла в девять тридцать утра. Дом как дом, вроде придраться не к чему. Тихо. Чистенько. При виде четырех чемоданов Манила улыбнулась и говорит: "Заходи". Рассказала, сколько платить, какие в доме правила, а также порядок приема посетителей. Только к обеду до Кристины дошло, что посетители — это значит клиенты.

Она удивилась, как мало это ее шокировало. Ее намерением было устроиться работать секретаршей или, еще лучше, куда-нибудь на фабрику, где после войны платили очень даже прилично. Еще не отойдя от несколько чрезмерного празднования ее шестнадцатилетия и окончания школы в Мэйпл-Вэлли, она очутилась в таком месте, которое ее мать назвала бы "вонючим борделем" (как во фразе "он что, собирается превратить весь дом в..."). Тогда она лишь усмехнулась. Нервически. Территория Каллистии, — подумала она, вспоминая виденную на пляже женщину со шрамом. В гостиную, где сидела Кристина, из столовой залы одна за другой невзначай просачивались девицы и, окидывая деланно равнодушными взглядами ее костюм, обменивались репликами; к ней не обращались. Это напомнило ей первый день в Мэйпл-Вэлли: подчеркнуто равнодушное, но въедливое обследование; прощупывание скрыто-враждебными вопросами. Когда же и здешние девицы занялись ею вплотную: "Ты откуда родом? А шляпка — ничего. И туфли тоже классные, где покупала? А причесончик-то!.." — сходство еще усилилось. Самые молоденькие принялись болтать о собственной внешности и о бойфрендах; те, что постарше, роняли о том и другом умудренные, горькие реплики. Как и в Мэйпл-Вэлли, у каждой своя роль; хозяйка за режиссера. Сбежала называется! Что Мэйпл-Вэлли, что отель Коузи, что бордель Манилы — и там и там гнетущая напряженность на почве секса, и там и там обиды, с ним же связанные; везде ограничение свободы, везде положение определяют деньги. И одно и то же в центре всех трех сообществ — мужчины и их насущные нужды. Этим вторым побегом, предпринятым из-за того, что оставаться дома становилось просто опасно, Кристина хотела добиться воплощения мечты о независимости и чтобы никто не лез в ее жизнь. Хотелось самой устанавливать правила, самой выбирать друзей, самой зарабатывать и распоряжаться деньгами. Уже хотя бы поэтому застревать у Манилы ей было никак нельзя, да только ведь легко сказать, а на дворе сороковые годы, да цветная, да образование ни для чего кроме замужества не годится, так что, когда Эрни Холдер в тот же вечер заприметил ее, ему достаточно было поманить пальцем. И прощай независимость, прощай жизнь, в которую

никому не позволено лезть. Из приюта Манилы он перетащил ее в организацию, где лезть в твою жизнь не только позволено, но и положено по уставу, где больше всего правил и меньше всего свободы выбора — в самое громоздкое и самое мужское сообщество в мире.



Рядовой первого класса Эрнест Холдер зашел к Маниле, чтобы купить немножко удовольствия, а нашел юную красавицу в матросском костюмчике и жемчугах, лежащую на диване с журналом "Лайф" в руках. Предложил вместе поужинать; Кристина согласилась. За десертом уже строили планы. Вожделение так непреложно, что кажется судьбой. И когда речь идет о постели — с него какой-то прок, конечно, есть. Но когда о жизни в браке — это же курам на смех!

Кристина выключила двигатель и, опустив противосолнечный козырек, посмотрелась во вделанное в него зеркальце. Это не было привычным ее движением, но когда она первый раз пришла в контору Гвендолин Ист, произошла одна встреча. Уже взялась было за ручку двери, собираясь войти в дом, как вдруг ее кто-то тронул за плечо. Какая-то старуха в бейсболке и теплом тренировочном костюме, ощерившись, глядела на нее снизу вверх.

— Вы ведь Кристина Коузи, я не ошиблась?

— Не ошиблись.

— Ну точно, я так и думала. Когда-то я работала у Коузи. Давно, давно это было.

— Правда?

— Я помню вас. Лучшие ножки на пляже. Ах, какой вы были красивой. Какая кожа, какие чудные волосы. А глаза, я смотрю, все те же, подумать только. Бог ты мой, какая вы были зажигалочка. Ничего, что я так о вас говорю?

— Да пожалуйста-пожалуйста, — сказала Кристина. — Уродки о красоте всё знают. Им иначе нельзя. — И пошла, не оглянувшись, так и не узнав, плюнула ей вслед старуха или усмехнулась.

Но теперь при каждом визите к адвокату она перед выходом из машины не может удержаться и не посмотреть в зеркальце. "Чудные волосы" нуждались в стрижке и укладке, причем какой угодно укладке. Кожа по-прежнему была почти без морщин, но "все те же" глаза смотрели затравленно, беспокойно и казались совершенно чужими.

Гвендолин Ист радости не выказала. Весь уклад регулярной работы в конторе — это порядок и заранее назначенные встречи. Приход Кристины был подобен взлому.

— Надо поторопиться, — сказала Кристина, придвигая стул ближе к столу. — Кое-что затевается.

— Простите? — наморщила лоб Гвендолин.

— Да с этим завещанием. Ее надо остановить.

Гвендолин подумала и решила, что потакать этой невеже, хоть она и клиентка, не стоит гонорара, который еще то ли будет, то ли нет.

— Послушайте, Кристина. Я вас поддерживаю, вы это знаете, может быть и судья поддержит. Но вы ведь там живете, за квартиру не платите и на полном обеспечении. То есть фактически можно сказать, что миссис Коузи вас содержит, хотя делать это она никоим образом не обязана. Так что выгоду от обладания собственностью вы и так получаете, как если бы ее вам присудили. Может, даже и лучше.

— О чем вы говорите? Если захочет, она в любой день запросто выставит меня на улицу.

— Я понимаю, — ответила Гвендолин, — но не выставляет уже двадцать лет. Как вы это расцениваете?

— Как рабство, вот как я это расцениваю.

— Да ну, Кристина, — поморщилась Гвендолин. — Все-таки вы не в доме престарелых и не на вэлфере...

— На вэлфере? Вэлфер! — Кристина первый раз прошептала это слово, второй раз почти выплюнула его. — Слушайте. Если она умрет, дом кто получит?

— Тот, на кого она укажет.

— Например, ее брат или племянник или двоюродная сестра... или вообще больница, так?

— Кто угодно.

— Не обязательно я, правильно?

— Только если она вам завещает.

— Значит, убивать ее смысла нет?

— Кристина. Шуточки у вас...

— Нет, вы послушайте. Она только что наняла кое-кого. Девку. Молодую. Она теперь во мне больше не нуждается.

— Гм. — Гвендолин задумалась. — Как вы считаете, может, она пойдет на то, чтобы заключить что-то вроде лизингового соглашения? Чтобы вам пожизненно гарантировалось жилье и какая-то рента, что ли, в обмен на... ну, на ваши услуги?

Откинув голову назад, Кристина принялась изучать потолок словно в поисках нового языка, потому что на старом ее совершенно не понимают. Что бы такое сказать этой адвокатствующей бабе, чтобы не очень ее обидеть? Все-таки эта мисс Ист в какой-то мере своя, происходит из бухты Дальней, она внучка той женщины с консервного завода, которую прямо в цехе разбил инсульт. Кристина медленно постучала средним пальцем по крышке конторского стола, чтобы подчеркнуть значение слов, которые собиралась произнести.

— Я — последний и единственный кровный родственник Уильяма Коузи. Я бесплатно двадцать лет заботилась о его вдове и о доме. Я готовила, убирала, я стирала ее нижнее белье и простыни, ходила по магазинам...

— Я понимаю.

— Нет, вы не понимаете! Не понимаете! Она хочет от меня отделаться.

— Постойте-ка.

— Да! Как вы не понимаете? В этом вся ее жизнь! Отделываться от меня, всячески избавляться. Вечно я крайняя, чуть что, меня гонят взашей — пошла вон, убирайся!

— Кристина, я вас умоляю.

— Это мой дом. В этом доме праздновали мое шестнадцатилетие. Когда я жила в другом месте, училась в школе, это был мой официальный адрес. Мое место здесь, и никто, ни с какими задрызганными меню в руках не будет меня отсюда выкидывать!

— Но вы много лет отсутствовали, этой собственностью совершенно не занимались...

— Да и пошла ты на х..! Если не понимаешь разницы между собственностью и родным домом, тебе надо морду набить, дура, идиотка, помоечница с рыбзавода! Ты уволена!



Жила-была маленькая девочка с белыми бантами в каждой из четырех косичек. Под самой крышей большого отеля у нее была своя комната. Где по стенам обои с незабудками. Иногда она оставляла у себя ночевать новенькую подружку, и они смеялись, хохотали под одеялом, пока не нападала икота.

Потом однажды пришла мать маленькой девочки и сказала, что она должна из этой комнаты переехать и спать теперь в комнате поменьше и на другом этаже. На вопрос: почему? — мать сказала, что это нужно, чтобы оградить ее. Есть вещи, которых она не должна видеть, слышать и не должна ничего о них знать.

Девочка взяла и сбежала. Час за часом шла по дороге, пахнущей апельсинами, пока мужчина в большой круглой шляпе и со значком не нашел ее и не привел домой. Там она стала скандалить, требовать назад свою спальню. Мать уступила, но стала запирать ее на замок, чтобы по ночам она из комнаты не выходила. Вскоре девочку отослали прочь, чтобы она была подальше от тех вещей, которые не должна видеть, слышать и о которых не следует знать.

Кроме мужчины в круглой шляпе и со значком никто не видел, как она плачет. Вообще никто и никогда. Даже теперь ее "все те же" глаза были сухи. Но они теперь впервые видели тот опасный, тот коварный мир, который знала ее мать. Мать она возненавидела за то, что та выгнала ее из любимой спальни, а когда шериф Бадди привел ее домой, влепила ей такую затрещину, что у Кристины подбородок ударился о плечо. Из-за этой затрещины она потом два дня пряталась под кроватью у Л., и тогда ее отослали в Мэйпл-Вэлли учиться в школе, где она томилась долгие годы, причем такой матери, как Мэй, там приходилось стыдиться. Негров с вызывающим поведением учителя из Мэйпл-Вэлли, конечно, опасались, но от Мэй с ее невразумительными статейками в "Атланта дэйли уорлд" приходили просто в оторопь, особенно когда она рассуждала о "благородстве" белых и о недопустимости рейсов свободы[1]. Кристину даже радовало, что их отношения сводились к письмам, которые можно спрятать или уничтожить. Тринадцатилетняя девочка, озабоченная главным образом тем, чтобы нравиться подружкам по школе, в этих письмах ничего интересного для себя не находила, кроме разве что никчемных сплетен про знаменитых постояльцев, а с годами и вовсе перестала понимать, о чем речь. Теперь Кристине смешно ее тогдашнее невежество, но в те дни у нее порой возникало ощущение, будто мать присылает ей какие-то шифровки: КОРР в Чикаго организует посиделки (знать бы еще, кто такой этот Корр!); Муссолини ушел (куда и откуда?)[2]; Детройт в огне[3]. С Гитлером тоже непонятка: то ли он убил Рузвельта, то ли Рузвельт его, да и какая разница, все равно же оба умерли в один месяц! По

1. Рейсы свободы — поездки черных активистов из северных штатов в южные в знак протеста против расовой сегрегации. Такие "рейсы" впервые начал организовывать Конгресс расового равенства (КОРР) — организация, учрежденная в 1942 г. Джеймсом Фармером и действующая по сей день.
2. Муссолини был низложен 24.07.1943 г.
3. В 1943 г. в Детройте происходили яростные столкновения на расовой почве.

большей части, впрочем, письма посвящались деяниям Гиды. Интриги, плутни. Теперь-то она мать понимает. Мир, в котором жила Мэй, непрестанно распадался; ее место в нем не было безопасным. Бедная дочь полуголодного пастора, Мэй всю жизнь старалась опираться на таких цветных, которые раскачивают лодки только разве что если в море. Началось с того, что ее свекор в тысяча девятьсот сорок втором году вторично женился, а потом покатилось, как снежный ком, — одно пошло налезать на другое и в войну и после нее, пока она, сражаясь непонятно с кем и с чем в доме и вне его, не превратилась в посмешище. По мнению Кристины, однако, если не в методах, то в инстинктивной подоплеке своих действий мать была права. В ее мир вторглись, всё там изгадили, втоптали в грязь. Без некоторой повышенной бдительности, без того, чтобы все время держать ухо востро, ты и не заметишь, как лишишься почвы под ногами и, оставшись ни при чем, с бьющимся сердцем, разламывающимися висками будешь мчать, нестись невесть куда по дороге, растерявшей весь свой цитрусовый парфюм.

Все решили, что ее мать спятила, расходились лишь в объяснении причин: смерть мужа, переутомление, отсутствие сексуальной разрядки, а может, вообще виноват Эс-Эн-Си-Си?[1] Нет, все не так. Зрела в корень — вот в чем была ее проблема. К тысяча девятьсот семьдесят первому году, когда Кристина приехала домой на похороны деда, эта способность ее матери была отточена годами тренировок. И из неброской зоркости и цепкости глаза, которую непосвященные называли клептоманией, она вырастила в себе сверхзрение и огранила его, как алмаз. Окна спальни забила фанерой, выкрашенной в предупреждающе красный цвет. На пляже зажигала сторожевые костры. Когда шериф Босс Силк отказал ей в разрешении купить ружье, она его чуть не растерзала. Его папаша, старый Чиф Силк, ей наверняка разрешил бы, но сын по-другому смотрел на негров с ружьями, хотя, дойди до дела, что он, что она стрелять бы стали в одних и тех же людей. Теперь Кристина поняла, что обостренным своим ви́дением Мэй прозревала ситуацию до глубин и охватывала с флангов панорамно. Права, права она была в семьдесят первом, когда презрительно посмеивалась над фальшиво-военной курткой Кристины, над ее беретиком à la Че Гевара, над черным балетным трико и мини-юбкой. Мэй была востра, как тигриный зуб, фальшь видела за версту и признавала только настоящие вещи, о чем недвусмысленно говорило ее собственное облачение. Ну да, люди смеялись. Что с того? Армейская каска, в которой Мэй заимела привычку расхаживать, четко выражала позицию, это был лозунг — не в бровь, а в глаз. Даже на похороны, куда Л. уговорила ее прийти в черном платочке, и то под мышкой притащила каску, потому что, вопреки тогдашнему легкомыслию Кристины, Мэй справедливо полагала, что в оккупированной врагом зоне, где приходилось жить ей, а теперь приходится Кристине, в любую минуту могут понадобиться средства защиты. В такой зоне живешь — изволь быть всегда начеку. И вновь Кристина ощутила злую горечь при мысли о последних двух десятках лет холуйского топотанья вниз и вверх по лестнице, когда в руках поднос с блюдами, в которые вложено слишком много души, чтобы взять да и нарочно их ис-

1. Студенческий координационный комитет ненасильственных действий — общественная организация, в 60-е гг. принимавшая активное участие в движении за гражданские права и в студенческом движении.

портить, а наверх поднимешься, пронырнешь сквозь несколько слоев противоречивой парфюмерии, и давай, собирай грязное белье, драй ванну, выковыривай волосяные комья из стока, стараясь не вздрагивать от омерзения под масляно-зазывным взглядом с портрета над непомерной кроватью... Если это не ад, то его преддверие.



Дай Гиде волю, она еще черт-те когда бы от Мэй избавилась, упекла бы ее куда подальше, но ей мешала Л., чье мнение значило для нее даже больше, чем мнение мужа. Когда пресловутое меню было зачитано в качестве "завещания" и "жена малыша Билли" получила в собственность отель, Гида вскочила со стула, как шилом уколотая.

— Что? Сумасшедшей? Он оставляет наш бизнес сумасшедшей?

Вышло очень некрасиво, и обстановка разрядилась только когда судья, хлопнув по столу, заверил Гиду, что никто не станет (или не сможет?) мешать ей управлять отелем. Без нее все равно не обойтись, тем более что муж отписал ей и дом, и деньги. Тут Мэй вскинулась и, поправляя каску, говорит:

— Я дико извиняюсь... кому-кому?

Разгоревшийся в результате сыр-бор был более-менее интеллигентной версией препирательств, которым эти две женщины предавались всю жизнь — одна обвиняла другую, каждая претендовала на особое расположение Билла Коузи, каждая когда-то либо "спасла" его во время какого-то бедствия, либо отвела нависающую угрозу. Единственной белой вороной во всем этом предпохоронном грае была Л., чье нормальное, приличествующее моменту молчание казалось ледяным, потому что она сидела с абсолютно каменным лицом, не выражающим ни сопереживания, ни интереса — ничего. Черпая энергию в таком явном безразличии Л., Гида кричала, что "людей с задвигами" следует ограждать от вступления в наследство, потому что они нуждаются в помощи "психиатóров". И только прибытие представителя похоронного бюро, возвестившего, что пора отправляться в церковь, удержало Кристину, уже сжавшую руку в кулак, от того, чтобы кому-нибудь врезать. Впрочем, удержало ненадолго, потому что чуть позже, стоя у могилы, она увидела фальшивые слезы Гиды, преувеличенные содрогания ее плеч, увидела, что чуть не весь город смотрит на Гиду как на единственную страдающую душу, а двух настоящих родственниц здесь только вынужденно терпят. Но окончательно Кристина разозлилась, когда пресекли ее попытку надеть усопшему на пальцы бриллианты, и тут уж она взорвалась. Руку в карман, замах — и кочетом на Гиду, но тут включилась, внезапно ожила Л., которая и завернула ей руку за спину. "Могу ведь рассказать!" — шепотом взывала она к одной, к другой и к обеим вместе. Гида, которая, как только это стало не так опасно, тоже начала наскакивать, отступила. Л. никогда зря слов не тратила. Изломанная жизнь Кристины таила много такого, что разглашать не хотелось бы. Быть людям неприятной, даже смешной — это пускай, с этим она справится. Но жалкой — нет, не надо. В испуге она закрыла нож и ограничилась свирепым взглядом. А вот Гида... Она-то почему стушевалась? Чего испугалась она? Зато Мэй сразу поняла, что к чему, и поспешила к дочери на выручку. Ворвавшись в круг этой кошачьей свары, она сдернула с Гиды ее капор героини "Унесенных ветром"[1] и пусти-

1. Имя героини "Унесенных ветром" Скарлетт О'Хары стало синонимом стяжательства ("скарлетизм").

ла им как раз таки по ветру. Да так удачно! Чей-то хохоток открыл в пространстве-времени щель, в которую вслед за капором вбежала Гида, а Кристина за эти минуты поостыла.

Скандальное представление, во всей красе показавшее себялюбие и презрение к погребальному ритуалу тех, кто громче всех бил себя в грудь и распинался об уважении к усопшему, вызвало у людей возмущение, и они прямо об этом сказали. О чем они не сказали, так это что им, надо полагать, весьма забавно было наблюдать, как в таком краемогильном шоу сошлись столь различные головные уборы: берет, капор и каска. Но Мэй-то молодец! Сорвав с Гиды ее дурацкий чепчик, она перед всем миром развенчала, раскороновала фальшивую королеву, триумфальнейшим образом явив свою прозорливость. Да, в сущности, как и раньше — ведь она всегда не покладая рук старалась разделить девочек, даже в те времена, когда они были детьми. В пришелице инстинктивно угадала гадюку, и та действительно вползла, окрутила, сбрызнула ядом и сожрала.

Если верить письмам Мэй, то еще в тысяча девятьсот шестидесятом году Гида начала прощупывать способы, как бы упечь ее в богадельню или в какой-нибудь интернат. Но сколько бы Гида ни изощрялась — распространяя лживые измышления, обращаясь в психиатрические лечебницы за советом, придумывая, будто Мэй ведет себя безобразно, — избавиться от Мэй не удавалось. Во-первых, все видела Л., во-вторых, Гида ничего не могла сделать без сообщника, а его не было. И приходилось мириться со слепящей прозорливостью женщины, которая ненавидела ее почти с той же силой, что и Кристина. Причем война Мэй против Гиды со смертью Коузи не окончилась. Весь свой последний год Мэй наслаждалась, наблюдая, как загребущие руки Гиды мало-помалу превращаются в крылышки. И все-таки свои проблемы с Мэй Гида урегулировала умно, потому что умная мысль, не туда направленная, это все равно умная мысль. Кроме того, теперь Л. рядом не было. Опять же и больницы стали сговорчивее. А там, если подмазать, глядишь, и сообщник найдется.

Бедная мамочка. Бедная, бедная Мэй. Чтобы не сойти с круга, не сдать последних позиций, только и сумела выдумать, что повсеместное, всеобщее коварство и измену. Муж умер; отель остался, но рушится, управляет им ненавистная обезьяна, а человек, которому всю жизнь рабски служишь, тебя не замечает, и даже дочь покинула ради каких-то завиральных идей, да и соседи давно смеются... Ей просто не осталось места в жизни, которая так закруглилась — ухватиться не за что. Она поняла это в том смысле, что, видимо, ей объявили войну, — и ушла в глухую оборону. В блиндажи и бункеры собственной постройки. В траншеи, прорытые у сторожевых костров на диком бреге. Этакий чуждый, непонятый разум, управляющий лишь собой, сам себя загоняя в угол. Теперь, когда Кристина об этом впервые всерьез задумалась, собственное беспорядочное прошлое предстало ей как производная лени, в особенности эмоциональной. Она всегда считала себя жесткой, активной, сильной, но, в отличие от матери, была не более чем машиной, которая рычит или стонет, в зависимости от того, какую водитель воткнул передачу.

Всего-навсего.

*Теперь мой муж – океан. Он знает, когда взреветь, выгнув спину, а когда притихнуть и спокойно понаблюдать за своей женщиной. Бывает, он хитрит, но не предаст, в нем нет вероломства. Зато есть душа, глубокая и страдающая. Я уважаю его и все о нем знаю. Такое понимание приходит только с опытом, а опыта я набралась с мистером Коузи предостаточно. Можно сказать, мысли его читать научилась. Не сразу, конечно. Когда я поступила к нему работать, я девчонка еще была, а он взрослый мужчина, обремененный сыном и больной женой, которой нужен уход в любую минуту дня и ночи. Он произносил ее имя – Джулия – таким голосом, что сразу чувствовалась вся его нежность к ней, вся нежность и мольба о прощении. Когда Джулии не стало, их сыну, малышу Билли, было двенадцать, и хотя мне самой было всего четырнадцать, мне даже в голову не пришло, что я могу не остаться и не принять на себя заботу о них обоих. Только такая широкая душа, как у него, могла вмещать столько заботы о жене, да чтобы после этого там еще оставалось место. Когда Джулия Коузи умерла, мистер Коузи перенес все свои чувства на сына. Слава богу, мальчик был наделен интуицией, с помощью которой умные дети умеют поддерживать интерес к себе со стороны взрослых. Делают не то, что им говорят, а то, что от них хотят на самом деле. Папочка может сказать: "Ну-ка, давай покажи, как ты научился защищаться!", а на самом деле говорит: "Не позорь меня, скорее дай мне тебя победить". Или такой вариант: он говорит "я объясню тебе этот мир", а понимать это надо как "я боюсь тебя до смерти". Не знаю уж, какие слова в таком роде говорил сыну мистер Коузи, но, что бы он ни говорил, малыш Билли понимал это как "будь тем, из-за кого мне стоило бы вставать по утрам; заставь меня, случайно на тебя глянув, разинуть рот". Так что, хороший он сын или очень плохой, большого значения не имело. От него требовалось удивлять, привлекать внимание. Подозреваю, что выбор в пользу добра он сделал чисто случайно. И мистер Коузи был доволен всем, что бы малыш Билли ни сделал и ни сказал. Осыпáл его деньгами и везде брал с собой. Какой они, должно быть, были чýдной парой: мальчишечка весь в папу – прямой пробор и бейсболка точь-в-точь как у отца. То они вместе у парикмахера – один сидит, стрижется, другой откинулся в кресле, занят чинной беседой с ожидающими клиентами; то сидят высоко на трибуне, вместе с народом – смотрят игру наших "Орлóв"; вот, расположившись на складных стульчиках, наблюдают соревнование уличных певцов; или сидят за маленькими столиками тех местных баров, где выступают самые талантливые музыканты. Ночевать порой оставались в меблированных комнатах, а иногда стучались в первую попавшуюся дверь. Мистер Коузи говорил, что хочет, чтобы малыш Билли видел, как радуются люди, достигая в своей работе совершенства, поэтому они ездили на Пердидо-стрит слушать Кинга Оливера[1], в Мемфис смотреть игру "Тигров", а в Бирмингем – "Баронов"[2]. Смотрели, как повара выбирают на рынке продукты, как прямо на лодках сортируют устриц, как работают бармены, мошенники от бильярда, карманники и тамбурмажоры. Все было поучительно, все становилось уроком, когда преподавал человек, гордый своим мастерством. Мистер Коузи называл это реальным училищем жизни, но по мне, так это больше напоминало прогулы – по крайней мере тех уроков, что предписывал ему посещать его собственный отец. Этакое манкирование школой старого Дарка.*

1. Джозеф "Кинг" Оливер (1885–1938) – корнетист, создатель Креольского джаз-оркестра, сыгравшего большую роль в развитии джаза. Именно он заметил юного Луи Армстронга (1901–1971) и оказал ему поддержку.
2. "Тигры", "Бароны" (точнее "Черные бароны") – негритянские бейсбольные команды.

*Столь пристальное внимание не вскружило мальчику головы. Ему такое отношение отца нравилось, он в нем купался, но посмеивался, когда при нем отец хвастал сыном перед зевающими приятелями. Хвастал его успехами в бейсболе, его холодной головой в минуту опасности. Как он однажды вытащил у девочки из щеки воткнувшийся туда загнутый гвоздь, и сделал это лучше любого доктора. Этому случаю я свидетель. В тот день я принесла им ланч прямо на пляж, где они валяли дурака, при помощи бейсбольных бит пуляя камнями в море. А чуть подальше бродила с удочкой девчонка лет девяти-десяти, время от времени забрасывала. Зачем – бог весть. Так близко к берегу ни одна чешуйчатая тварь не подплывает. И вдруг, то ли ветер дунул, то ли еще чего, но на самодельный крючок попалась она сама. Когда Билли подбежал, кровь капала у нее с пальцев. Он ловко все проделал, и она была благодарна. И ведь ни слезинки не пролила, не вскрикнула ни разу, только стояла, зажимала щеку ладонью. Мы отвели ее в отель. Зашли в беседку, там я усадила ее, промыла рану и намазала щеку медом с алоэ, надеясь, что столбняка все же не случится – девочка сильная, – ну и так далее. Прошло время, и мистер Коузи, конечно, все приукрасил. Смотря по настроению и в зависимости от аудитории, дело у него доходило до того, что девчонку утащила бы в море рыба-меч, если бы малыш Билли не спас ее. Или что он удалил крючок у бедняжки прямо из глазного яблока. Билли посмеивался над этими жирно расцвеченными россказнями, однако папиных советов слушался во всем вплоть до женитьбы: что в жены надо брать любящую девушку, а не такую, которая замуж идет по расчету. Так Билли женился на Мэй, которая – дураку понятно – не могла стать ни преградой, ни как-то затмить отца в его отношениях с сыном. Не будучи поставлен в известность, что в жизни сына назревает такого рода выбор, мистер Коузи сначала встревожился, но у него быстро отлегло, когда он убедился, что невеста не только прониклась уважением к отелю, но и явно отдает должное начальствующим мужчинам. Если я служила там прислугой, то Мэй была рабой. Вся ее жизнь посвящалась тому, чтобы мужская половина семейства Коузи имела все, что захочет. И отец даже в большей степени, нежели сын; и в большей степени, чем ее дочка. А то, что вдовец мистер Коузи хотел, в тысяча девятьсот тридцатом году представлялось едва ли возможным. То был год, когда не только население бухты Дальней, а вся страна опустилась до жизни на пособие – то есть это если тебе еще повезло, конечно. Если нет, люди друг друга убивали или уходили в бродяги. А вот мистер Коузи обратил ситуацию в свою пользу. Купил в Сукер-бее разорившийся клуб "для белых", причем человек, который продавал, был настолько честен, что даже сознался: продаю, мол, несмотря на клятву, данную папочке перед Богом, никогда не продавать заведение неграм, но теперь я просто счастлив нарушить обет и съехать вместе с семьей куда угодно с этого загаженного птицами променада для ураганов.*

*Кто мог знать, что в тисках депрессии цветные захотят играть и петь, а если захотят, откуда возьмут на это деньги? Кто? Да мистер Коузи, вот кто! Он понимал то, что понимает каждый уличный шарманщик: где музыка, там и деньги. Есть сомнения? А вы по церквям походите. Он и еще кое-что предусмотрел. А именно: если цветных музыкантов не обижать, хорошо им платить, холить их и лелеять, они будут рассказывать друг другу о таком волшебном месте, где их пускали с парадного хода, а не через кухню, как прислугу; кормили в зале, а не на кухне; где с ними обращались как с гостями, стелили им кровати, не заставляя спать в машинах, автобусах или в борделе на окраине. О таком месте, где их инструменты не воровали, напитки не разбавляли и отдавали дань их талантам, так что ездить за признанием в Копенгаген или Париж им ни к чему. Чтобы вдохнуть такой атмосферы, цветные съедутся толпами. Те, у кого*

*деньги есть, выложат; у кого нет – найдут. Конечно, всем удобней было думать, что все негры беднные, прямо побираются, а тех, кто побогаче, кто зарабатывает хорошие деньги и не сразу с ними расстается, считать чудом, но чудом несколько постыдного свойства. Белым такой подход нравился, потому что негры с деньгами и соображением их нервировали. А цветным он нравился, потому что в те дни они только беднным доверяли, считали бедность добродетелью и знаком честности. Слишком большие деньги попахивали преступлением и кровью. А мистер Коузи плевал на это. Он хотел, чтобы было где отдохнуть тем, кто думает так же, как он, тем, кто ищет, как обойти историю.*

*Но только чтобы на высшем уровне: вечернее платье вечером, спортивный костюм для спорта. И никаких чтоб пузырей на коленках. В спальнях цветы, на столах хрусталь. Музыка, танцы, а можешь и в картишки перекинуться – этак приватно, в дружеской компании: нельзя же лишать музыкантов или, скажем, врачей удовольствия проигрывать столько, сколько большинству не заработать и за всю жизнь. В те дни мистер Коузи был на седьмом небе. Он любил одеваться в костюмы от Джорджа Рафта, любил гангстерские автомобили, но душой был при этом чистый Санта Клаус. Если какая-то семья не могла заплатить за погребение, он шел и тихонько договаривался с похоронной конторой. Его дружба с шерифом многим отцам вернула сыновей, уже ощутивших холод наручников. Нисколько не кичась этим, он годами оплачивал больничные счета одной женщины, пострадавшей от инсульта, а ее внучке оплачивал колледж. В те дни обожателей у него было куда больше, чем завистников, и весь отель грелся в лучах его славы.*

*Мэй, дочка пастора, была добросердечной девушкой, воспитанной в духе ответственности и трудолюбия; на бизнес она набросилась, как пчела на цветочную клумбу. Вначале мы с ней вдвоем управлялись на кухне, а малыш Билли заведовал баром. Когда стало ясно, что истинная королева кастрюль это я, ее перебросили на хозяйство, бухгалтерию, снабжение, а ее муж договаривался с музыкантами. Думаю, тогдашний быстрый расцвет отеля – заслуга наполовину моя. В жизни раз бывает, чтобы вместе сошлись Фэтс Уоллер[1] и хорошая кухня. Тем не менее Мэй меня восхищала. Все держалось на ней – чистота скатертей, оплата счетов, обучение персонала. Мы были с ней как механизм часов. А мистер Коузи – как циферблат со стрелками, которые показывают, что время пришло.*

*Пока мы были единственными женщинами, дела шли прекрасно. Трещать по швам все начало, когда появились девчонки – Кристина и Гида. Ах, да знаю я, знаю все "объективные" причины: вонь от консервного завода, гражданские права, интеграция... А поведение Мэй стало страннным в пятьдесят пятом году, когда тот мальчик из Чикаго попытался вести себя как мужчина, и за эту попытку его забили насмерть. Такой типично миссисипский ответ на десегрегацию – или что там еще им мешает, губит их мужское естество. Мы все были потрясены тем, что сделали с мальчишкой. А ведь какие глаза у него были лучистые. Для Мэй это стало знаком свыше. Тут же поспешила на пляж, где закопала в песок не только документы, но фонарик и бог знает что еще. А белые-то были наготове. Только и ждали, чтобы какой-нибудь негр разозлил их и они получили бы повод кого-нибудь повесить и закрыть отель. Мистер Коузи презирал ее страх. Думаю, за то, что этот страх был слишком обоснован. Выросший в семье марионетки белых, он сам изо всех сил продолжал дергаться. Процветание то ли было, то ли нет, но к пятьдесят пятому году уже давно дела шли на спад. Я это предвидела еще в тысяча девятьсот сорок втором, когда мистер Коузи греб деньги лопатой,*

1. Томас "Фэтс" Уоллер (1904–1943) – джазовый пианист, композитор, органист.

*а отель был просто картинка. Видите вон там окошко? Оно выходило прямо в рай, который устроили ему мы с Мэй: когда малыш Билли умер, мистер Коузи купил то парикмахерское кресло, в котором они когда-то сиживали по очереди, и что-нибудь с год или около того сидел в нем сиднем. Потом вдруг рванул как ошпаренный опять в бизнес, назаказывал богатого серебра и с нами вместе принялся вновь делать из отеля элитное злачное место. Откуда в нем только силы брались. В те времена – тогда мужчины еще носили шляпы, а шляпы мужчинам так идут – он был очень даже хорош собой. Женщины за ним увивались поголовно, и я глядела во все глаза – кого, думаю, он еще подцепит. Переплетенные буквы "К" на серебре обеспокоили меня: я-то думала, он случайных женщин ни в грош не ставит. Но если сдвоенная "К" значит Каллистия Коузи, стало быть всё, он выжил из ума. Но уж когда он в тысяча девятьсот сорок втором наконец и впрямь сделал свой выбор, это меня просто с катушек сшибло. Официальным объяснением было, что он хочет детей, множество детей, чтобы, как во времена малыша Билли, не было пустоты вокруг. А для материнства, видите ли, только нетронутая девушка подходит. Н-да, попрыгал, попрыгал козликом, да и закончил там, где детей-то делают пачками, вот только девственницу вряд ли сыщешь. В бухте Дальней что ни могила женщины, то можно вешать одну и ту же табличку с эпитафией: "Умерла, замученная детьми". Его женитьба на Гиде была для бизнеса вроде как первый гвоздь в крышку гроба. Оказывается, он выбрал девушку, которая была все время на глазах. И о которой ее родители еще ни с кем не сговаривались. Да эти помоечники ее будто щенка отдали. Нет, как я это себе представляю, Гида принадлежала Кристине, а Кристина ей. В любом случае, если он надеялся улучшить породу, какую-то свежую кровь внести, то ничего у него не вышло. От Гиды он не дождался даже головастика и, как обычно принято у мужчин, возложил вину на нее. Женился, несколько лет подождал, да и побежал опять к своей фаворитке – да, к ней, к Каллистии вновь стал похаживать. Казалось бы, одну из его женщин уже хватил удар после того, как они в песочке покувыркались, так не ходи больше за этакими удовольствиями на пляж. Но нет. Даже брачную ночь свою там провел – значит, любил он океан, уж так любил. В хорошую ли погоду, в плохую ли. В этом я с ним заодно.*

*Москиты мою кровь не любят. Когда-то в юности меня это обижало, я не могла понять, что отверженность бывает благостной. Поэтому ничто мне не мешало любить пешие прогулки, и я ходила домой с работы по берегу, какая бы ни стояла на дворе сырь и хмарь. Теперь небо пустое, там все будто стерлось, а в те времена Млечный Путь яркий был – всегда на месте, как грязь на дороге. В его свете все выглядело особенно шикарно, словно в черно-белом кино. Как бы тебе туго ни приходилось в жизни и какое бы ни было у тебя настроение, но когда над тобой такое звездное ночное небо, волей-неволей чувствуешь себя богатым. Да тут еще и море. Рыбаки говорят, будто бы там внизу есть существа, которые похожи на свадебную фату с золотыми нитями и рубиновыми глазами. А есть, которые напоминают воротники или зонтики, сплетенные из цветов. Вот обо всем об этом я и думала однажды жаркой ночью после долго откладывавшегося празднования дня рождения. Время от времени, когда мне этого хотелось, я ночевала у матери в бухте Дальней. Той ночью я туда и шла, усталая как собака, и вдруг увидела мистера Коузи – как он с туфлями в руке идет на север, возвращаясь к отелю. Я шла поверху, где трава, чтобы меня хорошенько прохватило бризом, выдуло из моей униформы запахи кухонного дыма и сигар. А он – далеко внизу, шлепал прямо по воде. Я подняла было руку, хотела крикнуть ему, но что-то в нем – может, наклон головы или какой-то еще намек на окутывающую его тайну – меня удержало. Хотела привлечь его внимание, но крайняя ус-*

*талость и еще не выветрившаяся тяжесть в голове заставили молча идти дальше. А дальше я увидела еще кое-кого. На подстилке сидела женщина и обеими руками массировала себе виски. Я остановилась, а она поднялась, голая как правда, и вошла в волны. Было время отлива, так что ей пришлось идти довольно долго, а вода все не доходила до пояса. Странные клочковатые облака то и дело перекрывали луну, и, помню еще, у меня вдруг сердце так и упало. Шлемоглавики-то – ох, пошаливали тогда! Они к тому моменту уже утопили братьев Джонсонов, чуть не убили девушку с консервного завода – кто способен угадать, что еще у них могло быть на уме! Но женщина брела все дальше, все глубже уходила в черную воду, и видно было, что она их не боится – что она вовсе ничего не боится, – потому что вдруг вытянулась, подняла вверх руки и нырнула. Я помню ее скользнувшее дугою тело лучше, чем события, произошедшие вчера. На какое-то время она пропала из виду, и я не дышала так же долго, как и она. Наконец она показалась на поверхности, и я снова смогла дышать, глядя, как она плывет обратно на мелкое место. Она встала на ноги и опять принялась массировать виски. Ее волосы, намокшие и облепившие голову, понемногу распушились и стали похожи на облака, что марали собой луну. Потом она... ну, что ли, клич издала. По сей день не пойму, было ли это слово, мелодия или вскрик. Знаю только, что на этот клич мне хотелось отозваться. Несмотря на то, что обычно-то я тиха как камень. Да, Каллистия, да...*

*Не стану отрицать: очень она была хороша, просто глаз не оторвать, и хотя то, как она зарабатывала на жизнь, мне не нравилось, она это делала так спокойно и сдержанно, что ее можно было принять за медсестру из Красного Креста. Она происходила из семьи, где все женщины были поведения весьма рискованного, но в отличие от них не понимала роковой притягательности золотых зубов. Ее зубы были белы как снег. Даже когда мистер Коузи несколько подпортил или, лучше сказать, положил предел невероятному их сиянию, это не нарушило очарования. Да даже и могила ничего не нарушила.*

*На своего мужа я могу смотреть с веранды. Чаще всего по вечерам, но и на восходе бывает, что позарез захочется увидеть плечи, окутанные пеной. Когда-то тут были плетеные кресла, в них сидели прелестные женщины, пили чай со льдом и капелькой "Джека Дэниэлса" или "Катти Сарк"[1]. Ничего этого не осталось, так что я сижу на ступеньках крыльца или стою, облокотившись на перила. Если вести себя очень тихо и слушать внимательно, можно услышать его голос. При такой мощи, казалось бы, у него должен быть бас. Но нет. У моего мужа тенор.*

# 5
# *Любовник*

Сандлер готов был признать – вид, он, конечно, обманчив, но чтобы так сияли глаза? Нет уж, глаза не обманут. По мнению Вайды, обмануть могло и то и другое. Но не походка: она все выказывала, с головой выдавала внука. Пусть с разных сторон, но оба сходились в том, что Роумен с кем-то познакомился, может быть, они даже встречаются. Выражения "познакомиться", "встречаться" хороши тем, что эти слова намекают

1. Сорта джина.

лишь на обмен взглядами, беседы, может быть, на совместные прогулки. Но не на бешеные соития, от которых и приобрел мальчишка тот особенный, ни с чем не сравнимый вид, показавшийся столь подозрительным Сандлеру, и то влажное сияние глаз, которое нельзя было не опознать уверенно. Но и насчет походки Вайда была права. Роумен бросил привычку ходить крадучись, будто только что нашкодил, и выработал походку важную, стал выступать как полководец или индюк. По этому поводу Сандлер испытал сразу несколько чувств — покорность неизбежному ходу вещей, гордость за внука, тревогу, зависть — и посчитал за лучшее сосредоточиться на зависти, попытавшись как следует припомнить свою собственную юность, этот пыл, гон и ощущение полного счастья, когда удастся наконец все выплеснуть наружу. Вспомнилось собственное боевое крещение (теперь совсем уже без стыда вспомнилось), азарт и ярость, которые тогда так и не вызрели в нормальное наслаждение. А все равно завидно: ведь Роумен тоже будет лелеять в памяти этот момент, хотя кончится и у него, вероятнее всего, какой-нибудь глупостью и расстройством; но все-таки нечестно было бы взять да и развеять в нем эту иллюзию большой победы, когда она еще так свежа. Надругаться сейчас над его чувствами, стыдить его и лезть с житейскими советами, по мнению Сандлера, значило испортить, сделать извращенными его дальнейшие опыты в этой области, никоим образом не прекратив их. Поэтому он лишь следил за переменами во внуке, за появившейся вдруг страстью к гигиене, наблюдал, как хихиканье и гогот вытесняются понимающей улыбкой, отмечал в его тоне нотки снисходительности при разговорах с Вайдой. Больше всего его радовало, как сияло лицо внука, да и то новое, энергичное, что заметила Вайда в его походке, деду тоже нравилось. Оценил он и исчезновение у Роумена гадкой манеры дергать ногой и ежеминутно хвататься за ширинку жестом, в котором было больше "хочу", чем "могу". Пусть его, думал Сандлер, попрыгает маленечко, покрасуется. Иначе может кончить тем, что всю жизнь будет за бабами кобелем бегать. В вечном поиске повторения того самого-самого первого раза может пойти вслед за Биллом Коузи, проводя жизнь между колен у женщин, не в силах ни запоминать их имена, ни встречаться с ними потом глазами. Ни с кем кроме одной-единственной. Кроме нее, как утверждал Коузи, ни одна женщина не вызывала в нем ощущения внутренней близости. Обожаемую первую жену его влечение утомляло, а притязания она находила оскорбительными. Поэтому он предпочел видеть себя таким, каким отражался в глазах других женщин — то местных красоток, то курортниц или подвыпивших певичек, чьи ухажеры не поехали с ними в нынешний тур. Так, подогревая себя и одновременно при этом остужая, он освободил жену от уроков, оставив ей право отдыхать на бесконечной переменке. Как это формулировал сам Коузи, "когда спят котятки, львы идут на блядки".

— Вы не правы, — ответил тогда Сандлер. — Львы образуют пары на всю жизнь.

— Как и я, — тихонько посмеиваясь, отозвался Коузи. — Как и я.

Может, оно и так, конечно, думал Сандлер, но наличие постоянной пары не изменило привычки Коузи вести себя по-холостяцки, и после солидных восьми лет вдовства он решил этой привычке положить конец, женившись на девушке, которую сможет воспитать под себя. Если бы оно вышло как задумывалось, быть может, Коузи ограничил бы свои

рыболовные подвиги ловлей на крючок, перестав ловить на бумажник. К этому времени их совместные походы на яхте Сандлеру все больше нравились. Молодой парень (ему тогда еще не было тридцати), он не очень-то любил якшаться со стариками, но с тех пор как его отец уехал... то есть это, конечно, не заменило ему общения с отцом, но разговоры между ними потекли свободнее. Как-то раз, окунув в свиной жир комок ваты, Сандлер сказал с улыбкой:

— Меня этому отец научил.

— Вы с ним близки были? — спросил Коузи, взглянув на наживку.

— Довольно-таки.

— Он жив еще?

— Еще как. После смерти мамы они с сестренкой уехали на север. Старикам с дочерьми живется лучше. Молоденькой девчонкой проще командовать. — Тут Сандлер прикусил язык и побыстрей продолжил, чтобы загладить, если Коузи обиделся: — Я не хотел отпускать его. Пускай бы с нами оставались. Все ж таки дом, в котором мы живем, — его дом. Но он уперся, и ни в какую, хотя... у него, должно быть, на то свои причины.

— С отцами тоже бывает непросто, — ответствовал Коузи, похоже, нисколько не задетый замечанием про старика и девчонку.

— Ну, с вашим-то... Говорят, он оставил вам денег целый сундук. Это правда?

— Так ведь все равно пришлось бы их кому-то оставить.

— Мой старик меня тоже не обижал, — сказал Сандлер. — Не в смысле денег, их у него никогда не было, но я всегда мог на него опереться, и он тоже знает: случись что, он может на меня рассчитывать.

— А я своего ненавидел.

— Да неужто? — Сандлера больше удивила прямота, чем суть высказывания.

— Вот тебе и неужто. Он умер на Рождество. И похороны были всему миру как подарок.

Такими были их разговоры наедине. Как-то раз Коузи пригласил Сандлера и на одну из своих знаменитых яхтенных пирушек, но после тот обещал себе никогда больше не принимать в них участия. Не только из-за собиравшейся на яхте компании, хотя ему неловко было весело шутить с немолодыми белыми мужчинами, один из которых при кобуре, да и с преуспевающими неграми он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Хохотали довольно непринужденно. Три или четыре женщины, пробуждавшие такую веселость, были милы. Что было невыносимо, так это болтовня — весь ее тон, елейный и насквозь лживый. Разговор был как топливо, от которого крутилась машинка главной иллюзии: на яхте создавался искусственный, фальшивый мирок, а настоящий на несколько часов предлагалось сдвинуть в сторону, чтобы главными стали женщины, мужчины им целовали бы руки и ползали у ног, черные могли поддевать белых... Но только до пирса. Сойдя на берег, шериф вновь надевал значок и начинал покрикивать на цветного врача: "Эй, малый!" Женщины снимали туфельки, потому что до дома далеко, а идти надо пешком и в одиночку. На той вечеринке одна из женщин держалась отчужденно, не пила, глядела неодобрительно. С ходу пресекала поползновения, ни в чем не потакая, не допуская флирта. Когда Сандлер спросил о ней, Коузи сказал: "Можно обойтись без чего угодно, когда есть то, без чего обойтись нельзя". Видимо, она была тем, без чего нельзя, и

на фотографии, с которой потом был написан портрет, Коузи смотрел как раз на нее. Когда-то портрет висел над стойкой Вайды, потом над кроватью Гиды Коузи, и каждый раз с первого взгляда Сандлеру бросалось в глаза то выражение лица, что он узнал бы когда угодно. Как раз оно и появилось у Роумена, во весь голос возглашая о мужской победе. Сандлер знал, что подчас победить не значит удержать, а первый раз бывает и последним, но что ж тут... спаси Господь мальчишку, если он душой прикипит к женщине, которой нельзя верить.



Таков был его мужской взгляд на вещи. Вайде, конечно же, виделось все иначе. Главный вопрос — кто. Кто та девушка, что придала лоск физиономии и сделала походку мальчишки такой летящей? На вечеринки Роумен не ходил, домой являлся вовремя, к себе никого не приглашал. Может, она старше, взрослая женщина, у которой есть время днем? Но Роумен все уикенды и вечера после школы занят на работе. Когда же он успел? Этот вопрос задал Вайде и Сандлер, и та принялась склонять его к беседе с Роуменом.

— Прежде чем читать ему нотации, мне надо знать, кто она, — сказал Сандлер.

— А какая разница?

— А может, и хорошо? Он хоть простыни марать перестал.

— О стирке не беспокойся, — отвечала Вайда. — Побеспокойся лучше о венболезнях. Которыми, между прочим, можно заразиться от кого угодно. Ты не забыл? — я ведь работаю в больнице. Ты и представить себе не можешь, чего там насмотришься.

— Ладно, попробую узнать, кто она.

— Каким образом?

— Его спрошу.

— Так прямо он тебе и сказал.

— Ну, как-нибудь исподволь. Городок-то у нас маленький, я не хочу дожидаться, пока чей-нибудь папаша или братец начнет в нашу дверь колошматить.

— Теперь так больше не делается. Так только в наше время принято было. Ты что, Плейкмену, когда он ухаживал за Долли, поперся бы в дверь колошматить?

— И поперся бы... Если бы ты прямо вся не растаяла, едва только он зашел к нам.

— Побойся Бога. Плейкмен имел два курса колледжа за плечами. В наших местах никого с ним и рядом нельзя было поставить.

— Спасибо, что напомнила. Теперь-то я чем больше о них думаю, тем ясней вижу, что следовало дождаться, пока его шибко образованный папаша отзовет сыночка. Кстати, когда они приезжают?

— Долли говорила, на Рождество.

— Ну вот. Еще три недели.

— Девчонка к тому времени может забеременеть!

— А я думал, тебя дурные болезни волнуют.

— Меня все волнует!

— Ну ладно тебе, Вайда, успокойся. Мальчик допоздна не задерживается, с дружбанами-гопниками порвал, и тебе больше не приходится его силком вытаскивать из кровати, когда пора в школу. Прежде тебя готов, да и у Коузи работает без нареканий и регулярно. Подчас даже и сверхурочно.

— О господи, — вдруг вырвалось у Вайды. — Бог ты мой.

— Что? — Сандлер искоса поглядел на жену и тут же рассмеялся. — Да не съезжает ли у тебя крыша, женщина?

— Гм-гм, — проговорила она. — Нет, не съезжает. А вот "регулярно" — это правильное слово.

Внезапно у Сандлера перед глазами возникли высокие черные сапоги, а между ними и юбчонкой — голые бедра, и вновь мелькнула мысль о том, какая ледяная, должно быть, у нее кожа на ощупь. И какая гладкая.

Сапоги, которые она никогда не снимала, заводили Роумена, наверное, не хуже, чем нагота; больше того, в них она казалась еще обнаженнее, чем если бы сняла. Так что ему показалось вполне естественным стащить у деда фуражку от формы охранника. Фуражка была серая, а не черная, не совсем в тон сапогам, зато с блестящим козырьком, и когда Джуниор ее надевала и стояла в одной фуражке и сапогах, Роумен знал, что у него все в порядке. Теперь у него все действительно как надо. Он, четырнадцатилетний, трахает восемнадцати-, а то и девятнадцатилетнюю взрослую женщину. И она не просто не отказывает ему — она его хочет. Она желает его не меньше, чем он ее, а уж он-то желает ее беспредельно. Он вообще не мог понять, как жил до двенадцатого ноября. Кто был тот хлюпик, что плакал в подушку из-за кодлы жалких придурков? Теперь у Роумена даже и времени не было вспоминать, как он тогда распустил сопли. Коридоры школы имени Мэри Бетьюн[1] стали плацем для его парадного марша; сходняк у шкафчиков в раздевалке стал трибуной вождя. Больше не надо было робко скользить вдоль стенки или прятаться в толпе. И никакой рев трубы уже не раздавался. Вот так все просто.

Когда он появился в раздевалке в тот первый день, они уже знали. А кто не знал, тем он быстренько дал понять — намеком. Тот, кому приходится напиться, привязать девку к кровати или делать это гуртом, — лох поганый и больше никто. Двумя днями раньше Тео за такое расшиб бы ему об стену башку. Но тринадцатого ноября у Роумена даже глаза изменились, стали бесшабашными и вызывающими. Пару раз пацаны все же осмелились отпустить в его адрес какие-то колкости, но вышло кособоко, а Роумен на их попытки отозвался лишь улыбкой, медлительной и умудренной. Решающий сигнал пришел от девчонок. Усмотрев в его новом облике превосходство, они прекратили закатывать глаза и придушенно хихикать. Теперь они выгибали спины и, нарочито потягиваясь и поводя плечами, изображали долгую ненатуральную зевоту. Даже вопросительно поглядывать в его сторону перестали. В победе Роумена уже не сомневались, им бы, кого он победил, выяснить. Гадали: училку? чью-то старшую сестру? Сам-то не говорит; даже подходящее к случаю "твою маму!" и то вымолвить не удосужится. Причем не от недостатка нахальства — что-что, а уж голову в плечи он втягивать прекратил. И когда не откидывал ее назад, задирая нос и всячески красуясь, по большей части отворачивался к окну, мечтательно воссоздавая перед мысленным взором то, что уже произошло, и то, что еще будет, а уж что будет-то! Сапоги. Черные чулки. В фуражке охранника она будет похожа на полицей-

1. Мэри Маклеод Бетьюн (1875—1955) — негритянская общественная деятельница, советник президентов Ф. Рузвельта и Г. Трумэна. В начале XX в. основала во Флориде несколько школ и высших учебных заведений для негров.

скую начальницу. Крутой и недосягаемый, Роумен пододвинул стул и попытался сосредоточиться на Восемнадцатой поправке[1], сущность которой учительница объясняла с такой горячностью, что он почти понимал. Но как воспринимать урок истории, когда перед глазами лицо Джуниор и только его хочется изучать? Ее груди, подмышки требовали тщательного рассмотрения; да и кожа влекла к себе аналитика. Чем ее аромат отдает — цветами или тем духом, что разносится в первые минуты дождя? Кроме того, нужно запомнить все тридцать восемь ее разных улыбок и понять, что каждая значит. Да тут и полугодия не хватит — одни глаза чего стоят: веки, ресницы, а зрачки так и вовсе словно из фильма про звездные войны — такие черные и блестящие, что можно подумать, она инопланетянка. Да такая, что убьешь кого угодно, лишь бы оказаться с ней на одном звездолете.

А Джуниор и машиной пользоваться разрешалось. Съездить за покупками, в банк, на почту, а также по поручениям миссис Коузи, которые мисс Кристина выполнять не желает. Так что, если слинять с шестого урока или если самоподготовку назначат перед ланчем, можно перехватить Джуниор на улице Принца Артура, и они вместе поедут в одно из намеченных по плану мест. План (предложенный ею же) заключался в том, чтобы делать это везде. Не оставить на карте округа живого места, где не проливался бы их трудовой пот и кое-что другое. В этом списке фигурирует (хотя и не освоена пока что) и школа Мэри Бетьюн — а что, в пустом классе? да запросто! Они внесли в свой план и кинотеатр, пляж, заброшенный консервный завод и пустой отель. Ее особенно влекла телефонная будка на Барон-стрит у закусочной "Софти", но пока что вне стен ее комнаты им удалось совершить это лишь однажды — вечером на заднем сиденье машины, поставленной на парковочную площадку у "Каферия" Масейо. А сегодня он должен встретить ее позади "Видеолэнда" и там побыстрому отстрочить, а потом газу — и на Монарх-стрит, где его ждет выемка палой листвы из дренажных канавок. После работы она отвезет его домой, по дороге, может быть, остановившись у какой-нибудь телефонной будки. Самым интересным в их поездках было постоянное предвкушение пополам с ощущением того, как город становится все более своим, их собственным (они ведь и "Каферий" вроде как поимели, а с ним и того же Тео), так что над всей материальностью домов и улиц теперь маячит Джуниор верхом на нем в постели — в сапогах и фуражке с козырьком, надвинутым так, что не видно глаз. А Тео, Джамал и Фредди — ну, поймают они очередную какую-нибудь подвыпившую десятиклассницу в туфельках с пластмассовыми каблуками, так и пускай берут себе. Много ли с нее проку? Ни тискающих рук кроме их собственных, ни жадных губ кроме их собственных, ни стонов наслаждения кроме их собственных. А главное, всё на виду. Им ведь без этого никак — нужно, чтобы каждый другого поддерживал и все всё видели, иначе это будет как бы не взаправду: должен звучать весь хор, иначе хрен ты заглушишь рев той трубы. И всегда они это делают не с девчонкой, а неизвестно... — что друг для друга, так это точно, а может, и вообще друг с другом. Он же, совсем напротив, обнимает, и тискает, и делает, что хочет, со своей женщиной — кото-

1. Восемнадцатая поправка к Конституции США — законодательный акт (1919 г.), которым вводился сухой закон, т. е. запрет производства, транспортировки и продажи спиртных напитков.

рая сама его заклеила и сама устраивает, чтобы у них было укромное местечко посреди глупой слепой толпы.

Роумен поднял голову, глянул на часы. До звонка еще две минуты — вечность!..



Мотор выключать Джуниор не стала. Водительских прав у нее не было, и хотелось быть наготове, чтобы тут же смыться, если подъедет патруль полиции. Она опять проголодалась. Два часа назад съела четыре куска бекона с поджаренным хлебом и два яйца. А теперь надо снова рулить к "Софти", взять гамбургеров, молочные коктейли и уже с ними рвать когти назад к "Видеолэнду". Она два дела может делать одновременно. Даже три. Роумену это должно понравиться, как нравится Хорошему Дядьке. Тому, который иногда сидит в ногах ее кровати и, довольный, смотрит на нее спящую, а когда она просыпается, подмигнет, улыбнется и исчезает. Забавно, до чего раздражало нечто подобное в исправиловке, дико бесило, что день и ночь за тобой постоянно смотрят, но то, что на нее так смотрит Хороший Дядька, только приятно. Ей незачем даже голову поворачивать, и так понятно: вот он на пороге или вот сейчас забарабанит пальцами по подоконнику. Его приход возвещался запахом лосьона "после бритья". И если она будет лежать тихо, может услышать шепот: "Чудные волосы", "Ну-ка ротиком", "Молодец, девочка", "Хорошие какие сиськи", "А почему нет?" Он так все четко понимает, куда до него любому десантнику Джо. А удачу она по-прежнему держит за хвост: роскошная, теплая хаза, прорва по-настоящему хорошей жрачки и работа, за которую даже платят, — нет, о таком она и не мечтала, когда ее по возрасту должны были освободить из исправиловки. Да еще и такая премия, как Роумен, — вроде знака плюс после пятерки. Вроде тех пятерок с плюсом, которые ей ставили, когда она была примерной ученицей. То есть считалась примерной, пока ей не начали шить прямо будто убийство. Ну зачем бы ей убивать его? Чтоб перед самым освобождением все испортить?

Убивать члена опекунского совета у нее и в мыслях не было, а вот остановить его — это да. Некоторым девочкам нравилось ходить к нему на консультации: они за это получали дежурства по канцелярии, сексуальное белье и увольнительные из зоны. А вот ей — нет. Джуниор и так, благодаря успехам в машинописи, всегда имела работу в офисе. Да и трусы ее вполне устраивали трикотажные; что же касается волнующих прогулок на свободе, то удовольствие от них сильно портили подозрительные взгляды местных жителей, от которых не спрячешься нигде — ни углубившись в аллеи парка, ни положив локти на стойку закусочной. Что же касается секса, то его у нее было сколько угодно — хочешь с мальчишкой из "Кампуса А", хочешь с какой-нибудь девчонкой из тех, что плачут по дому, не могут нареветься. Кому нужен какой-то старик (ему было, наверное, не меньше тридцати) в широком красном галстуке, указующем на пенис, которому не сравниться хотя бы даже с огурцом, бруском мыла, леденцом, кухонным каким-нибудь предметом — да мало ли до чего додумаются изобретательные девчонки?

Выпускное собеседование было назначено на пятницу, а когда его сдвинули на четыре дня вперед и перенесли на понедельник, Джуниор решила, что ей готовят какую-то награду, а то, глядишь, может, и работу предложат. В пятнадцать она вольна будет идти на все четыре стороны,

очищенная от той скверны, которая привела ее в исправиловку; может вернуться к семье, из которой никто ни разу за три года не пришел ее навестить. Но возвращаться в Выселки она не собиралась. Исправиловка спасла ее от тамошнего сброда. Но вот внешний мир, тот, который показывали по телевизору и о котором рассказывали новенькие девчонки, ей посмотреть хотелось. Так хотелось, что ни о каком срыве в последний момент и речи быть не могло; да и зачем бы ей срываться — все привыкли, что она воспитанница примерная и ни в чем дурном не замечена. Но Комиссия поверить ей отказалась, поверили этому члену совета и подтвердившему его слова психологу — конечно, им лучше знать.

Выпускное собеседование началось как нельзя лучше. Член опекунского совета, непринужденный и разговорчивый, рассказывал о том, как он доволен работой учреждения и ею в частности. Подошел к раздвижной двери, которая вела на маленький балкончик, вышел туда и позвал ее, чтобы она с ним вместе полюбовалась на деревья в парке. Сев на перила, он предложил ей сделать то же самое, хвалил ее, призывал не исчезать, поддерживать контакт. Ведь он здесь для того, чтоб помогать ей. Улыбаясь, сказал, что, может быть, перед уходом ей стоит сделать прическу. "У тебя такие красивые волосы, просто грива". Потрогал их, погладил ее по головке и вдруг, охватив затылок, притянул к себе и нажал. Сильно-сильно. Джуниор упала на колени, и, пока член совета торопливо расстегивал ремень, ее руки обхватили его за ноги под коленями и перевернули через перила. Он упал со второго этажа. Всего-то со второго. Школьный психолог, который, увидев падение, бросился к нему на помощь, видел и его расстегнутый ремень, и раскрытую ширинку. Своими показаниями, преподнесенными так, чтобы, главное, удержаться на работе, он выгораживал члена совета, который был ошеломлен и пребывал в полном недоумении от ее "странного, дикого, во вред себе предпринятого шага" — а ведь была как будто бы примерная ученица! Комиссия, шокированная словом "отсосать" — а Джуниор именно его употребила в своем объяснении, — за проявленное буйство и насилие, да такое, что им оставалось лишь качать головами, быстренько перевела ее из учениц в заключенные.

За следующие три года Джуниор многому научилась. Если раньше ее и посещали минутные сомнения в том, сумеет ли она после исправиловки пробиться в жизни, то теперь они полностью пропали. Закрытая школа, а после нее тюрьма обострили интуицию. В исправительном заведении время не проходит — оно запасается, податливо сбивается комочками и откладывается в долгий ящик. Еще полчаса, чем занять их? Еще десять минут. Подстричь ногти занимает минут семь; помыть голову — двадцать. Полторы минуты на дорогу из физкультурного зала в класс. Игры: девяносто минут. Два часа у телевизора перед отбоем, а потом свет гаснет, и наваливаются годы сна, когда краешком сознания ты все равно настороже, потому что рядом чужие с их тягостной телесной реальностью. И что ни говори, но при всей жесткости сетки ежедневного расписания строить любые планы губительно. Будь начеку, держи ушки на макушке. И быстро оценивай — жесты, слова, выражение глаз, тон разговора, случайные движения: читай мысли. Выбирай момент. Лови шанс. Этого не отнимут. Если повезет, в нужный момент окажешься рядом — с бумажником, с окном, с дверью. И ВПЕРЕД! Это твое. Все без остатка. Удача может подвернуться, а счастья надо добиваться. Ее Хоро-

ший Дядька с этим тоже согласен. Она с самого начала поняла, что ему нравится, когда она побеждает.

Они друг друга узнали в первый же вечер, как только она поймала на себе его взгляд с портрета. Но лишь во сне познакомились. Не приставал, не беспокоил, не упрекал — поднял ее на плечо, и она поплыла на нем через сад, где огромные зеленые яблоки. Когда она проснулась в холодной, залитой светом комнате, этот сон своим теплом грел лучше одеяла. И сразу в ванну (наконец-то!), чтобы потом с готовностью кинуться вверх по лестнице к своей новой начальнице — надо ведь показать, насколько Джуниор пунктуальна, а главное — еще раз бросить взгляд на плечи ее Хорошего Дядьки.

Гида сидела в постели, головой чуть-чуть не доставая до золоченой рамы. Джуниор сказала, что не хочет идти подбирать себе одежду из того, что у хозяйки залежалось; пока не заработает на новые вещи, будет ходить в своем. Тем не менее Гида послала ее в чулан, где в пластиковом мешке висел красный костюм. Костюм оказался страшен и чересчур велик, но Джуниор вдруг очень захотелось раздеться прямо здесь, в спальне Гиды, у него на глазах.

— Сходи, найди себе позавтракать и возвращайся, — велела Гида.

Сходила, нашла: грейпфрут, омлет, бекон, овсянку; заодно поболтала с Кристиной, в этом костюме сама себе напоминая старушенцию.

Уже позавтракав, по пути обратно все окончательно поняла. В коридоре второго этажа почувствовала, что он где-то рядом: побежали мурашки удовольствия — сейчас что-то будет! Тут ее внимание привлекла дверь напротив той, что вела в комнату, где спала она. Не заперта. В воздухе витает мужской парфюм. Вошла. Комната вроде офиса: диван, стол, кожаные кресла, комод с зеркалом. Джуниор все осмотрела. Во встроенном шкафу потрогала галстуки и рубашки; понюхала его туфли; потерлась щекой о рукав его пижамной куртки. Затем, обнаружив стопку трусов, сняла красный костюм, сунула ноги в трусы и легла на диван. Ему это явно понравилось. Да он и вообще был рад, что она зашла, играет с его вещами и ублажает себя на его глазах.

Чуть позже, уже возвращаясь в комнату Гиды, Джуниор бросила взгляд через плечо назад, на его дверь, по-прежнему приоткрытую, и увидела мелькнувшую белую манжету рубашки — он своей рукой закрывал дверь. Джуниор понимающе усмехнулась, зная, что и он сделал то же самое.

А тут еще — это ж надо! — глянув из окна хозяйской комнаты, увидела парнишку. Который предназначен ей. Все становилось на свои места. Если она сумеет понравиться обеим старухам, они смогут жить счастливо вместе. И все, что нужно делать, это изучать их, пытаться понять. Кристине на деньги плевать, она любит кормить ее и сама предложила брать, когда надо, машину. Гиду, наоборот, волнуют цены на бензин, беспокоит стоимость просроченных пакетов с молоком и вчерашнего хлеба. Как в щедрости Кристины, так и в скаредности Гиды Джуниор усматривала разные способы от нее отделаться. Один — "бери что нужно и оставь меня". Другой — "я начальник, а ты дурак". Ни одну не интересовала она сама по себе, только в связи с тем, упрощает она или усложняет их взаимоотношения. Не то чтобы посредник и не совсем наперсница, она оказалась в довольно двусмысленной роли, благодаря которой, впрочем, раскрыла кое-какие маленькие секреты. Среди новых, никог-

да не надеванных вещей в запертых чемоданах оказалась короткая, прозрачная ночная рубашка с голубенькой опушкой по подолу; картонная коробка с резиновой спринцовкой внутри; склянка горчично-желтого какого-то порошка. Принадлежности, нужные в отпуске? Или приготовленные для побега? А Кристина горстями ела витаминные таблетки и переливала "будвайзер" в пустые банки из-под "пепси". Обе старухи регулярно покупали и использовали гигиенические прокладки, а потом выбрасывали их в мусор без единого пятнышка. Чеки Гида подписывала при помощи печатки с инициалами, рахитично тощими и клонящимися влево.

Придет время, когда старухи устанут воевать и все дела передадут ей. А у нее есть этот дар: когда хочет, она умеет приводить к согласию — вроде того раза, когда в исправиловке Бетти во время танцев на Рождественском празднике принялась отнимать партнершу у Сары и они передрались так, что обе угодили в карцер. Когда девчонки, шипя от злости, вернулись в рекреацию, угрожая своим поведением испортить праздник всем, именно Джуниор их помирила. То с одной поговорит, то с другой, и стала незаменима для обеих. Труднее ли будет со старухами, слишком усталыми, чтобы ходить за покупками, и слишком слабыми, чтобы самим красить волосы? Слишком старыми, чтобы помнить, зачем на самом деле нужен автомобиль. Она усмехнулась.

Джуниор тронула ногой педаль газа. Мотор послушно взревел. Ванильное? Клубничное? Пора возвращаться к Роумену.

## 6
## *Муж*

Девчонки из исправиловки не такие дуры, чтобы верить этикетке. "Намазать и оставить на пять минут, потом тщательно смыть" — это совет, а не приказ. Какие-то средства надо оставлять на пятнадцать минут, другие кожу головы сжигают в момент. Об уходе за волосами тут знают всё: как заплетать косички, какой нужен шампунь, как распрямлять волосы, как стричь. Так что раньше, пока им парикмахерские развлечения не запретили (Фоун однажды практически ослепила Хелену, нарочно брызнув ей в глаза "Натур-инстинктом"), они тонировали и красили волосы сноровисто, будто всю жизнь только этим и занимались.

Джуниор проводила частым гребнем по волосам Гиды и каждую серебряную бороздку заполняла густой колбаской "Девичьей красы". Предварительно она все такие бороздки промазала вазелином, чтобы щёлок не щипал кожу. Потом легкими касаниями пригнула Гиде голову туда и сюда — проверила, как обстоит дело со лбом и шеей. Края ушных раковин Гиды были в отметинах неглубоких шрамов — от ожогов то ли краской, то ли щипцами, которыми неловко распрямляли волосы. Указательным пальцем в перчатке Джуниор легонько провела по шрамам. Затем отогнула ухо, чтобы стереть лишнюю жидкость ватным тампоном. Убедившись, что все корни увлажнены и обрабатываются, надела на волосы банную шапочку. Споласкивая инструменты, складывая покрывала, она слушала монотонный бубнеж Гиды — довольную воркотню, которая непременно сопровождает работу парикмахера. Мытье го-

ловы — это всегда легкий массаж, ласковые прикосновения нежных рук под робкое поскрипывание чистых волос. Дремотным, недоуменно-благостным голосом Гида рассказывает историю парикмахерского кресла, в котором сидит. Как Папа говорил, что нет в мире кресла удобнее; дескать, заплатил за него тридцать долларов, а не жалко было бы отдать сотни и сотни. Как никакие противоречия с модным убранством дома не помешали ему перетащить кресло из отеля в эту ванную. Как Гида дорожит им, потому что в самом начале замужества, сидя именно в этом кресле, Папа на нее массу времени потратил, обучая делать маникюр, педикюр и все прочее, чтобы у него ногти были в полном порядке. И брить себя учил — с применением опасной бритвы и ремня для правки. Она была так мала, что приходилось вставать на приступочку. А он был бесконечно терпелив, и она училась. Воодушевленная тем, как послушно, с молчаливой заинтересованностью внимает ей Джуниор, она продолжала бормотать о том, что в те дни никогда не чувствовала себя в достаточной мере чистой. Над выходцами из тех мест, откуда она родом, все смеялись, дразнили за то, что они жили рядом с консервным заводом, и хотя сама она ни минуты там не проработала, все-таки боялась, что и ее подозревают в какой-то происходящей из-за этого порче. Даже теперь — ведь вот же что сделалось с ее руками, так стало трудно с привычным, обыденным уходом за собой.

Джуниор подумала: видимо, Гида тем самым намекает, чтобы она сделала ей также и педикюр и помыла в ванне. Хотя это и не обещает той буйной радости, того веселья, каким сопровождались совместные походы в душевую в исправиловке, но в намыливании тела — любого тела — все же содержится нечто приятное, такое, что понять может лишь ребенок, выросший в Выселках. Да и ему будет приятно наблюдать, как она холит его жену; ведь приятно же ему смотреть, как они с Роуменом сплетаются голые на заднем сиденье его старого — двадцать пять лет как-никак! — автомобиля; а уж как заводит его то, что она в его трусах ходит!

Она включила фен. Сперва теплый, потом прохладный ветерок, лаская Гиде кожу головы, вызвал новый прилив воспоминаний.

— Из цветных мы были первым семейством в Силке, так что ни один белый насчет нас и пикнуть не смел. Шел тысяча девятьсот сорок пятый. Война только что кончилась. Деньги были у всех, но у Папы их было больше, чем у кого бы то ни было, и на своей земле он построил этот дом, а земля была всюду его — сколько хватает глаз. Теперь там Морская набережная, а был заброшенный сад, в котором жили огромные стаи птиц. Подай-ка мне полотенце.

Гида промокнула виски и поглядела в зеркало.

— Мы дважды праздновали победу. Один раз в отеле — всех туда собрали; и еще раз здесь, в доме, для своих. Потом про это разговоров было на много лет. В то лето вообще праздновали не переставая — как начали в мае, так до четырнадцатого августа и не просыхали[1]. Везде флаги. На пляже салюты, ракеты. Мясо было по карточкам, так Папа со своими связями на черном рынке пригнал нам его целый грузовик. На кухню меня не пускали, но и мне тогда работа нашлась.

1. 14.08.1945 — день окончания войны в Тихом океане. В этот день император Хирохито по радио обратился к японскому народу с призывом принять поражение в войне. Формальная капитуляция Японии была подписана позже — 02.09.1945.

— А почему вас не пускали на кухню?

Гида наморщила нос.

— Ну какой был тогда из меня повар. Потом, я ведь жена, понимаешь ли... хозяйка, а хозяйке не полагается...

Гида умолкла. То, как она была "хозяйкой" на двойном праздновании победы в сорок пятом, перекрылось воспоминанием о другом сдвоенном празднике, двумя годами позже — когда отмечали шестнадцатилетие Кристины и заодно окончание школы. Вновь семейный обед в доме, а потом всеобщее ликование в отеле. К июню тысяча девятьсот сорок седьмого Гида не виделась с бывшей подружкой четыре года. Та Кристина, которая вышла тогда из папиного "кадиллака", ничем не напоминала девочку, что в сорок третьем уходила из дома, размазывая слезы по щеке ладошкой. Щеки те же, но глаза стали больше и смотрели холодновато. Косички исчезли, появилась аккуратная стрижка "каре" и такая же гладенькая улыбочка. Они не притворялись, будто рады друг дружке, и, сидя за столом, прятали любопытство, как прожженные профессионалки. Закатное солнце, красное как арбуз, уже умерило свой влажный гудящий жар. Гиде запомнилось, что от вазы с гарденией исходил запах детской присыпки, а их лепестки по краям коричневели, как будто поджаривались. Еще в памяти остались руки: кто-то отмахивается от мухи, прижав к верхней губе салфетку; а вот Папа указательным пальцем накручивает ус. Почему-то в молчании все ждали Л. Она приготовила роскошный обед, испекла торт. В саду из сахарных роз, перевитых марципановыми лентами, торчали шестнадцать свечей, ждали своего часа. Разговоры велись вежливые и пустые, что еще явственнее подчеркивалось поскрипываниями потолочного вентилятора и многозначительными взглядами, которыми обменивались Мэй и Кристина. Охваченный послевоенным возбуждением, Папа хвастал, дескать, он сделает отель еще лучше, вплоть до того, что поставит охладитель воздуха фирмы "Керриер".

— А что, неплохо было бы, — проговорила Кристина. — Я-то уже и забыла, как здесь бывает жарко.

— Первым делом установим в отеле, — сказал Коузи. — Потом в доме.

Тут Гида ощутила начальственный зуд и вмешалась:

— Те вентиляторы, что в спальне, еще ничего, а вот насчет который в этой комнате — ох, боюся, вдруг сломается.

— Ты хочешь сказать "боюсь".

— А я так и сказала.

— Ты сказала "боюся". Да и "насчет который" тоже не говорят. Если ты хочешь сказать, что боишься, что тот, который...

— Она будет сидеть за моим столом и учить меня, как разговаривать!

— За твоим столом?

— Пожалуйста, ну-ка вы, обе! Успокойтесь.

— Ты за меня или за нее?

— Делай, как я сказал, Гида.

— Да ты что же — на ее стороне? — Гида встала.

— Гида, сядь, ты меня слышишь?

Гида села, как провалилась в зияющую тишину, видя перед собой лишь отраженные в вазе увеличенные руки и лепестки гардении, но тут вошла Л. с шампанским в ведерке. В ее присутствии Гида успокоилась настолько, что смогла взять со стола и протянуть стакан.

— Другой, другой, — сказал он. — Этот для воды.

Не скрывая злорадства, Мэй переглянулась с дочерью. Перехватив ее улыбочку, видя их враждебный настрой, Гида вышла из себя и, запустив в мужа неправильным стаканом, кинулась мимо него на лестницу. Папа встал, схватил за руку. Затем с этакой старосветской грацией перекинул через колено и отшлепал. Не сильно. Не больно. Методично, по обязанности, как наказывают нашкодившее животное. Когда он перестал, пути на лестницу, чтобы удрать, у нее не было. Совсем не было, но она все равно удрала. И как только ее спотыкающийся бег вверх по лестнице затих, разговор за столом возобновился и все стали чувствовать себя свободнее, как будто наконец рассеялся дурной запах, который всех отвлекал.

Джуниор выключила фен.

— А как ваши-то родственники? Вы никогда о них не говорите.

Гида произвела горлом непонятный звук и плавничком отмахнулась.

Джуниор хохотнула.

— Очень вас понимаю. Меня щелочь пить заставь, я и то к родственникам не вернусь. Они меня на полу спать укладывали.

— Забавно, — улыбнулась Гида. — Я первые недели после свадьбы вообще больше нигде спать не могла. Так была к этому приучена.

Гида покосилась на лицо Джуниор в зеркале и подумала: вот оно что, вот почему я взяла ее. Мы с ней одни здесь такие. Обиженные родителями. Замужество было для меня шансом выбраться, узнать, что значит спать на настоящей кровати, когда кто-то рядом, кто спросит, что ты хочешь на завтрак, да пойдет еще и принесет. И все это в большом отеле, где одежду гладят и складывают, где для нее существуют вешалки, а не гвозди, вбитые в стену. Где в бальном зале кружатся в танце городские женщины, а спрятавшись за кулисами, можно смотреть, как музыканты настраивают инструменты и певица поправляет чулок или делает глоток из фляжки — в последний раз перед выходом со своей как всегда потерянной "желтой корзинкой"[1].

Почти сразу после венчания ее родственники начали кучковаться в стаю и искали, где бы побольней вцепиться. Каких бы унижений ей это ни стоило, но Коузи были (то есть стали сразу же) ее семьей. Хотя, как выяснилось, место и здесь приходилось отвоевывать, но Папа все-таки сделал так, что это оказалось достижимо. Когда он рядом, всех как ветром сдувало. Раз за разом он заставлял их понять, что ее следует уважать. Как, например, в тот раз, когда они вернулись после трехдневного "медового месяца". Гиду распирало от историй, которые ей хотелось рассказать Кристине. Неустойчивая в своих новых шатучих и каблукастых туфлях-лодочках, она была встречена не только презрением Мэй, но и мрачной холодностью Кристины.

Первая начала тогда, конечно, Мэй, принявшись смеяться над обновками Гиды, но и Кристина присоединилась с ухмылкой, которой Гида от нее никак не ожидала.

— О-ох ты го-осподи, во что это мы вы-ырядились? — запела Мэй, взявшись за голову. — Ты похожа на... на...

1. Первый в жизни Эллы Фицджеральд (1917–1996) всенародный хит (1938) "A-Tisket, A-Tasket / I lost my yellow basket".

— Ну-ка, ну-ка! — вмешался Папа. — Этого я не потерплю. Прекратили сейчас же. Обе. Вы меня слышите?

Дрожа, Гида обернулась к Кристине за помощью. Напрасно. Глаза подружки были холодны, как будто это Гида предала ее, а не наоборот. Вперед с ножницами в руке выступила Л., она срезала ими ценник, свисавший с ворота Гиды. Но над чем, не могла понять Гида, над чем они смеются? Над кубинскими туфлями на каблуке? Над черными чулками в сеточку? Над этим красивым лиловым костюмом? Вот Папе, например, ее покупки понравились. Он сам привел ее в шикарный универмаг — впрочем, из тех, где над дверями все же не висит знак "Цветным входа нет" и где неграм нет ограничений: и уборной пользуйся, и шляпы примеряй (тулью для этого папиросной бумагой обкладывают), и раздеться можно в специальной кабинке. Гида подобрала себе вещи, подобные тем, что видела в отеле на шикарных женщинах, поэтому широкую улыбку продавца и веселый смех других покупательниц она поняла как одобрение ее выбора. "Выглядишь — просто отпад!" — сказала одна из них и фыркнула от удовольствия. Когда она вышла из кабинки в светло-бежевом платье с вышитыми на плече красными розами и низким лифом, где грудям оставалось место на вырост, Папа улыбнулся, кивнул и говорит: "Берем-берем! Берем всё!"

Все три дня они с утра до вечера ходили по магазинам, и Папа разрешал ей покупать, что в голову придет, вплоть до помады "Вечер в Париже". Утром они понарошку боролись, потом завтракали у Рейнода. В отличие от их отеля, в том, где они остановились, своего ресторана не было, что Папу очень порадовало: он любил выискивать заведения негритянского бизнеса, где дела шли хуже, чем у него. Он водил ее на Брод-стрит, в магазины Эдвардса, Вулворта, Хэнсонса, где были куплены не только туфли на высоком каблуке, но также и гуарачи[1], и лаковые домашние тапочки, и сетчатые чулки. Она оставалась одна лишь по вечерам, когда он на несколько часов уходил в гости к друзьям или заниматься бизнесом. Гида против этого совершенно не возражала — у нее были книжки-раскраски, журналы с картинками и куклы, которых надо вырезать из бумаги, а потом вырезывать им одежду. Да и улица тоже. Из их окна на втором этаже она, как зачарованная, наблюдала за движением транспорта и народом внизу. Туда-сюда ползали черные машины с прямоугольными крышами и поминутно блеяли. Сновали солдаты, матросы, женщины в шляпках, маленьких, как подушечки для булавок. Повсюду киоски с овощами и плакаты на стенах ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ? ДЯДЕ СЭМУ БЕЗ ТЕБЯ ТРУДНО!

Папа водил ее смотреть "Как зелена была моя долина"[2] и "Китти Фойл"[3]. Когда смотрели "Гроздья гнева"[4], она так истово и долго плакала, что его носовой платок вымок до нитки. И как ни чуден был медовый месяц, ей не терпелось скорей вернуться и обо всем поведать Кристине. Но ее обидели, и все рассказы остались втуне.

1. Мексиканские кожаные сандалии на плоской подошве.
2. Фильм 1941 г. по роману валлийского писателя Ричарда Ллуэллина (1906–1983).
3. Фильм 1939 г. по роману Кристофера Дарлингтона Морли (1890–1957).
4. Фильм 1940 г., поставленный Дэррилом Зануком (1902–1979) по одноименному роману Джона Стейнбека (1902–1968).

Был еще раз, когда она попыталась помириться с Кристиной, предложив ей поносить свое обручальное кольцо, но тут взорвалась вся кухня. Все четверо — Мэй, Л., Кристина и Гида — чистили овощи, когда Гида сняла колечко, протянула его Кристине и говорит:

— Хочешь? Можешь поносить.

— Какая же ты дурочка! — вскричала Мэй.

И даже Л. не осталась равнодушной.

— Будь осторожнее, — сказала она. — Смотри, накличешь!

А Кристина вдруг разревелась и выскочила за дверь. Спряталась за бочкой с дождевой водой и давай кричать ей оттуда:

— Ы-тидагей а-ридагей ы-бидагей я-нидагей! Н-оидагей у-кидагей илпидагей е-тидагей я-бидагей а-зидагей о-гидагей о-дидагей у-видагей а-юидагей ен-ридагей у-дидагей о-дидагей а-мидагей и орт-тидагей!

Гида низко склонилась лицом к фасоли, которую перебирала. "А-ридагей ы-бидагей я-нидагей!" — звенело и отдавалось у нее в ушах.

В ту ночь, когда Кристину после дурацкой попытки сбежать притащил назад шериф Бадди Силк и она получила от матери по морде, Гида ей ни слова не сказала. Еще чего! Она стояла на ступеньках с Папой и держала его руку в своей. Прошло еще две недели, и Кристину спровадили, так что Гида осталась сама по себе. А Л. и Папа сделались ее ангелами-хранителями в этом загадочном мире.

— А я своего отца даже и не видела, — сказала Джуниор. — Его убили на войне. Вьетнам.

— По крайней мере, он хоть выполнил свой долг, — сказала Гида.

— А матери на меня вообще плевать было.

— Моей тоже.

— Наверное, мне надо замуж выйти — вот, вроде как вы.

— Смотри, хуже бы не получилось.

— Ну, вам-то вон какой дом остался замечательный.

— Мой Вьетнам. Правда, я выжила. — "До поры", — добавила она про себя. — Но то, что он оставил меня хорошо обеспеченной, это ты верно говоришь.

— Ну вот, ну вот! Неужто вы не рады, что он вас пожалел?

— Пожалел? — ощетинилась Гида. — Что ты такое говоришь?

— Ну, не "пожалел"... Я не то хотела сказать. Я, в смысле, он должен был понимать, что вам одиноко.

— Конечно, он понимал. Но это была не жалость. Это... это... — Так она и не смогла произнести нужное слово, да и от него не слышала с тысяча девятьсот сорок седьмого года ни разу. По отношению к себе то есть, а слушала-то двадцать четыре года. Рыдания, которыми она разразилась, когда он умер, были так неудержимы оттого, что ей окончательно стало ясно: это слово она не услышит больше никогда.

— Слушай. — Она потянулась рукой назад, тронула Джуниор за локоть. — Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала. То есть вместе. Чтобы мы вместе кое-что сделали. В этом есть нечто для тебя тоже, не только для меня.

— Конечно. Что?

— Мне нужны кое-какие документы. Но они там, куда я сама добраться не могу. Ты должна будешь меня туда отвести, а потом помочь найти их.

— Куда отвести?

— В отель. На чердак. И нам понадобится авторучка.

Джуниор его обыскалась. И в других комнатах искала тоже, потому что, сидя в его кабинете, надев его галстук, уже не чувствовала лосьонной отдушки и в ушах не раздавалось его "Привет, малышка". А может, и не нужно у него спрашивать. Была ему охота во всякую ерунду вдаваться. Может, ему наперед ясно, что она знает, как поступить. Во-первых, неплохо бы уточнить с Кристиной: убедиться, что они с ней в дружбе — на случай, если план Гиды провалится. А вывести Гиду к машине, чтобы Кристина этого не заметила, будет нетрудно: распорядок в доме не менее жесткий, чем в исправиловке.



Вечером она примостилась на корточках около Кристины, которая сидела на заднем крылечке с банкой "пепси" в одной руке и сигаретой в другой. Не обращая внимания на погоду, Кристина не утеплилась ничем, кроме безрукавки, поддетой под фартук. Джуниор кивком указала на пачку сигарет.

— Можно я тоже возьму?

— Покупай свои. Тебе платят. Мне нет.

— А вдруг мне дорого, а, Кристина?

— Если тебе не дорого это кольцо в носу, тогда и сигареты не дорого.

— Ладно, я все равно не курю. От этого только вонь одна.

Кристина усмехнулась, вспомнив, какое амбре принесла в дом Джуниор, когда впервые появилась.

— Ну и молодец, — сказала она.

— А как же так? Почему вам не платят? Вы больше меня работаете.

— Потому что твоя начальница не только сволочь, но к тому же сумасшедшая и нуждается в помощи.

— Вот я и помогаю ей.

— Да не в такой помощи. Ты что, не замечаешь в ней ничего странного?

— Ну, в чем-то — может быть. Немножко.

— Немножко? Годами не выходить из комнаты — это как, нормально? И о чем только вы там с ней все говорите?

— Да так. О ее жизни.

— О господи.

— Она мне фотки показывала. Свадебные. И вас я на снимке видела. Такой вы были красавицей, обалдеть. Вы с ней давно друг друга знаете? Вроде как родственницы, кузины, что ли?

— Кузины? — Кристина скорчила гримасу.

— А что, вообще не родственницы? Просто подруги?

— Она мне не подруга. Она мне бабушка.

— Чего-чего?

— Ты меня слышала. Бабушка. Поняла?

— Но вы же одного возраста.

— Я старше. На восемь месяцев.

— Минуточку. — Джуниор нахмурилась. — Она сказала, что была замужем тридцать лет, а умер он двадцать пять лет назад. Так она же тогда должна была быть... ребенком.

— Вроде того. — Кристина отпила глоток из банки.

— А вам тогда... сколько было?

— Двенадцать. Мой дедушка женился на ней, когда ей было одиннадцать. Мы были закадычные подружки. Сегодня она строит на пляже песчаные замки, а назавтра он сажает ее к себе на колени. Сегодня мы под

одеялом играем в дочки-матери, а назавтра она спит в его постели. Сегодня мы играем в джеки[1], назавтра она трахается с моим дедом. — Кристина окинула взглядом свои бриллианты, помотав в воздухе всеми пальцами, как гавайская танцовщица. — Сегодня дом мой, назавтра это ее собственность.

Она отложила пачку сигарет в сторону и поднялась.

— Что ни говори, но это действует на мозги — когда выходишь замуж до первых месячных. Она нуждается во врачебной помощи, ты так не думаешь? — Кристина подула на свои кольца. — Бывают девственницы, но бывают же и просто дети, — сказала она и ушла, оставив Джуниор додумывать эту мысль.

Вернувшись на кухню, Кристина вдруг вспотела. Она прислонилась лбом к дверце холодильника, потом открыла, чтобы оттуда дохнуло холодом. Вновь, как тогда, на крылечке, волна жара рассеялась, но вскоре опять вернулась и оставила после себя дрожь и озноб. Уже довольно давно завеса раздралась[2], открыв широкое безжизненное плато сплошного камня, так что неизвестно еще — не она ли, а вовсе не Гида нуждается во врачебной помощи. Набрав в морозилке ледяных кубиков, Кристина завернула их в полотенце и стала прикладывать к горлу, вискам, запястьям, пока не почувствовала себя лучше. Чувство уныния не проходило. Этакий ясный взгляд на мир как он есть — бесплодный, черный, безобразный и, главное, бессовестный. Что она в нем делает? Рассудок вот-вот ускользнет; происходящее бессмысленно, бесцельно. Да, она вся в делах, но как же еще гнать это от себя — этот безжизненный камень, пустыню без малейшей зелени? Закрыв глаза, с холодным полотенцем, прижатым к векам, она прошептала: Нет! — и распрямила спину. Нет, это в самом деле важно. Ее борьба с Гидой и не бессмысленна и не напрасна. Она никогда не забудет, как воевала за нее, как, защищая ее, скандалила с матерью, чтобы ей дали во что одеться: платья, трусы, купальник, сандалии; как они вместе сиживали на пляже. Они хохотали до колик, у них был свой тайный язык, а когда спали вместе, знали, что сны одной видит и другая. И вдруг, чтобы твоя лучшая и единственная подруга — а вы с ней только что, визжа, плескались в ванне — променяла истории, которые вы придумывали и шепотом рассказывали друг дружке под одеялом, на мрачную комнату в конце коридора, комнату, где воняет выпивкой и стариком с его стариковским бизнесом, и теперь делает вещи, о которых не говорят, но при этом вещи столь ужасные, что от них не отмахнешься! Нет, такое не забывается. Да и зачем надо забывать? Это изменило ее жизнь. И на всю жизнь изменило Мэй. Даже Л. ходила с вытянутым лицом.

После венчания они иногда пытались вместе играть, но оттого, что каждая таилась, была настороже в ожидании очередной обиды, любая такая попытка заканчивалась ссорой. Потом слезы, ее тащит за руку

1. Игра, для которой в США и Канаде используется от шести до двенадцати звездообразных металлических или пластмассовых джеков и маленький мячик. Играющий разбрасывает джеки, потом подкидывает мяч и за то время, пока мяч не стукнется о землю, должен одной рукой собрать как можно больше джеков и той же рукой поймать мяч.

2. Скрытая цитата из Евангелия: "Было же около шестого часа дня; и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух" (Лк. 23:44—46).

Мэй и шипит на нее — смотри, тише, а то дедушка Коузи услышит, как ты дразнишь новобрачную.

У нее тогда много горечи накопилось. Этот понятно — великий и могучий, ему никто не указ, ему и это можно, и что угодно, и все сойдет с рук. Но мама-то, мама! Решила услать ее подальше вместо того, чтобы бороться. Поместила в дальнюю школу и домой даже на летние каникулы не очень-то приглашала. Для твоего же блага, говорит, для твоего же блага, и давай устраивать ей летние лагеря и поездки на все лето в гости к одноклассницам. Один раз Мэй записала ее помощницей воспитателя в приют для негритянских девочек, которые сбежали из дому из-за плохого обращения в семье. Да черт бы их побрал с их посылками на Рождество, не надо ей всех этих дорогих, не подходящих по размеру туфель, купленных к началу учебного года! Никакие толстые конверты, полные лжи и денег, не могли скрыть очевидного: ее изгнали. К Л. у нее тоже имелись претензии: единственный среди них миротворец, могла бы даже и без слов — посмотреть искоса, головой покачать, — но ведь не захотела встать ни на ту, ни на другую сторону. Но, конечно же, истинное предательство совершила подружка, которая с радостным хихиканьем пошла туда, куда ее ведут, — во тьму, в спиртовый перегар и стариковский бизнес. А кто должен был уйти? Кто должен был все бросить — свою комнату, кукольный домик, море? Конечно, та единственная, что была, как говорится, ни сном ни духом, вот кто. Даже когда она в шестнадцать лет возвратилась, чтобы спокойно и с достоинством занять положенное место среди домашних, ее отринули, потому что Гида к тому времени стала взрослой мерзавкой. Надо же до такого додуматься — подожгла ее!

Кристина вошла в свою комнату и села в потертое кресло с откидной спинкой, которое она предпочитала скрипучей софе. Жар и испарина прошли, головокружение отступало. Но приступ черной меланхолии был в разгаре. Должно быть, этот мир — плод моего же собственного воображения, думала она. Приличному человеку такое и в голову бы не пришло.

А должно было быть по-другому. Она-то ведь не этого хотела. Сидя в поезде, который вез ее домой из Мэйпл-Вэлли, она тщательно все продумала — как будет вести себя, как держаться. Все должно было пойти как по маслу, поскольку ее возвращение совпадало с празднованием всего сразу: дня ее рождения, окончания школы, обустройства в новом доме. Она решительно хотела держаться с Гидой корректно — указать, конечно, той на ее место, но не обидно, мягко, как их учили в Мэйпл-Вэлли. Как, почему, зачем она вдруг выскочила с нарочитым бахвальством, принявшись поправлять речь Гиды, — этого память не сохранила. Лучше всего запомнилось, как дед шлепает Гиду и все внутри заливает волна удовольствия оттого, что на сей раз он соизволил принять сторону внучки: пошел против жены и делом показал, какого рода поведение приветствует. Особенно радостно и привольно на душе Кристины стало, когда, оставшись одни, они втроем — настоящие Коузи — вместе уехали в большом автомобиле, а этой дешевки нигде даже и видно не было.

Когда они с Мэй вернулись, из окна ее спальни валил дым. С криками кинулись в дом, взбежали по лестнице — а там Л. вовсю утюжит почерневшие мокрые простыни двадцатифунтовым мешком сахара, подслащает разор.

И опять не Гиде — Кристине пришлось уйти. А с празднования в отеле дедушка Коузи внезапно исчез неведомо куда. Злые и перепуганные, мать с дочкой не ложились до трех часов утра, ждали, волновались, и вот он идет — здрасьте пожалуйста, — босой, как дворовый кобель, туфли несет в руке. Вместо того чтобы найти Гиду и вышвырнуть ее туда, откуда она явилась, он рассмеялся.

— Она же убьет нас, — прошипела Мэй.

— Да ну, кровать-то была пустая, — отмахнулся он, все еще посмеиваясь.

— Сегодня — да. А завтра?

— Я поговорю с ней.

— Говорить? С ней? Билл, я вас умоляю! — Мэй действительно была близка к тому, чтобы умолять его.

— Успокойся, Мэй. Я сказал: все будет нормально. — Он двинулся уходить, показывая, что разговор окончен и ему надо отдохнуть. Мэй поймала его за локоть.

— Но как же с Кристиной? Ей невыносимо так жить. Да просто опасно!

— Такого больше не должно случиться, — сказал он, особенно напирая на "не должно".

— Она опасна, Билл. И вы это знаете.

Он поглядел на Мэй долгим взглядом, затем кивнул.

— Возможно, ты и права. — Потом, тронув ус, добавил: — А может, ей куда-нибудь на недельку-другую уехать?

— Гиде?

— Не-ет. — Удивленный таким предположением, он даже нахмурился. — Кристине.

— Но ведь это Гида устроила поджог. Она виновата. Почему уезжать должна Кристина?

— Я женат не на Кристине. А на Гиде. Да и потом, это ведь ненадолго. Пока тут все не устаканится.

Вот так, в два счета, Кристину опять собрали, упаковали и отослали к очередной однокласснице. На недельку-другую. "На каникулы", как это объясняли соседям, и не важно, поверил кто-нибудь или нет. А ты, Кристина, звони, мама будет ждать, если что, она все устроит.

И вот тогда-то, стоя в платье кинозвезды, украшенном по лифу горным хрусталем, Кристина все окончательно взвесила и решилась. Он на нее ни разу не посмотрел. Смешно ему. Его дешевая малолетняя сучкажена пыталась убить ее, — что, не так разве? — и если ей когда-нибудь это удастся, интересно, как он посмеется, когда родная внучка будет лежать обугленная — или тогда он тоже все весело разрулит, как если бы то был необеспеченный чек какого-нибудь гостя, прогульщик-музыкант или ссора с торговцем, недопоставившим партию виски? Потом-потом, езжай, навести одноклассницу. Потом? Психи вы ненормальные. Надень туфли, дедуля, да приглядись ко мне хорошенько, потому что больше ты меня не увидишь никогда.

*Да что ты все о смерти думаешь, говорила я. А она говорит: нет, это смерть все обо мне думает. Ни бум-бум она в этом не смыслила. Думала, будто смерть ведет на небо или в ад. И никогда ей не приходило в голову, что там может быть просто продолжение того же, что и здесь. И можешь делать все что угодно, только*

*знай, что свалить будет не на кого. Но Мэй именно так объясняла, зачем она все тащит и прячет, зачем запасает и крадет. Смерть ломилась в дверь, и Мэй требовалась вся ее ловкость, все лукавство, чтобы не впустить ее. А дочь была слабым звеном, дверной петлей, которая вот-вот поддастся и потеряешь все. Кристину надо было защитить не только от того, что вкралось в дом и завладело свекром, но и от той негритянской прижизненной смерти, с которой Мэй сама была знакома, – от нищеты. Бездомности, попрошайничества; да тут еще и христианская вера, которая требует нескончаемой благодарности за миску мамалыги. Ничто не пугало ее больше этого, разве что неодобрение белых. При каждом удобном случае она пересказывала легенду о том, что мистер Коузи завершил собой длинную цепочку мирных, преуспевающих рабов и удачливых вольноотпущенников, где каждое следующее поколение добавляло свою толику к наследству, оставленному предыдущим. Независимые мастеровые, как она называла их. Сапожники, белошвейки, плотники, жестянщики, кузнецы, бесплатная рабочая сила и ремесленники, набиравшиеся все большего мастерства и оттачивавшие свои навыки ради богатых соседей, которые одаривали и поощряли их. Плотники делали прекрасные рояли; жестянщики работали в лаборатории местного колледжа. А один, кузнец, предложил свои услуги конезаводческой ферме, где заслужил сперва доверие, потом стал незаменимым, и, наконец, от его работы стала явно зависеть прибыльность бизнеса. Достигнув такого положения, он попросил за свою работу жалованья, а не только крова, и его просьбу удовлетворили. Малопомалу, согласно этой легенде, предки семейства Коузи откладывали и копили заработанное для детей, которых обучали и которым заповедовали продолжать в том же духе. Но не высовывались, не хвастали, не дерзили – наоборот, всячески угождали и старались держаться поближе к местным заправилам из белых. Это была сказочка для распространения на улице, среди непосвященных – едва ли Мэй или мистер Коузи воспринимали ее всерьез во всех деталях. Он-то и вовсе – знал, как было дело в действительности, но Мэй верила, и поэтому маленькая Гида с ее мужской рубашкой вместо платьица казалась ей воплощением катастрофы, этакой впущенной в дверь зеленой мухой, что вовсю жужжит уже над накрытым столом и вот-вот усядется на Кристину и выпачкает ее помоями, в которых родилась. С дружбой девочек Мэй мирилась до тех пор, пока не встрял мистер Коузи. Тут уже надо было действовать решительно. Если у Гиды и Кристины и были какие-то надежды оставаться подружками и вести себя как сестры потому лишь, что старому распутнику так заблагорассудилось, то Мэй сразу решила положить этому конец. Если муху нельзя прихлопнуть, она оторвет ей крылышки, пропитает воздух вокруг нее инсектицидом, чтобы та вздохнуть не могла, а дочь превратит в союзницу.*

*Жалко их. Они были просто девчонки. А годом позже им предстояло умыться кровью, и всерьез. Начиналась открытая битва не на жизнь, а на смерть. Причем для них это было во чужом пиру похмелье.*

*День, когда мистер Коузи сообщил нам, на ком женится, стал для Мэй ее персональным седьмым декабря*[1]*. В мгновение ока от скрытой обороны она перешла к военным действиям. А на войне, как скажет вам любой честный ветеран, хорошо одинокому и уж вовсе полная лафа полоумному балбесу. Она не всегда была такая. Когда я в двадцать девятом году ее впервые увидела – она тогда стояла рядом с Малышом Билли, – вид у нее был в точности такой, какой и дол-*

1. 7 декабря 1941 г. произошло нападение японской авиации на базу ВМС США в заливе Пёрл-Харбор, послужившее толчком для вступления США во Вторую мировую войну; президент Ф. Рузвельт назвал 7 декабря "днем несмываемого позора".

*жен быть у младшей дочери странствующего проповедника, который непрестанно ездит из прихода в приход и везде вынужден просить подаяния, в том числе и в виде одежды. Миленькая, недополучившая в семье любви и заботы девочка в латаном-перелатаном пальтишке. Облезлый меховой воротник, салатно-зеленое платьице и черно-белые ботинки сразу же наводили на мысль о блошином рынке. И пока я недоумевала, откуда сын мистера Коузи ее выкопал, она подняла руку Малыша Билли к губам и поцеловала ее. Из того, как ее глаза переходили с предмета на предмет, словно пожирая все, что было в вестибюле гостиницы, я вывела, что она станет вести себя как гость, ожидающий, чтобы его обслужили. И напрочь ошиблась. Даже не распаковав свой картонный чемодан, она сразу переоделась, сбросив задрипанное платьице, и приступила к делу. "Значит так, – сказала она мягким, приятным голосом. – Здесь надо бы подправить полировку. Это передвинем, вот под этим надо бы грязь убрать, да и там протереть..." Ну как тут было удержаться от улыбки? Такой меренговый голосочек, да и манеры – гранд-дама, да и только! Особенно мистеру Коузи – еще бы, значит, его сын правильную жену избрал, подходящую.*

*Она сместила Малыша Билли с должности официанта, при ней он сначала заведовал баром, потом стал договариваться с музыкантами, тем самым дав мистеру Коузи возможность сосредоточиться на деньгах и развлечениях. Даже беременность не сделалась ей помехой. До Мэй я не видывала, чтобы молодая мать отняла ребенка от груди в три месяца. Когда в тридцать пятом году Малыш Билли умер, это случилось так быстро, мы даже не успели толком поухаживать за больным. Кристина забралась ко мне под кровать, и когда я там ее обнаружила, разрешила ей спать со мной. Она не была плаксой, так что ее сонное хныканье меня отчасти даже успокаивало, тем более что Мэй восприняла смерть Малыша Билли не столько как трагедию, сколько как оскорбление. Хоть бы слезинку уронила – нет, лишь таращилась по-совиному, а Кристину растить предоставила мне. Мистера Коузи эта смерть сразила совершенно, и в результате дела вести, чтоб все не развалилось, приходилось нам с Мэй. Следующие семь лет она всю энергию вкладывала в бизнес. Семь лет работала, надрывалась, а в награду получила: "Вот, я жениться надумал. Ты ее знаешь. Та девочка, подружка Кристины". Хорошенькая награда – смотреть, как свекор женится на подружке ее двенадцатилетней дочери и эту девчонку возносит превыше всего – выше ее самой, выше ее дочери и всего, ради чего она работала. Более того. Предполагалось, что она будет эту девчонку учить, как над нами начальствовать. В те годы большинство девчонок рано выходили замуж (считалось, что чем раньше девушка уйдет на попечение мужчины, тем лучше), но в одиннадцать? Тут и так уже призадумаешься, но дело не только в возрасте. Новая свекровь Мэй была не просто малолеткой, она была из Джонсонов. Ни в каком диком кошмаре не привиделось бы Мэй семейство более зловещее. Джонсоны представлялись ей воплощением всех дураков, дикарей и слабоумных, выведенных во всех навязших в зубах мультсериалах и рекламных роликах. Сборищем опустившихся, безвольных психов, чьи покрытые коростой дети возятся в помойках, среди червей и сонмища гудящих мух. Вот кого она видела, глядя на Джонсонов. Что бы она ни делала – расчесывала ли волосы в спальне, плескала ли себе на лоб холодной водой в кухне, где бы ни находилась, речи ее об этом сводились к одному и тому же: беспомощность и лень не привычка, не наследие дурного прошлого, это черты характера; невежество – это судьба; грязь – их свободный выбор. Ее всю передергивало, когда она такое говорила, – еще бы, дочь священника, она и впрямь старалась пробудить в себе христианское милосердие, но поглядит на Джонсонов, и все – не может. Пусть даже только услышит о*

*них. Вы хоть их имена возьмите, говорила она. Напыщенные и претенциозные; такие имена пристало давать мулам или рыбацким шаландам. Брайд. Уэлкам Монинг. Принсесс Старлайт. Райчес Спирит. Солитюд. Гид-де-Найт*[1]*. Добавьте к этому главное несчастье – непростительную беспечность родителей, Уилбура и Сарри, которые думали, будто сидеть в лодке с леской в руках – это работа. Когда море отняло у них двоих детей, они из своего горя сперва сделали кружку для милостыни, потом как данью обложили им соседей. Так почему бы не выдать младшую девочку замуж за пятидесятидвухлетнего мужчину, коли вдобавок при этом из рук в руки перейдут бог знает какие деньги? Если он дал им бумажку в два доллара, говорила Мэй, то доллар с полтиной следовало бы получить сдачи. Но мы-то знаем: дешевой ерунды мистер Коузи не покупал никогда, а если покупал, то со временем она входила в цену. Например, дитя, которое вскоре подрастет и народит еще детей. Это напомнило мне о еще одной вещи, беспокоившей Мэй. Джонсоны славились не только своей никчемностью и нищетой, ко всему прочему их дочери были известны слабостью на передок. Как бы то самое, чем, видимо, и приманила мистера Коузи Гида, не перекинулось на ее собственную дочь. Не успела Мэй провести с Кристиной первых бесед про месячные, не начала еще отваживать нежелательных мальчиков, как свой же дом проникся сексуальным трепетом девчоночьей плоти – такой атмосферой Кристина могла пропитаться быстрее, чем бисквитный торт ромом. А все потому, что мистер Коузи хотел детей.*

*Ну, то есть так он объяснял это приятелям и, может быть, себе самому. Но мне-то не надо уж... Мне он такого не говорил никогда, потому что я работала у него с четырнадцати лет и знала правду. Она ему приглянулась, да и все тут. Кроме того, когда на военные заводы стали принимать негров, из нашего городка многие уехали, и женщина, что была в те годы его подружкой, тоже. Вот правда, хотя и не вся. Помню, он рассказывал мне историю про то, как маленькая девочка бежала за телегой с арестованным негром, упала в навоз, а белые смеялись. Жестокая злорадствующая толпа. Он каждый раз это рассказывал, когда требовался пример бессердечия белых, и я думаю, дело здесь в том, что он тоже смеялся, так что женитьба на Гиде была его покаянием. Так же как Кристину он избегал из-за того, что она унаследовала серые глаза его отца, он и Гиду выбрал, чтобы старый Дарк в гробу перевернулся. Я-то думаю, в каждой семье есть такой Дарк, и это нормально, он нужен. Во всем мире прогрессу помогают предатели. Это как туберкулез. Когда кладбище возьмет свое, выжившие становятся сильнее; а главное, начинают отличать умствующих от мыслящих, праведных от ратующих за права – а это ведь, в сущности, и есть прогресс. Для тех, кто выжил, главная проблема, что делать с местью – как не соблазниться сладостью ее гнильцы. То-то и говорят: втройне страх, коли в родне враг. У него и время есть, и все возможности злое жало медом да елеем укрыть. Только близорукость все это. Что толку злобиться и всячески лелеять ненависть, если та, кем ты так отравляешь свою жизнь, вдруг да и окажется единственной, кто сможет опустить тебя в ванну, когда ты сама не способна будешь до нее добраться? Как часто потом, присев в ногах кровати Мэй, а иногда на ее туалетный столик, я наблюдала, как Гида намыливает ей задницу или доводит слишком густо сваренную кашу до правильной кондиции. Она же подстригала Мэй ногти на ногах и вытирала белые выделения в уголках глаз. Девчонка, которую Мэй так стремилась изничтожить, оказалась той, что*

1. Невеста. Приветное Утро. Принцесса Звезд. Праведный Дух. Уединение. Страшись Ночи (*англ.*).

*впоследствии удерживала ее голову над тазиком. Ворчала, сетовала, но делала, что нужно: проветривала, убирала, кормила с ложечки, протирала, перетаскивала на ту сторону кровати, что попрохладнее, когда, бывало, ночка выдастся – жарища, хоть плачь. Нет смысла тратить жизнь и класть труды на то, чтобы упрятать старуху в богадельню, лишь бы не колоть больше лед, который она прикладывает к вискам. Что проку поджигать дом, где живешь, если потом придется пятьдесят лет жить на пепелище? Я видела, как обошелся мистер Коузи с Гидой на том обеде в честь дня рожденья. Мое сердце было с нею, и я дала ему это понять. Пока он что-то там нащупывал у себя в кармане, а Мэй с Кристиной ждали в машине, я коснулась его плеча. "Вы никогда больше не тронете ее даже пальцем – что бы ни произошло. Если тронете, моей ноги здесь не будет". Он глянул на меня глазами Малыша Билли и говорит: "Ошибка вышла, Л. Большая ошибка". "Вы ей скажите", – говорю. На что он только вздохнул, и не будь я на таком взводе, поняла бы сразу, о ком это он вздыхает.*

*Что произошло потом, я достоверно до сих пор не знаю, но я ведь тоже не пальцем деланная. Едва они ушли, мне уже было ясно: сейчас Гида что-то вытворит. Она вызвала из отеля по телефону одного из официантов, чтобы тот за ней заехал. Минуло около часа, слышу, подъехал грузовик, хлопнула дверца. По коридору простучали каблучки. После чего и пяти минут не прошло, как я почуяла дым. У меня хватило ума взбежать по лестнице с ведром воды, и принялась я метаться в ванную к раковине и обратно, но когда горит матрас, от воды проку мало. Думаешь, все, потушила, ан нет, где-то внутри огонь затаился, ждет, когда повернешься к нему спиной. Дождется и все как есть пожрет. Схватила самый большой мешок сахара, который мне там наверху попался. Когда Мэй и Кристина возвратились, кровать успокоилась, напитавшись сиропом.*

*Гида не признавала, но и не отрицала попытки поджога, а я все не могла в толк взять: почему, если взъелась она на него, вымещать пошла на Кристине. Больше это меня не удивляет. Как не удивляет теперь, почему известие о том, что сделала Гида, нисколько не попортило ему настроения. Мэй, естественно, прощать была не расположена; двадцать восемь лет спустя и то ей доставляло удовольствие видеть, как ее врагиня вынуждена кормить ее с ложечки. Это ей было слаще, чем если бы с нею нянчилась дочь; впрочем, дочери этого тоже пришлось со временем отведать.*

*Когда Кристина вломилась в дом, Гида, понятное дело, ругалась на чем свет стоит, однако рада была поручить Мэй заботам дочки. На случай, как бы Кристина не нашла какую-нибудь работу и не исчезла, Гида сделала все, чтобы у постели матери та оказалась опутанной по рукам и ногам. Сперва я думала, Мэй станет легче оттого, что дочь вернулась, при всем ее разочаровании в ней. Прежде их ссоры были состязаниями в том, кто кого крепче обзовет, а в промежутках, длившихся годами, – ничто, пустота. Так что меня реакция Мэй немало удивила. Она испугалась. Не знала, можно ли доверить дочери подушку. Но Кристина выскочила, как чертик из коробки, с неожиданно проявившимся талантом стряпухи и цветами, которыми заполнила всю комнату, причем, по правде говоря, и то и другое лишь ускоряло движение больной к концу. Что-нибудь с год Кристина изображала из себя блудную дочь, а потом, в одно прекраснейшее утро, Мэй умерла. С улыбкой.*

*Что означала та улыбка, я не знаю. Ни одной из поставленных целей она не достигла – разве что воткнулся между маленькими девочками Гидой и Кристиной брошенный ею топор войны. Глубоко вошел. Аж земля между ними треснула. Так что, когда Кристина наклонялась к матери смахнуть ей с подбородка крошки, у нее в глазах Мэй видела знакомый огонек. Как и прежде, они*

*шептались о Гиде, напоминали друг другу старые истории – о том, как та хитрила, пытаясь заставить их поверить, будто умеет писать; как упала у нее на пол отбивная из-за неумения пользоваться ножом; как все ее ухищрения с мистером Коузи не смогли заставить его ограничиться только ее постелью; вспоминали и капор, который она умудрилась надеть на его похороны. Наконец-то мать с дочерью подружились! Конец десятилетиям взаимных попреков, злости и ссор из-за Малколма Икса, Преподобного Кинга, событий в Зелме[1], Ньюарке[2], Чикаго, Детройте и Уотсе! Закрыт вопрос о том, что лучше для расы, – на него за них обеих ответила Гида, оказавшаяся тем атавизмом, с которым обе боролись. Победить не победили, зато избрали себе общую мишень, и, полагаю, этому-то Мэй как раз и улыбалась тем чудным утречком.*

*У Гиды пальцы сложились в жадную жменю. У Кристины украсились перстнями. Вот и вся разница. А воевать продолжали, будто бойцы-профессионалы, а не жертвенные животные. Чудовищно.*

# 7
# Опекун

– Что же ему сказать, ума не приложу!

– Ну, придумай что-нибудь. Только быстро. А то я сама за это возьмусь.

– И что? Ты-то что можешь ему сказать?

– Зачем на ширинке молния. Что такое отцовская ответственность. Какова смертность от СПИДа.

– От СПИДа?

– Кто знает, где она была и с кем? И кто она вообще такая? Ни родных, ни близких, и никто о ней никогда не слышал. Одевается как уличная девка. Ведет себя, как... как...

– Она бы на них не работала, если бы что-нибудь с ней было не в порядке. Рекомендации, видать, имеет или там еще что...

– Ты что – в маразме или притворяешься?

– Кто бы говорил.

– У Кристины такая репутация, что отшатнулась бы сама Иезавель[3], а Гида из Джонсонов, забыл?

– И что бы это значило?

– Как что бы значило? Что в их семье понятия не имеют о морали, готовы попирать ее всяким способом. Что может Гида, вышедшая замуж в зрелом почтенном возрасте одиннадцати лет, знать о морали, воздержании...

– Она за Коузи никогда не бегала, да и Кристине прошлого не прощает. Ты же не можешь судить ее за то, что сделал ее папаша.

1. Зелма – город в центральной Алабаме. В 1965 г. Мартином Лютером Кингом был организован марш из Зелмы в Монтгомери.
2. Ньюарк – город на северо-востоке штата Нью-Джерси; в 1967 г. был почти полностью разрушен в результате беспорядков на расовой почве.
3. Иезавель (3 Цар. 16:31; 18:4; 4 Цар. 9:22, 37) – жена Ахава, седьмого царя Израильского. На то, какой образ жизни вела Иезавель, указывает горечь ответа Ииуя, который на вопрос Иорама "С миром ли Ииуй?" – говорит: "Какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхованиях ея?"

— Нет, но зато по этому могу судить о том, каков он — ее папаша. А как насчет того, что она пыталась сжечь дом, в котором жила, — было или нет?

— В это я никогда всерьез не верил.

— Потом, яблочко от яблони недалеко падает. Если они взяли на работу такую девицу, представляешь, что там у них может происходить? Как верить им — что одной, что другой? То, что Гида разрешает Роумену убирать двор, еще не значит, что она шибко переменилась.

— Переменилась в каком плане?

— В том, что она лживая сука, которая людьми манипулирует.

— А я думал, мы поведение Роумена обсуждаем.

— А то нет! Поведение, на которое оказывают влияние одна — бывшая шлюха и вторая — ведьма. Слушай, Сандлер, я не собираюсь тут на ровном месте делаться прабабкой и одновременно бесплатной сиделкой и толстым кошельком для какой-то паршивой мамки-малолетки только из-за того, что ты не знаешь, что сказать четырнадцатилетнему мальчишке. Ведь мы к тому же, между прочим, отвечаем за Роумена. Наша дочь нам его доверила. Она на нас рассчитывает.

Хмыкнув, Сандлер отключил внимание, предоставив жене разворачивать аргументацию дальше, пункт за пунктом. На самом деле он знал, что сказать Роумену, но знал также, что это будет как об стенку горох. Запрет сделает для него все только слаще, жарче, заманчивее. Ведь придется потребовать, чтобы он не просто одной девчонке предпочел другую, а бросил бы ту единственную, к которой получил полный телесный доступ. Все равно что требовать от утки, чтобы она перестала ходить вперевалку. Придется что-нибудь другое выдумать. Презервативы, что ли... Хотя Вайда ждет большего — полного прекращения отношений. Это и само по себе немыслимо, к тому же Роумен, похоже, меняется к лучшему. Не наркоманит, со шпаной не хороводится, на неприятности с полицией никаких намеков, да и дома стал вести себя явно лучше. Но Вайда права. Обстановка в районе изменилась, и времена тоже. Девицу они не знают, не знают и того, что может быть на уме у старух Коузи. Одни сплетни кругом, домыслы да завистливые нападки соседей, знающих не больше их самих. В старые добрые времена все обо всех всё знали. В старые добрые времена ты мог поговорить о сыне или дочери с соседом; женщины, бывало, собирались вместе и устраивали загулявшей девице трепку. Такие штуки не проходили только с Джонсонами. Им, пожалуй, задашь трепку! Они были изгоями — даже и в бухте Дальней, тем более там люди жили друг на друге и каждый чих, каждый косой взгляд становился достоянием всей общины.

Бог ты мой, подумал он, это же было пятьдесят лет назад! Что проку вспоминать добрые старые деньки — тогда что, одни праведники жили? Он точно знал: тогда просто старались, чтобы все было шито-крыто. Вайда, со всем своим обличительным напором, ни словом не упомянула Билла Коузи. Ее послушать, выходит, Гида соблазнила и окрутила пятидесятидвухлетнего мужика — у нее отец младше был. Будто она задалась целью выйти за него замуж, когда на самом деле ей сказали, и она подчинилась. Вайду, как почти всех других, больше всего злило то, что девчонке у него понравилось, она не сбежала, стала нормальной женой и управляла его делами. В их представлении она была прирожденной лгуньей, аферисткой, которая в неполные двенадцать лет дрожала

от нетерпения — скорей бы заняться вымогательством. Коузи они прощали. Все что угодно. До того дошли, что готовы были ребенка винить в том, что взрослый мужчина ее возжелал. А что прикажете ей делать? Сбежать? Куда? Что, разве есть такое место, где не достал бы Коузи или Уилбур Джонсон?



В отличие от всех других соседей, он сталкивался с Гидой не так давно — когда постучал в дверь и спросил, не возьмет ли она Роумена подрабатывать после школы. Она была с ним вежлива. Выглядела, как всегда, ухоженной. Предложила ему кофе глясе — возможно, чтобы показать ему положение в доме Кристины. Сандлер и сам никогда к ней с особым предубеждением не относился. Почему? — может быть, благодаря дружбе с ее мужем. Остроту неприятия для него смягчало воспоминание о том, как Билл Коузи рассказал, что не трогал ее до прихода месячных; год ждал и только тогда устроил ей свадебное путешествие и медовый месяц по всей форме. Все же общаться с нею было нелегко. Спроси, какова она внешне, он даже не ответит — для ее описания в голове возникают слова вроде "неискренняя" и "зажатая". Да и как может быть искренним тот, кто одним прыжком вымахнул из хижины во дворец. Как не будешь зажатым, когда и зависть давит, и вся эта свистопляска с Мэй. Однако глазам Сандлера тогда предстала все-таки совсем другая женщина, нежели та, которую, должно быть, видел в ней Билл Коузи. Для Коузи двадцати пяти лет будто и не было. Гида, о которой Коузи в подпитии вспоминал на яхте — причем вспоминал как о покойнице, — ни в малой мере не походила на хмурую тетку, которая вечно настороже, непрестанно готова отражать нападки, ловить тебя на неуважении; для мужа она всегда оставалась длинноногим глазастым ангелом с улыбкой, к которой и не хочешь, а присоединишь свою.

Никогда не одобрявший манеры некоторых мужчин секретничать на тему секса (сам-то он в такого рода откровенности не пускался вовсе), Сандлер каждый раз старался сменить предмет беседы. Но все-таки запомнилось, с каким мечтательным видом Коузи тогда распространялся о том, как увидел Гиду впервые: бедра узкие, грудь плоская как доска, кожа нежная и влажная, как кожа губ. Неразличимый пупок, а ниже — реденькие, едва проклюнувшиеся волосики. Свое влечение Коузи никогда не объяснял иначе как желанием растить ее и видеть ее взросление. Говорил, что удовольствие постоянно, крупным планом наблюдать это (а большинство мужчин такое даже представить себе не могут) не просто делало его верным и преданным ей, но сообщало жизни особую радость. Слушая, как восторженно Коузи описывает жену, Сандлер не чувствовал такого отторжения, какого ждал от себя, поскольку вырисовывающаяся в уме картина изображала не столько девочку-ребенка, сколько манекенщицу. Хотя к тому времени Коузи вовсю развлекался со взрослыми женщинами, воспоминание о том, как у него была девочка-невеста, все еще грело и разжигало его. Вайда это никак не комментировала, и обсуждением такой темы Сандлер не хотел ее расстраивать — не хотел, чтобы она прозрела и кумир в ее глазах пошатнулся бы.

Ладно, бог с ним. Для чего же я и нужен-то, как не для этого, подумал он. Когда Роумена к ним привезли и оставили, он с первого дня знал, что будет защищать его. От дурных полицейских, уличной пре-

ступности, наркотической смерти, тюремной заточки и шальной пули в войнах белых людей. Но никогда бы не подумал, что серьезной угрозой, первой реальной опасностью станет женщина.

В итоге они с Вайдой устроили так, чтобы ему остаться с внуком наедине. Как ни странно, мальчик, казалось, только того и ждал. Неужто тоже хочет поговорить?

Вайда стояла у окна и потирала ладони — у нее это жест удовлетворения от достигнутого. Стояла довольная, смотрела, как муж с внуком вместе уезжают по делам. Поколение Роумена вызывало у нее нервную оторопь. Ничто из собственного детства, ничто, приобретенное при воспитании Долли, с ними не работает, и повсюду родители в тупике. Теперь на Рождество первое, о чем думаешь, это дети; в ее времена о детях вспоминалось напоследок. Теперь, если на день рождения ребенку не устроили банкет, он хнычет и хандрит; тогда дни рождения особо не отмечали. Родительские рассказы о трудностях и невзгодах завораживали ее и закаляли, тогда как Роумен только прячет в ладошку зевок. Сейчас разрыв между поколениями считается естественным, но так ведь не от века ведется. Хотя парень, что выплеснул ведро помоев на Билла Коузи, был не одинок. Тогда тоже многие радостно бесновались.

В тот адски жаркий день пение прервал смех и аплодисменты. Коузи тогда на заднем дворе отеля чинил спиннинг. Забрасывал, сматывал, снова забрасывал, а потом пошел к парадному подъезду глянуть, что за шум; а может, хотел послушать пение или прочитать, что написано на поднятых вверх транспарантах — где призывы, где требования. Когда он с удилищем в руке приблизился, кто-то нашел в этом предлог, чтобы поднять градус происходящего — чисто словесное противостояние возвысить до подлинной драмы, к чему всё было полностью готово. Вперед выскочил какой-то юнец с ведром и выплеснул его содержимое на Билла Коузи. Поскольку Коузи, пусть и в заляпанных свиными какашками штанах и ботинках, остался стоять на месте, удалые крики приутихли. А он не двинулся, даже не посмотрел, сильно ли его испачкали. Стоял, оглядывая каждого по очереди, будто фотографируя. Потом прислонил удилище к балюстраде веранды и пошел к ним. Медленно.

— Привет, Белла. Добрый день, мисс Барнз. Рад тебя видеть, Джордж; ты как, грузовичок-то починил уже?

Со всеми поговорил — и с молодыми, и с теми, кто постарше. "Как живешь, Пит? Как дочка в колледже, учится? Хорошо выглядишь, Фрэнси. А, и ты тоже тут, Шуфлай..."

На его приветствия послышались вежливые ответы, звучавшие явным контрастом жуткой вони, шедшей от навоза, приставшего к отворотам брюк и устилавшего путь. Наконец он, подняв руку, со всеми попрощался и двинулся прочь, будто после инаугурации или крещения. Толпа еще помедлила, но уже в явном замешательстве. Такой был конфликт поколений в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом, но Коузи ухитрился разрешить его, разминировать, сказав им: "Я не чужой и не враг вам". Мостом тогда стал разговор — уважительный и спокойный. Иначе разрыв заполнился бы свиным дерьмом. Он так и не сделал того, о чем просили — а просили отдать какие-то земли, — но хотел сделать. От Вайды осталось сокрыто, то ли Мэй ему помешала, то ли Гида, — то есть кого за это благодарить. Потому что жилищное строительство важнее, чем какие-то курсы гончарного дела. Кем бы они были теперь? Без-

домными знатоками тай-чи[1], скитальцами-недоучками, которым пришлось бы растить детей в признанных негодными для жилья зданиях и грузовых фургонах. Выбор, подумалось ей, не в том, поддаться ли силе или сокрушить ее. А в том, чтобы делать что должен для своей семьи, а в данный момент это означало серьезный разговор с внуком. Вайда верила, что Роумен не из тех, кому плевать на окружающих, глубоко внутри у него есть и уважение к ним и внимание, да только сейчас он, похоже, не знает, что со всем этим делать.



Пятнадцать завернутых в фольгу подносиков, подстелив газету, разложили на заднем сиденье; каждый с приклеенной табличкой, на табличке фамилия. К противосолнечному козырьку Вайда прицепила полный список не выходящих из дому больных с их адресами, как будто Сандлер мог забыть, что Алиса Брент теперь снимает комнату, а мистер Ройс съехался с дочерью, которая работает ночами. Или что мисс Коулмен, так и не расставшаяся с костылями, со слепым братом живет на Говернор-стрит. Не выходящие из дому могут выбирать: рыба, курица или жаркое, и густая смесь ароматов превращает машину в кухню — что ж, может, так будет даже легче вести беседу.

Едва плюхнувшись на сиденье, Роумен включил радио и, понажимав на кнопки, нашел: музыку, которую дома Вайда не давала ему слушать иначе как в наушниках. Тогда хотя бы слов не слышно и раздражает лишь вибрация да выражение особого внимания на лице Роумена. Сандлеру музыка нравилась, но он был согласен с женой в том, что в отличие от языка намеков, который был характерен для их поколения ("Я хочу рыбного, мама. Кура и рис — еда зашибись, но дайте мне рыбного, мама"[2]), в текстах нынешних песен столько же тонкости и изящества, сколько в грязном нефтяном разливе. "Они пачкают мозги, искажают нормальное восприятие вещей", — говорила Вайда. Сандлер протянул руку и повернул регулятор в положение "выкл.". Думал, что Роумен взвоет, но нет, не взвыл. В тишине они приехали по первому адресу. Прежде чем Сандлер добрался до парадной двери, ему пришлось отцепить от своих брюк ручонки троих ребятишек. Алиса Брент настойчиво пыталась затащить его в дом и отказалась от этой идеи только, когда он объяснил ей, что она у него, конечно, на первом месте, но он должен съездить еще по четырнадцати адресам. Польщенная, она его отпустила. Возвращаясь, услышал, как Роумен снова выключил радио, сделав это слишком поздно, чтобы не заметил дед. По крайней мере, уважает мой запрет, подумал Сандлер. Отъезжая от поребрика, все пытался сообразить, что бы такое сказать, этак невзначай. За что обоим можно было бы зацепиться, пока он не перешел то ли к допросу, то ли к нотации. Сына у них с Вайдой не было. У Долли нрав был легким, ребенком она вообще была очень послушной и весь свой протест, весь бунт выразила сперва ранним замужеством, а потом уходом в вооруженные силы. Но с внуком не должно быть так уж сложно. Отец, да и дед самого Сандлера запросто объясняли ему, что делать и чего не делать. Короткие, хлесткие команды: "Не носи поклажи лентяя" — когда он пытался за один раз перенести слишком много, чтобы не бегать туда-сюда несколько раз, "Не уважает себя, не будет

1. Тай-чи (по-китайски "Великое запредельное") — согласно Книге Перемен вечный источник и первопричина всего сущего.
2. "Рыбным" (seafood) в Америке со времен сухого закона иносказательно называют спиртное.

уважать и тебя" или "Не снимай штаны, где не можешь снять шляпу" — когда он хвастал быстрой победой. Никаких проповедей и, понятно уж, никаких попыток перечить. С Роуменом такое не проходит. Сандлер пробовал, малец в ответ огрызался. Дети девяностых и слышать не хотят никаких "речений", а все "народные мудрости" для них пыльные занудности, которые они впускают в одно ухо и выпускают в другое. Гораздо легче им набираться ума-разума из этой их громыхающей музыки. Пулей мозги не вправишь. Черный сахар не сладок. В лоб, как выстрел.

— Она что — беременна?

Роумен слегка опешил, но не рассердился и от разговора уходить не стал.

— Да ну что ты! А почему ты спрашиваешь?

Хорошо, подумал Сандлер. Прямо и напротык, как отец когда-то, разве что минус угроза.

— Потому что вы чертову уйму времени вместе проводите. И что делаете?

— Да так, всякое-разное.

— Например.

— Ну, как бы, катаемся, — замялся Роумен. — В прошлую субботу, вот, к старому отелю ездили. Погуляли.

Конечно: в незнакомом, странном месте для услад годится любой свободный кусок пола, особенно если старый матрас попадется. От возбуждения у него аж ладони взмокли, потому что она настояла, чтобы он вел машину. И дело не только в том, что он не умеет, но она еще и мешала — лезла целоваться и всячески отвлекала его от дороги, так что, пока он боролся с рулем, они к полному взаимному восторгу пару раз чуть не врезались в дерево и едва не слетели в канаву, непрерывно друг друга щупая.

— Так вы и внутрь заходили? — спросил Сандлер.

— А чего. Там открыто было.

Еще бы. Двери, запертые на висячие замки, и наглухо заколоченные окна разъярили Роумена, которому рука Джуниор у него под джинсами сообщила такую решимость, что он кулаком вышиб стекло. Они-то думали, обстановка внутри будет пугающей — кругом паутина и мусор по углам. Но на кухне, купающейся в сиянии полдня, стол оказался очень заманчив — как своей крышкой, так и пространством между ножками. Другие комнаты, хоть и более пасмурные, выглядели не менее обещающе. Джуниор их все пересчитала, пока они, экспериментируя друг с дружкой в каждой, добирались от холла до верхнего этажа.

— Поди, там много лет уже и не бывал никто. Должно быть, сплошное крысиное гульбище, — сказал Сандлер.

— Ну, типа...

Не крысиное; скорее птичье. Вовсю летают, пищат и чирикают на чердаке. Но пахнет почему-то как в винном погребе.

— Они в ногах-то у вас хоть не путались, а?

— Нет. Ну, то есть... Мы ведь так только — глянуть зашли, то, се, понимаешь?

— За кого ты меня держишь?

— Нет, ну, вроде как...

— Роумен, мужики мы или нет?

Роумен посмотрел на свои высокие шнурованные ботинки. Из черной кирзы с обалденными белыми кружками на щиколотках.

— Да ладно, ладно, не буду мучить тебя, проехали, и так все ясно.

— Ладно. О'кей. Ей, понимаешь... ей нравится, когда... — В замешательстве Роумен принялся тереть ладонями коленки.

— Ей. А тебе — нет?

— Ну, ты ж понимаешь.

— Ну, и случилось что?

— Да нет, ничего. Ну, то есть да, но ничего особенного. Мы посмотрели там, вроде как обследовали. Так, ерунда.

Ерунда. Везде кроме чердака. Чтобы туда подняться, пришлось сперва взгромоздиться на стул, чтобы достать до цепочки, а за нее потянешь — опускается складная лесенка, и тогда уж лезь. "Как же мы без спичек-то? — сказал он ей. — Или фонарик надо". "Не надо, — шепотом проговорила она. — Я люблю темноту". Под писк и хлопанье крыльев взобрались. Неужто летучие мыши? — подумал он, но крылья летающих по чердаку тварей в пробивающемся снизу свете оказались желтыми, и он готов уже был вслух изумиться: "Вау, канарейки!" — как вдруг она притянула его к себе. Потом пошла игра в прятки среди податливых паучьих тенет. В полнейшей тьме они теряли друг друга и снова находили, спотыкались, стукались лбами, оступались и падали, хватая друг друга за ногу, за шею, обретая целиком, и разгоняли при этом страх темноты смехом и выкриками то удовольствия, то боли. Чирикали птицы. Картонные коробки переворачивались и рвались. Половицы скрипели, а то еще, вдруг треснув, вставали дыбом, угрожая пропороть голое тело, отчего игра становилась только острее — все выходило настолько всерьез... он бы такого и вообразить не мог.

— И что за ерунда?

— Ну, то есть потом-то как бы и не совсем. Ты бы, пожалуй, назвал это грубостью. Ты, вообще, врубаешься?

Он прижал ее к стене — нет, даже грохнул ее спиной о стену, когда она сдавила в кулаке его мужские причиндалы, а она не заплакала, издала лишь стон наслаждения, после того как он укусил ее за сосок — сильно-сильно. И сосок поменял цвет. С черного на красный. А он как бы со стороны смотрел и отчетливо видел себя в темноте — свою потную кожу в синяках, оскаленные зубы и полузакрытые глаза.

— Так что ж ты сделал-то, Роумен? Давай выкладывай.

— Не я. Она.

— Так, может, все-таки скажешь, а?

— Грубые игры любит, вот и все. В смысле, любит, когда ей делают больно.

Перекресток. Сандлер тормозит. И лишь спустя секунду понимает, что остановился на зеленый. Роумен смотрит вправо, в окно пассажирской дверцы, ждет отклика, ждет, чтобы взрослый оправдал его доверие, что-то сказал в ответ на признание, внутри которого тугим кольцом свернулся затаенный вопрос. Если дед хмыкнет — это одно. Укор будет значить другое. А как еще отреагируешь? Светофор замигал.

— И что ты об этом думаешь? — Притворяясь, будто высматривает нужный номер дома, Сандлер медленно поехал на красный.

— Да черт знает. Психованная.

И ведь она не просто любит это. А только это ей и подавай. Но он и на себе тогда "приход" почувствовал. От того, что будто со стороны ты равнодушно, холодно смотришь, как причиняешь боль и сам ее испыты-

ваешь, такую боль, что хоть криком кричи, — в этом, оказалось, кроется новое, неожиданное наслаждение, и оно напрочь изгнало из него того Роумена, который не смог вынести вида сушеных перчаток, привязанных к перекладине изголовья, лилового лака на обкусанных ногтях, грязи и капустного духа дергающихся тел; тот Роумен исчез, испарился. И никогда уже не появится, это точно. Таким как был — во всяком случае. Разве что в виде блеклой тени, что вместо стыда испытывает раздражение. Когда они отъезжали от гостиницы и она ногой била его по ноге, щекотала ему шею языком и совала в ухо сосок, он лишь досадовал: "Ну девочка моя, ну остынь. Прекрати. Мы же из-за тебя попадем в аварию". Кроме того, произошло еще одно событие. Впервые Джуниор сняла не только сапоги, но и носки тоже. Когда они еще там, в кухне, разделись, она, как обычно, носки не снимала. На чердаке сняла, причем один туго обвязала ему вокруг шеи. Роумен уже наполовину спустился по складной лесенке и вдруг глянул вверх. Джуниор, сидевшая на обрамлении люка, была в одном носке. Он не очень-то разглядел (на лестничной площадке было маловато света), но нога, которую она совала в другой носок, показалась ему похожей на копыто.

— Дурдом устроила? Вот я и говорю: никакой свободы выбора, как правило, нет. Когда от тебя ничего не зависит, свобода просто чушь собачья. — Сандлер припарковал машину у голубенького домика. Лужайка перед ним была облезлой, исстрадавшейся по дождю. — Но из тех немногих вещей, на которые ты можешь все-таки влиять, наипервейшая — это кого ты выбираешь себе в подружки. А ты, я гляжу, связался с женщиной, с которой тебе неспокойно, неловко, что ли. И это чувство — оно ведь больше, чем инстинкт: это информация, да такая, которую не сбросишь со счетов. Всё, что говорят другие, учесть невозможно, но над такими вещами стоит призадуматься. А то, что если задний ход дашь, так будешь баба, там, тряпка или что — на это плюнь, выкинь из головы. Чтобы жизнь спасти. И ничего безнадежного тут нет, Роумен. Такое даже думать забудь. Между прочим, чтобы бросить, иногда надо больше мужества, чем чтобы продолжать в том же духе. Как, например, кое с кем из твоих приятелей, которых ты в дом с некоторых пор не водишь и правильно делаешь. Сам понимаешь почему, верно?

— Да, дедушка. Я понимаю.

— Женщина — дело серьезное, и когда человеку везет, он получает тройной выигрыш: хорошую кормежку, хороший секс и хорошую собеседницу. Большинство мужчин удовлетворяются чем-то одним, а ежели кто два приза получит, доволен — сил нет. Но самое-то главное вот что, слушай: хороший мужик вещь хорошая, но ничто в мире не идет в сравнение с хорошей — по-настоящему хорошей — женщиной. Это может быть мать, жена, твоя подружка, сестра или кто-то, с кем ты рядом работаешь. Не важно. Но как нашел такую — держись за нее. А видишь, что наоборот, она пугает тебя, — рви когти.

— Я понял, — сказал Роумен.

Еда на подносиках остыла, но все равно пахла аппетитно, развозка шла к концу, и Сандлер приободрился. Роумен с готовностью помогал, при каждой остановке первым выпрыгивал из машины и несся к дверям, балансируя подносиком на манер официанта. Ах, видела бы Вайда! Не волнуйся, скажет он ей. Расслабься. Все путем. Он поглядел на внука, а тот радио больше не включал, откинулся на подголовник и спит.

Роумен лежал с закрытыми глазами и глотал слюнки — весь в предвкушении, воображал, как он вопьется в губы Джуниор. Только говорили о ней, а он уже и готов, тут как тут, оловянный солдатик. А что неспокойно с ней, так и не надо, чтоб было спокойно. Он теперь вообще от нее без ума, куда больше, чем вначале, когда она сама все затеяла. Теперь, когда нежность идет вперемешку с грубостью, когда непристойные возгласы вдребезги разносят затертый язык вожделения, он главным сделался, он! Он, если захочет, может побить ее, а она все равно ножки раздвинет. Балдеж! Словно невиданная какая-то кошечка или собачка. Накорми ее или выпори, ей хоть бы что, все равно лизаться приползет.



Радио и кассетный плейер для себя. Губка на короткой палке для Гиды. Ей же щетка для волос, со щетинками гораздо более тонкими, чем на той, старой. Покупки Джуниор раскладывала на обеденном столе. Может, Гиде щетка и не понравится, но губка на палке наверняка придется по вкусу — ею же так удобно мыться! Еще и с петелькой — на запястье надевать, чтобы не выпадала, если у кого что не так с руками. Здорово как я придумала, вспомнила Джуниор, что убедила ее больше не болтыхаться в ванне, а мыться под душем. Поставить там табуреточку. И безопаснее. И проще. Надо добиться, чтобы она распорядилась установить два душа — на втором этаже чтобы тоже такой сделали. А то столько денег, а тратить некуда. На ночь запрется, а днем тоже никуда ни шагу. Теперь вот хочет в отель съездить, да чтобы еще и тайно. Ни Гида, ни Кристина кроме своих комнат в доме ничего не видят и видеть не хотят — в смысле, насчет ремонта. Вот хоть столовая — огромная, давно заброшенная, ее надо бы подновить. Избавиться от потолочного вентилятора, выбросить этот жуткий стол. Поставить несколько диванов, кресел, телевизор. Джуниор вдруг улыбнулась — так она враз превратит эту комнату в подобие рекреации в исправиловке. Да, ну и что? Гостиная, кстати, тоже просится. У нее такой вид, будто древний фильм по ящику крутят — где капризные богатые дети собачатся с болтливыми предками. Она прошлась по коридору, села на софу в гостиной. Бирюзового цвета раскладной диван-кровать на ковре, который когда-то был белым. По концам столики, на каждом поблескивает лампа в форме груши, но обе лампы битые, с трещинами. Полосатые гардины свисают, местами сорванные с карниза; на других окнах шторы с дырьями. Следы боев, поняла Джуниор. Дрались, пока не стали старыми, пока не устали и не воцарился нерушимый мир.

Не успела сесть, как ее пронзило и перетряхнуло острое ощущение бытия, новой жизни в настоящем доме, в первом на ее веку. В таком, где у каждой комнаты свое назначение и всякие особенные, только ей положенные вещи. Задумалась: что больше нравится ее Хорошему Дядьке. Бархат? Ивовая плетенка? Сам или не сам он все это выбирал? Может, ему было вообще без разницы? Эй, тебе ведь не нравилось здесь, правда? А кто бил лампы? Кто их потом склеивал — Кристина? А за шторы небось Гида хваталась? Она всю дорогу о тебе талдычит. О том, как обожала тебя, но она ведь придуривается, верно? А Кристина тебя ненавидит. На том портрете твои глаза улыбаются, а в углах губ алчные складки. Женился на одиннадцатилетней девчонке. А я в одиннадцать сбежала. Меня сперва вернули, потом заперли в исправиловку. У меня был десантник Джо, но его отняли. Если б ты меня только видел тогда! — ник-

то со мной даже и водиться не хотел. А ты бы обо мне стал заботиться, ведь ты меня понимаешь — и меня, и все на свете, и никому бы не отдал. А на Гиде ты женился, чтоб защитить ее? Иначе-то никак нельзя было? Один старикашка меня заставлял кое-что делать. Насильно. Но я не стала. Ты бы там был — убил бы его. А эти говорят, я сама пыталась, а я — нет, и в мыслях не было. Ну, убивать то есть. Я знаю, это ты меня сюда позвал. Нашла газету на автобусном вокзале и прочитала объяву. Прямо как на меня смотрела — лежит себе на сиденье рядом. А я ведь так просто — на драку-собаку. У какой-то тетки из кошелька две двадцатки — цап-царап! А не оставляй сумочку около раковины, если идешь в другой конец сортира руки сушить. Я ее сумочку на пол сбила, подняла — извините, мол, извините! Она даже и не проверила. А еще Терри как бы дала мне поносить кое-какие из ее шмоток. Ну, как бы дала. В смысле, если бы я попросила. Мы с ней в "Красной луне" познакомилась. В исправиловке мне за три года работы дали сто долларов. Я их потратила на кино и еду. А Терри в "Красной луне" официанткой работала. Мы подружились, хохотали с ней как бешеные. Она мне предложила у ней пожить, когда я рассказала, как я сплю днем. Когда в церкви, когда в кино, на пляже где-нибудь под пирсом. А так хожу, брожу все время, чтобы копы, увидев меня, не подумали, что я под кайфом или еще чего. Никогда я и не пью, и не колюсь. Вообще-то это как бы ничего, приятно, зато потом в башке такой шурум-бурум — массу всякого интересного пропускаешь. А я ничего пропускать не хочу — вообще ничего. Столько лет взаперти просидела! Наверное, сама виновата. В пятнадцать лет еще бы чуть-чуть — и вышла. Должна была понимать. Но я только мальчишек понимала, а взрослых — нет. Какого я себе мальчика завела, а? Тебе нравится? Симпатяга, правда же? Такой приличненький, стыдливенький. А у кого еще такие ноги? А плечи — в милю шириной, а идет, так даже и не шелохнутся. Прямо бог! Я еще им попользуюсь, ладно?

Пришел сегодня поздно — дед его задержал. Холодрыга была в гараже — жуть, а мы все равно перетрахались в дупель и мяса еще жареного нажрались. Видел бы ты, какого мы там шороху навели. Да ты ведь видел, видел же? Ты ведь присутствуешь, где хочешь, а отель — я знаю — ты любил больше, чем дом. Когда мы с моим пацаном туда ходили, я это сразу поняла. Чувствовала тебя везде, по всему дому. Гида хочет, чтобы я что-то сделала для нее в отеле. Что именно — не говорит, но я знаю: это чтобы разом покончить с Кристиной. Размечталась. И что только за игры они выдумали. Все равно проиграют обе. А по мне так главное, чтобы не я. И не ты. Не знаю, наверное, не стоило так говорить. Извини. Хотя чего там — я просто еще не привыкла. Иногда забываю, что ты мой Хороший Дядька.

## 8

## *Отец*

Туристские ботинки, купленные по наущению Анны Криг, — вот было бы то, что надо. Путь к отелю таит множество каверз, особенно если пешеход в истерике — это раз, холодным вечером в теннисных тапочках — это два, да к тому же на босу ногу. Педантичная Анна Криг экипирова-

лась бы по полной форме: рюкзак, вода, фонарик, Brot[1], сушеная рыба, орехи. Это у нее Кристина научилась готовить, когда они обе, жены американских солдат, жили в военном городке в Германии. Двадцатилетняя девчонка, да еще и обреченная все закупать в гарнизонной лавке, Анна была настоящим маэстро сырых овощей, к примеру картофеля, из которого умела приготовить множество блюд, лихо управлялась с рыбой и морепродуктами, но особенно удавались ей роскошные десерты. Пиво и кулинарные уроки делали вечера веселее, так что брак Кристины развалился позже, чем мог бы, но в конце концов в нем воцарилась та же мерзость запустения, что и в их квартире. В благодарность за уроки Кристина однажды согласилась пойти с Анной в пеший поход. Купила крепкие ботинки и рюкзак (по выбору Анны), и ранним утром они вышли в путь. На полпути к той точке, что была намечена как полпути, Кристина встала и запросилась домой — поймать попутку, и назад, на базу. Ноги горели огнем; легкие рвались на части. На лице Анны отразилось крайнее разочарование, но и понимание тоже. "Ах, бедные, изнеженные американцы — никакого упорства, никакой силы воли". В молчании они поплелись назад.

Открыв дверь, Кристина обнаружила Эрни в крепких объятиях жены старшего сержанта. Хотелось залепить ему могучим башмаком да по голому заду, но ноги так болели, что она предпочла пошвырять ему в башку одну за другой шесть бутылок из-под пива "Спатен".

В знак солидарности и ради укрепления морали в семьях других солдат этой армии, где без году неделя как отменили расовую сегрегацию, она чувствовала себя просто обязанной разыграть сцену ревности, хотя на самом деле была скорее огорошена, чем обозлена. Не могла в толк взять: кем он, собственно, себя возомнил, этот Эрни Холдер, солдатня несчастная, как это он ее не ценит — конечно, любовь ей преподнес, понимаешь ли, да военную форму и бегство из страны в обмен на ее ум, красоту и благовоспитанность. Она ушла от него на следующий же день, забрав только рюкзак, кулинарные навыки и туристские ботинки. Из Айдлуайлда[2] позвонила матери. Той вроде бы приятно было слышать голос дочки, но насчет возвращения в Силк мать отвечала уклончиво. Несла что-то невразумительное, к ситуации, в которой оказалась Кристина, интереса не проявила, зато непрестанно поминала "помоечную женушку" и какой-то сожженный в результате "рейса свободы" автобус. Похоже, Кристине давали понять, чтобы дома она не появлялась.

Поскольку атмосфера в доме, судя по ответам Мэй, скорей всего была душной и провинциальной, спешить Кристина не стала. Две ночи провела почти на улице (автовокзал это ведь то же самое), а потом, когда в Уай-Дабл-ю-Си-Эй[3] ее отвергли, пошла сдалась в приют имени Филлис Уитли[4]. Когда уезжала, страна радовалась и была весьма довольна собой, а вернулась — все в страхе: кто боится красной угрозы, кто черных списков[5]. За одну только внешность ее взяли в ресторан официанткой, а она, оказывается, еще и готовить умеет! Район спокойный, отно-

1. Хлеб (*нем.*).
2. Международный аэропорт в Нью-Йорке. В 1963 г. был переименован в честь президента Джона Фицджеральда Кеннеди.
3. Христианская ассоциация молодых женщин.
4. Филлис Уитли (1753–1784) — первая в США известная поэтесса афроамериканка.
5. Начало 50-х — маккартизм, кампания преследования коммунистических деятелей, которую возглавлял сенатор Дж. Маккарти.

сились к ней нормально, работала себе и работала, посмеиваясь над тем, какие уловки выдумывают посетители, чтобы смыться не заплатив; там она провела несколько лет, всячески увиливая от Мэй и подыскивая кандидата в мужья. Нашла трех, правда уже женатых, и тут встретила Фрута. К тому времени она совершенно погрязла в сложных и вызывающих кривотолки отношениях с хозяином, его женой, кассиром и буфетчиком. Бессмысленная злобность этих людей утомила ее, утомляли и разговоры с женатыми приятелями: необходимость без конца выводить их на чистую воду, подпускать намеки и колкости — что называется, тянуть к себе за ухо. На самом деле ей было решительно плевать, расстался он с женой или нет, спит с матерью своих детей или в одиночестве, напоминает ей о себе подарками на Рождество или нет. Однако, за неимением общих знакомых, у них и тем для разговора общих не было, кроме разве что того, как он должен доказывать ей свою любовь и как она в случае чего порвет с ним. Жизнь рисовалась начерно, машинально, на случайной бумажной салфетке — этакий пирожок ни с чем, но надо было как-то коротать время, пока она нарочно держится подальше от дома, о котором наслышана от матери. И в эту бессмысленность и бесцельность с холщовым саквояжиком и в безупречно выглаженной рабочей рубашке вошел Фрут.

— Мясо не прячь. Я хочу видеть, что ем.

Кристина отдернула руку с соусницей и поразилась краткости и простоте мысли; позднее выяснилось, что он это в себе специально культивирует, этим живет. Послушав его, она вдруг все поняла, да так ясно, что девять лет провела с ним рядом. Сложения он был скорее щуплого, этакий живчик с большими красивыми руками и гипнотическим голосом. Весь мир он сделал для нее простым и понятным. Дед — буржуазный предатель; мать — пустоголовая дура; Гиде — мотыгу бы в руки да в поля; Эрни — подлый изменник. Все они дубье, чурки (сколько самокритичной горечи в этом слове!), которых Малколм Икс навсегда заклеймил позором. Затем он объяснил, что требуется от нее. Постоянно стыдясь светлой кожи, серых глаз и волос, которые своей шелковистостью в этой новой среде неровен час могут и под нож подставить, Кристина стала преданной помощницей, боевой подругой — надежной и радостно отдающейся служению. Сменив стиль одежды, стала носить "африканское народное", научилась говорить хлестко, лозунгами, для обороны носила при себе заточку, а неправильные волосы склеивала гелями и прятала под шалью; к ушам подвесила ракушки и, садясь, ногу на ногу никогда не закидывала.

Боялась, что такой человек — жесткий, неподкупный, требовательный — может в ней разочароваться или его заставят третировать ее как грязь под ногами, но страхи не воплощались, и прежде всего потому, что грязь Фрут как раз любил. Счастье видел в почве, в земле, в посевах и урожаях, и это стало их общей мечтой. Ах, ферма, говорил он, нам бы ферму, вот бы мы где развернулись! Кристина не возражала, но события развивались быстро, а деньги (их постоянно приходилось собирать, выпрашивать, вымогать) уходили на другие неотложные нужды.

Надо было будить людей, в стране целые регионы пребывали в спячке, молодежь не знала, куда себя деть, всех требовалось собирать в кулак. Не выдержав маршей, туристские ботинки изорвались; рюкзак пошел на подстилки для сидячих демонстраций. Кипела и била ключом

радостная энергия, кружили голову успехи, и присущее Кристине тщеславие раздулось, обретя расовую базу и идеологическое оправдание, а всегдашняя манера красоваться и выделываться стала казаться храбростью. Теперь ей трудно даже и припомнить схватки тех дней: какие-то бесчисленные доносчики; грязные деньги; судорожные, наобум предпринимаемые действия на фоне далеко идущих планов; подполье на фоне открытого заигрывания с прессой. Их в группе было семнадцать человек — одиннадцать черных, шесть белых, — боевой отряд, ушедший в подполье после столь неудачного суда над убийцами Эмметта Тилла. Независимые и автономные, к другим группам они присоединялись только когда находили, что те выступают достаточно круто. Кристина была довольна, купалась в этом; опасность ее подстегивала, а Фруту она была предана с потрохами. Здесь, рядом с ним, она не скиталась как неприкаянная, а шла к цели. Не беглая жена, не любовница на всякий случай, не отвергаемая несносная дочка и ненужная деду внучка, не подружка на один раз. Здесь ее ценили. И не видно было причины, по которой все могло бы кончиться. Тернии непокорства, взращенные в пятьдесят пятом, к шестьдесят пятому расцвели махровым цветом, а к шестьдесят восьмому налились плодами, полными зрелого гнева. Но к семидесятому, после нескольких смертей, все подорвавших, сей огородик как-то приувял для нее и пожух. Начало конца помогала отсрочить Нина Саймон[1]. Ее голос возносил женскую преданность до небес и окутывал романтическим флером преступный мир. Так что когда конец настал, как таковой он был едва заметен. В сортире спустили воду — всего и делов. После ничем не примечательного аборта, последнего в серии из семи, она встала, дернула за рычаг и обернулась посмотреть водоворот. И ей показалось, что там, в мути, среди красных сгустков мелькнул некий образ. На долю секунды выплыл и исчез — невозможный, совершенно немыслимый. Кристина помылась и вновь легла в постель. Насчет абортов она никогда особенно не переживала, считала, что каждый раз это разрыв очередного звена цепи, которая ограничивает свободу, а матерью она все равно становиться не захочет — еще чего! К тому же никто ее не останавливал и не переубеждал — Революции нужны были мужчины, а не отцы. В общем, это седьмое насилие над природой не вызвало у нее ни малейших угрызений. Хотя она понимала, что лишь в ее воображении возник этот нерожденный глаз, который тут же исчез в малиновом облаке, а все же, в виде исключения, задумалась — кто это был, кто так спокойно, изучающе на нее глянул. И вот уже ни с того ни с сего, в самый неподходящий момент — в приемном покое больницы, где она сидит с плачущей матерью подстреленного мальчишки, во время раздачи воды и сухофруктов измученным студентам — нет-нет да и почудится вдруг этот непонятно что выражающий взгляд, невозмутимый в хаосе горя, слез и полицейских мундиров. Сосредоточься она, вникни поглубже, может, и отдалила бы, а то и отвратила настоящий конец, но тут умер дед. Фрут поддержал ее решение поехать на похороны (семья это семья, сказал он с улыбкой, даже если она состоит из политических ублюдков). Кристина колебалась. Придется ведь скрепя сердце терпеть

1. Черная певица, весь репертуар которой посвящен тюремной романтике и борьбе за гражданские права.

ненавистное общество Гиды; да и с матерью они наверняка опять схлестнутся в спорах о политике, как бывало во время их лихорадочных телефонных бесед, которые всегда кончались криками и обвинениями: "Когда ты уймешься, успокойся уже наконец!", "А триста лет покоя — это как? мало тебе?", "Но мы все потеряем, все, что нажито рабским трудом!" ХЛОБЫСЬ трубку.

Умер. Грязный старикашка, ввергнувший ее в клоаку и ее же в этом обвинивший.

Умер. Вершитель судеб, отринувший родную внучку и передавший бразды правления случайной ее подружке.

Умер. Что ж, ладно. Съездим, посмотрим, какой разор после него остался.

А теперь больше никто на нее не смотрит. Давно пропал тот настороженный взгляд — туда же, видимо, куда исчез рюкзак и туристские ботинки, которые ей вдруг отчаянно понадобились, чтобы не дать змеюке подколодной на пару с малолетней подручной разрушить весь строй ее жизни. Ни той, ни другой — ни Гиды, ни Джуниор — в доме нет. В гараже пусто, на подъездной дорожке тоже. Чтобы Гида вышла из дому, да к тому же и на ночь глядя — только если шабаш затевается, сатанинский! В природе существует лишь одно место, ей небезразличное, — это отель, так что нечего время терять, надо мчаться туда, даже если придется бегом бежать всю дорогу.

Никто бы не подумал, но Фрут был моложе Кристины на восемь лет, поэтому, конечно же, вовсю ухлестывал за женщинами. В этом была высота, красота и честность их отношений. Уж кто, как не она, повелительница соблазненных мужей, его понимала, тем более что выросла в отеле, где ночью то кто-то на цыпочках прошмыгнет, то за сараем с инструментами зашуршит, а уж молнии, летящие из глаз одной посетительницы в другую, дело и вовсе обычное. Что, разве не своими ушами слышала она, как ее дед при всех сказал жене: "И хвостиком тут передо мною не виляй. И не буду и не хочу, и не нужна ты мне тысячу лет!" — и пошел, оставив жену, праздновать день рождения в одиночестве, — умчался к той, которая тогда, видимо, действительно была ему нужна. Несмотря на историю с Эрни Холдером, когда ему в башку очередью полетели бутылки, Кристина понимала, что удерживать мужчину — значит делиться им с другими. Так что вся проблема только в том, чтобы притерпеться и держаться с достоинством, верно? Другие женщины с их постелями — не проблема. Да и то сказать — когда столько работы, у кого есть время следить и разбираться с каждой случайной случкой? А она женщина известная и в своем кругу уважаемая. Даже имена их на всех сходках и собраниях произносятся слитно, как в названии конфетного батончика "Фрут эн'Натс": Фрут эн'Крис, Крис эн'Фрут...

Конфетный батончик держался, пока кто-то не изнасиловал некую студентку — активистку и общественницу. Оказалось, свой, Товарищ. Девушку так мучил стыд, что даже злости в ней не было, она только просила Кристину не говорить отцу, университетскому декану.

— Пожалуйста, пожалуйста, не надо!

— А как насчет матери?

— Нет-нет! Она скажет ему!

Кристина ощетинилась. Девица, что твой щенок добермана при виде дрессировщика с плеткой — сразу в позу покорности, уши прижаты...

Только бы не узнал Великий и Могучий Добрый Папочка. Оставив без внимания ее просьбы, Кристина всем все рассказала и особенно радовалась реакции Фрута. Все стали девушку опекать, а по поводу Товарища, который сделал это, — гневаться и ругаться; обещали с ним разобраться, наказать, исключить... Но все так разговорами и ограничилось. Когда он следующий раз явился, его приветствовали как обычно: "Эй, чувак, как делишки?" Кристина от Фрута не отставала, и тогда он передал ей объяснения Товарища: в том, что произошло, его вины нет, так как девица сама напрашивалась, сидела развалясь, без лифчика, он ее потрепал по попке, чтобы она сообразила, что привлекает внимание, а она вместо того, чтобы врезать ему по морде, спросила, как он насчет врезать пивка. Фрут покачал головой, скорбя по поводу глупости и политической реакционности человечества. Скорбел, скорбел, да так ничего и не предпринял. Как она ни настаивала, ни до каких бесед с виновником — не говоря уже о "наказании" или "исключении" — так и не дошло. Да, сказал Фрут, он считает Товарища вредителем, но высказать это ему не может. Да, он полагает, что Товарищ поставил под удар их общее благое дело, но ссориться с ним из-за этого не станет. Надругательство над девушкой — ничто, если сравнить с еще худшим поруганием, которому при таком обороте дел может подвергнуться мужская дружба. Фрут мог отчитать, выгнать, отлупить предателя, труса или какого-нибудь напыщенного осла за малейшую провинность. Но не за это — нападение на семнадцатилетнюю девушку не числилось даже среди торопливо, от руки добавленных приписок к скрижалям Неприемлемого Поведения, поскольку изнасилованная не принадлежала к разряду своих. Кристина поиграла расовыми уравнениями: изнасилованная черная, насильник белый; тот и другая черные; оба белые. При какой комбинации реакция Фрута проявится резче? Что до сочувственных стонов других девушек из организации, то их солидарность с жертвой могла бы, конечно, помочь, если бы и у них не возникали неприятные вопросы: а она-то куда смотрела? она-то что ж?..

Постепенно Кристина спустила этот случай на тормозах, и благое дело гражданского неповиновения на фоне личной покорности продолжилось; лишь время от времени опять всплывал тот же образ, поворачивался в профиль, глядел спокойно, без укоризны. Вернувшись с похорон деда, она развязала рюкзак и вытряхнула оттуда бумажный пакет с обручальными кольцами. Ого! — по большей части изрядные такие бриллиантики. Двенадцать женщин могли бы расписаться в гостевой ведомости отеля "Жизнь удалась". Вопрос лишь в том, насколько подошла бы им тамошняя меблировка. В тысяча девятьсот семьдесят третьем году все как один завидущими глазами смотрели на отели "Тремейн" с их якобы невероятным уровнем комфорта. Тем более что все — как радикалы, так и умеренные — хотели одновременно и рук не замарать, и своего не упустить — и плюнуть, и вкусить, да послаще, поэтому благое дело неповиновения стали, пусть нехотя, с отвращением, но все больше подменять соглашательством. Угол зрения на проблему изменился, сама она как-то разъехалась, растеклась, и ее средоточие переместилось с улиц и подворотен в офисы и конференц-залы шикарных отелей. И никому не нужна стала уличная активистка-повариха-сиделка-машинистка-демонстрантка-раздатчица сухофруктов, да и старовата она была уже, чтобы вести агитацию в среде нового выводка хипповых студенточек,

которым палец в рот не клади — о, они уже и стратегию превзошли! Конечно, чтобы работать в колледжах, у нее образование не то, а на телевидении — да ну, это ж совсем без царя в голове надо быть. Дело о безучастном взгляде было внимательно рассмотрено Высшим Судом и навсегда закрыто. Она себя изжила. Фрут заметил, что она страдает, проникся безысходностью, и они расстались друзьями.

Что ж, ей он запомнился, пожалуй, как последний в жизни настоящий друг. Он бы опять впал в скорбь, кабы узнал, как низко она пала: сперва содержанка, а потом так и вовсе — дурной, через линялую копирку, оттиск буржуазного деда. И был бы прав, потому что, когда доктор Рио ее вышвырнул и оставалось только идти куда глаза глядят, ноги уже не шли и не было ей места иного, как только дом. Ее дом, собственный. Вцепиться в него и держать, не позволять сумасшедшей гадине ее выселить.

В последний раз по этой дороге Кристина ехала в машине. Сидела впереди из-за объемных юбок — весь этот синий многослойный шифон надо ведь где-то разместить! Платье на ней — кинозвезда позавидует: плечи голые, без бретелек, а по лифу всё блестки, блестки из горного хрусталя. На заднем сиденье мать; за рулем дед — ведет свой "понтиак" 1939 года и злится, потому что на дворе уже тысяча девятьсот сорок седьмой, а автомобили послевоенных выпусков для большинства гражданских все еще недоступны. Как раз об этом он и говорит, объясняя свое странное настроение, не подходящее к лихорадочной веселости празднества: хотя и отложенное, но как-никак шестнадцатилетие внучки, да и окончание школы к тому ж. Она-то полагает, что истинная причина недовольства деда та же, по которой они с матерью ликуют. На чисто семейном обеде, предварявшем празднование в отеле, они провели удачную акцию по устранению Гиды и от души радовались, глядя, как ее наказывает муж. Наконец-то они остались втроем. Без этой прилипалы, этой тупоголовой невежды, она им больше не пачкает прекрасную картину возвращения домой.

Кристина, от самой машины об руку с дедом, картинно входит в залу; этакая девица-красавица в сногсшибательном платье — живое доказательство и воплощение светлого будущего, которое при правильном настрое уготовано их расе. Под аплодисменты собравшихся оркестр заводит "Happy Birthday" с переходом на "Harbor Lights". Мэй лучится счастьем. Кристина сияет. Отель битком набит ветеранами в военной форме, отдыхающими парочками и приятелями хозяина. Музыканты переключаются на "How High the Moon", потому что будущее не просто светлое, оно уже здесь, в кармане, в виде чеков с жалованием, оно ощущается в действии билля о правах десантника[1], слышится в раскатах помодному сиплого голоса вокалиста. Да стоит только голову поднять — поглядишь поверх танцующей на свежем воздухе толпы, и сразу ясно, как расположились звезды. Послушай шум прибоя, вдохни аромат океана — какой он крепкий и мужской!

И тут какой-то ропот, возгласы. Заозирались. В самом центре Гида — танцует с неизвестным стилягой в зеленом долгополом пиджаке. Он

1. Имеется в виду закон 1944 г. о помощи в переходе к мирной жизни военнослужащим, в народе называвшийся "биллем о правах десантника". По этому закону ветераны получали ссуды, субсидии на образование и повышение квалификации и прочие льготы.

вздымает ее над головой, потом она пролетает у него между ногами, в сторону, поворот, вращение, он приседает, оттопырив сжавшуюся задницу, и как раз вовремя: пора во всеоружии принять в объятия косовато, бедром летящую с размаха на него партнершу — еще бы: буги-вуги это вам не какой-нибудь вальс-бостон! Оркестр ревет. Толпа распадается. Билл Коузи кладет салфетку на стол и встает. Гости искоса наблюдают его приближение. Долгополый пиджак замирает на полушаге, из кармана низко свешивается цепочка. Платье Гиды можно принять за красную комбинашку; лямочка с плеча съехала к локтю. На мужчину Билл Коузи даже не смотрит, он не кричит и Гиду никуда не тащит. То есть вообще — он к ней даже и не прикоснулся. Музыканты, внимательные к каждому нюансу разгорающихся на площадке страстей, смолкают, так что, как Билл Коузи с парочкой разобрался и чем разрядил обстановку, слышат все.



В ушах Кристины рев океана. Она еще не так близко подошла к берегу, чтобы на самом деле слышать прибой, значит, это у нее давление подскочило. На очереди головокружение и зигзаги света перед глазами. Надо секунду передохнуть, но Гида-то не дремлет. Гида делает что-то непонятное, тайное, с этой своей жилистой паучихой на подхвате.

Ей следовало знать. Да она и знала. Этой Джуниор неведомо ни прошлое, ни какая-либо история кроме своей собственной. Из того, чего она не знает, о чем никогда даже слыхом не слыхивала, можно составить целый мир. В ту же минуту, когда девица, усевшись за кухонный стол, принялась сдабривать враки елеем этих своих "Да, мэм", уличная вонь, которую она при этом источала, ударила не только в нос, но и в уши, будто истошный крик: берегись! такую девку на что угодно можно подбить. Однако именно это в ней и подкупало. Девица с улицы, умудрившаяся выжить без револьвера, достойна восхищения. Наглые глаза, озорная улыбочка. Ее готовность выполнить любое задание, обойти любое препятствие для Кристины дар Божий. Более того: Джуниор способна слушать. Воспринимать жалобы, шутки, самооправдания, советы, воспоминания. Без осуждения, без какой бы то ни было оценки. Ей попросту интересно. А в доме, где повисло многолетнее молчание, любой разговор о чем угодно и с кем угодно — это музыка, симфония, кончерто гроссо. Кому какое дело, что она тут по углам с внуком Вайды обжимается? И ему хорошо. И ей приятно. Сексуально пристроенная девушка не так скоро сбежит. Что Кристина упустила из виду, так это кредо всякого бродяги: бери, что идет в руки, и не бери в голову. А это значит: дружба — да, конечно; верность — ну нет!

В отеле темно; вокруг тоже хоть глаз выколи. Света никакого нет, но машина есть — стоит на подъездной дорожке. Голосов не слышно. Сквозь рев давления в ушах пробивается шепот океана. Не западня ли это. А вдруг они, едва она откроет дверь, ее убьют. Вот Анну Криг черта с два бы они убили: она-то не рванула бы из дома в теннисных тапочках и без армейского штык-ножа. На ощупь пробираясь в темноте, Кристина чувствовала себя на редкость одиноко. Совсем как в тот раз, когда впервые познала чувство одиночества — как внезапно и наповал оно поражает. Когда умер отец, ей было пять лет. Однажды в воскресенье он подарил ей бейсболку, а в следующий понедельник его несли на железных носилках вниз по лестнице. Полузакрытые глаза; его зо-

вешь — не отвечает. Приходили люди, много людей, все утешали ее мать, уже вдову; все шептали, как это тяжело — потерять сына, мужа, друга. Насчет потери отца ничего не говорили. Ей просто улыбались и гладили по головке. Тогда она в первый раз спряталась у Л. под кроватью, и ее бы воля, она бы лучше до сих пор там сидела, а не тащилась туда, где ее сразу начинает трясти, охватывает страх и... что же еще тут ее охватывает? М-мм. Ах да. Печаль.

Вперившись в темноту, Кристина одолевала ступеньки крыльца, где солнечное дитя стояло, оцепенев от страха и чувства горестной заброшенности. Ручонка обессилела, не подымается попрощаться. Лишь бантик в волосах слабее этой руки. А где-то в стороне, невидимое, еще одно дитя — глядит из окна автомобиля, который стоит и пофыркивает, мурлычет, как сытый кот. За рулем дед одной, муж другой. Лицо пассажирки: дикие глаза, оскаленные зубы, смущение. Бессильная ручонка все же подымается помахать, а у той, другой, пальцы прижаты к стеклу окошка. Как бы стекло не лопнуло. А то вдруг эти пальцы выдавят стекло, оно изрежет их и кровь потечет по дверце! Вполне возможно — больно уж сильно давит. Глаза расширены, но ухмылка не пропадает. Хочет она ехать? Боится ли? Сама не знает. А ей-то с ними почему нельзя? Почему одну он везет на медовый месяц, а другую оставляет? Они ведь вернутся, вернутся же? Но когда? Похоже, и она так же одинока в этом большом автомобиле, но нет — улыбается... или изображает улыбку? Польется кровь. Совсем без крови не получится, и солнечное дитя на крылечке напрягается и цепенеет, будто эту кровь уже видит воочию. И лишь прощально поднятая ручонка мягка, бессильна. Как бантик в волосах.

Плечо Кристины пронзает боль — на что-то налетела в темноте, оцарапалась? Тянется нащупать дверную ручку. Нет ничего. Дверь-то открыта!

— Вы уверены, что хотите туда? А то можем вернуться. — Джуниор все не выключает мотор. Изящное колечко в ее носу вздрагивает, мерцая в луче заката. — Или скажите мне, что искать, а сами здесь посидите. — Она нервничает. Ее Хороший Дядька что-то давненько не показывался. Надеется найти его в отеле. Все идет как нельзя лучше, но ей было бы приятнее, если бы он сам одобрил. — Можно ведь и в другой раз приехать. Как только скажете. Впрочем, дело ваше.

Гида не слушает. Да и на сумеречный остов отеля в окно машины не смотрит. Ей двадцать восемь, она на втором этаже, у окна, выходящего на лужайку, за которой песок и море. Там, внизу, женщины и дети — снуют, похожие на бабочек, которые то прячутся, то вылетают из-под навесов. Мужчины в белых рубашках, в черных костюмах. Пастор в кресле-качалке; свое соломенное канотье не снимает. Гида все чаще соблазняется арендой — сдает церквям, конгрегациям, сектам. Давнишние гости постарели, нечасто их курорт навещают. А дети этих гостей по горло заняты бойкотами, законопроектами, избирательным правом. Вот какая-то кормящая мать — сидит в сторонке, младенец припал к груди, прикрытой белым платком. Одной рукой она его держит, другой неторопливо обмахивает, чтобы на него не покусилась залетная муха. А ведь могла бы и своих детей завести, — думает Гида. И завела бы, кабы в сорок втором знала то, чему научил ее тот случай в пятьдесят восьмом году, когда раз в жизни она оказалась в постели с другим: знала бы, что вовсе она не бесплод-

на. Тот мужчина приехал за телом брата — забрать и отвезти на поезде домой. Гида, не забывшая боль от утраты двух братьев, заходит к нему сказать, что он может не торопиться — пусть живет сколько надо, за комнату с него денег не возьмут. И если она еще что-нибудь может для него сделать... Он сидел на кровати и плакал. Она коснулась его плеча, которое вздымалось и опадало в конвульсиях безмерного горя. Прежде она никогда не видела, чтобы трезвый мужчина плакал. Гида опустилась на колени, глядя на руку, которой он прикрывал глаза, и взяла другую его руку, лежавшую на коленях, в свои, а он сильно стиснул пальцами ее кисть, и в этом положении они оставались, пока он не успокоился.



— Простите. Ради бога простите, — проговорил он, роясь в поисках носового платка.

— Ну что вы. Плакать по кому-нибудь — этого нельзя стыдиться. — Она это почти выкрикнула, а он поглядел на нее так, словно в жизни ничего умней ее слов не слышал. — Вам надо поесть, — сказала она. — Я сюда принесу. Может, чего-нибудь особенно хотите?

Он тряхнул головой.

— Нет. Ничего. Все равно.

Она побежала вниз, внезапно осознав разницу между тем, когда ты нужна, и тем, когда обязана. На кухне приготовила сандвич с жареной свининой, искупав мясо в горячем соусе. Вспомнив о трогательном животике, распиравшем его рубашку, добавила на поднос бутылку пива и бутылку охлажденной воды. Л. искоса взглянула на снедь, так что Гиде пришлось ответить на незаданный вопрос:

— Это для брата того погибшего.

— Я ни с чем не переборщила? — спросила она, когда он начал жевать.

Он покачал головой.

— Все прекрасно. Откуда вы знали?

Гида рассмеялась.

— Мистер Синклер, когда захотите еще что-нибудь, вы мне прямо скажите — что бы то ни было.

— Не надо так официально. Меня зовут Нокс.

— А меня Гида. — И тут же ей подумалось: надо скорее уходить отсюда, иначе я это его брюшко поцелую.

Нокс Синклер прожил у них шесть дней, ровно столько, сколько требовалось, чтобы все подготовить, уладить формальности и отправить тело в Индиану. Каждый день был чудеснее предыдущего. Гида помогала ему звонить по телефону, получать по телеграфу деньги, ездить в Гавань за свидетельством о смерти. Окружила его заботой, как и положено менеджеру хорошего отеля, постоялец которого утонул.

Но все это был предлог. А причина та же, что в песне, которую пел Джимми Уидерспун[1]: "А захочу и буду, вам-то что за дело". Она получила желаемое и каждый вечер имела возможность гладить его животик, пока муж развлекал важных клиентов, а также по утрам, когда тот отсыпался. Заставляла Нокса рассказывать о брате, о своей жизни — просто приятно было слушать его северный выговор. То, что она ока-

1. Певец, работавший вокалистом в оркестре Каунта Бейси в эпоху расцвета ритм-энд-блюза (50-е гг. XX в.).

залась желанной для своего ровесника, что мужчина находит ее интересной, умной, привлекательной, потрясло ее. Так вот, значит, что такое счастье!

Они обещали друг другу вечность — не больше и не меньше. Через полтора месяца он вернется, и они вместе уедут. На шесть недель папины "вечеринки" на яхте стали желанными, а его ночной шепот вызывал жалость. Она вела подготовку так осторожно, что даже Л. ничего не заподозрила. В два чемодана была упакована новая одежда, касса регулярно, хотя и неприметно опустошалась.

Он так и не приехал.

Она позвонила ему домой в Индиану. Ответила женщина. Гида повесила трубку. Снова позвонила и заговорила с ней.

— Здесь живет мистер Синклер?

— Да, здесь. — Голос теплый, добрый.

— А можно мистера Синклера к телефону?

— К сожалению, нет. Его нет дома. Может быть, что-нибудь передать?

— Нет. Пока. В смысле, спасибо.

Позвонила снова. Тот же теплый голос:

— Миссис Синклер слушает. Чем я могу вам помочь?

— Это миссис Коузи. Из отеля, где мистер Синклер... гм... останавливался.

— А! Какие-нибудь проблемы?

— Нет. То есть... Вы жена ему?

— Кому?

— Ноксу. В смысле, Ноксу Синклеру.

— Ну что вы, моя милая. Нет. Я его мать.

— А, вот как. А вы не могли бы передать ему, чтобы он мне позвонил?

Звонка не последовало, и Гида звонила еще семь раз, пока его мать не сказала:

— Я потеряла сына, моя милая. Он потерял брата. Пожалуйста, не звоните сюда больше.

Ее сердце было тяжко ранено, но рана быстро затянулась, когда она — после пятнадцати лет назойливых вопросов и неловкости в ответ на жалость — обнаружила, что беременна. Огорчало, конечно, что Нокса всегда "нет дома", но отца своему ребенку ей долго искать не придется. Сияя в предвкушении, она нашла в себе и доброту, и великодушие. Чувствовала себя особенной, но не обособленной; ощущала свою значимость при том, что не было нужды эту значимость доказывать. Когда единственный раз обнаружилась какая-то пачкотня, а потом валом повалили сгустки, она не встревожилась, потому что груди продолжали набухать, а аппетит оставался зверским. Да и доктор Ральф заверил, что все у нее в порядке. Прибавка в весе была резкой, как злобный профиль Мэй, стабильной, как улыбчивость Папы. У нее не было менструаций одиннадцать месяцев и не было бы еще одиннадцать, если бы не Л., которая вдруг усадила ее, дала ей тумака — довольно сильно, между прочим, — а потом, глядя прямо в глаза, сказала: "Проснись, детка! Твоя печь остыла". Месяцами пребывала в потемках, усугубляемых смешками окружающих и суровостью отдалившегося мужа, а тут и впрямь проснулась и, исхудав как ведьма, вылетела прямо в ясный божий день на помеле.

Мамаша прячет грудь и принимается качать ребенка на сгибе локтя. Туда-сюда. Туда-сюда. Паства, обесцвеченная восходящей луной, небольшими группами покидает лужайку. Окормлением пресытились. Все довольны, прощаются, уходят.

У нее должен был бы родиться сын, она в этом уверена, и, появись он на свет, ей не пришлось бы крадучись, в сопровождении какой-то развязной девки проникать в брошенное здание отеля, чтобы обеспечить себе место под солнцем.



Уже с ключом в руках, Гида вдруг замечает выбитую филенку двери.

— Смотри, тут побывал какой-то взломщик.

— Дык — запросто, — откликается Джуниор. Распахивает дверь.

Гида заходит следом, а потом ждет, пока Джуниор роется в хозяйственной сумке с амуницией — они взяли с собой лампочки, ножницы, авторучку, фонарик. Совсем стемнеет разве что через час, так что они с легкостью и на третий этаж дорогу найдут, и цепочку, свисающую с чердачного люка. Там уже понадобится фонарик, чтобы Джуниор нашла на потолке патрон для лампочки.

Встав на ящик от бутылок, она скрипит, вкручивает, потом дергает выключатель.

Гида в шоке. Чердачный мирок, десятилетиями хранимый памятью, в полном раздрызге. Повсюду беспорядочно разбросаны коробки — открытые, раздавленные, брошенные вверх тормашками. Из разломанных кресел под опасными углами торчат лопнувшие пружины, валяются грабли, скатки ковров, кастрюли. Ошеломленно крутясь за месте, Гида приглушенно произносит:

— Я говорила: здесь воры побывали. Обокрали меня.

— Да ну, ребятишки, наверное, — отзывается Джуниор. — Балбесничали.

— Откуда ты знаешь? Может быть, что-то и украдено. Погляди, какой разгром. Нам тут, поди, ночи не хватит. — Гида переводит взгляд на ржавый вентилятор. Начинает нервничать.

— А ищем-то мы — что? — тихо, успокоительно спрашивает Джуниор, про себя думая: надо же, птиц-то как мы всех распугали! Ни одна даже не чирикнет.

— Мат-тех-снаб-ВВС! — неожиданно как из пулемета выстреливает Гида. — Старая такая, большая коробка с надписью "Мат. Тех. Снаб. ВВС". Должна быть где-то тут.

— Ну ладно, — пожимает плечами Джуниор. — Тогда начнем?

— Да тут такой бедлам — черт ногу сломит.

— Обождите. — Джуниор принимается разгребать и растаскивать, пока не очищает проход по всей длине помещения. На треснувшие, вздыбленные доски пола набрасывает метровый кусок ковра в цветочек, попрямее ставит картонку с мужскими ботинками. Повсюду паутина, но это дело житейское.

Занятая поисками, Джуниор обращает внимание на запах — вроде как когда коричный хлеб пекут.

— Запах чуете? — спрашивает она.

Гида принюхивается.

— Запах? А, да... — отвечает. — Так у Л. всегда пахло.

— Хм. Ада? Ад вряд ли пахнет так приятно, — изрекает Джуниор.

Гида оставляет сентенцию без внимания.

— Во! Гля-кося! — вскидывается Джуниор. — Позади вас. Вон там.

Гида оборачивается. Смотрит. .СВВ.банС.хеТ.таМ.

— Что-то я не пойму... Явное не то.

— Да она же перевернута! — усмехается Джуниор.

Гида посрамлена.

— Что-то я видеть стала хуже.

Джуниор тотчас начинает ее раздражать. Что означает этот ее взгляд? Насмешку? Неуважение?

— Давай вон туда, — командует она и показывает, куда именно она хочет, чтобы Джуниор поставила коробку.

Наконец расположились, сев на коробки и сделав стол из стула. Гида роется в пачках меню. По большей части на них лишь число и месяц, но на некоторых выставлен и год — 1964. Она уже готова продиктовать Джуниор, что написать между строчками, как вдруг замечает в ее руке шариковый карандаш.

— Что это такое? Я же сказала — взять авторучку. Он шариком не мог писать. В руки не брал эту гадость — писал только чернилами, настоящими! О господи, ну ты же все испортила! Я что — не говорила тебе? Ведь говорила же!

Джуниор опускает глаза, про себя думая: сдурела, что ли, старая — кто она вообще такая, какого хрена на меня орет, я тут ей чего-то подделываю, воровать помогаю, лапшу вешать, да заебись ты конем, надзирательница выискалась! Вслух говорит:

— А чего? В шестьдесят четвертом мог запросто.

— Нет, не мог! Сама не знаешь, что говоришь!

— Да ну, шарик — это же как бы современнее, правда же? А он как раз ведь и любил быть современным — типа: последняя модель, то, сё. — (Идиотка старая!)

— Ты думаешь?

— Конечно. — (Сука безмозглая!)

— Н-ну, может ты и права. О'кей. Значит так. Пиши. — Гида закрыла глаза и принялась диктовать: — Я оставляю все мое земное достояние моей дорогой жене Гид-де-Найт...

Джуниор бросает на нее слегка оторопелый взгляд, но молчит, не говорит ничего. Теперь понятно, почему Хороший Дядька эту дурынду бросил — если вообще любил ее когда-либо. "Земное достояние"! Он, интересно, слушает сейчас? Смеется небось. А он, вообще-то, здесь, нет? Непонятно. Хлеб этот, корица — это ведь не он...

— ...которая была мне верна все эти годы. В случае ее смерти, если она не оставит своего собственного завещания, все переходит к... — Гида помедлила, улыбнулась: — Солитюд Джонсон.

Ага. Щ-щщас. Джуниор быстро корябает. Почерк Хорошего Дядьки получится, конечно же, точь-в-точь! Замерла:

— Это все?

— Ш-шшш.

— Что такое?

— А ты не слышишь, что ли? — Гида застывает с широко открытыми глазами.

— Не-а.

— Это она!

— Кристина? Но я ничего не слышу.

— Тебе и не обязательно.

Гида встает, озираясь в поисках какого-нибудь оборонительного оружия. Ничего не подворачивается.

— Да бросьте вы, не берите в голову, — говорит Джуниор. — Пусть только подойдет, я...

— Дура! Она тебя по полу размажет! — Гида выхватывает у Джуниор ручку и ждет. Обе слышат размеренное движение вверх по раскладной лесенке. Обе смотрят, как на свету появляется макушка, потом лицо. Глаза мечут молнии. Кристина делает шаг и останавливается. Усмиряет одышку? На что-то решается? Тишину нарушает Джуниор.

— О, привет! — произносит она. — Вы откуда взялись? А мы тут так, кое-какие изыскания делаем. Для ее книги, я говорила, помните? Опять же, даты надо проверить... Это ведь и называется — собирать материал.

Если ее и слышат, то виду не подают. Кристина все еще неподвижна; Гида начинает перемещаться: со стиснутой в кулаке шариком вперед ручкой осторожно делает шажок, другой... Обе неотрывно смотрят в глаза друг дружке. После первых жалящих промельков вины, утомления, отчаяния в глазах обеих застывает ненависть столь чистая и торжественная, что кажется прекрасной, почти святой.

А Джуниор бросает взгляды то туда, то сюда, как теннисный болельщик. Она скорее чувствует, чем видит, куда, слепая ко всему, кроме неподвижной фигуры впереди, направилась Гида. Медленно-медленно — ногу подвинет, другую приставит. Осторожно, носком ботинка, Джуниор подтаскивает к себе кусок ковра. Не глядя и не издавая ни звука. Глядит она на Кристину, улыбается ей, а у той кровь в ушах так ревет, что не слышно треска, лишь, как в немом кино, перед глазами разворачивается сцена падения: бессильно вскинувшись, скрюченные руки пропадают, даже не делая попыток уцепиться за прогнившие деревяшки, растворяются во тьме, как это именно в кино и бывает, и опять ощущение, что ее бросили, придавливает такой тяжестью одиночества, что она не выдерживает, падает на колени, вглядываясь в дыру. Кидается вниз по лесенке, по коридору, в комнату. Вновь на коленях, оборачивается, потом заключает Гиду в объятия. В сочащемся сверху свете каждая силится заглянуть другой в лицо. Святое чувство никуда не делось, оно живо во всей своей первозданности, но его затопляет, колеблет и переворачивает прилив страсти. Ветхой и дряхлой, но не утратившей силы. Свет с чердака пропадает, и всё они слышат — и беглый стук каблуков, и как заводят машину, но не ощущают в себе ни удивления, ни интереса. Здесь, в комнате, где спала когда-то маленькая девочка, завозился, затрещал, разминаясь, костями этакий упрямый скелет.

Аромат пекущихся хлебов был чересчур силен. Хлебов с корицей. А его там не было. Хотя Джуниор пока не очень ясно, как бы он к этому отнесся, она уверена, что он будет смеяться, когда она расскажет и покажет ему подделанное меню, — только пустоголовая дура могла подумать, будто оно сработает, а на случай, если и впрямь, так Джуниор внесла в него кое-что от себя. Ты уж извини, Солитюд. Джуниор чуть сильней придавила педаль газа. Все это она сделала по наитию, неожиданно для самой себя, что называется, на драку-собаку, но ведь чем черт не шутит, вдруг сбудутся ее мечты! Если одна или обе протянут ноги, она скажет,

что побежала звать на помощь или еще что-нибудь в таком духе. Но сперва надо по-быстрому на Монарх-стрит, отыскать его, чтобы и он порадовался, какая она пройдоха. Поставила машину, сбежала по ступенькам вниз. Дверь кухни настежь, колышется от ледяного ветра. Видать, Кристина уходила не просто в спешке, а в полном охренении. Не выключила свет, даже плиту не погасила, и усохшая ножка ягненка в загустевшем соку пригорела к сковороде. Джуниор повернула рукоятку на ноль и стала бродить по комнатам, злясь на запах горелого, за которым поди еще услышь его одеколон. Ну нет его — нигде нет, даже в кабинете, и пускай, тогда — как тот малый говорит в рекламе? — тогда мы идем к вам. Да вот же. Ясное дело. Рад, улыбается со стены над кроватью Гиды. Наше вам с кисточкой, Хороший Дядька.

На Монарх-стрит Роумен бросил крутить педали, накатом зарулил на дорожку. Прислонив велосипед к гаражной двери, заметил, что от "олдсмобиля" идет парок. Пощупал капот. Теплый. Когда на его стук открыла Джуниор, он даже удивился — до чего классная телка, нечеловечески. А волосы! — такие же, как когда он впервые ее увидал: мягкие и при этом мощные, громкие, в них и опасность, и призыв. Глаза инопланетянки и улыбка номер тридцать один. Они сплелись там же, где стояли, и ему в голову не пришло спросить, где старухи, пока Джуниор не отвела его на третий этаж в спальню.

— Смотри, что у меня есть! — Нагая Джуниор раскинулась на кровати Гиды под мужским портретом. Помахала сложенным листком бумаги. Роумен на него не взглянул.

— Где миссис Коузи? Она ведь никогда из этой комнаты не выходит.

— А... Навещает внучку, — ухмыльнулась Джуниор.

— Какую такую внучку?

— Да есть, говорит, одна — там, в Гавани живет.

— Кроме шуток?

— Иди ко мне. — Джуниор откинула одеяло. — Раздевайся и лезь сюда.

— Девочка моя, она же нас застукает!

— Никогда. Давай!

Роумену не хотелось делать это под взглядом неизвестного мужчины со стены, и он затащил Джуниор в смежное помещение, где они наполнили ванну, чтобы попробовать, как это будет под водой. Оказалось, есть минусы; было не так балдежно, как он ожидал, пока они не начали друг друга понарошку топить. Они плескались, выкрикивали демонстративные непристойности и, наконец, обессиленные, будто семга после нереста, распались, хватая ртами воздух, каждый на своем конце ванны. Он сидел, слегка избочась, чтобы не затыкать сливную дырку, она откинулась затылком на край.

Чувствуя в себе силу и вместе с тем томную размягченность, Роумен нащупал под водой изуродованную ступню Джуниор и поднял ее над поверхностью. Девушка вздрогнула, попыталась было высвободить ногу, но он не отпускал, держал, разглядывая искалеченные пальцы. Потом потянулся к ним губами, провел языком. Через секунду почувствовал, что она расслабилась, сдалась, поэтому, когда он поднял взгляд, ему тем более странно было видеть, до чего ее инопланетные глаза смотрят безжизненно и тускло.

Потом, проснувшись после короткого забытья под одеялом на кровати Гиды, он спросил:

— А серьезно. Где они?

— В отеле.

— Что они там забыли?

Тут Джуниор рассказала ему о том, что произошло на чердаке. Говорила тоном дикторши телевидения, которая с наигранным интересом описывает событие, ей совершенно безразличное.

— Ты их что — так и бросила?

— А на черта они мне сдались? — Похоже, она искренне удивилась вопросу. — Перевернись. Дай-ка я лизну тебе спинку.

— Слушай, меня эта картина раздражает. Все равно что трахаться на глазах у твоего папаши.

— Тогда погаси свет, душка.



# 9
# Призрак

Гида уже и глаза не открывает. Расположив ее ступни так, что получилась идеальная четвертая позиция, Кристина прикрыла ноги Гиды одеяльцем и пошла поискать что-нибудь болеутоляющее. В тайниках, когда-то устроенных Мэй, должно быть, полно всякой всячины: в сливном бачке бутылка виски, в дымоходе аспирин. Гида предпочла бы первое, потому что воды все равно нет, да и терять сознание лучше от алкоголя, чем от боли. Кости, за десятилетия неподвижности ставшие хрупкими, разлетелись в осколки, как стекло. Похоже, переломаны не только голеностопы. В области таза тоже болит, а правая нога не двигается вовсе. Прислонив к стене, Кристина устроила ее на полу полулежа — все равно на кровати нет матраса. Ума — палата: когда отель закрыли, Гида продала все, что только можно.

Вдыхая с трудом, как сквозь тонкую трубку, она жмурится, не выпуская слезы, что прячутся под веками, туманят картины воспоминаний. Зато обои с незабудками куда явственней на фоне этой нарочитой черноты, чем были при свете дня, — даже странно, и что они ей дались! Да, видимо, потому что она тут была дома. Едва я переступила этот порог, сразу решила: все, я дома.

От попыток углубиться в воспоминания отвлекают знакомые шаги Кристины. Та кое-что нашла: спички, пачку свечей на случай урагана, банку консервированных ломтиков ананаса, коробку анальгетика в порошках. Зажгла свечу, покапала с нее воском, прилепила. Если ей удастся открыть банку, Гида сможет проглотить порошок. Все так же бессловесно, действуя шариковой ручкой как гвоздем, Кристина ковыряет крышку консервной банки. Наконец получилось. Открывает два пакетика и высыпает горькие порошки Гиде в рот, дает запить соком. Укутывает ее одеялом по плечи, потому что Гиду трясет озноб.

Обе ожидали схватки. Кто виноват? Из-за кого все началось, кто взял на работу какую-то шалаву? А кто ее на это спровоцировал, бегая к адвокату? Кто виноват, что они сидят тут за семь миль от ближайшего жилья, когда никто не знает, что они здесь, а даже и знали бы — кому

они нужны-то? Никто не молится за них, как и сами они никогда друг за дружку не молились. Все же взаимных попреков удалось избежать; да и то сказать, что́ в них проку, когда одна лежит вся переломанная, а вторая мокрая от пота, будто прачка. Сюда, наверх, где их уединение печально, как комната умершего ребенка, от океана не доносится ни запаха, ни звука. Будущее распадается вслед за прошлым. Вне комнаты пейзаж обесцвечен. Какой-то мрачный каменный хребет, и никто его другим не представляет, ибо такой уж он и есть — это все, живущие внизу, твердо знают. Этакий безвидный мир, каким он был до сотворенья, где звук, любой — царапанье ли когтя, шевеление ли мохнатой лапки в паутине — это бесценный дар. Где человеческий голос — единственное чудо, прекрасное и страстно ожидаемое. Где речь, лишь зазвучи она, будет полна энергии, как преступник, выпущенный после двадцати одного года заточения. Голый, потный, в одном белье.

Ты ведь знаешь, не очень-то Мэй была мне хорошей матерью.

Ну хоть не продавала тебя.

Нет, она меня за так отдала.

В Мэйпл-Вэлли?

В Мэйпл-Вэлли.

Я думала, ты сама туда хотела.

Да ну, к черту. А если бы и хотела? Мне было тринадцать. А она все-таки мама. Она хотела меня туда отправить, потому что он хотел; она делала все, что он захочет. Только тебя полюбить не смогла. Ведь это же она была папиной девочкой. Она, а не ты.

Вот уж не знаю.

Наверняка она превратила твою жизнь в фильм ужасов.

Да и свою тоже. Много лет я думала, что она прячет вещи, чтоб только досадить мне. Я и не знала, что это Хью Ньютон[1] так ее напугал.

Думала, будто за ней охотятся "Пантеры"?

И "Пантеры", и все прочие. Готовилась. На всякий случай.

Н-да. Вот что такое революция: двадцатилетние мальчишки воюют, вгоняя в гроб шестидесятилетних старух.

Это бы еще ничего. Бывает хуже.

Они и похуже кое-что делали.

Ты с этим сталкивалась?

Нет. Я к тому времени от них отошла уже.

А стоила вообще овчинка выделки?

Несомненно.

Я называла тебя дурой, но это я от зависти. Воодушевление, порыв, да?

Не без того.

А что таким грустным тоном?

Да почему грустным? Просто я вижу результат. Начали с того, что нами торговали, освободились, а потом взяли и сами себя продали тому, кто заплатил дороже.

Кто это "мы"? Черные? Женщины? Или мы с тобой?

1. Хью Перси Ньютон (1942—1989) — негритянский активист, один из лидеров основанной в 1966 г. партии "Черные пантеры", в задачи которой входила организация вооруженной самообороны негров.

Да я сама не знаю. — Кристина дотрагивается до щиколотки Гиды. Той, что осталась нераспухшей.

С-ссссс.

Извини.

Там тоже, наверное, сломано.

Я утром вытащу тебя отсюда.

Кристина зажигает еще одну свечу, с натугой подымается и, подойдя к трюмо, выдвигает один за другим ящики. В верхнем лежат цветные мелки в маленьком матерчатом мешочке; в среднем — мышиный помет и остатки детского бельишка: носочки, маечка, трусики. Вытаскивает желтую маечку, показывает Гиде.

Это же твой купальник.

Неужто я была такой крошкой?

Моего там нет?

Что-то не вижу. — Желтой тряпочкой Кристина отирает пот с лица и шеи, бросает тряпочку на пол. Опять подходит к Гиде, кряхтя усаживается рядом. Пламя свечи выхватывает из темноты их руки, лица остаются темными.

А ты правда была проституткой?

Да боже ж ты мой!

Так говорят.

Значит, врут. Продавать — не продавала никогда. Меняла разве что...

Ну это как и я.

Нет, ты не так. Ты чересчур мала была, не понимала.

Чтобы хотеть чего-то — не чересчур.

Да? А он был тебе хорошим мужем, Гида? По-настоящему хорошим?

Сперва да. Несколько лет он хорошо ко мне относился. Не забывай, в одиннадцать лет думаешь, что коробка попкорна в сахаре — это и есть любовь. Он чесал мне пятки, пока они не стали как воск.

Ч-черт...

Когда все стало плохо, я думала, вы с Мэй мне объясните, что к чему. Но вы не объяснили, и я стала искать причину в том, что он начал терять деньги. Его я не винила никогда.

А я наоборот — всегда.

Ты могла это себе позволить. Шериф не дышал тебе в затылок.

Шериф? Я его помню. Они рыбачили вместе.

Рыбачили... Я бы тебе сказала. Любое малое дитя знает то, о чем он умудрился забыть. Белые не бросают тебе в кружку монеты, если ты не пляшешь.

Говоришь, Бадди Силк разорил его?

Не он; его сын, Босс. С отцом-то Папа дружил, если уместно такое слово, но сын оказался собакой совсем другой породы. Он похитрее выдумал. Не разорил — дал самому разориться.

Это как это?

Брал по чуть-чуть взаймы. Потом побольше. И так далее и так далее. А не давать нельзя: ты ж понимаешь, иначе закроют или выпивку продавать не разрешат. Крутиться приходилось, но ничего. А потом старый Силк помер, и молодой тут же поднял суммы поборов. Мы не могли платить и бандитам, и полиции, и еще инспекции по спиртному.

А как же вы так долго держались?

Повезло. Я нашла кое-какие фото. Снятые на яхте во время рыбалок. — Гида бросает на Кристину значительный взгляд.

Не может быть.

Еще как может.

А кто? Где?

Да какая разница — кто? А насчет где — и в койке, и на палубе, и в кресле рулевого, где угодно и на чем угодно. Подумай как следует, прежде чем сказать, кого и где можно поймать на удочку.

У мужчин память — короче некуда. Всё хотят сохранить на картинке.

Н-да.

Гида вздохнула, перед глазами возник Босс Силк. А она стоит перед ним, боится, ее то в жар, то в холод бросает. Не может понять, чего он пришел добиваться — секса или просто ее унижения; а может, ему надо денег и плюс к тому ее по-быстрому пощупать? Что он пришел унизить ее — это ясно, неясно только, будет ли при этом хватать за сиськи. В любом случае однажды ее продали, и он считает, что раз так, с ней можно не церемониться.

"Вот, возьмите, он хотел, чтобы я вам передала". Она вручила ему коричневый конверт, надеясь, что он решит, будто там деньги. И сразу повернулась спиной, чтобы не смотреть, как он откроет его, а заодно выражая этим свою неосведомленность в мужских делах. Когда услышала, что содержимое вынуто из обертки, проговорила: "Между прочим, был где-то тут еще один такой же конверт. Адресован вашей матушке, но почему-то через газету "Харбор джорнал". Если отыщется, мне как — ей передать или им отправить? Будете чай со льдом, сэр?"

Этот эпизод Гида пересказывает, изображая старинный "мамкин" выговор и отчаянно выпучивая глаза. Они хихикают.

Он что, на самом деле? Держал для старой леди такой альбомчик?

Тут, признаюсь, я кое-что выдумала.

А это помнишь: "Эй, Каллистия!"?

А как же. Только вот когда же это началось?

Однажды, когда им было лет по десять, играя на пляже, они услышали, как некий мужчина, обращаясь к молодой женщине в красном платье с голой спиной, крикнул: "Эй, Каллистия!" В его голосе была насмешка, намек — будто он что-то такое знает, — но вместе с тем призвук зависти. Оборачиваться, смотреть, кто позвал ее, женщина не удосужилась. На фоне моря четко прорисовывался профиль — гордый, с высоко поднятым подбородком. Зато на них она вдруг посмотрела. На лице шрам от щеки к уху. Тонкий, как карандашная линия; кажется, сотри резинкой, и лицо станет безупречным. Глаза, поймавшие их взгляды, были холодны и страшноваты, пока она им не подмигнула, и тут у них аж пальцы ног свело от удовольствия. Потом они спросили Мэй, кто такая эта Каллистия. "Держитесь от нее как можно дальше, — нахмурилась Мэй. — Если увидите, что она идет по улице навстречу, переходите на другую сторону". На вопрос почему Мэй ответила: "Потому что нет на свете такого, на что не пойдет гулящая женщина".

В ошеломлении они пытались представить себе что-нибудь из того, на что она не колеблясь пустится, невзирая на опасность. И свой домик для игр они назвали ее именем. "Вилла Каллистия". С тех пор, когда они хотели что-либо одобрить или восхититься смелой, хитроумной и рис-

кованной выходкой, они, подражая тону того мужчины, восклицали: "Эй, Каллистия!"

"Эй, Каллистия!" — это был чуть ли не самый секретный их клич, то есть второй по секретности после шифрованного языка, который они называли "идагей". Идагей служил для употребления самого тайного, чтобы сплетничать или подшучивать над взрослыми. В междоусобице он был использован всего раз в жизни.

"Ы-тидагей а-ридагей ы-бидагей я-нидагей! Н-оидагей у-кидагей ил-пидагей е-тидагей я-бидагей а-зидагей о-гидагей о-дидагей у-видагей а-юидагей ен-ридагей у-дидагей о-дидагей а-мидагей и орт-тидагей!"

А-ридагей ы-бидагей я-нидагей. Это ты больно тогда ударила, Кристина. Назвав меня рабыней. Очень больно.

Я и метила, чтоб побольнее. Думала, вот сейчас умру.

Бедные мы, бедные.

А он-то, черт побери, о чем думал?

Ты меня спрашиваешь?

Когда он умер, я сказала себе: победа! И тут же связалась с точно таким же, как он. Старым самовлюбленным бабником.

Ты ведь могла остаться, да и жить здесь, если тебе это было так важно. А женщин у него было столько, что я сбилась со счета.

Переживала?

Конечно.

А Л. знала, что происходит на яхте?

Скорее всего.

Да, все хотела тебя спросить: как она умерла?

Догадайся с трех раз. Прямо за стряпней.

Цыплят жарила?

Н-ну, почти что. Тушила свиные отбивные.

А где?

У Масейо. Упала замертво у плиты.

После похорон так и не вернулась?

Нет. Я думала, ты приедешь, сходишь за ней. Мэй тебе разве не написала?

Написала, но я тогда билась головой об стенку из-за одного прохвоста; жила, правда, при этом в сказочной квартирке.

Это ты о том докторе?

Да, о Кенни Рио.

Очередной обмен?

Да ну... Чистой воды купля-продажа. Купил меня, как бутылку джина. А выпивки, стоит только до кондиции дойти, ты ж понимаешь, требуется покупать все больше и больше. Я уж и так целых три года продержалась. Этакая мисс Катти Сарк[1].

Ты не была ничьей выпивкой.

Так же как и ты.

Кем же тогда я была?

Просто девчонкой. Которая пыталась отыскать место, куда не ведет ни одна улица.

Вот и Л. так говаривала.

1. Имеется в виду сорт джина "Катти Сарк".

Господи, как я по ней скучаю!

Я тоже. Вспоминаю все время.

Могли ведь жить себе припеваючи рука об руку, вместо того чтобы везде искать Великого Папочку.

Тут и искать нечего. Он был везде. И нигде в то же время.

Мы что, его выдумали?

Он сам себя выдумал.

Но и без нашей помощи не обошлось.

Да уж, конечно. Сам черт только мог его выдумать.

Видимо, он и выдумал.

Эй, Каллистия!

Даже на языке идагей они никогда не делились друг с дружкой неким секретом, постыдным вдвойне. Каждая думала, что изъян кроется в ней одной. Теперь, сидя на полу и пытаясь презрение и твердость противопоставить измене тела, когда терять стало и нечего, и, наоборот, нависла самая жестокая потеря, та фраза из детства вновь ввергла их во времена, когда не существовало даже невинности, ибо не был придуман ад.

Опять тысяча девятьсот сороковой год. Они одни, вместе идут играть на пляж. Л. приготовила им корзинку с завтраком; как обычно, они съедят его в тени и уединении своей "Виллы Каллистии" — перевернутого баркаса, брошенного в прибрежной траве. Они не только дали ему имя, но все внутри вычистили и обустроили. Притащили туда одеяло, из принесенных морем деревяшек соорудили стол, на который поставили две треснутые тарелки и продукты "на всякий пожарный": консервированные персики, сардины, банку яблочного желе, ореховую пасту и печенье. Обе в купальниках. На Гиде один из купальников Кристины — синий с белыми кантиками. Кристина в желтом с короткой маечкой — топиком, как это теперь называют. Волосы у обеих заплетены в четыре косички, так что прически у них одинаковые, только у Кристины косички гладкие, а у Гиды нет. Уже почти перешли лужайку, когда выяснилось, что они забыли джеки. Гида вызвалась сбегать, а Кристина пока посидит в беседке, посторожит еду.

Со служебного входа Гида вбегает в отель и, вкусно чавкая жевательной резинкой, мчит по черной лестнице вверх, вся в радостном предвкушении пикника. Из бара доносится музыка — да такая чудесная и ритмичная, что в коридоре Гида начинает пританцовывать в такт, виляя бедрами. Вдруг натыкается на деда своей подружки. Тот молча смотрит. Она в смущении — вдруг он видел, как она крутила попой? — да и без того она в благоговейном ужасе. Это же он, этот представительный гигант, владеет всем отелем и все его боятся. Гида останавливается, не в силах ни пошевелиться, ни принести извинения.

Вдруг заговорил:

— И где же это пожар?

Она не отвечает. Язык увяз в жевательной резинке.

Он опять:

— Ты дочка Джонсона?

Упоминание отца срабатывает, язык развязывается:

— Да, сэр.

Он кивает.

— Как тебя звать?

— Гида, сэр. — Потом, подумав: — Гид-де-Найт[1].

Он улыбается.

— Мне это было бы и впрямь нелишне.

— Чего-чего?

— Да ничего, это я так.

Он ее трогает за подбородок, потом — все так же улыбаясь, как бы между делом, касается ее соска или, верней, того места под купальником, где он появится, если точечка в кружочке на ее груди когда-нибудь выступит рельефней. Казалось, Гида простояла перед ним чуть ли не час, хотя в действительности времени едва хватило, чтобы выдуть большой пузырь из жвачки. Пронаблюдав, как розовый шар лопнул и съежился на ее губах, он уходит, по-прежнему улыбаясь. Гида бросается по лестнице обратно. То место на груди, доселе ей неведомое, горит огнем и трепещет. В дверях она уже дышит так, словно бежала всю дорогу на пляж и обратно, а не по лестнице один марш. Тут ее вдруг сзади сцапала Мэй и задала нагоняй за то, что она бегала в отеле. Давай, мол, — чем носиться туда-сюда без толку, бери мешок, помогай таскать белье в прачечную. На это уходит всего минута, может, две, но Мэй Коузи за это время успевает многое ей рассказать о поведении в общественных местах. Когда заканчивается тирада о том, как все тут счастливы оттого, что Гида с Кристиной подружились, и сколь многому эта дружба может ее научить, Гида бросается к Кристине, хочет рассказать, что произошло, что сделал ее дедушка. Но Кристины в беседке нет. Гида находит ее с другой стороны дома, у бочки с дождевой водой. Купальник у Кристины выпачкан чем-то похожим на рвоту. Ее лицо сосредоточенно, сурово. На нем растерянность пополам с омерзением; в глаза не смотрит. У Гиды отнимается язык, какое там пытаться рассказать, что случилось! И так понятно: она все испортила. В молчании они идут на пляж. Все вроде бы как обычно — придуманные словечки, имена, уже и завтрак на столе, вот только в джеки не поиграть — их нет, Гида не принесла. Кристине объяснила, что не нашла. Так родилась эта первая ложь (потом еще много их воспоследует), а все из-за того, что Гида решила, будто Кристина знает, что произошло, потому ее и вырвало. А значит, с Гидой что-то не так. И старик это сразу увидел, даже наперед угадал: стоило ему притронуться, и червоточина вышла наружу, потому что червяк в ней только того и ждал, чтобы прикосновением большого пальца дедушка пробудил его к жизни. Исток червоточины в ней, не в нем. Сперва она крутила попой, а уж потом появился дед. А теперь и Кристина знает, в чем дело, и не может на нее смотреть, потому что ее изъян виден.

Она не знает, что Кристина вышла из беседки, чтобы встретить подружку у служебного входа. Никого нет. Кристина бросает взгляд вверх, на окно своей спальни, где Гида как раз должна искать набор джеков. Окно распахнуто; бледные шторы отведены в стороны. Она уже открыла было рот крикнуть: "Гида! Давай скорей!", но молчит, потому что там ее дед — стоит прямо перед окном в расстегнутых штанах, и его рука снует с той же скоростью, как когда Л. сбивает из яичных белков удивительную пенную массу. Кристину он не видит, потому что его глаза закрыты. Чтобы не рассмеяться, Кристина прикрывает рот рукой, но тут

1. Страшись Ночи (*англ.*).

же ее отдергивает, когда в ладонь потоком устремляется все то, что она съела на завтрак. Бросается к дождевой бочке, скорее смыть жижу с желтой маечки, с ладоней, с босых и голых ног.



Вот Гида нашла ее, но Кристина не объясняет, что́ с купальником, почему она его замывает и почему не может смотреть на Гиду. Ей стыдно и за деда, и за себя. Тем вечером, когда она отправилась в постель, комнату заполонила его тень. И ей не надо было ни к окну оборачиваться, ни смотреть, как шторы раздувает ветерок, — она и так воочию видела, как старик, предающийся самоублажению, по-прежнему стоит там и стоит. Будто постоялец, что заказал номер загодя, а когда прибыл и занял комнату, ты знаешь точно: этот отсюда скоро не съедет.

И вовсе не во вспышках возбуждения тут дело (они-то как раз были не сказать чтобы совсем неприятны), об этом девчонки не постеснялись бы поговорить. Дело в другом. В том, что каждой неизвестно почему втемяшилось, будто этот стыд какой-то совсем особый и обсуждению не подлежит — даже на языке, который они специально выдумали, чтобы секретничать.

Конечно, тут промолчишь — лишь бы скрыть, не дать внутренней порче выйти наружу!

Теперь они в изнеможении, обеих клонит в сон, быть может вечный, и они не говорят о зарождении треха. Все равно никакой идагей им в этом не поможет.

Гида опять пьет анальгетик; проглотила, закашлялась. Кашель трудный, с хрипами, и долго не проходит.

Где у тебя болит?

Да где только не болит.

Скоро рассвет.

И что тогда?

Я вытащу тебя.

Да уж, конечно.

О! Смотри, что я нашла.

Кристина поднимает с полу мешочек, открывает его, и оттуда высыпаются пять джеков и резиновый мяч. Она собирает джеки и вновь раскидывает по полу. Пять — для игры маловато. Кристина снимает с руки кольца, дополняет ими набор. Звездочки джеков вперемешку с бриллиантами влажно поблескивают в мерцании свечи. Бросить мяч Гида не может, но сгребать к себе джеки — тут и ее пальцы справятся.

Моей матери только одно во мне и нравилось — то, что я ненавидела тебя.

Говорят, моему отцу он дал двести долларов, а маме сумочку.

Но ты же ведь сама хотела, разве нет? Хотела или нет?

Кристина быстро загребает четыре джека и со стоном морщится. Какой-то штырь пронзает ей лопатку, боль отдается в плечо и по всей руке.

Я хотела быть с тобой. Думала, выйду за него, и мы всегда будем вместе.

А я хотела поехать с вами в ваше свадебное путешествие.

И жаль, что не поехала.

А с сексом, кстати, как у вас было?

Да в то время вроде забавно казалось. Как поймешь? Сравнить-то не с чем.

Что, никогда в жизни?
Один раз было.
Эй, Каллистия!
Да лучше уж про наши пикники вспоминать. Помнишь?
Еще бы. Корзинка, в ней всякие вкусности.
И лимонад.
А семечек не было. Л. у нас семечки отбирала.
А сосиски или ветчина?
Ну что ты, ветчина, конечно. К сосискам Л. бы нас на выстрел не подпустила.
А помнишь дождь? Мне все какой-то дождь вспоминается.
Нет, светлячки. Я светлячков помню.
Ты все пыталась их по банкам рассаживать.
А ты мне не давала.
А помнишь, черепахи нас напугали?
Ты плачешь.
А сама-то!
Я?
Ага.
Что-то я тебя почти не слышу.
Вот — руку... руку возьми.
Такие дела, подружка. Он у меня все детство отнял.
А у меня он отнял всю тебя.
А небо помнишь? Когда солнце шло к закату?
И песок. Он становился бледно-голубым.
И звезды. Сперва их всего несколько.
А потом так много, что они весь этот мудацкий мир освещают.
Ах, чудо. Какая красота.
Любовь моя. Ты правда моя любовь.
Ихо-тидагей. Олчи-мидагей.

Где нет ни фонарей, ни кричащих вспышек неона, ночь бездонна и приходит подчас как облегчение. Устраняется надобность что-то высматривать, от чего-то скрываться. Ворам ночь нужна для скрытности, но наслаждаться ею им не дано. Матери ждут ее, но и во сне они настороже. Самое главное, что дает ночь, это возможность затаиться, чтобы тебя не видели. Сделаться как звезды, которые живут своей жизнью, не думая одна о другой; или как лишенные оправы бриллианты, свободные, ставшие красивыми камнями.

На выкрик "Есть тут кто?" ему не ответили. Следуя за слабеньким лучом фонарика, Роумен пересекает вестибюль и подымается по ступенькам. Скоро станет светло, но сейчас тьма кромешная. Он слышит тихое похрапывание от себя слева — ага, там приоткрытая дверь. Распахивает ее пошире, и луч высвечивает двух женщин. Подходит ближе. Обе выглядят спящими, но дышит лишь одна. Та, что не дышит, лежит на спине, откинув левую руку, а правой обнимает за шею другую, которая похрапывает ей в плечо. Почувствовав направленный на лицо свет, дремавшая шевельнулась, собралась с мыслями и говорит: "Ты опоздал" — как будто у них была назначена встреча. Как будто он, угнав машину, сделал

это не по внутреннему побуждению, а выполняя ее поручение. Как будто то, что Джуниор ему сообщила, полная чушь.

Он спал, проснулся, задумал раздобыть чего-нибудь поесть, и тут она рассказала.



— Ты их что — так и бросила?

— А на черта они мне сдались?.. Да ты свет, свет погаси, душка.

Роумен уже тянулся к выключателю, но вдруг поймал себя на том, что другой рукой сгреб в кулак ключи от машины. Встал и оделся. Джуниор что-то говорила, кричала на него, но он не вникал. Бросился с места в карьер — бегом вниз по лестнице, вон из дома, а в ушах, подстегивая, звучал тихий дедушкин голос: "И безнадежного ничего тут нет, Роумен. Даже и думать забудь". А я-то глупец! Клоун! Ведь он пытался предупредить меня, заставить меня слушать, понять, что прежний Роумен — тот хлюпик, что не смог не развязать шнурки, которыми были связаны руки у девчонки, которая не хотела, — куда круче того, который не мог не валять по всему чердаку девчонку, которая хотела сама.

Он задним ходом выехал к дороге, развернулся и дал газ. Не гони, уговаривал он сам себя. Не гони. Дорога без обочин. Канавы по обе стороны так и манят. Одна фара мигнула и погасла.

Джуниор сидела, прижав колени к груди и обхватив их руками. Раскачиваясь взад-вперед, вспоминала, как Роумен поднял из воды ее ногу и стал лизать, как леденец. Нет, это позже началось, когда они вылезли из ванны, оба мокрые и чистые, как младенцы, — да, вот тогда она и почувствовала, что скользит. Что-то внутри куда-то съехало, и она заметила, что кружится голова, но это было приятно. Чувство прочной защищенности, которое она испытала в первую проведенную в доме ночь, уступило место тревожному упоению, которое и радовало, и пугало. Потом, закрыв глаза, она лежала на спине, проникаясь новым ощущением. В конце концов повернулась, заглянула Роумену в лицо. В глубоком посткоитальном забытьи он спал, приоткрыв рот, чуть дыша, и не шевелился. Красивый мальчик, которым она наслаждалась, словно он воплощал в себе все праздники, все пиршества и дни рожденья, которых она была лишена. Ощущение смутной тревоги нарастало, и вдруг Джуниор поняла, как оно называется. Доселе чуждое, еще неведомое чувство, уже получившее одобрение и опору в том, что он лизал, словно леденец, ее ступню, захлестнуло ее, и она сделалась вся будто настежь распахнута, открыта и невинна. Вот почему чуть позже, когда он спросил во второй раз, она рассказала правду. Без обиняков, четко и ясно изложила факты. Его пораженный отклик "Ты их что — так и бросила?" удивил ее, как и его внезапный порыв куда-то бежать. Уже протягивая руку погасить свет, он вместо этого схватил ключи от машины и оделся мгновенно, будто пожарный. Она звала его по имени, кричала "Куда? Зачем?" — он не слушал. И убежал от нее.

Джуниор встала с кровати Гиды и пошла бродить по дому. Она не искала встречи с Хорошим Дядькой, не вынюхивала его одеколон. Он пропал еще несколько дней назад, не появился на чердаке отеля, не вернулся к себе в кабинет. Когда, стоя перед его портретом, она готовилась ему похвастаться, как ловко всех провела в отеле, ей уже смутно чудилась измена, но она гнала от себя подозрения, а тут еще Роумен пришел, и о Хорошем Дядьке она забыла. Потом был леденец, и Хороший Дядь-

ка вовсе исчез с портрета, так что она осталась наедине с Роуменом и своим новым головокружительным чувством. А Роумен взял и сбежал. Бросил ее. И даже не обернулся.

Она послонялась в замешательстве по комнатам, забрела в кухню. Открыла духовку плиты и, сев на корточки, принялась отковыривать кусочки почерневшей ноги ягненка. Жадно пихала их в рот. Но тревожное упоение, которому и всего-то был час от роду, не проходило. Пока еще нет.



Роумену пришлось обеих выносить на руках. По одной, с остановками, он снес их вниз по лестнице. Мертвую втащил на широкое заднее сиденье; живой помог сесть рядом с собой впереди.

— А та где? Сбежала небось?

— Нет, мэм. Она в доме.

Кристина не разрешила ему ехать в больницу, настояла на том, чтобы он отвез их на Монарх-стрит. Когда приехали, занялся, наконец, рассвет. Окна подернулись персиковой пеленой; дом вдыхал сырой воздух, становясь мокрым, будто под дождем. Роумен несет Кристину по ступенькам вниз, вносит в кухню. Не успел усадить, вбегает Джуниор, делает круглые глаза, сочувствует:

— Вау, как я рада! Пыталась позвать на помощь, но никого не было, потом подвернулся Роумен, так я его сразу же туда к вам послала. Вы в порядке?

— Жива.

— Наверно, кофе надо сварить, давайте я. А где...?

— Иди-ка давай вон туда и закрой за собой дверь.

Сгорбленная, тяжко опираясь локтем на руку Роумена, другой рукой держась за спинку кресла, она кивает на дверь комнаты Л.

Джуниор бросает взгляд на Роумена. Он смотрит, ожидая увидеть в ней раскаяние. Нет, ничего похожего: она смотрит изумленно, но ни страха, ни вопроса во взгляде нет. Твердо выдержав ее взгляд, Роумен наблюдает, как удивленное выражение уходит — Джуниор что-то обдумывает, потом хмурится, глядя в пол. И что-то в ней на глазах иссыхает.

— Давай же!

По-прежнему глядя в пол, Джуниор поворачивается, скрывается за дверью.

— Запри, — приказывает Роумену Кристина. — Ключ в хлебнице.

Он усаживает ее в кресло, запирает дверь, отдает ключ.

— Надо отправить тело в морг. Узнай телефон. И вызови скорую. Лучше побыстрее.

Роумен поворачивается уходить.

— Постой, — вдруг говорит она. — Спасибо тебе, Роумен. От всей души, какая во мне еще осталась, спасибо тебе.

— Да, мэм, — бормочет он, направившись к двери.

— Постой, — вновь задерживает его Кристина. — Принеси одеяло. Может, ей холодно...

Оставшись одна, Кристина сидит за кухонным столом и разговаривает с единственным в жизни другом, который ждет теперь, когда отвезут в морг.

Что мы с ней сделаем?

Пристрелить было бы в самый раз.

Ты как там?

Средне. А ты?

Да как-то смутно.

Это пройдет.

Вот я не я, если она уже не придумала, как смыться до прихода скорой.

Нет, не придумала. Ты уж поверь мне.

Ну, значит, орать через минуту начнет. Думаешь, ей стыдно?

По идее, должно быть.

Возвращается Роумен с одеялом.

– Я быстро, – говорит он. – Не волнуйтесь, – и открывает дверь.

– Давай в темпе, – поглаживая ключ большим пальцем, роняет она.

Может, нам отпустить ее – это безрассудное, беспутное создание...

А ведь могло сложиться так, что мы оставили бы ее у себя.

А тебе это надо?

Мне? Нет. Но, может, ты этого хочешь?

Зачем? У меня теперь есть ты.

Она может такого натворить!

Мы это тоже умеем.

Эй, Каллистия!

Роумен гонит по Монарх-стрит, изо всех сил стараясь не тревожить пассажирку. Он сосредоточен и уже совсем спокоен, хотя, когда шел к машине и оглянулся, над домом номер один по Монарх-стрит клубились весьма мрачного вида тучи, похожие на зверей с огромными головами, тени которых легли на все окна кроме одного, и оно кокетливо подмигивало, храня все тот же персиковый блеск.

*Я так и вижу вас. Тебя с твоей невидимой подружкой: вот вы на пляже, как всегда вместе. Сидите на красном одеяльце, в руках мороженое, которое ты ешь ну, скажем, серебряной кофейной ложечкой, и тут, надо же, реальная девчонка идет, шлепая ногами по набегающим волнам. А вот я вижу и тебя: как ты идешь по берегу в мужской нижней сорочке вместо платья – идешь и слушаешь, что говорит тебе подружка, которую никто кроме тебя не видит. Вся в разговор ушла, но все-таки обернулась, когда реальный голос вдруг сказал: "Привет! Хочешь мороженого?" Больше не нужные невидимые подружки исчезают, уступив место настоящим, из плоти и крови.*

*Так и бывает, так дети и влюбляются друг в друга. С первого взгляда, сразу, без предисловий. Взрослые не придают этому значения, потому что не могут себе представить ничего более важного для ребенка, чем они сами, при этом путая подчинение с обожанием. Мягкие родители или строгие, осторожные или самоуверенные – не имеет значения. Дарят ли непрестанно подарки и, до смерти страшась чего-то, идут навстречу любой прихоти чада или, не смыкая глаз, следят за тем, чтобы дитя поступало правильно, и постоянно его поправляют, – каковы бы они ни были, их место всего лишь второе после первоизбранной любви ребенка. Если дети подобным образом нашли друг друга прежде, чем успели осознать свой пол и то, что один из них голодает, а другой накормлен; нашли прежде, чем поняли, кто цветной, а кто белый, кто свой, кто пришлый, то при этом дети обретают чувство, так крепко замешенное на самоотдаче и обладании, что не могут без него потом жить. У Гиды и Кристины так и вышло.*

*Большинству людей не дано испытать страсть такой силы в столь раннем возрасте. Даже испытав нечто в подобном роде, они вспоминают это с улыб-*

*кой, отмахиваются, как от наваждения, в конце концов развеянного временем. Да по-иному и трудно об этом думать, когда реальная жизнь настойчиво сует вам в нос список людей куда более важных и забивает голову мыслями о другом. А если твое имя – тема главы 13 Первого послания Коринфянам*[1]*, естественно, ты хочешь применить его с пользой. Как оно отыграет, в кого, когда, да и выйдет ли что в конечном счете, заранее не поймешь. Одно ясно: за этим можно понаблюдать, если сумеешь замереть и приглядеться. Гида и Кристина были из тех детей, кто не берет назад свою любовь и не откладывает ее в долгий ящик. Таким разлука приносит ломку поистине кровавую. А если к тому же их разлучают насильственно, режут дитя по живому для его же блага, тогда может пострадать рассудок. И если, ко всему прочему, их заставляют друг дружку ненавидеть, это может привести в самом прямом смысле к безвременной кончине. Вину за привитую им ненависть друг к другу я возлагаю на Мэй, но за кражу приходится предъявить обвинение мистеру Коузи.*

*Интересно, что бы он сделал из Джуниор. По части женщин бедствующих, неустроенных он был дока. Но то тогда, а то теперь. На что современное племя всех этих бесшабашных джуниорок способно – бог весть. Стыд и позор. Может быть, лаской да при постоянном пригляде еще удастся что-нибудь поправить, а может, уже и поздно, ведь даже сон у них всего лишь поза готовности, стойка перед прыжком, как уголек в матрасе. Такой, что никаким мешком сахара не потушишь. Мистер Коузи сумел бы. Его можно назвать хорошим плохим человеком или плохим хорошим. Зависит от того, что тебе важно – "как" или "почему". Я эти вопросы все время путаю. Когда я вижу, как он с благонравным видом наказывает Гиду или бросает уничтожающий взгляд на Кристину, я думаю: эх, все ж таки победил Дарк. Потом я слышу его смех, вспоминаю, с какой нежностью он купал Джулию в море; да и щедрость его... его рука, когда он ерошил волосы сына... Что вы подумаете, мне не важно. У него не было пристегнутых сзади крыльев, и вилы он с собою тоже не носил. Обычным был мужчиной, разрывавшимся между похотью и любовью.*

*И мне пришлось остановить его. Я была вынуждена.*

*Потом, ссорясь по поводу моего меню, выискивая в нем намек на то, кого он предпочел, они всё понимали неправильно. Как бы ни были слабы у Гиды навыки чтения, в тысяча девятьсот семьдесят первом году ей бы следовало сообразить, что в пятьдесят восьмом ее муж, завещая собственность "моей милой деточке Коузи", имел в виду не ее и не Кристину, а ребенка, который был на подходе. Они не видели настоящего завещания, которое в моем присутствии нотариально засвидетельствовала жена Бадди Силка, а по нему все должно было отойти Каллистии. Все. Абсолютно. Кроме яхты, которую он оставлял Сандлеру Гиббонсу. Это не было правильно. Если бы в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом, когда шериф грозился закрыть отель мистера Коузи, когда малые дети по-всякому обзывали его и целые улицы были охвачены пожарами, мне позволили прочитать то, что я подписала, я, может быть, еще могла бы его остановить – то есть по-человечески, без крайностей удержать от того, чтобы все, что далось нам такими трудами, он передал той единственной, которая предпочтет избавиться от этого достояния, нежели жить здесь и работать; которая отель лучше спалит, чем даст ему стоять и напоминать о том, как ее не пу-*

1. Любовь: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею *дар* пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что *могу* и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто..." и т. д.

*скали на порог, позволяя быть только добычей, за которой ходят на рыбалку на яхте. Вне зависимости от того, что говорило ему его сердце, это было неправильно. Если бы я прочитала это в шестьдесят четвертом, а не в семьдесят первом, я бы поняла: не было семи лет раскаяния, когда, казалось бы, он предавался раздумьям и самокопанию, на самом деле это была месть, на самом деле его ненависть к живущим в доме женщинам вышла за всякие пределы. Сперва они разочаровали его, позже вышли из повиновения, а потом и вовсе превратили его дом в банку с дерущимися паучихами, а дело всей его жизни – в назидание, в урок по истории черной Америки. Он вот чего не понимал: мечта – это всего лишь кошмар, подкрашенный помадой. Было ли то, во что он верил, правдой, не было ли, я не должна была позволить ему выставить семью на улицу. Мэй было шестьдесят один; куда ей идти, что делать? Провести остаток дней в смирительной рубашке? А Гиде почти сорок один. Ей что – возвращаться к родным, которые не разговаривали с ней со времен президента Трумена? Да и Кристине тоже – чем она там ни занималась в тот момент, это было явно ненадолго. Выход оставался один-единственный. Наперстянка при правильном употреблении действует быстро и долгих страданий не вызывает. Думать он уже был не способен, а восемьдесят один – это такой возраст, когда вряд ли человеку получшает. Решиться было не просто, но задолго до того, как гробовщик постучался в дверь, зловредную бумагу я порвала. Мое меню сработало на славу. Связало их вместе и, может быть, даже заставило задуматься над тем, сколь многое зависит от тонкостей речи. Если высказываться с осторожностью, можно спастись, отвести от себя шлемоглавиков, которые преследуют безрассудных женщин и упрямых, невоспитанных детей. Задача трудная, но я знаю по крайней мере одну женщину, которой это удалось. Над нею уже нависли их головастые силуэты, на нее вовсю капало с их бород, а она взяла да и отпугнула их просто словом... или то была музыкальная фраза?*

*Шрам у нее исчез. Временами мы встречались на кладбище, сиживали там с нею вместе. Только мы его и навещаем. Слова, начертанные на его могильном камне, обижают ее, и она садится на него, скрестив ноги, чтобы складки ее красного платья прятали под собой оскорбление: "Идеальному мужу, прекрасному отцу". Всем остальным, похоже, она довольна. Мне нравится, как она поет для него. Одну их тех простецких, скабрезных песенок, что портили когда-то нравы тех, кто приходил к нам потанцевать. "Вернись, я уж давно тебя простила. Теперь я тебя всюду бы пустила..." А обо мне она либо не знает, либо понимает то мое решение, потому что не гонит меня, и я сижу с ней рядом, слушаю. Но временами ее голос так переполняется тоской по нему, что я становлюсь сама не своя. Что-то силюсь вернуть. Хотя бы себе самой. И присоединяюсь. Начинаю подпевать, мурлычу себе под нос.*

# Светлана Макарович

## “Не болит чужая боль”

Стихи

*Перевод со словенского и вступление* Жанны Перковской

Светлана Макарович — одна из самых ярких и разносторонних личностей в современной словенской литературе. Поэт, детская писательница, публицист, актриса, исполнительница собственных шансонов и просто эффектная женщина. Нежная, ранимая, наделенная чувством юмора — и вместе с тем резкая, непримиримая к человеческим и общественным порокам. Ее категоричность у многих вызывает отторжение, но даже те, кто ее недолюбливает, признают за ней несомненный талант и особое место в литературе.

Ее стихи приглянулись мне давно, но упорно не поддавались переводу. Слишком много в них вложено, слишком неповторимо, страстно написано. Их надо не читать, а “проживать”, они повергают в шок, требуют особого погружения в ее мир, вызывают желание разобраться, почему она пишет именно так, а не иначе. И многое становится ясным, если искать ответ на этот вопрос в ее биографии.

Светлана Макарович родилась 1 января 1939 года, незадолго до Второй мировой войны. Уже сама история ее семьи заключала в себе противоречия. Мать Светланы выросла в семье истово верующих католиков и была ими лишена наследства, когда надумала выйти замуж за воинствующего атеиста. Послевоенная разруха, жизнь впроголодь давали себя знать — Светлана не успевала по многим школьным предметам, за исключением русского языка. И еще она была лучшей ученицей по классу фортепьяно, хотя, по ее признанию, довольно часто занималась музыкой для того, чтобы не слышать родительских ссор. Мать настаивает на регулярном посещении церкви, соблюдении обрядов. Светлана подчи-

© Svetlana Makarovič, 2002
© Жанна Перковская. Перевод, вступление, 2005
Редакция благодарит Светлану Макарович за любезно предоставленное право безвозмездной публикации ее стихов на страницах журнала.

няется. Она идет к исповеди, кается в своих детских грехах, а через некоторое время ей предстоит неприятное открытие: тайны исповеди не существует. От священника родители узнают, что она украла из комода двадцать динаров, купила на них два кулька конфет и угостила всех детей во дворе. Конфирмации Светлана ждет с нетерпением — ей пообещали купить по этому случаю наручные часы. Но увы — родительского подарка она не получает: "Разве тебе мало божьей благодати?"

Подростком Светлана поступает в школу искусств, но оттуда ее выгоняют за неуспеваемость. Она решает выучиться на воспитательницу, ее распределяют в интернат для слабоумных детей, и она сбегает оттуда, решив для себя, что никогда не будет иметь собственных. Хочет даже подвергнуться стерилизации, но сделать это ей запрещает медкомиссия. Тем не менее Светлана так и не родила. "Этот мир слишком нехорош, чтобы рожать для него детей".

Первые стихи Светлана Макарович опубликовала в семнадцать лет. В восемнадцать она начинает заниматься психологией, но вскоре бросает. Родители к тому времени уже развелись, мать не в состоянии содержать дочь, и Светлана подрабатывает тем, что зимой играет в кафе, а летом выступает в приморских отелях.

В двадцатилетнем возрасте Светлана была обручена, но перед самой свадьбой, ужаснувшись тому, что собирается сделать, сбежала — автостопом, без денег, без вещей, в никуда. Некоторое время скиталась и жила, по ее собственному признанию, "как бродячая кошка", потом предприняла попытку получить образование по специальности искусствоведение, прошла конкурсный отбор в актерскую академию, но все безуспешно — злой рок словно преследовал ее. В 1964 году Светлана издает свой первый стихотворный сборник — "Сумрак".

А потом — бурный роман с уже известным литератором Грегором Стрнишей, который на десять лет старше Светланы. Но сильные чувства не бывают долгими. Светлана Макарович продолжает бедствовать и скитаться, живет за кулисами театра, куда ее привел Грегор. Помогает писать ему драмы, что-то пишет сама и даже играет главную роль в его спектакле, который стал хитом 1968 года и получил одну из престижных премий. Югославия того времени весьма походила на Советский Союз: при всей своей одаренности Светлана не получает ролей — она беспартийная. Некоторое время ей удается пожить в Австрии, в Граце, куда она, узнав, что готовится закон о призыве женщин в армию, уехала по приглашению знакомого профессора славистики. В Австрии она преподает словенский язык коммивояжерам, с группой студентов ставит радиопостановки, снимается в кино вместе с Ханной Шигулой ("Дом для посторонних"), пытаясь накопить денег на квартиру. Вместе с тем это самый плодотворный период ее жизни: в 1968 году выходит сборник стихов "Ночь Ивана Купалы", в середине 70-х — "Волчьи ягоды", "Женщина-полынь", "Время воевать" и другие. С. Макарович становится лауреатом ряда премий, среди которых премия фонда Ф. Прешерна и премия имени Ф. Левстика. Более поздние сборники получили название "Счет", "Сосед-гора" и "То самое время".

В Словении Светлана Макарович выступает на вечерах поэзии, это дает средства к существованию. Председатель Общества писателей Иван Потрч предлагает ей членство в партии и блестящую карьеру. Идея коммунизма С. Макарович близка, но она отказывается от этого предложения: кто хоть раз склонился перед "неоспоримым" авторитетом, тот уже не распрямится. Последствия не заставили себя ждать: одно за другим отменяются все запланированные выступления. Макарович начинает писать сказки. Они своеобразны, их герои — вымышленные существа "косовиры" ("Косовиры на летящей ложке"). Эти и другие сказки —

"Мышкина пекарня", "Помоечный кот" — становятся очень популярны, она читает их детям в школах и детских садах за символический гонорар. "Я пишу прежде всего для себя, а уже потом для детей, — поясняет Светлана. — Не соглашусь с тем, что дети — самая требовательная публика. Детям на самом деле угодить легко. Гораздо труднее написать сказку, которая проняла бы взрослого читателя". Кроме сказок, Светлана Макарович пишет пьесы для детей, становится автором Люблянского кукольного театра. Ее спектакли — более 1000 представлений — имеют большой успех, театр ездит с ними на гастроли по всему миру. Одновременно руководит группой песенников-декламаторов, присоединяется к сатирической группе "Кабаре 13", поет в элитной люблянской гостинице "Лев", позднее в Словении вышли компакт-диски с ее шансонами.



В начале 80-х в Словении зародилось прогрессивное общественное движение, подготовившее идеологическую почву для обретения Словенией государственной самостоятельности, его участники (Графенауэр, Новак, Рупел, Хрибар, Инкрет, Макарович) создали "Новый журнал", но Макарович в нем не печатается, так как ей претит клерикальная позиция, которую заняло это издание. Узнав о том, что шестьдесят процентов читателей поддержало бы введение смертной казни за гомосексуализм, она с возмущением выступает в защиту прав сексуальных меньшинств. "Никто не вправе рыться в чужой личной жизни, всяк имеет право на половые отношения с кем угодно, хоть с настенными часами".

В 1983 году Светлана Макарович по приглашению общества любителей культуры "Лашко" переселяется в старый замок: ей пообещали, что на вложенные ею средства будет проведена реставрация. Но работы саботировались, и Макарович решает покинуть замок, она приобретает крохотную избушку в местности под названием Жабья деревня, где и по сей день живет в окружении природы и в полном уединении.

В 2002 году, решив окончательно проститься с поэзией, Светлана Макарович издает "для души" сборник своих лучших стихов "Самость" очень маленьким тиражом — 100 экземпляров, но в роскошном исполнении — шелковый переплет, и назначает цену книги — 1000 долларов. Разошлась треть тиража, Светлана надеется, что остальные будут распроданы после ее смерти, и эти средства поступят в пользу приюта для содержания брошенных домашних животных в Мариборе.

Смерть свою Светлана Макарович представляет как сожжение на костре, который разведет под ней словенский архиепископ. И это не то чтобы шутка. Ее бунтарство, свободомыслие стало причиной особой нелюбви к ней католической церкви. Когда в 2000 году в Словении проводилась церемония вручения самой престижной национальной премии в области искусства — имени выдающегося словенского поэта Франце Прешерна, — Светлана Макарович ее публично отвергла: одновременно с ней этой премии был удостоен иезуитский священник, расписавший домашнюю часовню Папы Римского в Ватикане, и эта работа получила святейшее словесное одобрение. "Мы и не знали, что территория Словении простирается до самых папских покоев и что Папа — верховный арбитр в области искусства", — таков был ее комментарий. Через несколько недель, опять же в знак протеста, она возвращает высшую награду страны — Почетный знак Свободы, — которой была удостоена, и официально отрекается от церкви.

Тема многих стихов С. Макарович — разруха, разлад, упадок. В ее ви́дении мира добро чаще всего подавляется злом. Погружая читателя в удручающую, шокирующую среду, она заставляет испытать чужую боль, отчаянно пытается докричаться до глухих.

Обостренное чувство протеста побуждает ее публично выступать не только против несправедливости, но и против мелочности, двуличия, чванливости, ус-

лужливости. Ею изобретен термин "словенишка", которым она клеймит тех своих соотечественников, которым присущи эти качества. Другое слово, каким она любит оперировать, — "микроцефал": "Микроцефалам всегда нужно кого-нибудь оплевывать — будь то евреи, педерасты, курильщики, кто угодно, лишь бы самим укрепиться в своей безопасности, чистоте и порядочности". С 2001 года Светлана Макарович выступает против вводимых государством драконовских мер борьбы с курением.

Последняя изданная Светланой Макарович книга называется "Отчеркнуто когтем" — это сборник эссе, написанных на протяжении двенадцати лет для различных периодических изданий.

Светлана Макарович у себя на родине — имя. Ее произведения для детей прочно вошли в школьную программу. С ней мечтают познакомиться лично. О ней спорят, ее любят или осуждают. Ей посвящены молодежные форумы в Интернете. Вот отзывы оттуда:

"Светлана напоминает мне редкую, вымирающую как вид птицу, увязшую в черной густой нефти, вылившейся из танкера, приносящего прибыль дуракам".

"Она выбивается из общей массы, потому что мы, словенцы, в своей общей массе слишком "приличны" и "нормальны". Эта женщина знает и видит многое. А если кто ее не любит, так это потому, что ей несвойственны околичности, намеки, эвфемизмы и реверансы — она прямо говорит то, что думает. Люди боятся ее потому, что она не смягчает своих суждений. Ее зовут сумасшедшей за то, что она слишком явно презирает общепринятые нормы. Стремление прятаться за "приличиями" и "нормальностью" — довольно распространенная черта словенского характера".

Психопатология словенской повседневности — вот предмет ее исследований. Да, Макарович эксцентрична. Но она провоцирует не для того, чтобы провоцировать. Она ратует за человечность человеческой жизни, за право жить, как живется, не причиняя зла окружающему миру. А на вопрос, почему ее поэзия так мрачна, — отвечает: "Напишешь о том, что тебя гнетет так, — и становится легче, и можно улыбаться и жить дальше".

## *Здравствуй*

Здравствуй, неприглядный
из окошка вид.
Здравствуй, мир, что кровью
до краев залит.
Горы без дубравы —
покати шаром.
Здравствуй, чудо-птица
с выдранным пером.
Стоки-нечистоты,
вонь, плевки и грязь.
Здравствуйте, соседи,
головы без глаз.
Здравствуйте, мужчины —
пустота в штанах;
женщины, чье тело
в свежих синяках.

Здравствуй, несуразный,
безымянный скот
с опаленной шерстью —
дашь ли ты приплод?
Ветер, запах падали
по полю развей.
Здравствуй, здравствуй, песня
родины моей.
Здравствуй, мор и голод,
бойня, нищета.
Здравствуй, колыбелька.
Будь же ты пуста.

## *Свадьба*

Вот имя твое — вязь глазури цветной
на пряничном сердце, что слеплено мной.
Я клетку запру, потеряю ключи,
присяду, задую огарок свечи.

Ах, сердце из теста, мой дар без затей!
В углу раздается шуршанье мышей.
Забрезжит рассвет — и на сердце моем
проступит клеймо обручальным кольцом.

Двуспальное ложе. По всей простыне
рассыпались крошки и ранят во сне.
Двойному дыханью внимают в углу
две мыши, глядящие в серую мглу.

## *Игла*

Бегает, снует иголка —
взад-вперед, туда-сюда.
Нитью незаметно-тонкой
нас сшивает навсегда.

Пусть ныряет, пусть скрепляет
нас с тобой, меня с другим.
Чем быстрей она мелькает,
тем созвучней мы молчим.

Колет, тащит, увлекает
острую тугую нить.
Чуть замешкался — успеет
намертво тебя пришить.

Горло — к горлу, невозможно
ни плотнее, ни тесней.
Прорастает кожа в кожу
все сильней, все горячей.

Шьет, скрепляя нощно, денно
руки, ноги, груди, спины.
Не дыши в лицо враждебно —
мы уже неразделимы.

Что мое, а что чужое,
знает камень у виска.
Из проколотой ладони
спущен воздух в два стежка.

Что запуталось когда-то,
не распутать — разрубить.
Что однажды было смято,
то уже не распрямить.

У кого-то дрогнет сердце
(или вспомнишь про кого).
Распахнется настежь дверца —
это путь для одного.

Вдруг сорвется, вдруг ужалит,
взрежет руку до костей,
нервы, жилы измочалит,
канет, сгинет в темноте.

Недоступно. Неоглядно.
Было. Есть. И будет впредь.
Бесконечно. Беспощадно.
Над горой — звезде гореть.

## *Колыбельная*

Дитя, отчего
не идет к тебе сон?
Иль ветра боишься?
Не бойся — ведь он
поет-завывает
всего лишь о том,
как будет, когда мы
свое отживем.
Как будет катать он
белесые кости
по голой степи,
по пустынной коросте,
как высушит сердце,

как из-под ребра,
он выдует все,
чем дышал ты вчера.
Он воет и бьется,
фрамугой звеня,
и ждет не дождется
урочного дня.
Он смерть зазывает
и только — в наш дом.
Не бойся, дитя,
засыпай сладким сном.

## *Десятая дочь*

Вот. Вернулся. Паутина
на дверном проеме.
Стекол нет. Замшели стены.
Ветер бродит в доме.

Из печи растет крапива.
Заползают в стены
сырость, плесень. Пахнет гнилью.
Простыни истлели.

Как же так — уж не вчера ли
здесь она еще была?
Нынче — пусто. Все сглодали
древоточцы, съела мгла.

Пепел. Шаткий табурет.
Отрешенный взгляд.
Дочь десятую тот свет
не вернет назад.

Нет ее, десятой, лишней.
Нет — и не вернуть.
Что же будет с пепелищем?
Купит кто-нибудь...

## *Мушиный год*

Вот так год, мушиный год —
клейки слюни, липок пот.
Душно, марево, жара,
отовсюду мошкара
налетает — мухи, мухи:
сто личинок в каждом брюхе.

Мухи там и мухи тут,
в стекла бьются, к телу льнут,
лезут в раны и в глазницы,
кровь сосут и сукровицу;
лень без меры, треп да жор,
день — мушиный мутный взор.

Мухи сыты, мухи пьяны,
засидели все поляны,
копошатся, мельтешат —
всяк пузат да волосат...
Все равно, о чем жужжать —
лишь бы лето скоротать.

Головы не приклонить,
толком не поговорить,
все равно: один, другой —
гнус, клубящийся, лесной,
мухи, мошки, мелкий сброд...
Славный год — мушиный год.

## *Плесень*

Хлеба белого кусок
ждал тебя, да вышел срок.
Что мерцает под столом
помутнелым серебром?
Может, плесень?
Верно, плесень!

Из угла — неясный свет.
Той, что здесь жила, уж нет.
Хлеб успела взять из печки —
и угасла, словно свечка.
Что ж там — плесень?
Видно, плесень.

Снегу серого надуло —
дом засыпан до трубы.
Сосны лапы протянули,
тень легла на пол-избы,
будто плесень.
Правда, плесень.

Расцвела возле забора
вишня — шляпка мухомора.
Ты молчишь — или не рад,
что вернулся в этот сад?
Глянь-ка — плесень!
Точно: плесень.

Что там вымахало в поле:
рожь, пшеница иль бурьян?
То ль глаза ослабли, то ли
застилает их туман,
то ли плесень?
Просто плесень.

Отними от глаз ладони.
Что тебе не по нутру?
В сон тебя, похоже, клонит.
Тишь какая — не к добру!
Видишь плесень?
Вот так плесень!

Прерывается дыханье,
душат серые ростки,
в тело, в душу проникают,
убаюкивают — спи!
Это плесень,
только плесень.

Так цветет земля родная,
так она плодоносит.
Споры щедро рассыпает,
наползает и царит
плесень, плесень...
Всюду плесень.

## *Охотник на людей*

Жаль соседа. Доля эта
Пусть минует нас с тобой.
Дом чужой. Чужие дети.
Не болит чужая боль.

Уж сосчитана добыча.
Пробежит по телу дрожь.
Ну, пойдем же. Стылый вечер.
Человека не вернешь.

Почему молчишь угрюмо?
Что-то мучит, может быть?
Не пристало много думать —
лучше яркий свет включить.

Затвори плотнее двери,
сядем ужинать скорей...
Чья-то вьется в дальнем ветре
смерть — охотник на людей?

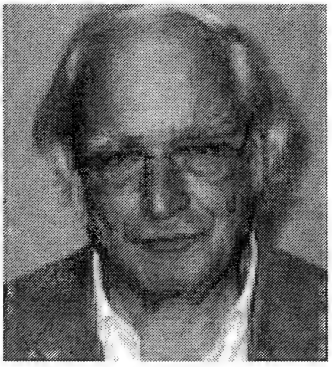
# *Удар*

Только что сломано. Только что смято.
Крови не видно пока. Не вздохнуть.
Не улеглись еще эха раскаты.
Боли поток устремляется в грудь.
Всё — пустота, ненасытная яма.
Замер весь мир, молчалив и далек.
Нет и тебя. Ты пока — безымянный,
плоти ушибленной жалкий кусок.

Скоро почувствуешь там, за глазами,
легкий укол, а затем — поворот
острого лезвия; скоро узнаешь:
ты — этот крик, что наружу течет.
Стянутся, сложатся вместе осколки:
кто, где, за что, почему — все поймешь.
Ярость звериная в теле плеснется.
Встанешь, ответный удар нанесешь.

# Мартин Вальзер





# *Из книги "Мысли Месмера"*

*Перевод с немецкого* Л. Бухова

**От редакции**

"Мысли Месмера" Мартина Вальзера, одного из самых популярных современных немецких писателей, каждая книга которого вызывает споры и дискуссии в прессе, рецензенты называли "мозаичными камушками автобиографической психограммы", "хитроумным автопортретом", "наполовину дневником, наполовину записной книжкой". В интервью журналу "Вельт ам зонтаг" (2003) Мартин Вальзер сказал, что считает вымышленного Месмера "самым интимным своим персонажем", что в Месмере он "разоблачил себя".

Книга состоит из разрозненных высказываний, часто афористического характера, которые вовсе не претендуют на объективность, — они окрашены настроениями автора и могут восприниматься как отклики на поступающие извне конкретные впечатления, но вместе с тем в них почти всегда сконцентрированы и размышления о таких константах бытия, как старость, смерть, боль. В представлении Вальзера слово, устное и письменное, — одна из важнейших форм человеческой жизнедеятельности. "Ведь писать — это единственное, что можно делать, чтобы хоть как-то реагировать на боль бытия, — признался Вальзер в уже упомянутом интервью. — Только словами можем мы обозначить или восполнить то, чего не существует: Бога, честь, добродетель... Для меня писать — значит жить... Фантазия — это опыт повседневной жизни. Я фантазирую, домысливая то, в чем больше всего нуждаюсь. Мою Музу зовут Отсутствие нужного".

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1985
© Л. Бухов. Перевод, 2005

Из всех голосов, звучащих во мне, мой — самый слабый.

Мое лицо — дверь, через которую можно войти, но не выйти.

Меня изменяет все. Я же не изменяю ничего.

Годы проходят по моему лицу как завоеватели.

Благословенна стена, отделяющая тебя.

Я выглядываю наружу сквозь щель, которая сужается с каждым днем. Какая низость: вчера позвонить мне, а сегодня — нет.

Для меня, обожающего краткость, время всегда тянется слишком долго.

Когда кто-нибудь из знакомых предупреждает, что он ко мне зайдет, меня охватывает ужас. Я не хочу, чтобы он приходил. Но сказать ему об этом не могу. Мои страдания все нарастают, вплоть до его появления. Когда он входит, я уже совершенно больной человек. Чтобы он не заметил, насколько мучителен для меня его визит, я вновь и вновь удерживаю его, если он собирается уйти. Лишь часа в три ночи, когда у нас обоих силы уже на исходе, я разрешаю ему откланяться. А потом падаю на кровать и плачу от радости.

Он твердо убежден, что, пока пребывает здесь, непременно произойдет землетрясение. Можете считать это своеобразной формой завышенной самооценки или следствием многолетнего опыта: с ним всегда случается только самое худшее. Всякий раз ему жалко людей, которые вместе с ним садятся в самолет. Только из-за того, что они летят тем же рейсом, им вскоре придется умереть. Выходя из самолета, он внимательно оглядывает пассажиров. Ему хочется узнать, кому он обязан тем, что добрался до Америки целым и невредимым.

Он подобен спичечной головке: при малейшем трении вспыхивает и сгорает.

Медленнее всего время проходит в дороге и быстрее всего — дома. Стало быть, нужно постоянно путешествовать.

И чего только не приходится взваливать на себя из-за того, что ты слаб!

То, что тебе приходится выслушивать, звучит так, словно оно предназначено для кого-то другого. Но ведь прежде всего нужно стать тем другим, только тогда ты сможешь соответственно настроиться. Этого от тебя и ждут.

Из всех ловушек опаснее всего те, которые человек расставляет для себя сам.

Я — пьяница, который вовсе не пьет.

Когда все было прекрасно, я этого не знал.

Я, босоногий, стою в траве, у меня миллионы пальцев.

Всегда я видел только закат, но не восход солнца.

Мне чаще приходилось падать, чем подниматься.

Я остерегаюсь ступать твердо. Боюсь жесткости земли.

Я наблюдаю, как гоняют птиц те, кто сам не в состоянии летать.

Ты принимаешь почту из рук почтальона, берешь ее как туго надутый воздушный шар. Вскрываешь письмо, читаешь, из него будто выходит воздух, в руках у тебя остается мусор.

Я волоку себя по свету. Да, это так. Спутников у меня нет, как и у других. Я покоряюсь судьбе. Такова нынешняя мода. Невозможно быть зауряднее, чем я.

Чем дольше шел он по городу, тем невыносимее для него были крики, издаваемые товарами. И эти крики звучали тем пронзительнее, чем беспомощнее становился он сам. Казалось, будто множество живых существ за мгновение до своей гибели взывает о помощи. Но ни у кого не хватало сил проявить сострадание. Люди зажимали уши руками и бежали прочь.

Чувство опустошенности, после того как за один раз истратишь много денег. Отвратительное ощущение. Как после оргии?

Деньги никогда не принадлежат человеку — разве только тогда, когда уже вышли из обращения. Полагает Месмер.

Нам этого не израсходовать, и все-таки от этого ничего не останется.

Клочок зеленой природы. И сразу же постыдное ощущение: он принадлежит тебе. Наихудшее следствие капитализма: человек полагает, будто все, за что он в состоянии заплатить, принадлежит ему.

У меня одежды больше, чем мне нужно. После меня останутся практически новые рубашки и обувь. Занимаемое мною помещение обширнее, чем это необходимо. И я боюсь, что у меня отнимут то, в чем я не нуждаюсь.

Я испытываю сострадание к Коммерческому банку, потому что закрыл там свой счет. Вот так-то.

Самое прекрасное — быть смешным. Это корона, которая не болтается на твоей голове, она тебе действительно впору.

Беспомощными остаются те, кому понадобилась моя помощь.

Посредством писания можно замедлить мышление. Если сегодня я не замедлю ход своих мыслей, они увлекут меня туда, куда мне вовсе не хочется.

Услышав впервые тот звук, он бросился ко всем окнам, закрыл их и убедился в том, что звук не поступает извне. Но только когда он улегся в постель и зарылся под грудой одеял, для него стало очевидно: источник звука находится не где-то в доме, а в нем самом.

Я не хочу быть таким, каков я есть. Подобных людей уже вполне достаточно. Они постоянно стремятся выговориться. По их высказываниям о себе, звучащим так, словно речь идет обо мне, я вижу, что таким, как сейчас, я оставаться не желаю. Эти люди, должно быть, помогают мне от чего-то оттолкнуться. Они освобождают меня. От меня самого.

Меня распирает. Как если бы нечто рвалось из меня наружу, но ведь внутри меня — только пустота. Моя жажда высказаться фантомна.

Он чувствовал себя обесцененным — подобно Луне, убегающей от Солнца.

Как мы бываем счастливы, когда нам не приходится иметь дело друг с другом.

Если у них есть возможность что-то разрушить, они разрушают.

Не существует близости к другому, которая не приводила бы к враждебности.

Порой я испытываю жгучую потребность в сочувствии.

О моей боли я не могу рассказывать, она слишком ничтожна. Зато я могу о ней молчать.

Для вас я бесполезен. Ожидаю вашего подтверждения.

Человек, может быть, и мог бы. Но он не может.

Во всяком случае, я буду стараться, или, по меньшей мере, мне хотелось бы, если ж не выйдет, то я все же знаю, что должен был бы, но не могу.

Оставь себя в покое.

Тот, кто предпочел жизни смерть, сам себе оказал услугу.

Я смотрю в лицо смерти и говорю ей: ты не существуешь.

Мне стыдно, и я не смею себе признаться, из-за чего.

Как бы мне хотелось сказать себе что-нибудь такое, что я был бы рад услышать.

Я не воздействую на себя положительно.

Ты подходишь к яме, знаешь, что упадешь, — и падаешь в нее.

Любое предложение, которое начинается с *Я*, следовало бы зачеркнуть.

Я ничего не могу сделать. Но не могу и не делать ничего.

Человек — это шум, который действует на нервы себе же.

Мы знаем, что это серьезно, однако не верим, что дело обстоит так.

Я ни в чем не стремлюсь к ясности. Предпочитаю необъективность. Не желаю освобождаться от своих заблуждений.

Я живу, будто и не живу.

То, что я еще способен шевельнуть рукой, — подлинный героизм.

Разве вчера, еще свободный от неприятностей, навалившихся на меня сегодня, я торжествовал? Нет. То-то же.

Мне хочется свернуть себя, как карту страны, в которую я никогда больше не поеду.

Если ты ешь один и тот же суп каждый день, ты его полюбишь.

Но, может быть, завтра тебя угостят чем-нибудь таким, ради чего стоило оставаться в живых.

По всей вероятности, чтобы тебя любили, ты должен сам любить.

Раньше на твоем месте никого не было, сейчас на твоем месте тоже никого нет, зато теперь на твоем месте кого-то недостает.

Только сильно преувеличенные жалобы вызывают мой интерес.

Чтобы увидеть, что твои мысли — вовсе не то, о чем ты хотел мыслить, их следует записывать.

Познакомить с персонажем так, чтобы после его смерть казалась оправданной, — это и был бы реализм.

Когда больше нет надобности в изобразительных средствах, они исчезают. Остается одно — сам изображающий.

Ни в чем хорошем я вас не опережаю. И не могу дать вам больше, чем получаю от вас. Даже остаюсь в долгу перед вами. Мой долг растет и растет.

Пустая страница подобна пустой церкви: и там, и там гулко.

Однажды вечером исписать собой всю бумагу мира...

Сначала люди сотворили Бога. А потом рассказывали историю сотворенного ими. Пока не забыли, что они-то и были теми, кто сотворил Бога. И не начали сомневаться: есть ли Бог, что есть Бог и так далее.

Месмер охотно поднимается в гору. Но когда спускается с горы, опасается, что выглядит комично.

В августе мы рассуждали об осени. Теперь же, когда она наступила, предпочитаем наблюдать за ней молча.

Ему нравились ели. Они казались грузными, темными, чаще всего тихими, и у них были животы.

Мне хочется воспроизводить тот особый звук, что порождается моей жизнью.

Он хотел бы, по меньшей мере, уподобиться птице, сидящей на отапливаемой ветке: быть полностью защищенным и свободным.

Мне хочется быть подобным желанию. Хочу стоять на пороге. Как еще не занявшийся день. Хочу, чтобы меня пока еще не было.

Мы так взаимозависимы, что нам трудно расслышать, как нуждается в нас другой. Каждый хотел бы, чтобы сильнее всего нуждались в нем.

Каждый — галактика, из которой доносится крик.

Почему бы нам не взяться за руки и не закричать всем вместе?

Претерпевая страдания, мы достигаем большего, чем люди действия: мы несем на себе весь мир.

Кричать бессмысленно. Молчать трудно. Нужно научиться смеяться — заразительно.

С 54 и до 63-го года своей жизни Тассило Герберт Месмер будет спокойно сидеть в комнате. Не обращая внимания ни на что, кроме меняющихся времен года. Потом он умрет. Скоропостижно. Из-за такого образа жизни его не сразу хватятся. В этом и состоит его цель. С утра до вечера он зевает. Но не осмеливается заснуть днем. Ему кажется, это было бы кощунством. И никогда он не находит повода упрекнуть другого.

Он не может досыта наглядеться на лица в автобусе. Он охотно длил бы эту поездку вечно. И хотя он просто наблюдает, Месмер ощущает себя частью некой группы, некого сообщества.

Он, как ему кажется, склонен относиться к людям лучше, чем они к нему.

Я бы хотел делать свою работу, не обижая никого вокруг. И принося как можно меньше вреда. Только такими заслугами я мог бы теперь гордиться.

Использовать на все сто процентов свои глаза. Никому не жаловаться, что наткнулся на пустоту. Быть одиночкой, которого никто не боится. Уступать дорогу детям.



Больше всего он хотел бы ухаживать за животными, желательно — за бессмертными. Правда, сперва ему предстоит их вывести. Эксперименты, весьма многообещающие, уже начались.

Я надеваю кепку, следовательно, я существую, думает Месмер.

К 175-летию со дня рождения

# Кристина Россетти

## *"Я отдала бы слово"*

Стихи

*Перевод с английского и вступление* Маши Лукашкиной

*Кристина Россетти. Портрет написан Данте Габриелом Россетти в 1866 г.*

© Маша Лукашкина. Перевод, вступление, 2005
Рисунки к стихам – Артура Хьюза, к поэме "Базар гоблинов" – Данте Габриела Россетти.

По свидетельству современников, Кристина Россетти (1830—1894) была наделена той строгой одухотворенной красотой, которая говорит о достоинстве и внутренней силе. Это подтверждает и портрет, выполненный ее братом — поэтом и живописцем Данте Габриелом Россетти. Об этом свидетельствует и ряд неординарных поступков, которые совершила эта женщина. Дважды получала она предложение руки и сердца — и дважды накануне свадьбы решительно разрывала помолвку. Не обращая внимания на пересуды, она открыто помогала падшим женщинам, а во время Крымской войны работала сестрой милосердия в госпитале, ухаживала за ранеными. В последние же годы жизни, будучи тяжело больна, Кристина Россетти стала фактически затворницей, полностью посвятила себя Богу.



Что мне отдать небесному Отцу?
Будь я пастух, я б отдала овцу.
Будь я мудрец, я отдала бы слово...
Могу отдать лишь сердце. Я готова.

О незаурядной личности Россетти лучше всего говорят ее стихи. Она писала их всю жизнь, с самого детства. Всегда свободно и легко, без видимых усилий справляясь с самыми трудными поэтическими формами. Первый стихотворный сборник Кристины опубликовал обожавший ее дед, в тот год, когда ей исполнилось двенадцать. Поэтический дар девочка унаследовала от отца, эмигранта Габриела Россетти, преподававшего в Лондоне итальянский язык и литературу. Лучшей обстановки для талантливого ребенка, чем та, что царила в семье Россетти, представить себе трудно. Это и любовь родителей, и скромность быта, граничащая с аскетизмом, и постоянное присутствие в доме гостей — художников и литераторов.

Будучи младшей и, по воспоминаниям брата Вильяма, "наименее книжной" среди четырех детей Россетти, Кристина немало почерпнула из разговоров и жарких литературных споров, которые звучали в доме. Через всю жизнь пронесла она беззаветную преданность семье, искренне восхищалась успехами братьев, получивших, в отличие от нее, женщины, прекрасное классическое образование. Не раздумывая, примкнула она к стану прерафаэлитов, когда Данте Габриел и Вильям Майкл основали Братство Прерафаэлитов. Своим успехом журнал "Атенеум", который они издавали, немало обязан ее стихам.

Моя душа — как птичий хор,
Поет на тысячу ладов,
Моя душа — как летний сад
Под сладкой тяжестью плодов,
Моя душа — как океан,
Нахлынувший на берег вновь...
Моя душа счастливей всех:
В нее вошла любовь.

Радость, дышащая в этих строках, как нельзя лучше соответствовала основной задаче, что ставили перед собой прерафаэлиты: возрождение ценностей раннего (дорафаэлевского) итальянского искусства, как наиболее демократичного и непосредственного. Яркие краски, тщательно выписанные детали, подчеркнутая декоративность, с одной стороны, и особое духовное наполнение, ча-

сто религиозно-мистическое, с другой, отличают все творения прерафаэлитов, включая живописные.

"Прерафаэлитским шедевром" принято считать и самое крупное произведение Кристины Россетти — сказочную поэму "Базар гоблинов", написанную в 1858 году. Речь в ней идет о гоблинах — коварных торговцах, имеющих полузвериный облик и человеческие повадки. Гоблины уговаривают двух девушек-сестер купить у них невиданные фрукты:



Листвою одето,
Расщедрилось лето!
На миг нам дано,
Минует оно,
Как сон, как каприз...
Покупай, торопись!
.....
Зернышки граната,
Что хранят прохладу,
Гроздья винограда,
Груды авокадо,
Голубые сливы
С легкой поволокой —
Вкусные на диво!
И всего — за локон!

Старшая (Лиззи) убеждает младшую (Лауру) не поддаваться соблазну. Но та не только осмеливается взглянуть на гоблинов, но и угощается соком, заплатив за него срезанным локоном, — и вскоре заболевает. От неминуемой гибели девушку спасает старшая сестра. Ей удается перехитрить гоблинов, она добывает "запретный плод", не заплатив за него и не отведав, как ни беснуются гоблины, ни кусочка. Лиззи проявляет недюжинную выдержку:

Ни слова не произнесла,
Как бы не слыша брани...
Стояла твердо, как скала
В ревущем океане.
Чем злее делалась толпа,
Тем стойче, тем бесстрашней,
Как будто каменной была
Сторожевою башней.
Взгляд устремила в высоту,
Назад откинув косы, —
Подобна яблоне в цвету,
Что осаждают осы.

Сама Кристина Россетти сетовала на то, что поэму воспринимают только как гимн сестринской любви, не обращая внимания на другое. Лаура заболела не потому, что взглянула на гоблинов (первоначально поэма так и называлась — "Взглянуть на гоблинов"). Дело не в гоблинах, а в том, что единожды побывав "в сказке", Лаура не смогла смириться с тем, что продолжения не будет.

...отныне,
Как путешественник в пустыне,
Мираж увидевший вдали —
Озёра, реки, корабли,
Лаура грезила о саде
Глотка единственного ради.

Пол больше не мела,
За птицей не ходила,
Работать не могла
И ела через силу.
Часами у окна,
Понурая, сидела...
Без отдыха и сна
Согнулась, поседела.

Но не только тема расплаты за минутную слабость или за преступное бездействие пронизывает творчество Кристины Россетти. Мысль о том, как достойно встретить смерть, утешить близких, облегчить расставание, занимала ее всегда. В тридцатилетнем возрасте она написала стихотворение "В гору", часто открывающее или завершающее ее поэтические сборники, как лучшее. Совсем молодой она написала и другие известные свои стихотворения — "Помни" и "Когда я умру".

Стихи для детей — ещё одна грань ее дарования. Опыт, приобретенный Кристиной в юности, когда она помогала матери преподавать в частной школе, впоследствии очень ей пригодился: она написала несколько сказок, в том числе и прозаических, а также множество детских стихов. В 1872 году был опубликован ее сборник "Динь-дон" ("Sing-Song"), вошедший в золотой фонд английской литературы для детей. Многие стихи из этой книги исполнены изящного лукавства:

— Уголек или алмаз?
Что мне выбрать, детвора?
— Разумеется, алмаз,
Видишь, на дворе жара!

— Уголек или алмаз?
Повторяю свой вопрос!
— Ну, конечно, уголек,
Видишь, на дворе мороз!

Сборник "Динь-дон", замечательно иллюстрированный художником Артуром Хьюзом, на двенадцать лет опередил сборник Роберта Луиса Стивенсона "Детский сад стихов". И в той, и в другой книге можно найти стихи и о невидимке ветре, и о печальной луне... Однако Кристина Россетти пишет для детей иначе, не вспоминает напрямую свое детство, а по-женски баюкает, утешает, потешает и поучает:

Нет слов "не хочу",
"Не могу", "разучилась",
А есть "постараюсь",
И есть "получилось".

Сейчас, спустя сто семьдесят пять лет со дня рождения Кристины Россетти, в мире вновь вспыхнул интерес к ее творчеству. Не прекращаются споры о месте Кристины Россетти в ряду выдающихся английских поэтов XIX века. Писательница и литературный критик Вирджиния Вулф, ценившая ее не меньше, чем поэта-лауреата Теннисона, писала об одном из самых радостных ее стихотворений: "Поэзия Россетти будит в нас такой порыв и восторг потому, что чувство, которое она празднует, знакомо каждому".

Ответ на вопрос, что интереснее современному читателю: замечательная лирика Кристины Россетти, ее религиозно-мистическая сказка, циклы сонетов или ставшие классическими стихи для детей, — каждый читатель вправе дать сам.

## В *гору*

— Все в гору и в гору я буду идти?
— О да. Устанешь, нет мочи.
— И много часов проведу я в пути?
— С утра — до глубокой ночи.

— Когда же смогу отдохнуть я и где?
— Приют наверху найдешь.
— Но как я увижу его в темноте?
— Мимо ты не пройдешь.

— Скажи, кто оставил у входа свечу?
— Люди, что шли впереди.
— Они мне откроют, коль я постучу?
— Без стука в дверь заходи.

— На отдых теперь я могу уповать?
— О да, ты его нашел.
— Но всякому здесь постелют кровать?
— Всякому, кто вошел.

## *Помни*

Помни обо мне, молю...
Настает пора расстаться:
Мне — уйти, тебе — остаться...
Руку отпусти мою.
Помни обо мне, родной,
Не скорбя и не тоскуя...
Словно все еще живу я,
В мыслях говори со мной.
А случится, на мгновенье
Ты меня забудешь, милый,
Не ходи потом унылый,
В этом нет большой беды...
Лучше полное забвенье,
Только б улыбался ты.

## *Половина Луны*

Половина Луны... Равновесие зыбко!
Похудеет Луна или пустится в рост?
Половина Луны — как сквозь слезы улыбка.
В ней и горе, и радость — вперемешку, внахлест!

Ах, не так ли и жизнь — та же полуошибка,
Тот же полуответ, тот же полувопрос.
Наше счастье, созрев, вдруг становится зыбко...
Наша боль, лишь утихнув, вновь пускается в рост.

## *"Да" и "Нет"*

Он был рожден под небом юга.
Он был влюблен — и никогда
Не огорчал меня нисколько,
Он говорил мне только "да".

Я загрущу — и он бывало
Нахмурится за мною вслед...
Мы с ним не спорили нимало,
Мы ссор не затевали, нет.

Весною, накануне свадьбы,
Когда бежала с гор вода,
Я испугалась: слишком поздно
Вернуть кольцо и слово "да".

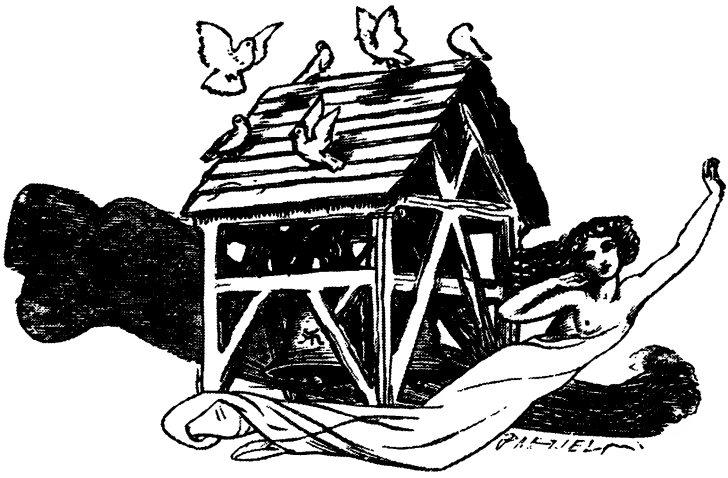
Перед священником мы встали –
В моих глазах померкнул свет...
Сама того не ожидая,
Сказала я спокойно: "Нет".

Потом я встретила другого –
Из той страны, где холода...
"Когда б тебя я полюбила,
Что б ты ответил мне тогда?"

Он был суров, немногословен.
Глаза, как стылая вода.
"Не торопи меня с ответом
И, может быть, услышишь 'да'".

Он пристегнул к седлу подпругу
И, взявши в руки повода,
Увез меня в тот край далекий,
Где солнце греет не всегда.

В пути я вытерпела много...
Но муж затмил мне белый свет,
И у меня не хватит духа
Сказать ему и в шутку "нет".



## Роза

Пусть лилия гордится
Тем, что не ранит рук,
Но не она царица
Среди своих подруг.

Как хороша мимоза!
Как нежен яблонь цвет!..
Однако краше розы
Ты не отыщешь, нет.

Ее бутон — как пламя,
Ее шипы — как нож,
Она играет нами —
И нас кидает в дрожь.

## *Лето кончится*

Бесцветна, невзрачна, мертва... И *это*
Роза — природы венец?!
Кто знает,
Не ждёт ли и наше лето
Столь неприглядный конец?

## *Когда я умру*

Когда я умру, мой милый,
Не мучайся лишней виной,
Не плачь над моею могилой
И песен печальных не пой...
Взойди травой надо мною,
Сосною высокою будь.
Меня, если вспомнюсь я, вспомни.
А нет — и не надо, забудь.

Уж мне не дано насладиться
Ни каплями свежей росы,
Ни щебетом птичьим, как прежде,
В рассветные наши часы...
Но, может быть, там, в полудреме,
К незримому брегу гребя,
Тебя я, незримого, вспомню...
А нет — так забуду тебя.

## *Говорю всем*

Труд мой окончен... Пойму и приму.
В небо не брошу прощального взгляда.
Будет ли ветер, мне знать ни к чему:
Мое поле сжато.

Утро и день пролетели в дыму,
Пришло бесконечное время заката.
Спрошу: на меже я мешала кому?
Кого обошла? Перед кем виновата?

Серпа больше в руки я не возьму.
Мое поле сжато.

## *Стареет Земля*

Стареет Земля, хоть и всходит трава,
Зеленым ковром укрывая поля.
Огонь в глубине ее тлеет едва...
Стареет Земля.

Мы малая горстка в безбрежной пыли,
Мы тонкая ниточка в сложном плетении.
Под нами в бесчисленных складках Земли
Лежат поколения и поколения.

Когда же огонь скажет слово свое
И вспыхнет опять, обновленье суля?
Земля... Как пронзителен холод ее!
Стареет Земля.

## *Что глубоко?*

Что глубоко? Колодец и горе.
Что широко? Улыбка и море.
Что быстротечно? Юность и цвет.
Что бесконечно? Солнечный свет.

## *Долли*

Пляшет у колодца,
Рвет ромашки в поле —
Весело смеется
Маленькая Долли.

Чистит ли картошку,
Отвечает в школе —
Прыскает в ладошку
Хохотушка Долли.

Кабы стал ее отец
Пэром в той округе,
Перебрался во дворец
Из своей лачуги,

Выгодно продал овец,
Что пасутся в поле, —
Не была бы радостней
Радостная Долли!

## *Базар гоблинов*

Отрывок из поэмы

Лаура поневоле
Послушалась и встала...
Однако, выйдя в поле,
Чуть от сестры отстала.
В волнении ужасном
Обратно повернула...
Снедаема соблазном,
На гоблинов взглянула.

Один усат, как кот,
Другой крадется мышкой.
А третий — толст, как крот, —
Зажал кошель под мышкой...
И тот, что как змея,
И тот, с оскалом крысы,
И тот, с хвостом коня,
И тот, с прищуром рыси,
Тот, в перьях, как сова,
И тот, в ослиной шкуре,
С загривком, как у льва,
— Купи! — кричат Лауре.

Их голоса в тиши
Звучат сладчайшим хором:
— Лаура, поспеши,
Поддайся уговорам!

Серп лунный над водой,
Чуть посветив, истаял...

Как лебедь молодой,
Отбившийся от стаи,
Как юная ветла,
Склонившаяся к речке,

Как лодка без весла,
Как лошадь без уздечки,
Как воин молодой,
Что оробел немало, –
Послушною рабой
Лаура им внимала...

Торговцы поднялись,
Довольные собой...
Лауру принялись
Хвалить наперебой!
Сомкнувшись в тесный круг
И подмигнув друг дружке,
Ей предложили вдруг
Отведать сок из кружки.
Один разгрыз орех,
Легко, подобно белке.
Другой под общий смех
Изюм стащил с тарелки,
Пень лепестками роз
Убрал, подобно трону,
Из виноградных лоз
Решил сплести корону.
Тот, в перьях, как сова,
Возьми да завопи
Ей на ухо слова:
– Купи у нас, купи!

Валяла дурака
Лукавая ватага...
Лаура же пока
Не сделала ни шага.
– Нет денег у меня! –
Сказала виновато. –
Ни меди в кошельке,
Ни серебра, ни злата...
Могу я принести
Взамен монет в подоле
Колосья спелой ржи,
Что золотится в поле!

– А золото волос? –
Ей гоблины с упреком.
И наконец всерьез:
– Купи у нас за локон!

Кивнула им, дрожа.
И – распустила косы.
Приметив взмах ножа,
Едва сдержала слезы.

По-детски торопясь,
Припала к кружке с соком...
Напиться не могла
Им, купленным за локон, —
Прозрачным, как вода,
Хмельней вина любого...
В тот миг была отдать
И голову готова!

Сок лился, как река,
И все не шел на убыль...
Она пила, пока
Не заболели губы...
Орех с земли подняв,
Пошла, шатаясь, прочь...
И не могла понять,
День нынче или ночь.

# Чжан Жун

# *Дикие лебеди, или Три дочери Китая*

Фрагменты книги

*Перевод с английского и вступление* Романа Шапиро

**От переводчика**

Перед вами фрагменты одной из самых известных книг о Китае XX века. Автор с эпической неторопливостью рассказывает историю бабушки, матери и свою собственную: за двадцать шесть лет, проведенных ею в Китае, Чжан Жун успела побывать "барышней из знатной семьи", "красным охранником" — хунвэйбином, крестьянкой, "босоногим врачом", рабочей, студенткой, преподавателем английского языка и, наконец, выиграть стипендию на обучение в Англии — каждый раз не сомневаясь, что судьба ее определена на всю жизнь.

Родилась она в 1952 году в провинции Сычуань, самой большой, густонаселенной и до недавнего времени отделенной труднoодолимыми горными переходами, — загадочной первозданной земле и "житнице Поднебесной". Но писательница знакомит нас не только со своей родиной, она ведет нас через весь Китай — от суровых заснеженных маньчжурских степей до полудикой субтропической Юньнани.

Автору поразительным образом удалось сочетать взгляд человека изнутри с западным мировосприятием. Пожалуй, именно умение, "не ведая ни жалости, ни гнева", рассказать о трагическом и прекрасном в судьбе своего древнего народа

© Jung Chang, 2003
© Роман Шапиро. Перевод, вступление, 2005

и принесло Чжан Жун огромную популярность на Западе, восторженные отзывы критиков и несколько крупнейших литературных премий, а в 1993-м "Дикие лебеди" были объявлены британской "Книгой года".

Бесстрастная честность взгляда, видимо, действует всего сильнее — недаром книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории.

Главное обаяние "Диких лебедей", наверно, в том, что на их страницах перед читателем возникает настоящий, живой Китай. Многое изменилось в его истории за пять тысяч лет (столько насчитывают сами китайцы), но и сегодня здесь на каждом шагу можно наблюдать сцены, описанные не только Чжан Жун, но и за столетия до нее. Читая эту книгу, вспоминаешь и внешнюю невозмутимость "Исторических записок" Сыма Цяня, и не утратившую своей справедливости сентенцию из великого романа "Троецарствие": "Судьба Поднебесной такова: когда она долго разъединена, то объединяется, а когда объединена — разъединяется".

Посвящается бабушке и отцу, которые не дожили до выхода этой книги.

## 1

## *"Золотые лотосы длиной в три цуня" — генеральская наложница (1909–1933)*

В пятнадцать лет моя бабушка стала наложницей генерала — в ту пору министра полиции в шатком правительстве Китая. На дворе стоял 1924 год, в стране царил хаос. Почти на всей территории страны, включая Маньчжурию, где жила бабушка, установилась власть генералов. Сватовство состоялось благодаря хлопотам ее отца — чиновника полиции из провинциального городка Исянь, находившегося на юго-западе Манчжурии примерно в полутораста километрах на север от Великой китайской стены и в четырехстах километрах на северо-восток от Пекина.

Подобно большинству китайских городов, Исянь был построен как крепость. Его окружали возведенные в эпоху Тан (618–907 гг.) зубчатые стены толщиной в двенадцать футов, высотой в тридцать футов, с шестнадцатью караульными башнями, поставленными на равном расстоянии друг от друга и такими широкими, что на верхних площадках можно было без труда скакать верхом. В город вело четверо ворот — по четырем сторонам света, — защищенных снаружи еще одними внешними воротами, а укрепления опоясывал глубокий ров.

Главной городской достопримечательностью считалась высокая, богато украшенная башня из темно-коричневого камня, построенная в VI веке, когда в эти края пришел буддизм. По ночам с башни раздавался звук колокола — так отмечали время, а порой и предупреждали о пожарах и наводнениях. Исянь был процветающим торговым городом. На близлежащих равнинах выращивали хлопок, кукурузу, гаолян, сою, кун-

жут, груши, яблоки и виноград. На пастбищах и холмах к западу от города крестьяне разводили овец и крупный рогатый скот.

Мой прадед, Ян Жушань, родился в 1894 году, когда император еще правил Китаем и жил в Пекине. У власти стояли маньчжуры, потомки тех, что завоевали Китай в 1644 году. Мы же были по рождению ханьцами, то есть китайцами, наши предки некогда переселились на север от Китайской стены в поисках лучшей жизни.

Ян Жушань был единственным сыном в семье, родители окружали его особой заботой, так как лишь сын мог сохранить фамилию, передав ее детям, иначе род прерывался, и согласно китайским верованиям совершалось величайшее преступление по отношению к предкам. Моего прадеда отдали в хорошую школу. Впоследствии ему предстояло сдать экзамены на чиновничью должность — в те времена главный предмет мечтаний большинства китайских мужчин. Должность давала власть, а власть — деньги, без власти и денег невозможно было оградить себя от чиновничьих поборов и произвола. В стране царило беззаконие: суд был пристрастен, жестокость возведена в обычай и ничем не ограничена. Чиновник, обладавший властью, воплощал собой закон. Только став мандарином, человек незнатного происхождения мог вырваться из этого круга несправедливости и страха. Отец Яна решил, что не допустит, чтобы сын стал валяльщиком войлока, как он сам, и посвятил жизнь и свою, и всей семьи воспитанию наследника. Женщины брали надомную работу у местных портных и засиживались над шитьем до глубокой ночи. Из экономии они до предела прикручивали огонек в масляных лампах и нещадно портили себе зрение; костяшки пальцев опухали от изнурительной работы.

По существовавшему обычаю прадеда моего женили рано — в четырнадцать лет — на женщине старше его шестью годами. Считалось, что в обязанности супруги входит также и воспитание мужа.

Судьба его жены, моей прабабки, была типична — в то время так жили миллионы китаянок. Происходила она из рода кожевников по фамилии У. Так как семья ее не отличалась ни образованностью, ни высоким социальным положением, а ее угораздило родиться девочкой, ей даже не дали имени. Как вторую дочь в семье, ее просто называли "девочкой номер два" (эр-ятоу). Отца она потеряла в младенчестве и росла у дяди. Однажды — ей тогда было шесть лет — дядя обедал с приятелем, чья жена была в положении. За обедом мужчины договорились, что, если родится мальчик, его женят на племяннице, которой было шесть лет в момент сговора. До свадьбы молодые ни разу не виделись. Любовь считалась делом чуть ли не постыдным, позором для семьи. И не потому, что находилась под запретом — в конце концов, в Китае существовала освященная веками традиция романтической любви, — а потому, что у девушек и юношей, по идее, не могло быть случая полюбить друг друга: встречи до брака считались безнравственными, а кроме того, на супружество смотрели прежде всего как на долг, как на союз двух семей. Полюбить, если повезет, можно было только после свадьбы.

В четырнадцать лет мой выросший в четырех стенах прадедушка был еще ребенком. В первую брачную ночь он не захотел взойти на супружеское ложе. Лег в спальне у матери, и пришлось перенести его к невесте уже спящим. Но хотя он был избалованным мальчишкой, который даже одеваться не умел сам, по словам жены, он знал, как "сеют детей". Моя бабушка родилась через год после свадьбы — в пятый день пятой лу-

ны, в начале лета 1909 года. Ей повезло больше, чем матери, потому что ей дали имя — Юйфан. Юй, то есть "яшма", — родовое имя всех потомков семьи в бабушкином поколении, а фан означает "аромат".

Мир, в который она пришла, был совершенно непредсказуем. Маньчжурская династия, правившая Китаем больше 260 лет, быстро теряла свое влияние. В 1894—1895 годах XIX века Япония нанесла Китаю сокрушительное поражение и захватила часть Маньчжурии. В 1900 году восемь иностранных держав, подавив националистическое боксерское восстание[1], частично оставили свои войска в Маньчжурии, частично — у Китайской стены. В 1904—1905 годах на маньчжурских просторах шла жестокая война между Японией и Россией. Победа превратила Японию в главную боевую силу региона. В 1911 году пятилетний император Пу И был свергнут, и Китай стал республикой, которую на короткое время возглавил харизматический лидер Сунь Ятсен.

Новое республиканское правительство вскоре пало, и страна раздробилась на уделы. В Маньчжурии, на родине последней династии, усилились антиреспубликанские настроения. Иностранные державы, особенно Япония, стали открыто посягать на маньчжурские земли. В результате все общественные институты пришли в упадок, наступило безвластие, люди утратили моральные ориентиры. Многие пытались подняться наверх по служебной лестнице с помощью подкупа — носили местным сановникам дорогие подарки: золото, серебро, драгоценности. Мой прадедушка был не так богат, чтобы купить себе теплое местечко в каком-нибудь большом городе, и к тридцати годам добился лишь чиновничьей должности в полицейском участке родного захолустного Исяня. Но у него были большие планы на будущее. И настоящее сокровище — дочь.

Моя бабушка была красавица с овальным лицом, румяными щеками и светящейся кожей. Длинные блестящие волосы она заплетала в косу, доставшую до пояса. Бабушка умела держаться скромницей (когда того требовали обстоятельства, то есть почти всегда), но под внешним спокойствием скрывался порывистый нрав. Она была небольшая — пять футов три дюйма роста, стройная, с покатыми плечами, что считалось верхом изящества.

Главным же ее достоинством были крошечные ножки, называемые по-китайски "золотыми лотосами длиной в три цуня" (сань-цунь-цзиньлянь). Это значило, что при ходьбе она напоминает "нежные ивовые побеги, овеваемые весенним ветерком", как говорили китайские ценители женской красоты. Вид женщины, покачивающейся на крохотных ножках, должен был пробуждать в мужчине желание, отчасти потому, что ее хрупкость вызывала у него стремление защитить ее. Ноги бабушке забинтовали в двухлетнем возрасте. Ее мать, ходившая на таких же ножках, сначала спеленала ей ступни шестиметровым куском белой ткани, подогнув все пальцы, кроме большого, под подошву, потом придавила ногу в подъеме камнем, чтобы сломать кости. Бабушка кричала от страшной боли, умоляла мать перестать, и той пришлось заткнуть ей

1. Ихэтуаньское восстание — восстание в Северном Китае в 1899—1901 гг. Начато тайным обществом Ихэцюань ("Кулак во имя справедливости и согласия"). Войска Германии, Японии, Великобритании, России, Италии, США, Франции и Австро-Венгрии подавили восстание (названное иностранцами "боксерским"). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

рот матерчатым кляпом. Не выдерживая мук, бабушка несколько раз падала в обморок.

Этот процесс продолжался несколько лет. Даже сломанные ступни следовало держать забинтованными день и ночь, потому что без повязки они сразу начали бы расти. Годами бабушка жила в состоянии непрестанной, изнуряющей боли. Когда она умоляла мать разбинтовать ноги, та плакала и говорила, что небинтованные ноги сделают ее несчастной и что это делается для ее же блага.



В те времена, когда женщина выходила замуж, семья жениха прежде всего проверяла, какие у нее ноги. Большие, то есть нормальные, ноги пятнали репутацию всего дома. Свекровь приподнимала край длинной юбки невесты и, если ступни были длиннее четырех цуней, с презрением срывала юбку и отходила в сторону, оставив невесту под критическими взглядами гостей, глазевших на ее ноги и отпускавших оскорбительные замечания. Порой мать, сжалившись над дочерью, разбинтовывала ей ступни; но когда девочка вырастала и сталкивалась с презрением в семье мужа и осуждением общества, то винила за слабость мать.

По преданию, обычай бинтовать ноги был введен тысячу лет тому назад одной из императорских наложниц. Дело было не только в том, что женщина, хромающая на крошечных ножках, казалась мужчинам привлекательной, — им также необычайно нравилось играть с забинтованными ножками, неизменно обутыми в шелковые вышитые туфельки. Ведь даже повзрослев, женщины не могли снять повязки, потому что тогда ступни выросли бы. Дозволялось только, ослабив бинты на ночь, надеть туфли на мягкой подошве. Мужчинам редко доводилось видеть ножки босыми — они обычно бывали покрыты струпьями и без бинтов источали дурной запах. Я с детства помню, как бабушку непрерывно мучили боли. Когда мы возвращались домой с покупками, она сразу же опускала ноги в таз с горячей водой, вздыхая с облегчением. Затем принималась обрезать кусочки омертвелой кожи. Болели не только сломанные кости, но и подушечки пальцев с вросшими в них ногтями.

По иронии судьбы, моей бабушке забинтовали ноги как раз тогда, когда этот обычай стал уходить в прошлое. Ее сестра, родившаяся в 1917 году, уже не знала подобных мучений — с бинтованием ног было покончено.

Тем не менее, когда бабушка была девочкой, в таком маленьком городке, как Исянь, по-прежнему считалось, что без маленьких ножек хорошей партии не сделать. Но это было только начало — отец хотел воспитать из дочери благородную даму или высококлассную куртизанку. Вопреки общепринятому в ту пору мнению, что добродетельная женщина из низов должна быть неграмотной, он отдал ее в городскую школу для девочек, учрежденную в 1905 году. Бабушка также обучалась игре в китайские шахматы, мацзян[1] и шашки, брала уроки рисования и вышивки. Более всего ей нравилось изображать уток-мандаринок (символ любви, потому что они всегда плавают парами) — она расшивала ими крошечные туфельки, которые сама себе мастерила. Чтобы умножить ее блестящие достоинства, к ней пригласили учителя музыки, наставлявшего ее в игре на цине — инструменте наподобие цитры.

1. Китайская азартная игра, широко известная в мире под названием (диалектным) маджонг.

*Бабушка считалась первой красавицей в городе. Местные жители* говорили, что она как "журавль среди кур". В 1924 году ей было пятнадцать лет, и отец ее волновался, как бы единственное его сокровище не перезрело, обманув его надежды на безбедную жизнь. Как раз тогда в городок приехал генерал Сюэ Чжихэн, главный инспектор столичной полиции в пекинском военном правительстве.

Сюэ Чжихэн родился в 1876 году в уезде Лулун, что в полутораста километрах к востоку от Пекина, – чуть южнее Великой стены, там, где обширная северо-китайская равнина встречается с горами. Он был старшим из четырех сыновей сельского учителя.

Сюэ Чжихэн обладал прекрасной, внушительной внешностью, производившей впечатление на всех, кто с ним встречался. Несколько слепых прорицателей предсказали, ощупав его лицо, что он взлетит высоко. Он был одаренным каллиграфом, а это чрезвычайно ценилось. В 1908 году Лулун посетил военный диктатор Ван Хуайцин. Он обратил внимание на изящную надпись на табличке у входа в главный храм и пожелал встретиться с ее автором. Тридцатидвухлетний Сюэ понравился Вану, и генерал взял его к себе в адъютанты.

Тот проявил незаурядные способности и вскоре был назначен интендантом. Непрерывно разъезжая по делам службы, он попутно открывал собственные продовольственные магазины вокруг Лулуна и по другую сторону Великой стены – в Маньчжурии. Его звезда загорелась еще ярче, после того как он помог генералу Вану подавить восстание во Внутренней Монголии. Стремительно нажив состояние, он построил по собственному плану особняк в Лулуне – там была восемьдесят одна комната.

За десятилетие, прошедшее после краха империи, ни одно правительство не сумело распространить свое влияние на всю территорию страны. Военные диктаторы вступили в борьбу за контроль над центральным пекинским правительством. В начале 20-х годов главную роль в этом номинальном правительстве играла группировка генерала У Пэйфу, в которую входил Сюэ. В 1922 году Сюэ стал главным инспектором центральной полиции и одним из начальников находившегося в Пекине департамента общественных работ. Ему подчинялись двадцать областей по обе стороны Китайской стены и более десяти тысяч полицейских, конных и пеших. Должность в полиции обеспечивала ему власть, а в департаменте общественных работ – высокое покровительство.

Однако о вассальной верности в те времена говорить не приходилось. В мае 1923 года группировка генерала Сюэ решила избавиться от президента Ли Юаньхуна, которого сама же привела к власти годом ранее. Объединившись с генералом-христианином по имени Фэн Юйсян, прославившимся тем, что он окрестил все свои войска разом, полив их водой из пожарной кишки, Сюэ мобилизовал десятитысячную армию и окружил главные правительственные здания, требуя, чтобы обанкротившиеся власти выплатили жалование, которое задолжали его солдатам. Главная же цель состояла в том, чтобы унизить президента Ли и заставить его подать в отставку. Президент ответил отказом, и тогда Сюэ приказал своим людям перекрыть воду и электричество в президентском дворце. Через несколько дней дальнейшее пребывание там стало невозможно, и в ночь на 13 июня президент Ли бежал из своей зловон-

ной резиденции в портовый город Тяньцзинь, расположенный в 70 милях к юго-востоку.

В Китае полномочия должностного лица всегда были неотделимы от права пользования печатями. Любой документ, даже подписанный президентом, считался недействительным, если не был скреплен соответствующей печатью. Понимая, что никто не может стать президентом без печатей, президент Ли спрятал их у одной из своих наложниц, которая в ту пору находилась в пекинской больнице, основанной французскими миссионерами.



Когда президент Ли уже приближался к Тяньцзиню, его поезд остановили вооруженные полицейские и приказали ему отдать печати. Поначалу он не признавался, где они спрятаны, но несколько часов спустя подчинился и сказал. В три часа ночи генерал Сюэ отправился в больницу за печатями. Когда он появился у кровати наложницы, та сперва не удостоила его даже взглядом: "Как я могу отдать президентские печати простому полицейскому?" — надменно спросила она. Но генерал Сюэ в ослепительном парадном мундире выглядел так внушительно, что вскоре она послушно отдала ему требуемое.

В течение последующих четырех месяцев Сюэ и его полицейские сделали все возможное, чтобы в результате так называемых первых китайских выборов, которые были узаконенным надувательством, победил Цао Кунь, креатура его партии. Следовало подкупить восемьсот четырех депутатов парламента. Сюэ и генерал Фэн выставили в здании парламента свою охрану и обещали щедрое вознаграждение всем, кто проголосует "правильно", вследствие чего многие депутаты поспешили вернуться из своих провинций. К моменту, когда для выборов все было готово, в Пекин уже прибыло 555 членов парламента. За четыре дня до голосования, после долгого торга они получили по пять тысяч серебряных юаней, что составляло весьма существенную сумму. 5 октября 1923 года Цао Кунь четырьмястами восемьюдесятью голосами был избран президентом Китая. В награду Сюэ был произведен в полные генералы. Наград удостоились и семнадцать "особых советников" — любовницы и наложницы различных диктаторов и генералов. Этот эпизод печально известен в китайской истории как пример инсценированных выборов. О нем до сих пор вспоминают те, кто считает, что Китаю противопоказана демократия.

На следующий год в начале лета генерал Сюэ посетил Исянь. Город, хотя и небольшой, занимал стратегически важное положение. Именно здесь кончалась власть пекинского правительства и начиналась область влияния могущественного северо-восточного диктатора Чжан Цзолиня, известного под именем Старый Маршал. Официально генерал Сюэ совершал инспекционную поездку, но у него были в этих местах и личные интересы. В Исяне ему принадлежали главные зерновые склады и крупнейшие лавки, а также ссудная касса, которая одновременно выпускала и собственные деньги, имевшие хождение в городе и округе.

Для моего прадеда то был единственный в своем роде шанс — из тех, что выпадают раз в жизни: никогда еще он не оказывался так близко к столь важной персоне. Благодаря интригам обеспечив себе возможность сопровождать генерала Сюэ, он объявил жене, что попытается выдать за него дочь. Не то, чтобы он советовался с женой — просто ставил ее в известность. Таковы были тогдашние обычаи, но дело было не только в обычаях: прадед презирал жену. В ответ она заплакала, но смолчала.

Он приказал ей ни слова не говорить дочери. О том, чтобы спросить у той, согласна ли она, не могло быть и речи: брак был сделкой, не имевшей отношения к чувствам. Дочери узнавали обо всем уже после того, как семьи договаривались о свадьбе.

Прадед понимал, что действовать нужно исподволь. Прямое предложение руки дочери понизило бы цену товара, можно было нарваться на отказ. Генералу Сюэ следовало продемонстрировать, какое сокровище ему достанется. В те дни приличная женщина не имела случая встретиться с чужим мужчиной, поэтому Яну предстояло придумать, как продемонстрировать генералу дочь. Встреча должна была выглядеть случайной.

В Исяне имелся величественный девятисотлетний буддийский храм, построенный из драгоценных пород дерева и подымавшийся почти на сто футов в высоту. Он стоял в чудесной местности, в кипарисовой роще, занимавшей более двух квадратных километров. Внутри восседал девятиметровый ярко расписанный деревянный Будда, а стены украшали росписи, повествующие о его жизни. Ян, конечно, не мог не привести сюда высокого гостя. А храмы были одним из немногих мест, куда приличные женщины могли ходить сами.

В определенный день бабушке велели туда отправиться. Желая продемонстрировать свое благоговение перед Буддой, она сначала приняла ароматические ванны и несколько часов медитировала перед курильницей в маленькой кумирне: перед молитвой в храме ей следовало привести себя в состояние полного спокойствия и отрешения от всех тревог. В путь она отправилась в наемном конном экипаже в сопровождении служанки. На бабушке была юбка в складку с мелким цветочным узором, вышитым по розовому полю, и нежно-голубая — цвета утиного яйца — кофта с золотым кантом, подчеркивавшим простоту и изящество линий, с застежками-бабочками по правому борту. Свои длинные черные волосы она заплела в косу и приколола шелковый темно-зеленый пион редчайшего сорта. Она не накрасилась, но обильно надушилась, как надлежало паломнице. Зайдя в храм, она преклонила колени перед огромным Буддой. Отбив перед деревянным изваянием несколько земных поклонов, она осталась на коленях, сложив руки в молитвенном жесте.

В таком положении ее и застали отец с генералом Сюэ. Они смотрели на нее из темного прохода. План прадеда удался. Поза бабушки позволяла видеть не только ее шелковые шаровары, обшитые золотой нитью, как и кофта, но и крошечные ножки в вышитых атласных туфельках.

Помолившись, бабушка трижды поклонилась Будде до земли. Вставая, слегка пошатнулась, что выглядело естественно — трудно устоять на бинтованных ножках, — и оперлась на руку служанки. В это время генерал Сюэ и ее отец направились к ней. Бабушка зарделась, опустила голову, повернулась и ринулась прочь — в полном соответствии с этикетом. Ее отец сделал шаг вперед и представил ее генералу. Она поклонилась не поднимая головы.

Как и пристало человеку его положения, генерал не стал обсуждать эту встречу с Яном, довольно мелкой сошкой, но тот видел, что он очарован. Теперь предстояло развить успех. Пару дней спустя Ян, пойдя на огромные траты, снял лучший в городе театр, заказал оперу и пригласил почетного гостя, генерала Сюэ. Театр, по распространенному в Китае

обычаю, имел форму прямоугольника: с трех сторон под открытым небом располагались деревянные сиденья, четвертой стороной служила сцена, лишенная занавеса и каких-либо декораций. Зал скорее напоминал кафе, чем западный театр. Мужчины сидели за столами на открытой площадке, ели, пили и громко разговаривали во время представления. В стороне на возвышении находился своеобразный бельэтаж, где за столиками поменьше скромно сидели дамы, а позади стояли их служанки. Прадед так посадил свою дочь, чтобы ее хорошо было видно с места генерала Сюэ.



Она была наряжена гораздо более пышно, чем в храме. Ее стан облекало богато украшенное вышивкой атласное платье, а в прическе сверкали драгоценности. На этот раз она не скрывала природной живости и веселости, смеялась и болтала с подругами. Генерал Сюэ почти не смотрел на сцену.

После представления началась традиционная китайская игра — разгадывание загадок на фонарях. В одном зале играли мужчины, в другом — женщины. В каждой комнате висели десятки искусно сделанных бумажных фонарей с наклеенными на них стихотворными загадками, и тот, кто давал больше правильных ответов, выигрывал приз. Среди мужчин победителем оказался конечно генерал Сюэ. Среди женщин — бабушка.

Ян уже предоставил генералу возможность оценить красоту и ум своей дочери. Теперь следовало блеснуть талантами. Через два дня он пригласил генерала к себе на ужин. Вечер был ясный, теплый, светила полная луна — классическая обстановка для того, чтобы слушать цинь. Отужинав, мужчины уселись на веранде, а бабушке было велено играть в саду. Со шпалеры над головой свешивались цветы, кругом благоухал жасмин — генерал был в восторге. Позднее он признался ей, что ее игра в лунный вечер пленила его сердце. Когда родилась моя мать, он назвал ее Баоцинь, что значит "драгоценная цитра".

В тот же вечер он сделал предложение — не бабушке, разумеется, ее отцу. Он говорил не о женитьбе, а всего лишь о том, чтобы взять бабушку в наложницы, но Ян ничего другого и не ожидал. Он не сомневался, что семья Сюэ давным-давно подыскала генералу подходящую партию, да и в любом случае семья Ян была слишком скромной. Надеяться можно было разве только на то, что такому человеку, как генерал, полагалось иметь наложниц. Жены были не для удовольствия — этой цели служили наложницы. Наложница могла обрести немалую власть, но ее общественный статус в корне отличался от положения жены. Наложница была своего рода узаконенной любовницей, которую заводили и бросали по первому желанию.

О предстоящем событии бабушка впервые узнала от своей матери всего за несколько дней до него. Бабушка склонила голову и заплакала. Сама мысль о том, что она станет наложницей, была ей ненавистна, но отец уже принял решение, а о том, чтобы противоречить родителям, нечего было и думать. Подвергать сомнению родительское решение считалось "непочтительным", а непочтительность приравнивалась к измене. Да и если бы она отказалась подчиниться воле отца, никто бы не принял этого всерьез: люди бы сочли, что она просто показывает, как ей хочется остаться с родителями. Единственным способом сказать "нет" было самоубийство. Бабушка закусила губу и не издала ни звука. В

сущности, она и не могла ничего сказать, даже "да" выглядело бы грубостью, означающей, что ей не терпится покинуть родителей.

Видя, как она горюет, мать стала внушать ей, что эта партия в их положении — лучшее, что можно придумать. Ян объяснил ей, как могуществен генерал: "В Пекине говорят: 'Когда генерал Сюэ топает ногой, весь город трясется'". На самом деле на бабушку произвела впечатление его безупречная военная выправка. И ей льстили комплименты в ее адрес, сказанные генералом Яну, — расцвеченные и приукрашенные. Ни один мужчина в городе не мог сравниться с Сюэ. В пятнадцать лет она не имела ни малейшего представления о том, что значит быть наложницей, и думала, что сумеет завоевать его любовь и обрести счастье.

Генерал изрек, что она сможет остаться в Исяне, в доме, который он купит специально для нее. Это означало, что она будет жить поблизости от своей семьи и, что еще важнее, ей не придется переселяться в его особняк, а значит — зависеть от его жены и других наложниц: все они были бы выше по статусу. В доме такого вельможи, как генерал Сюэ, женщины были пленницами, жившими в постоянных ссорах, вызванных главным образом чувством неуверенности, — защитой им могла служить только благосклонность мужа. Поэтому отдельный дом, а также полная свадебная церемония, обещанные генералом, были очень важны для бабушки. Это означало, что она и вся ее семья обретут немалый престиж. Наконец, она надеялась, что теперь отец успокоится и будет лучше относиться к матери.

Госпожа Ян страдала эпилепсией и потому чувствовала себя недостойной мужа. Она всегда была ему покорна, а он относился к ней как к пустому месту и совсем не заботился о ее здоровье. Многие годы он попрекал ее тем, что она не родила ему сына. После рождения моей бабушки у прабабушки была целая серия выкидышей, и только в 1917 году родился второй ребенок — но тоже девочка.

Прадед мечтал накопить денег на наложницу. "Свадьба" приближала исполнение этого желания, потому что генерал осыпал семью, и прежде всего прадеда, подарками. Причем роскошными, достойными такого дарителя, как генерал.

В назначенный день у дома семьи Ян остановился паланкин, украшенный тяжелой алой парчой и атласом. Впереди шла процессия со знаменами, табличками и шелковыми фонарями, расписанными золотыми фениксами — самыми почитаемыми символами женщины. В соответствии с традицией, церемония состоялась вечером, и красные фонари светились в полутьме. Оркестр из барабанов, тарелок и оглушительных духовых играл бравурные мелодии. Хорошая свадьба не могла не сопровождаться грохотом, потому что тишина воспринималась как знак чего-то постыдного. Бабушку облачили в яркие вышитые одежды, а голову и лицо спрятали под красным шелковым покрывалом. В новый дом ее везли на паланкине восемь носильщиков. В паланкине было душно и очень жарко, и она осторожно приоткрыла занавес. Выглянув из-под своего покрывала, она с удовольствием увидела, как люди на улицах провожают процессию глазами. Простая наложница могла рассчитывать лишь на маленький паланкин, покрытый невзрачным хлопком цвета индиго, несли бы его двое, от силы четверо, и не было бы ни процессии, ни музыки. Бабушку обнесли вокруг всего города, мимо всех четырех ворот, как

того требовал торжественный ритуал, а на тележках следом за ней катили дорогие свадебные подарки, выставленные на всеобщее обозрение в больших плетеных корзинках. Показавшись всему городу, она направилась в свой новый дом — просторный роскошный особняк. Бабушка была довольна: она чувствовала, что помпа, с которой прошла церемония, принесла ей уважение и престиж. Исяньские старожилы отродясь не видели ничего подобного.



У дома ее ждал окруженный местными чиновниками Сюэ в полном генеральском облачении. Гостиная — центральное место в доме — сияла от блеска красных свечей и ослепительных газовых ламп. Здесь он и она поклонились табличкам Неба и Земли, потом — друг другу, а затем, в соответствии с обычаем, бабушка удалилась в брачные покои одна, а генерал Сюэ с мужчинами отправился на роскошный банкет.

Генерал Сюэ три дня не выходил из дома. Бабушка была счастлива. Она думала, что любит его, а он относился к ней с грубоватой нежностью. Но не говорил с ней ни о чем серьезном, следуя традиционному изречению "Волос долог, да ум короток". Китайский мужчина должен был оставаться сдержанным и величественным даже в кругу семьи. Поэтому бабушка вела себя очень тихо, массировала ему пальцы ног перед тем, как муж поднимался утром, и играла на цине вечером. Через неделю он внезапно заявил, что уезжает. Куда, не сказал, но она знала, что спрашивать не стоит. Ей надлежало ждать, пока он вернется. Ждать пришлось шесть лет.

В сентябре 1924 года началась схватка между двумя основными военными группировками Северного Китая. Генерал Сюэ стал заместителем главнокомандующего пекинским гарнизоном, но несколько недель спустя его прежний союзник генерал Фэн, диктатор-христианин, перешел на сторону противника. 3 ноября Цао Кунь, которого генералы Сюэ и Фэн годом ранее посадили в президентское кресло, был вынужден подать в отставку. В тот же день пекинский гарнизон распустили, а через два дня расформировали и пекинскую полицию. Генералу Сюэ пришлось спешно покинуть столицу. Он укрылся в собственном доме в Тяньцзине — на территории французской концессии, обладавшей статусом неприкосновенности. Именно сюда год назад бежал президент Ли, когда генерал Сюэ изгнал его из президентского дворца.

Жившая в Исяне бабушка оказалась в самой гуще вновь вспыхнувшей войны. Армии соперничавших диктаторов боролись за контроль над северо-востоком, причем особое значение имели города, стоявшие вдоль железных дорог, тем более такие транспортные узлы, как Исянь. Вскоре после отъезда генерала Сюэ бои докатились до самых стен, сражения шли прямо у городских ворот. Повсеместно распространилось мародерство. Одна итальянская оружейная фирма заявила севшим на мель генералам, что в счет долга готова принять "трофейные деревни". Изнасилования были в порядке вещей. Как и многим другим женщинам, бабушке пришлось вымазать лицо сажей, чтобы выглядеть грязной и уродливой. К счастью, на этот раз Исянь отделался легко. Сражения постепенно сместились к югу, и город вернулся к нормальной жизни.

Для бабушки жить "нормальной" жизнью значило как можно лучше убивать время в своем огромном доме. То была типичная постройка в северо-китайском стиле: жилые помещения располагались по трем сторонам четырехугольника. С четвертой, южной его стороны ее замыка-

ла двухметровая стена с круглыми "лунными" воротами, выходившими во внешний двор, который, в свою очередь, запирался двойными воротами с круглым латунным молотком.



Такие дома строились в расчете на суровый климат с ледяной зимой и знойным летом, почти без осени и весны. Летом температура поднималась выше 35 градусов по Цельсию, зимой же опускалась до минус 30, а из Сибири через равнины дул пронизывающий ветер. В Тяньцзине большую часть года пыль разъедала глаза и впивалась в кожу, и людям часто приходилось прятать лицо под маской, а то и укутывать всю голову. В закрытых двориках окна основных комнат выходили на юг, чтобы впустить как можно больше света, а северные стены встречали натиск пыли и ветра. В северной части дома помещались гостиная и бабушкина спальня. В боковых флигелях — службы, там жила челядь. Полы были выложены плиткой, деревянные окна затянуты бумагой, островерхая крыша покрыта гладкой черной черепицей.

По местным понятиям, дом был роскошным — он значительно превосходил жилище ее родителей, — но бабушка чувствовала себя несчастной и одинокой. У нее была прислуга: привратник, повар и две горничные, в чьи обязанности входила не только работа по дому, на и слежка за хозяйкой. Привратнику было приказано не выпускать бабушку одну ни под каким видом. Перед отъездом генерал Сюэ рассказал бабушке, в качестве предостережения, историю одной из своих наложниц. Узнав, что у той была интрижка со слугой, он велел привязать ее к кровати и заткнуть рот кляпом. Затем на кляп стали капать неразбавленный спирт, и женщина постепенно задохнулась. "Конечно, я не мог порадовать ее быстрой смертью. Для женщины нет низости большей, чем предать своего мужа", — сказал он. К женской неверности генерал относился гораздо строже, чем к мужской: "Любовника я просто застрелил", — добавил он непринужденно. Бабушка так и не узнала, произошло ли все это на самом деле, но в пятнадцать лет такой рассказ, как и ожидалось, напугал ее до смерти.

С того времени бабушка жила в постоянном страхе. Не имея, по сути, возможности выходить на улицу, она принуждена была создать свой мир в четырех стенах. Но даже здесь она не была полноправной хозяйкой, и ей приходилось постоянно угождать слугам, чтобы те не возвели на нее напраслину, а это настолько вошло тогда в обыкновение, что она почти не надеялась остановить их. Она осыпáла их подарками и устраивала игру в мацзян, потому что выигравший обязан был давать слугам щедрые чаевые.

Она не испытывала нехватки в деньгах. Генерал регулярно посылал ей содержание, которое каждый месяц доставлял управляющий его ссудной кассой. Он же оплачивал ее проигрыши в мацзян.

Игра в мацзян была обычным времяпрепровождением наложниц по всему Китаю. Как и в курении опиума, который был легко доступен, в нем видели средство держать таких, как она, в состоянии одурения и покорности. Многие наложницы, борясь с одиночеством, становились наркоманками. Генерал убеждал бабушку приобрести эту привычку, но она его не послушала.

Пожалуй, единственным предлогом, позволявшим ей покидать дом, служила опера. А так приходилось целый день сидеть дома. Она много читала, в основном пьесы и романы, и ухаживала за любимыми цвета-

ми: бальзамином, гибискусом, ялапой и китайской розой, которые, как и карликовые деревья, выращивала у себя во дворе в горшках. Другим утешением пленницы, сидевшей в золотой клетке, была кошка. Правда, бабушке дозволялось навещать родителей, но смотрели на это косо, и оставаться на ночь не разрешалось. Хотя родители были единственные люди, с кем можно было поговорить, посещала она их с тяжелым чувством. Отец благодаря родству с генералом Сюэ получил пост заместителя начальника полиции, приобрел землю и другую собственность. Каждый раз, когда она открывала рот, чтобы посетовать на свои несчастья, отец начинал ее отчитывать — твердил, что добродетельная женщина должна держать свои чувства в узде и не иметь иных желаний, кроме как выполнять долг перед мужем. Скучать по мужу было правильно и добродетельно, однако жаловаться не пристало. На самом-то деле добродетельной женщине вообще не пристало иметь свою точку зрения, и уж во всяком случае, считалось бесстыдством высказывать ее. Частенько он вспоминал китайскую поговорку: "Если ты замужем за петухом, слушайся петуха; если ты замужем за псом, слушайся пса".



Миновало шесть лет. Вначале пришло несколько писем, затем последовало полное молчание. У бабушки не было ни малейшей возможности разрядить свою нервную и сексуальную энергию, она не могла даже в гневе метаться по комнатам — что бы она ни чувствовала, она могла лишь осторожно семенить на маленьких ножках. Сперва, надеясь получить от генерала хоть какую-нибудь весточку, она раз за разом перебирала в памяти свою короткую жизнь с ним. Ностальгически вспоминала даже полное физическое и психологическое подчинение генералу. Она очень скучала по нему, хотя и помнила, что она не более чем одна из множества его наложниц, рассеянных, должно быть, по городам и весям всего Китая, и отнюдь не жаждала провести с ним остаток дней. И все же тосковала, ведь он был ее единственной надеждой на сносное существование.

Но недели превращались в месяцы, а месяцы — в годы, и тоска ее притупилась. Постепенно бабушка поняла, что она для него всего лишь игрушка, к которой он вернется, когда ему заблагорассудится. Ей даже не на ком было выместить досаду — нужно было жить, стиснув зубы. Но иногда подавленные чувства вырывались на свободу, и тогда бабушка не знала, как совладать с собой. Порой она теряла сознание и падала на пол. Такие обмороки повторялись потом до конца ее жизни.

Однажды — шесть лет спустя после того, как он "ненадолго" отлучился из дома — генерал вернулся. Встреча весьма отличалась от той, о которой она мечтала в начале их разлуки. Тогда она думала, что отдастся ему безоглядно, но теперь ощутила лишь сдержанную почтительность. Ее также мучило, что она, быть может, обидела кого-нибудь из слуг и они оговорят ее, чтобы снискать расположение хозяина и погубить ее. Но все прошло гладко. Генерал, которому было уже за пятьдесят, казалось, смягчился и выглядел далеко не так величественно. Как она и ожидала, он ни слова не сказал о том, где был, почему столь неожиданно ее покинул и зачем вернулся, да она и не спрашивала. И не только потому, что не хотела получить выговор за любопытство, — ей было все равно.

В действительности все это время генерал находился совсем неподалеку. Он вел спокойную жизнь богатого, удалившегося на покой чи-

новника, деля свой досуг между домом в Тяньцзине и загородным особняком в Лулуне. Мир, где он некогда блистал, уходил в прошлое. Генералы, как и система вассальной зависимости, уже ничего не значили: бóльшая часть Китая управлялась единой силой — Гоминьданом, то есть националистами, возглавляемыми Чан Кайши. В ознаменование разрыва с прошлым хаосом и начала новой, стабильной жизни Гоминьдан перенес столицу из Пекина ("Северной столицы") в Нанкин ("Южную столицу"). В 1928 году японцы, проявлявшие в регионе все большую активность, убили правителя Маньчжурии Чжан Цзолиня — Старого Маршала. Сын Старого Маршала, Чжан Сюэлян (известный как Молодой Маршал), примкнул к Гоминьдану и формально объединил Маньчжурию и остальной Китай, хотя Гоминьдан так и не смог реально взять власть в Маньчжурии в свои руки.

Генерал Сюэ пробыл в доме бабушки недолго. Точно так же, как и в первый раз, через несколько дней он внезапно объявил, что уезжает. В ночь накануне отъезда он попросил бабушку отправиться в Лулун вместе с ним. У нее замерло сердце. Если бы он заставил ее ехать, это означало бы пожизненное заключение в одном доме с его женой и наложницами. Бабушка была в смятении. Массируя ему ноги, она смиренно умоляла генерала позволить ей остаться в Исяне. Она поблагодарила его за необычайную доброту, с какой он разрешил ей в свое время не расставаться с родителями, и мягко напомнила, что мать ее нездорова: у той только что родился третий ребенок, желанный сын. Она сказала, что хотела бы исполнить свой дочерний долг, не переставая, конечно же, служить ему, мужу и повелителю, всякий раз, когда он удостоит Исянь посещением. На следующий день она уложила его вещи, и он отбыл в одиночестве. Уезжая, он, как и при появлении, осыпал ее драгоценностями: золотом, серебром, нефритом, жемчугом и изумрудами. Подобно многим мужчинам его сорта, он верил, что таков путь к женскому сердцу. Для женщин же вроде моей бабушки драгоценности были единственным надежным обеспечением в жизни.

Вскоре бабушка поняла, что беременна. В семнадцатый день третьей луны, весной 1931 года, она родила девочку — мою маму. Она написала об этом генералу Сюэ и получила ответ с указанием назвать девочку Баоцинь и привезти ее в Лулун, как только обе они будут в силах совершить долгое путешествие.

Бабушка была на седьмом небе от счастья, ведь теперь у нее был ребенок. Она обрела цель в жизни и отдавала всю свою любовь и энергию дочери. Год она прожила счастливо. Генерал Сюэ не раз просил ее приехать в Лулун, но ей неизменно удавалось найти какую-нибудь отговорку. Затем в середине лета 1932 года пришла телеграмма: генерал Сюэ тяжко болен и бабушка должна незамедлительно явиться вместе с дочерью. Тон телеграммы давал понять, что на этот раз отказаться невозможно.

До Лулуна было более двухсот миль, и для бабушки, которая никогда никуда не ездила, это означало дальнюю дорогу. Дополнительное затруднение представляли забинтованные ножки: бабушка не могла нести багаж, тем более с маленьким ребенком на руках. Она решила взять с собой младшую сестру — четырнадцатилетнюю Юйлань, которую звала просто Лань.

Поездка была опасной. Китай опять сотрясала война. В сентябре 1931 года Япония, непрерывно расширявшая свое влияние в регионе, предприняла крупномасштабное наступление на Маньчжурию, и 6 января 1932 года японские войска заняли Исянь. Два месяца спустя японцы объявили о создании нового государства, названного ими Маньчжоу-го (Страна маньчжур), которое занимало бóльшую часть Северо-Восточного Китая, то есть территорию размером с Францию и Германию, вместе взятые. Японцы утверждали, что Маньчжоу-го была независимой страной, но на самом деле ею управляли из Токио. Во главе государства поставили Пу И, последнего императора Китая, лишенного престола еще ребенком. Вначале он назывался Руководителем правительства; позднее, в 1934 году, его провозгласили императором. Все это мало что значило для бабушки, почти лишенной связей с внешним миром. Бóльшая часть населения фаталистически относилась к происходившему вокруг, поскольку что-либо изменить была не в силах. В глазах многих Пу И был законным правителем, маньчжурским императором и Сыном Неба. За двадцать лет, прошедшие после республиканской революции, в стране так и не сформировалось общество, способное выработать новую, не монархическую систему правления, и уж конечно у жителей Маньчжурии отсутствовало сколько-нибудь ясное представление о том, что они жители страны под названием Китай.

Жарким летним днем 1932 года бабушка, ее сестра и моя мама сели в Исяне в поезд и отправились на юг. Они покинули пределы Маньчжурии, проехав городок Шаньхайгуань, где Великая стена спускается с гор к морю. Когда паровоз с пыхтением мчался по прибрежной равнине, они могли видеть, как меняется пейзаж: в отличие от голой, коричнево-желтой почвы маньчжурских степей, земля здесь была темной, а растительность — густой, почти пышной по сравнению с северо-востоком. Миновав Великую стену, поезд повернул в сторону от моря и примерно час спустя прибыл в город Чанли, где они увидели перед собой здание с зеленой крышей, похожее на вокзал в каком-нибудь сибирском городе.

Бабушка наняла телегу и поехала на север по ухабистой, пыльной дороге по направлению к особняку генерала Сюэ, который находился милях в двадцати, у стены городка Яньхэин, бывшего крупного военного лагеря, где часто появлялись маньчжурские императоры в окружении свиты. По этой причине дорога носила величественное название Императорского пути. Ее обрамляли тополя, сверкавшие на солнце светло-зеленой листвой. За ними расстилались персиковые сады, прекрасно плодоносившие на песчаных почвах. Однако бабушка, утомленная пылью и тряской, не могла наслаждаться чудесными видами. Все ее мысли были сосредоточены на том, что их ждет в конце пути.

Особняк с первого взгляда поразил ее своей величественностью. Огромные главные ворота охраняла вооруженная стража, застывшая по стойке "смирно" рядом с гигантскими статуями лежащих львов. В ряд выстроились восемь каменных столбиков для привязи лошадей: четыре в форме слонов, четыре — обезьян. Эти животные были выбраны неслучайно: по-китайски одинаково звучат слова "слон" и "высокий пост" (сян), "обезьяна" и "аристократия" (хоу).

Когда телега через главные ворота въехала во внутренний двор, бабушка увидела перед собой лишь большую пустую стену. В стороне она заметила вторые ворота. То был классический китайский прием: маски-

ровочная стена, не дававшая посторонним заглядывать в чужой двор, а врагам — прицеливаться и стрелять через переднюю дверь. Как только они въехали во внутренние ворота, рядом с бабушкой откуда ни возьмись появилась служанка и бесцеремонно забрала ребенка. Другая служанка повела бабушку вверх по лестнице в гостиную жены генерала Сюэ. Войдя в комнату, бабушка встала на колени и коснулась головой земли со словами: "Здравствуйте, госпожа", как того требовал этикет. Бабушкину сестру в комнату не допустили, а велели стоять снаружи — как служанке. В этом не было ничего особенного: родственники наложницы членами семьи не считались. После того как бабушка отбила достаточное число поклонов, жена генерала позволила ей встать, дав понять с помощью надлежащих оборотов речи, что в домашней иерархии она занимает место младшей наложницы, что было ближе к статусу привилегированной служанки, чем жены.

Жена генерала велела ей сесть. Бабушке нужно было молниеносно принять решение. В традиционном китайском доме место, где человек сидит, соответствует его положению. Жена генерала Сюэ сидела в северной части комнаты, как ей и подобало. Рядом с ней стоял столик, а по другую его сторону — еще один стул, тоже обращенный к югу: то было место генерала. Вдоль стен выстроились в ряд стулья для людей разного статуса. Бабушка засеменила назад и села на один из стульев, располагавшихся у самой двери, чтобы показать свое смирение. Тогда жена попросила ее сесть поближе — но совсем чуть-чуть. Она должна была проявить некоторое великодушие.

Когда бабушка села, жена сказала ей, что теперь дочь будет воспитываться как ее (законной жены) собственный ребенок и будет называть мамой ее, а не родную мать. Бабушке же надлежало держаться с ребенком как младшей наложнице.

Позвали служанку, чтобы она увела бабушку. У бабушки разрывалось сердце, но она дала себе волю и разрыдалась только в своей комнате. У нее еще были красные глаза, когда ее отвели ко второй наложнице генерала Сюэ, его любимице, управлявшей хозяйством. Она была красивая, с тонким лицом и, к бабушкиному удивлению, отнеслась к ней вполне сочувственно. Однако бабушка не позволила себе, посетовав на тяжкую долю наложниц, поплакать при ней всласть. В этой новой, непривычной обстановке, интуитивно чувствовала она, лучшей политикой была осторожность.

В тот же день ее повели навещать "мужа", позволив взять с собой ребенка. Генерал лежал на кане — распространенной в Северном Китае прямоугольной кирпичной лежанке высотой в два с половиной фута, которая снизу нагревалась. Вокруг распростертого на ложе генерала стояли на коленях две не то наложницы, не то служанки, массировавшие ему ноги и живот. Глаза генерала Сюэ были закрыты, кожа — землистого оттенка. Бабушка наклонилась над кроватью и нежно позвала его. Он открыл глаза и с трудом улыбнулся. Бабушка положила девочку на кровать рядом с ним и сказала: "Это Баоцинь". Сделав, казалось, невероятное усилие, генерал Сюэ слабо потрепал ребенка по головке и проговорил: "Баоцинь похожа на тебя. Она очень хорошенькая". Потом закрыл глаза.

Бабушка окликнула его, но он не открыл глаз. Она видела, что он тяжело болен, возможно умирает. Она взяла малышку на руки и крепко прижала к себе, но лишь на мгновение: жена генерала, маячившая непо-

далеку, нетерпеливо потянула ее за рукав. За дверью она предупредила бабушку, что та не должна беспокоить хозяина слишком часто, а лучше, если и вовсе не будет делать этого. Ей надлежало оставаться в своей комнате, пока ее не позовут.



Бабушкино сердце трепетало от страха. Она была наложницей, и жизнь ее и дочери подвергалась большой, быть может, смертельной опасности. У нее не было никаких прав. Если генерал умрет, ее судьба всецело будет зависеть от воли жены, которая вправе решать, жить ей или умереть. Та могла сделать с ней все, что вздумается: продать богатому мужчине, а то и в бордель, что было весьма распространено. Тогда моя бабушка уже никогда не увидала бы свою дочь. Она понимала, что нужно забрать ребенка и бежать при первой же возможности.

Вернувшись в свою комнату, бабушка постаралась успокоиться — нужно было продумать план побега. Но стоило ей хоть на миг сосредоточиться, как в голову ударяла кровь. У нее подкашивались ноги, и передвигаться она могла, лишь опираясь на мебель. Не выдержав, она вновь разрыдалась — отчасти от злости на судьбу, потому что не находила выхода из создавшегося положения. Хуже всего было то, что генерал мог умереть в любую минуту и навсегда оставить ее в ловушке.

Постепенно она сумела взять себя в руки и вернуть мыслям ясность. Она стала осматривать особняк шаг за шагом. Он был разделен на множество двориков, располагавшихся на большой территории, огороженной высокими стенами. Даже сад разбивали, исходя скорее из соображений безопасности, чем эстетики. Там росло несколько кипарисов, берез и слив мэйхуа, но все — вдали от стен. Чтобы потенциальному убийце негде было спрятаться, не посадили даже крупных кустов. Двое ворот, которые вели из сада, запирались на висячий замок, а у внешних ворот круглосуточно стояли вооруженные стражники.

Бабушка не имела права покидать огороженную территорию. Ей дозволялось ежедневно навещать генерала, но в своеобразной "делегатской" группе — вместе с другими женщинами; в порядке очереди она приближалась к его кровати и чуть слышно говорила: "Здравствуйте, господин".

Постепенно она стала лучше понимать ситуацию в доме. Из женщин наибольшим влиянием, помимо жены генерала, пользовалась вторая наложница. Бабушка поняла: та велела челяди обращаться с ней хорошо, что очень облегчило ей жизнь. В таких домах отношение слуг определялось статусом тех, к кому они были приставлены: они заискивали перед теми, кто был в фаворе, и третировали впавших в опалу. К тому же у второй наложницы была дочь чуть постарше моей матери, что стало еще одним связующим звеном между двумя женщинами. Этим же объяснялась благосклонность к наложнице генерала Сюэ, у которого не было других детей, не считая моей матери.

Через месяц, когда они со второй наложницей уже стали подругами, бабушка пошла к жене генерала и сказала, что ей нужно домой: захватить кое-что из нарядов. Жена дала согласие, но когда бабушка спросила, нельзя ли ей взять с собой дочку, чтобы попрощаться с дедушкой и бабушкой, та отказала. Девочке, в чьих жилах текла кровь рода Сюэ, нельзя было покидать пределы дома.

Итак, бабушка отправилась одна по пыльной дороге, ведущей в Чанли. Кучер высадил ее у станции, и она, порасспросив околачивавшийся

там люд, нашла двух парней с лошадьми, изъявивших готовность ей помочь. Дождавшись ночи, они помчались коротким путем обратно в Лулун. Один из верховых посадил ее в седло, а сам бежал впереди, держа лошадь под уздцы.

Добравшись до особняка, бабушка пробралась к задним воротам и подала условный знак. Через несколько минут, которые показались ей часами, калитка в воротах распахнулась, и выбежала бабушкина сестра с моей мамой на руках. Калитку оставила открытой сговорившаяся с бабушкой вторая наложница, она же нанесла потом несколько ударов по воротам топором — чтобы сделать вид, будто их взламывали.

Бабушка не успела даже приласкать мою маму, к тому же она не хотела ее будить, чтобы девочка не раскричалась и не привлекла внимание охраны. Бабушка вместе с сестрой сели на лошадей, маму привязали к спине одного из верховых, и заговорщики исчезли в ночи. Верховым хорошо заплатили, и они бежали быстро. К рассвету беглецы добрались до Чанли, и прежде чем поднялась тревога, они уже ехали в поезде на север. Когда наконец на следующий вечер поезд прибыл в Исянь, бабушка упала на землю и долго лежала не в силах пошевелиться.

В двухстах милях от Лулуна она была в относительной безопасности. Дочку она не могла взять к себе в дом из-за слуг, поэтому попросила школьную подругу спрятать ее. Подруга жила у свекра, маньчжурского врача по фамилии Ся. Он пользовался славой доброго человека, не способного предать друга или отказать в помощи.

Было ясно, что семья Сюэ не станет преследовать простую наложницу. Для них важна была только моя мать, отпрыск рода Сюэ. Бабушка послала в Лулун телеграмму, в которой говорилось, что в поезде ребенок заболел и умер. Последовало мучительное молчание, во время которого бабушкино настроение менялось поминутно, она бросалась из одной крайности в другую: то проникалась чувством, что семья, должно быть, ей поверила, то принималась мучить себя мыслями, что все не так и враги уже послали головорезов за ней и за ее дочерью. В конце концов она успокоила себя тем, что семья Сюэ слишком занята надвигающейся смертью своего патриарха, чтобы тратить силы на наложницу, и что, возможно, остальным женщинам выгодно отсутствие маленькой наследницы.

Поверив наконец, что семья генерала оставила ее в покое, бабушка поселилась в своем исяньском доме вместе с дочкой. Даже на слуг она больше не обращала внимания, потому что знала — "муж" не приедет. Вестей из Лулуна не поступало более года. В один из осенних дней 1933 года бабушка получила телеграмму: генерал Сюэ скончался и ей предписывается немедленно явиться в Лулун на похороны.

Генерал умер в Тяньцзине в сентябре. Его тело доставили в Лулун в лакированном гробу, затянутом красной парчой, вместе с двумя другими гробами: один был покрыт лаком и украшен красным шелком, как и его собственный, а другой — простой, из обычного дерева. В первом гробу покоилось тело одной из генеральских наложниц, проглотившей опиум, чтобы сопроводить его в мир иной, — это почиталось вершиной супружеской верности. Позднее в особняке генерала Сюэ в ее честь установили табличку с каллиграфией знаменитого военного правителя У Пэйфу. Во втором гробу лежали останки другой наложницы, скончавшейся от тифа двумя годами ранее. По обычаю, ее тело извлекли из земли, чтобы похоронить рядом с генералом Сюэ. Наложницу положили в

обычный деревянный гроб потому, что смерть от ужасной болезни считалась знаком дурной судьбы. В каждый гроб поместили ртуть и древесный уголь, чтобы предохранить трупы от тления, а во рту у покойных были жемчужины.



Генерала Сюэ и наложниц похоронили в одной могиле. Жена и остальные наложницы со временем должны были найти последний приют там же. На похоронах полагалось, чтобы обряд призывания души покойного исполнял его сын, размахивая особым знаменем. Поскольку у генерала не было сына, жена усыновила для этой цели его десятилетнего племянника. На мальчика была возложена и другая задача: стоя у гроба, он должен был выкрикивать: "Берегись гвоздей!" Согласно традиции, в противном случае покойник пострадал бы от гвоздей в крышке гроба.

Место захоронения выбрал сам генерал Сюэ в соответствии с принципами геомантии[1]: могилу должен окружать красивый, спокойный пейзаж. Позади, на севере, возвышались далекие горы, а впереди, на южной стороне, между эвкалиптами бежал ручей. Тем самым генерал выразил желание иметь сзади твердую опору — горы, а перед собой — сияющее солнце, символ процветания.

Однако бабушка так и не посетила этого места: она сделала вид, что не получала никакого письма и на похороны не поехала. Вследствие чего к ней перестал являться управляющий ссудной кассой с содержанием. Через неделю после похорон бабушкины родители получили письмо от жены генерала Сюэ. Последними его словами было повеление вернуть бабушке свободу. Для того времени он поступил на редкость просвещенно, и бабушка не могла поверить своей удаче.

В двадцать четыре года она обрела свободу.

## 2

## *"Сладкая ключевая вода" – замужем за маньчжурским врачом (1933–1938)*

...В письме жены генерала Сюэ содержалась также просьба к бабушкиным родителям забрать дочь обратно. Хотя просьба была выражена в традиционно-уклончивой манере, бабушка понимала, что это приказ освободить дом.

Отец взял ее к себе с явной неохотой. Он давно перестал притворяться добрым семьянином. Породнившись с генералом Сюэ, он резко пошел наверх. Заняв должность заместителя начальника полиции и войдя в круг людей со связями, он приобрел довольно значительное состояние, купил землю и пристрастился к опиуму.

Едва получив новое назначение, он тут же завел наложницу-монголку, которую ему подарил его непосредственный начальник. То был обычный подарок коллеге, восходящему по служебной лестнице, и на-

1. Фэн-шуй (геомантия) — традиционное китайское учение о местах, благоприятных или неблагоприятных для постройки домов, захоронений и т. п.

чальник местной полиции был только рад сделать приятное протеже генерала Сюэ. Однако прадед вскоре стал подумывать о новой наложнице, ибо такому человеку, как он, подобало иметь их как можно больше — то было свидетельство высокого статуса. Долго искать не пришлось: у наложницы была сестра.

Обстановка в доме родителей сильно отличалась от той, что была десять лет назад. У одной из наложниц родилась дочь — ровесница моей матери. Бабушкина сестра Лань еще не вышла замуж, несмотря на "солидный" возраст (шестнадцать лет), что выводило Яна из себя.

Из одного змеиного гнезда бабушка угодила в другое. И сама она, и ее мать вызывали у отца раздражение. Жена раздражала его самим своим присутствием, а после того, как он завел привлекательных наложниц, он стал еще нетерпимее. Сажал рядом с собой за стол наложниц, а жену отсылал есть отдельно. Дочь же раздражала его потому, что, вернувшись, нарушила порядок в выстроенном им домашнем мирке.

Кроме того, он боялся, что она наведет на него "порчу" (кэ), потому что у нее умер муж. В те дни вдова внушала суеверный страх: ее считали ответственной за смерть мужа. Прадед опасался, что дочь сглазит его, спугнет удачу, и хотел, чтобы она поскорее убралась подальше.

Да и наложницы его подзуживали. До того они заправляли всем в доме по-своему. Прабабушка была человеком мягким, даже слабым. Хотя формально у нее был более высокий статус, чем у наложниц, на деле она всецело зависела от их капризов. В 1930 году у нее родился сын Юйлинь. Это лишило наложниц уверенности в завтрашнем дне, поскольку после смерти главы семьи все имущество автоматически переходило к его сыну. Они злились, если Ян выказывал хоть проблеск интереса к собственному ребенку. С тех пор как родился Юйлинь, они усилили психологические атаки на мою прабабушку, стараясь выжить ее из дома. Говорили с ней подчеркнуто холодно, с каменным выражением лица, да и поводом для общения служили лишь придирки и жалобы. Муж, который не стал презирать ее меньше после рождения сына, не оказывал ей никакой поддержки. Лишь выискивал все новые поводы для недовольства.

Характером бабушка была сильнее своей матери, а пережитые за десять лет несчастья лишь закалили его. Ее побаивался даже собственный отец. Она сказала себе, что больше никогда не покорится ему и будет бороться за себя и за мать. В ее присутствии наложницам приходилось вести себя осторожнее и даже порой услужливо улыбаться.

В такой атмосфере жила моя мать от двух до четырех лет — в годы, когда формируется человеческая личность. Хотя она была защищена материнской любовью, она не могла не ощущать напряжения, царившего в доме.

Бабушка была теперь красивой молодой женщиной чуть старше двадцати. Она обладала многими достоинствами, и несколько человек сватались к ней. Но так как она побывала в наложницах, жениться по-настоящему готовы были только бедняки, которые никак не устраивали господина Яна.

Бабушка вдоволь насмотрелась на мир наложниц, полный злобы и мелочной мстительности, где нужно было выбирать между двумя возможностями: либо самой стать жертвой, либо других превратить в жер-

твы, третьего не было дано. Единственное, чего она желала, — спокойно растить дочь.

Отец надоедал ей требованиями выйти замуж, иногда намекая, иногда прямо заявляя, что она должна слезть с его шеи. Но идти ей было некуда. Негде было жить, негде работать. Через какое-то время от постоянного перенапряжения у бабушки случился нервный срыв. Позвали врача. Пришел доктор Ся, в чьем доме три года назад после побега из особняка генерала Сюэ прятали мою мать. Хотя бабушка дружила с его невесткой, доктор Ся бабушку никогда не видел — в соответствии с господствовавшим тогда строгим разделением полов у них не было повода для знакомства. Войдя в ее комнату, он был так потрясен бабушкиной красотой, что в смущении вышел обратно и пробормотал служанке, что плохо себя чувствует. Постепенно к нему вернулось самообладание, он сел и обстоятельно поговорил с ней. Это был первый человек, которому бабушка смогла излить свои мысли и чувства, и она поведала ему все свои горести и надежды — правда, сдержанно, как и подобает женщине, говорящей с посторонним мужчиной. Доктор отнесся к ней сердечно и тепло: бабушка впервые ощутила, что ее понимают. Вскоре они полюбили друг друга, и доктор Ся сделал ей предложение. Вдобавок он сказал бабушке, что хотел бы жениться на ней по-настоящему, а мою мать вырастить как собственную дочь. Бабушка дала согласие, плача от радости. Ее отец тоже был доволен, хотя не преминул сообщить доктору Ся, что не может дать за ней приданого. Доктор Ся ответил, что это не имеет значения.

У доктора Ся — традиционного китайского медика — была в Исяне обширная практика и прекрасная профессиональная репутация. По национальности он был не ханьцем, как семья Ян и большинство жителей Китая, а маньчжуром, выходцем из народа, исконно населявшего эти места. Его предки служили лекарями при дворах маньчжурских императоров и не раз удостаивались почестей за свои услуги.

Доктор Ся пользовался славой не только замечательного врача, но и очень доброго человека, часто лечившего бедняков бесплатно. Это был крупный человек, ростом больше шести футов, но, несмотря на внушительные размеры, изящный в движениях. Он всегда носил традиционные длинные одежды и жилет. У него были добрые карие глаза, бородка и длинные свисающие усы. И лицо, и вся его фигура излучали спокойствие.

Доктор сделал бабушке предложение, будучи человеком преклонного возраста. Ему исполнилось шестьдесят пять лет, он был вдовцом с тремя взрослыми женатыми сыновьями и замужней дочерью. Сыновья жили вместе с ним. Старший управлял домом и семейной фермой, средний — врач — работал с отцом, а третий, муж бабушкиной одноклассницы, учительствовал. У сыновей было восемь человек детей, один из которых уже женился и сам имел сына.

Доктор Ся позвал сыновей к себе в кабинет и сообщил о своих планах. Они слушали с недоверием, обмениваясь украдкой недобрыми взглядами. Повисло тяжелое молчание. Затем старший сказал: "Полагаю, отец, ты хочешь взять ее в наложницы". Доктор возразил, что собирается жениться. Это имело огромное значение, потому что бабушка стала бы мачехой его сыновьям, представительницей старшего поколения, окруженной не меньшим почетом, чем ее супруг. В китайской семье младшее

поколение обязано было смотреть на старших снизу вверх и подчеркивать разницу в положении соответствующим поведением; доктор же придерживался еще более строгого этикета — маньчжурского. Младшим надлежало выражать старшим почтение утром и вечером: мужчинам — становиться на колени, женщинам — делать реверансы. По праздникам мужчины отбивали поклоны. То, что бабушка побывала в наложницах, и то, что между супругами существовала огромная разница в возрасте, означало, что им, сыновьям, придется повиноваться женщине не только более молодой, но и уступавшей им по статусу, а с этим они смириться не могли.

Все члены семьи собрались вместе и, обсуждая случившееся, страшно разволновались. Даже невестка, бабушкина школьная подруга, очень расстроилась, потому что женитьба свекра кардинально меняла ее отношения с одноклассницей. Она больше не могла не только есть с ней за одним столом, но и просто сидеть рядом; ей пришлось бы выполнять малейшие бабушкины желания и даже кланяться до земли.

Все родственники — сыновья, невестки, внуки, даже правнук — по очереди ходили к доктору Ся, умоляя его "пощадить чувства близких". Они падали перед ним на колени, били поклоны, плакали и рыдали. Они умоляли доктора Ся вспомнить, что он маньчжур и, согласно древнему маньчжурскому обычаю, человек его положения не может жениться на китаянке. Доктор Ся заметил, что это правило давно отменено. Дети отвечали, что, если он настоящий маньчжур, он все равно должен ему следовать. Они не переставали напоминать ему о разнице в возрасте: он чуть не втрое старше жены. Один из членов семьи привел древнее изречение: "Молодая жена старого мужа принадлежит другому мужчине".

Но хуже всего был эмоциональный шантаж: особенно тяжело доктор Ся переживал упреки в том, что, если он возьмет в жены бывшую наложницу, это отразится на положении его детей. Он понимал, что дети и впрямь "потеряют лицо", и чувствовал себя виноватым, но ставил на первое место счастье бабушки. Будь она его наложницей, она бы не только "потеряла лицо", но и превратилась в рабыню всей семьи. Чтобы его любовь служила ей защитой, она должна была стать его законной женой.

Доктор Ся просил семью уважить его стариковскую волю. Но и семья и общество считали, что безответственным желаниям потакать нельзя. Одни намекали, что он впал в старческое слабоумие, другие говорили: "У вас уже есть сыновья, внуки и даже правнук — большая, благополучная семья. Чего вам не хватает? Зачем обязательно *жениться*?"

Доводов становилось все больше. На сцене появлялись все новые и новые родственники и друзья, которых призывали на помощь сыновья. Они единодушно заявляли, что женитьба — затея безумная. Затем набрасывались на бабушку: "Вновь собираться замуж, когда еще не остыл труп покойного мужа!", "Эта женщина все рассчитала: не хочет быть наложницей — ей нужно быть полноправной женой! Если она в самом деле любит вас, почему ее не устраивает положение наложницы?" Бабушку обвиняли в коварстве: она хочет с помощью интриг заставить доктора жениться, а потом захватит власть в доме и будет унижать его детей и внуков. Распускали слухи, будто бабушка покушается на деньги доктора Ся. За всеми этими разговорами о пристойности, нравственности и подлинном благе для доктора Ся скрывалось одно — тревога о том, кому до-

станется его имущество. Родственники боялись, что бабушка завладеет его богатством, потому что, будучи женой, станет хозяйкой дома.

Доктор Ся был состоятельным человеком. Ему принадлежали две тысячи акров земли в уезде Исянь, а также несколько участков к югу от Великой стены. Он построил в городе просторный дом из серого кирпича с изящной белой каемкой, беленые потолки и обои на стенах, закрывавшие балки и стыки, служили немаловажным показателем благосостояния. Кроме того, он владел аптечной лавкой, имел обширную медицинскую практику.

Увидев, что уговоры безрезультатны, семья решила оказать давление на бабушку. Однажды ей нанесла визит невестка, школьная подруга. После чая и легкой болтовни подруга заговорила наконец о том, ради чего пришла. Бабушка залилась слезами и, как было между ними принято, взяла ту за руку. Что бы подруга сделала на ее месте, спросила она. Не получив ответа, она поспешно продолжала: "Ты знаешь, что такое наложница. Ты ведь не хотела бы для себя такой судьбы? Знаешь, есть изречение Конфуция: 'Цзян синь би синь' (Представь, что мое сердце — твое!)" Иногда лучше воззвать к высоким чувствам собеседника и напомнить заповедь Учителя, чем ответить прямым отказом.

Подруга вернулась домой с чувством вины и сообщила о своей неудаче. Она намекнула, что ей не хватило духа сильнее надавить на бабушку, которая обрела единомышленника в лице Дэгуя, среднего сына доктора Ся. Дэгуй работал врачом вместе с отцом и был к нему ближе, чем братья. Он сказал, что они не должны мешать этому браку. Младший сын тоже пошел было на попятный, когда жена описала ему бабушкино отчаяние. Более всех негодовали старший сын с женой. Увидев, что остальные дрогнули, жена сказала мужу: "Конечно, им все равно. У них есть ремесло. Эта женщина у них его не отнимет. Но что есть у тебя? Ты всего лишь управляешь состоянием старика — и все оно отойдет к ней и ее дочери. Что станется со мной бедной, что станется с нашими бедными детьми? Нам негде будет голову преклонить. Может быть, нам всем умереть? Может быть, твой отец этого и хочет? Может быть, мне нужно покончить с собой, чтобы они оба успокоились?!" Все это сопровождалось горестными воплями и потоками слез. Муж взволнованно ответил: "Дай мне сроку до завтра".

Проснувшись на следующее утро, доктор Ся обнаружил у дверей спальни пятнадцать человек — всю свою семью, кроме Дэгуя. Как только старик появился, старший сын выкрикнул: "Поклоны!" — и все разом пали ниц; затем дрожащим от волнения голосом провозгласил: "Отец, ваши дети и вся ваша семья останутся здесь и будут кланяться, пока не умрут, если вы не задумаетесь о нас, ваших родных, и более всего — о себе самом".

Доктор Ся затрясся от ярости. Он велел им встать, но прежде чем кто-либо успел пошевельнуться, старший сын воскликнул: "Нет, отец, мы не встанем, если вы не отмените свадьбу!" Доктор Ся попробовал вразумить его, но тот продолжал возражать дрожащим голосом, выводя старика из себя. Наконец доктор сказал: "Я знаю, о чем вы думаете. Мне недолго осталось. Вы боитесь вашей будущей мачехи, но у меня нет ни малейшего сомнения, что она будет обходиться с вами очень хорошо. Я знаю, что у нее доброе сердце. Вы понимаете, что я не могу предложить вам никакого другого доказательства, кроме ее достоинств..."

При слове "достоинства" старший сын громко фыркнул: "Какие 'достоинства' могут быть у наложницы? Начнем с того, что хорошая женщина в наложницы бы не пошла!" И стал оскорблять бабушку. Тут доктор Ся не выдержал. Он поднял палку и поколотил сына.

Всю свою жизнь доктор Ся был воплощением спокойствия и самообладания. Семья, продолжавшая стоять на коленях, была потрясена. Правнук истерически заголосил. Старший сын на мгновение потерял дар речи, но тут же вновь закричал, уже не только от физической боли, но и от того, что гордость его была ущемлена: терпеть побои в присутствии семьи! Доктор Ся остановился, запыхавшись от гнева и изнеможения. Сын тут же стал выкрикивать оскорбления в бабушкин адрес. Отец, вне себя, приказал ему замолчать и так его ударил, что сломал палку.

Сын на мгновение замер от унижения и боли. Потом выхватил пистолет и посмотрел доктору Ся в лицо. "Верный подданный увещевает императора своей смертью. Почтительный сын так же ведет себя с отцом. Я могу убедить вас, лишь распрощавшись с жизнью!" Прогремел выстрел. Сын покачнулся и рухнул на пол — он пустил себе пулю в живот.

Его тут же отправили на повозке в ближайшую больницу, где он на следующий день умер. Возможно, он не собирался накладывать на себя руки, а просто хотел сделать театральный жест, чтобы поколебать сопротивление отца.

Смерть сына сломила доктора Ся. Хотя внешне он держался спокойно, как и прежде, люди, его знавшие, видели, что это спокойствие омрачено глубокой печалью. С тех пор он стал подвержен приступам меланхолии, нисколько не похожей на его былую невозмутимость.

Исянь бурлил: жители негодовали, выдвигали всевозможные обвинения, распускали нелепые слухи. Доктору Ся и особенно бабушке давали понять, что вина за происшедшее лежит на них. Но доктор решил показать, что его ничто не остановит. Вскоре после похорон он назначил день свадьбы. Он предупредил детей, что им предстоит воздавать надлежащие почести своей новой матери, и послал приглашения первым людям в городе. Обычай предписывал им явиться и преподнести подарки. Он также велел бабушке приготовиться к пышной церемонии. Ее пугали и сами обвинения, и мысли о том, как они отразятся на отношении к ней доктора Ся, и она отчаянно пыталась убедить себя, что не виновата. Однако главным ее свойством была дерзость. Она дала согласие на торжественный ритуал. В день свадьбы она покинула отцовский дом в роскошном паланкине, сопровождаемом процессией музыкантов. По маньчжурскому обычаю, ее семья наняла паланкин, который нес невесту первую половину дороги к новому дому, а жених послал другой паланкин, в котором ее несли вторую половину пути. В месте пересадки Юйлинь, ее пятилетний брат, стал у дверцы паланкина, согнув спину, чтобы показать таким образом, что вносит сестру на себе в паланкин доктора Ся. Он снова принял эту позу, когда они прибыли к жилищу доктора. Женщина не могла просто войти в дом мужчины — это означало бы "потерю лица". Нужно было, чтобы люди видели: ее туда вносят, а следовательно, она, как и полагается, выходит замуж неохотно.

Две подружки невесты ввели ее в комнату, где должна была состояться церемония. Доктор Ся стоял перед покрытым тяжелой красной парчой столом, на котором лежали таблички Неба, Земли, Императора,

Предков и Учителя. На женихе была богато украшенная шапка, похожая на корону, с плюмажем сзади, напоминавшим хвост, и длинный, широкий вышитый халат с рукавами в форме колоколов — традиционное одеяние маньчжур, предназначавшееся для верховой езды и стрельбы из лука и существовавшее еще со времен кочевой жизни. Он опустился на колени, пять раз поклонился табличкам и прошел в брачные покои.

Затем бабушка, все еще сопровождаемая двумя служанками, сделала пять реверансов, каждый раз касаясь волос правой рукой, словно отдавая салют. Она не могла отбивать поклоны из-за высокого, тяжелого головного убора. Потом последовала за доктором Ся в брачные покои, где он снял с нее красное покрывало. Подруги невесты вручили им по вазе в форме тыквы-горлянки, они обменялись сосудами, и подруги удалились. Доктор Ся и бабушка посидели немного вместе в полном молчании, и доктор вышел к родственникам и гостям. Бабушке пришлось неподвижно просидеть на кане несколько часов в полном одиночестве, не отрывая глаз от окна с наклеенным на него большим красным бумажным иероглифом "пáрное счастье". Это называлось "высиживать счастье" и символизировало спокойствие, которое считалось важнейшим достоинством женщины. Когда гости разошлись, вошел молодой родственник доктора Ся и трижды потянул ее за рукав. Только теперь она могла встать с кана. С помощью двух прислужниц она сменила свой богато расшитый наряд на простое красное платье и красные же штаны. Сняла огромный головной убор, позванивающий драгоценными камнями, и закрутила волосы над ушами двумя колечками.

Итак, в 1935 году моя четырехлетняя мама и бабушка, которой исполнилось двадцать шесть, переехали в удобный дом доктора Ся. То был целый архитектурный комплекс: собственно жилые помещения занимали внутреннюю его часть, а на улицу смотрели амбулатория и аптечная лавка. У преуспевающих врачей обычно были свои аптеки. Здесь доктор Ся продавал традиционные китайские лекарства, травы и вытяжки из тканей животных — все это изготовлялось в лаборатории тремя учениками.

Фасад дома был украшен множеством красных и золотистых карнизов. В центре висела прямоугольная табличка с золочеными иероглифами "Семья Ся". Позади лавки располагался дворик с выходившими туда комнатами для слуг и поваров. Затем следовало несколько двориков поменьше с помещениями, где обитали члены семьи. Далее шел большой сад с туей и зимними сливами мэйхуа. Во двориках из-за сурового климата не росла трава, всюду лежала лишь голая твердая коричневая земля, которая летом превращалась в песок, а короткой весной, когда таял снег, — в грязь. Доктор Ся любил птиц, у него был вольер, и каждое утро в любую погоду он под птичье пение и щебет делал цигун — одну из разновидностей медленной, грациозной китайской гимнастики, часто называемой тайцзи.

После смерти сына доктор Ся постоянно читал молчаливый упрек в глазах родных. Но никогда не говорил с бабушкой о своей боли: китайский мужчина не имеет права жаловаться. Конечно, бабушка знала, что́ он переживает, и молча страдала вместе с ним. Она относилась к нему очень нежно и всей душой стремилась выполнить все его желания.

Она всегда улыбалась, встречаясь с членами семьи, они же обычно демонстрировали ей свое презрение, едва прикрытое вежливостью. Да-

же невестка, бывшая школьная подруга, избегала ее. Бабушка мучилась сознанием того, что ее считают виновной в смерти старшего сына.

Весь ее образ жизни стал маньчжурским. Она спала в одной комнате с моей мамой, а доктор Ся — отдельно. Каждое утро, проснувшись очень рано и еще не встав с постели, она прислушивалась, не раздаются ли шаги домочадцев, и ощущала, как у нее до предела напрягаются нервы. Она спешила умыться и приветствовать каждого согласно строго расписанному ритуалу. К тому же нужно было успеть соорудить очень сложную прическу, способную выдержать огромный головной убор, под который надевался парик. От домашних же она слышала только ледяное "доброе утро", и это были, в сущности, единственные слова, с которыми они к ней обращались. Наблюдая, как расшаркиваются перед ней родственники, она понимала, что в душе они ее ненавидят. Церемония, и без того тяжелая, раздражала ее еще больше своей фальшью.

По праздникам и другим торжественным случаям вся семья обязана была отбивать перед ней поклоны и делать реверансы, ей же — в ответ на эти знаки почтения — следовало вскочить и встать рядом со стулом, показывая тем самым, что она освобождает место их покойной матери. Маньчжурские обычаи словно нарочно были созданы для того, чтобы держать их с доктором Ся подальше друг от друга. Им нельзя было даже вкушать еду вместе, а во время трапезы за бабушкиной спиной всегда стояла какая-нибудь из прислуживавших ей невесток. Но у всех у них были такие каменные лица, что бабушка редко когда доедала до конца то, что лежало на тарелке, и уж тем более не испытывала от еды удовольствия.

Однажды — это случилось вскоре после того, как она переехала в дом доктора — мама было устроилась в уютном, теплом местечке на кане, но доктор Ся вдруг изменился в лице и грубо столкнул ее оттуда: она села на его особое место. Это был первый и последний раз, когда он поднял на нее руку, — по маньчжурским обычаям, место его было священно.

Жизнь в докторском доме впервые подарила бабушке толику свободы, но заодно наложила новые путы. Для моей матери эти перемены были не менее двойственны. Доктор Ся был к ней очень добр и вырастил ее как собственную дочь. Она называла его "отец", и он дал ей свою фамилию — Ся, которую она носит по сегодняшний день, а также имя Дэхун, составленное из двух знаков: хун, то есть "дикий гусь"[1], и дэ, имя ее поколения, означающее "добродетель".

Семья доктора Ся не решалась открыто оскорблять бабушку — это было бы предательством собственной "матери". Другое дело — ее дочь. Среди первых детских воспоминаний моей мамы — не только бабушкина ласка, но и обиды, которые ей наносили дети в семье Ся. Она старалась не плакать, прятала от бабушки ссадины и синяки, но та понимала, что происходит. Мама ничего не говорила доктору, не желая расстраивать его и быть причиной новых раздоров между ним и его детьми. Но она страдала. И часто просила, чтобы ее отправили обратно к дедушке с бабушкой или в дом, купленный когда-то генералом Сюэ, где все обращались с ней как с принцессой. Однако вскоре она поняла, что проситься "домой" бесполезно — ее мать лишь плакала в ответ.

1. В китайской словесности дикий гусь — традиционный символ вести с далекой родины. Автор, скорее всего, использует образ лебедя (*англ.* swan), а не гуся, как более близкий сознанию читателя-европейца.

Лучшими мамиными друзьями были домашние животные: сова, скворец, умевший говорить несколько коротких фраз, сокол, кошка, белые мыши, а еще кузнечики и сверчки, которых мама держала в бутылках. А из людей, кроме собственной матери, близким ей человеком был только кучер доктора Ся — Большой Ли. Крепкий, с дубленой от ветра кожей, он был родом с Хинганских гор, с самого севера, где сходятся границы Китая, Монголии и Советского Союза. Смуглое лицо, жесткие волосы, толстые губы, вздернутый нос — необычная для китайца внешность. Он и вообще мало походил на китайца. Был высок, худ, жилист. Отец вырастил его охотником и следопытом. В горах они вдвоем копали корни женьшеня, охотились на медведей, лис и оленей. Какое-то время успешно торговали шкурами животных, но потом их выжили бандиты, прислужники Старого Маршала — Чжан Цзолиня. Большой Ли называл его "разбойничьим отродьем". Позднее, когда маме говорили, что Старый Маршал — пламенный патриот, боровшийся против японцев, она вспоминала, как Большой Ли смеялся над "героем Северо-Востока".

Большой Ли ухаживал за маминими зверями и брал девочку с собой на природу. В одну из зим научил кататься на коньках. Весной, когда сходил снег, они вместе наблюдали, как люди совершают важный ежегодный ритуал "подметания гробниц" и сажают цветы на могилах предков. Летом ходили на рыбалку и по грибы, осенью выезжали за город стрелять зайцев.

Долгими маньчжурскими вечерами, когда в степи выл ветер и окна покрывались изморозью, Большой Ли устраивался на теплом кане, сажал маму на одно колено и рассказывал ей чудесные истории о горах Севера. Она засыпала, мечтая о загадочных высоких деревьях, небывалых цветах, сладкоголосых ярких птицах и корешках женьшеня, которые на самом деле были маленькими девочками: выкопав, их следовало обвязать красной веревочкой, чтобы они не убежали.

Большой Ли рассказывал маме и о повадках зверей. Тигры — бродившие тогда по горам Северной Маньчжурии — добродушны и не трогают человека, если не ощущают опасности. Тигров он любил. Медведи — совсем другое дело: они свирепые, и от них следует держаться подальше. Если все-таки встретишь медведя, нужно замереть, пока он не опустит голову: на лбу у медведя челка, которая, когда он опускает голову, падает ему на глаза и мешает смотреть. При виде волка нельзя поворачиваться и бежать, потому что убежать невозможно. Нужно остановиться и глядеть ему прямо в глаза, будто тебе не страшно. Потом начать медленно-медленно отходить. Годы спустя совет Большого Ли спас маме жизнь.

Однажды, когда маме было пять лет и она играла в саду со своими животными, ее окружили внуки доктора Ся, стали толкать, обзывать, а потом бить и швырять из стороны в сторону. Они загнали ее в угол сада, где был засохший колодец, и спихнули туда. Колодец был глубокий, и она больно ударилась о камни на дне. В конце концов кто-то услышал ее крики и позвал Большого Ли, который прибежал с лестницей. Он спустился вниз, а повар держал лестницу. Одновременно с ними, сама не своя, прибежала бабушка. Через несколько минут Большой Ли вынес маму в полубессознательном состоянии, всю в ссадинах и ушибах, наверх и передал бабушке. Маму отнесли в дом, где доктор Ся осмотрел ее и обнаружил перелом одной из тазовых костей. Годы спустя эта кость иногда смещалась — на всю жизнь осталась легкая хромота.

Когда доктор Ся спросил маму, что случилось, она сказала, что ее толкнул Шестой (внук). Бабушка, всегда чуткая к настроению доктора Ся, поскорее оборвала дочь, потому что Шестой был его любимцем. Когда доктор Ся вышел из комнаты, бабушка велела маме не жаловаться, чтобы не огорчать доктора. Потом некоторое время мама не могла выходить на улицу из-за перелома. Остальные дети окончательно отвернулись от нее.

Сразу после этого происшествия доктор Ся стал отлучаться из дома — его не бывало по нескольку дней. Он ездил в местный центр, город Цзиньчжоу, находившийся в двадцати пяти милях к югу, искал работу. Обстановка в доме была невыносимой, и случай с мамой, который легко мог оказаться смертельным, убедил его в необходимости переезда.

Это было серьезное решение. В Китае великой честью считалось иметь семью, где несколько поколений живет вместе, из уважения к таким семьям даже улицам давали названия, вроде "Пять поколений под одной крышей". Распад большой семьи воспринимался как трагедия, которой следовало избежать любой ценой, но доктор Ся с веселым лицом сказал бабушке, что только рад хотя бы частично снять с себя груз ответственности.

У бабушки словно камень с души свалился, хотя она и старалась этого не показывать. В сущности, она уже давно мягко подталкивала доктора Ся к этой мысли, особенно после того, что случилось с мамой. Довольно она натерпелась от большой семьи, от ее постоянного леденящего присутствия, от ее тихой ненависти и молчаливого злопыхательства — от семьи, где у нее не было друзей, и от дома, где она ни на минуту не могла уединиться.

Доктор Ся разделил свое имущество между родственниками. Себе он оставил лишь вещи, пожалованные его предкам маньчжурскими императорами. Вдове старшего сына отдал все земли. Средний сын унаследовал аптечную лавку, младшему достался дом. Он позаботился о Большом Ли и других слугах. Когда он спросил бабушку, не боится ли она бедности, она ответила, что для счастья ей нужны лишь дочь и сам доктор Ся: "С любовью даже простая ключевая вода станет сладкой".

Морозным декабрьским днем 1936 года семья собралась у главных ворот проводить их. У всех, кроме Дэгуя, единственного сына, который не возражал против женитьбы отца, были сухие глаза. Большой Ли отвез их на станцию, и мама, плача, попрощалась с ним. Но поезд привел ее в восхищение. Единственный раз она ехала на поезде в годовалом возрасте, и сейчас, прыгая от радости, зачарованно смотрела в окно.

Цзиньчжоу, большой город с почти десятью тысячами жителей, был столицей одной из девяти провинций Маньчжоу-го. Расположен он примерно в десяти милях от моря, там, где Маньчжурия подходит к Великой стене. Подобно Исяню, окруженный крепостной стеной, он быстро рос и далеко вышел за ее пределы. Город мог похвастать несколькими текстильными фабриками и двумя нефтеперегонными заводами; он находился на пересечении больших железнодорожных магистралей и даже располагал собственным аэропортом.

Японцы заняли его в начале января 1932 года после тяжелых боев. Захват этого стратегически важного населенного пункта сыграл решающую роль в поражении Маньчжурии и, породив серьезный дипломатический конфликт между Японией и Соединенными Штатами, вызвал к жизни цепь событий, которые десять лет спустя привели к Пёрл-Харбору.

Когда в сентябре 1931 года японцы начали наступление на Маньчжурию, Молодой Маршал, Чжан Сюэлян, принужден был сдать им свою столицу Мукден[1]. Вместе с двухсоттысячным войском он вошел в Цзиньчжоу, где и учредил новую штаб-квартиру. Разбомбив город с воздуха — то была одна из первых бомбовых атак в истории, — японцы заняли его и стали там зверствовать.

Именно в Цзиньчжоу доктору Ся, которому уже исполнилось шестьдесят шесть лет, пришлось начинать все сначала. Средства позволили ему снять лишь глиняную хижину размером три на два с половиной метра в одном из беднейших кварталов — в речной низине, под дамбой. Большинству владельцев здешних лачуг не хватало денег, чтобы справить настоящую крышу — они клали на четыре стены куски искореженного железа, а сверху прижимали их тяжелыми булыжниками, чтобы не сорвало ветром, сильным и дувшим часто. То была самая окраина — по другую сторону реки расстилались гаоляновые поля. В декабре, когда супруги Ся только приехали сюда, бурая земля заледенела, так же как и река, которая здесь доходила почти до тридцати метров в ширину. Весной, когда таял лед, земля вокруг хижины превращалась в трясину, и в ноздри шибала вонь от нечистот, не чувствовавшаяся зимой, когда они замерзали. Летом эту местность осаждали комары. Жизнь постоянно осложнялась наводнениями: река затапливала дома, а за состоянием набережной никто не следил.

Главное мамино впечатление тех лет — ощущение почти невыносимого холода. И спать, и что-либо делать можно было только на кане, занимавшем большую часть хижины: в углу помещалась еще маленькая печка. Спали втроем тоже на кане. Не было ни электричества, ни водопровода. Уборной служила глиняная лачуга с общей выгребной ямой.

Прямо напротив дома стоял ярко расписанный храм, посвященный Богу Огня. Желавшие помолиться привязывали лошадей перед самой хижиной семьи Ся. Когда теплело, доктор Ся по вечерам брал маму на прогулки вдоль берега реки и читал ей классические стихи на фоне величественных закатов. Бабушка к ним не присоединялась: не принято было, чтобы супруги прогуливались вместе, да и в любом случае бинтованные ножки навеки лишили ее возможности испытывать удовольствие от ходьбы.

Они почти умирали с голоду. В Исяне семье давала пропитание земля доктора Ся, и в доме всегда был рис, даже после того, как японцы забирали свою долю. Теперь доход резко упал, а японцы присваивали себе гораздо больше прежнего. Многое из того, что производилось в этих местах, насильственно вывозилось в Японию, а огромная японская армия в Маньчжурии забирала рис и пшеницу почти подчистую. Местному населению иногда доставались кукуруза или гаолян, но этого не хватало. Основной пищей служила желудевая мука, омерзительная на вкус и ужасно пахнувшая.

Бабушка никогда не знала такой бедности, но все же это было самое счастливое время в ее жизни. Доктор Ся любил ее, и при ней всегда была дочь. Больше не нужно было выполнять изнурительные маньчжурские ритуалы, и в крошечной глинобитной хижине часто звучал смех. Иногда они с доктором Ся коротали вечера за картами. Если проигрывал доктор, бабушка давала ему три щелчка, а если проигрывала она, то доктор Ся награждал жену тремя поцелуями.

1. Ныне Шэньян.

У бабушки завелись подруги среди соседок, что также было внове. Ее уважали как жену врача, пусть и бедного. После многолетних унижений и помыканий бабушка впервые чувствовала себя свободной.

Они с подругами часто устраивали выступления: пели старинные маньчжурские песни, танцевали, били в бубны. Мотивы и ритмы были просты и однообразны, а слова женщины обычно импровизировали. Замужние пели о своем супружеском опыте, девушки задавали им вопросы. Для соседок, в основном неграмотных, это было способом узнать что-то о человеческих отношениях. В песнях также говорилось об их житье-бытье, о мужьях, а то и передавались последние сплетни.

Бабушка любила эти вечера и часто готовилась к ним заранее. Сидя на кане, она ударяла в бубен, который держала в левой руке, и пела, тут же придумывая слова. Порой слова подсказывал доктор Ся. Мама была слишком мала, чтобы сопровождать родителей, но могла наблюдать за бабушкиными репетициями. Ей было страшно интересно и особенно хотелось узнать, какие строчки принадлежали доктору Ся. Она знала, что они наверняка очень смешные, потому что ее мать и доктор Ся хохотали над ними. Но когда ей повторяли эти слова, она "плавала в облаках и в тумане" — не могла понять, что они значат.

Однако окружавшая жизнь была суровой. Каждый день превращался в борьбу за выживание. Рис и пшеницу можно было раздобыть только на черном рынке, и бабушка начала продавать некоторые из подаренных ей генералом Сюэ драгоценностей. Она почти ничего не брала в рот — говорила, что уже поела или что сейчас не голодна и поест позже. Когда доктор Ся обнаружил, что она продает драгоценности, он запретил ей это делать. "Я старик, — сказал он. — Когда меня не станет, драгоценности не дадут тебе умереть с голоду".

Доктор служил в аптечной лавке у другого врача и не имел особых возможностей проявить свои таланты. Но трудился не покладая рук и постепенно завоевывал себе репутацию. Вскоре его пригласили к первому пациенту. В тот вечер он вернулся домой с чем-то, завернутым в материю. Он подмигнул маме и бабушке и попросил их отгадать, что у него в узелке. Мама не могла оторвать глаз от гостинца, и, не успев выкрикнуть "пампушки!", принялась разрывать ткань. Уплетая их за обе щеки, она подняла голову и встретилась с сияющим взором доктора Ся. С тех пор прошло более пятидесяти лет, но она и сейчас помнит этот счастливый взгляд и даже сегодня говорит, что в жизни не едала ничего вкуснее тех простых пшеничных пампушек.

Приглашения на дом много значили для докторов, потому что пациенты обычно платили навестившему их врачу, а не его хозяину. Если пациент был доволен или просто богат, врач получал солидный гонорар. Благодарные пациенты также подносили врачам подарки на Новый год и по другим особенным случаям. После нескольких визитов на дом дела доктора Ся пошли веселее.

Известность его росла. Однажды в кому впала жена губернатора провинции, и тот пригласил доктора Ся, которому удалось привести ее в сознание. Это сочли чуть ли не воскрешением из мертвых. Губернатор заказал табличку и собственноручно написал на ней: "Доктор Ся, дарующий людям жизнь". Он повелел пронести табличку через весь город в сопровождении процессии.

Вскоре губернатор обратился к доктору Ся за иного рода помощью. У него была жена и двенадцать наложниц, но никто из них не родил ему потомка. Губернатор слышал, что доктор Ся особенно сведущ в лечении бесплодия. Доктор Ся предписал губернатору и его тринадцати дамам принимать настойки, и несколько женщин забеременели. В сущности, дело было в самом губернаторе, но дипломатичный доктор Ся одновременно лечил и жену с наложницами. Губернатор ошалел от радости и написал еще бóльшую табличку о докторе Ся: "Воплощение Гуаньинь"[1]. Новую табличку к дому доктора Ся перенесла процессия еще более пышная, чем прежде. После этого люди шли к нему из самого Харбина, лежавшего в четырехстах милях к северу. Доктор прославился как одно из четырех "медицинских светил" Маньчжоу-го.



К концу 1937 года, через год после переезда в Цзиньчжоу, доктор Ся смог перебраться в более просторное жилье, находившееся непосредственно за старыми северными городскими воротами. Дом был намного лучше лачуги у реки: не из глины, а из красного кирпича, и вместо одной комнаты там было целых три спальни. У доктора Ся вновь появилась возможность завести собственную практику. Пациентов он принимал в гостиной.

Дом стоял на южной стороне большого двора, где жили еще две семьи, но лишь у доктора Ся имелась собственная дверь, которая выходила прямо во двор. Два других дома смотрели окнами на улицу и во двор были обращены глухой стеной без единого окна. Чтобы попасть внутрь, нужно было идти в обход – с улицы через калитку. С севера двор также замыкала глухая стена. Во дворе росли туи, падубы, к которым жильцы привязывали бельевые веревки, да еще китайские розы, достаточно стойкие, чтобы вынести суровую зиму. На лето бабушка выставляла во двор свои любимые однолетники: белые ипомеи, хризантемы, георгины и садовый бальзамин.

У бабушки и доктора Ся не было общих детей. Он придерживался теории, что мужчина старше шестидесяти пяти лет не должен извергать семя, в котором, как считалось, заключается сущность мужчины. Годы спустя бабушка с таинственным видом поведала маме, что с помощью цигуна доктор Ся научился достигать оргазма без семяизвержения. Он был на редкость здоровым человеком для своих лет, никогда не болел и каждый день принимал холодный душ, даже если температура опускалась ниже пяти градусов мороза. Он не прикасался ни к табаку, ни к спиртному, соблюдая запреты своей квазирелигиозной секты Цзайлихуэй (Общества разума).

Несмотря на профессию, доктор Ся прохладно относился к лекарствам, утверждая, что путь к здоровью лежит через крепкий организм. Он категорически возражал против методов лечения, которые, по его мнению, исцеляли одно, нанося вред другому, и не прибегал к сильнодействующим средствам из-за возможных побочных эффектов. Маме и бабушке часто приходилось принимать лекарства тайком от него. Но если они все-таки заболевали, доктор Ся приглашал другого врача – не только знатока традиционной китайской медицины, но еще и шамана, – он верил, что некоторые недуги происходят от злых духов, которых следует умиротворять или изгонять с помощью особых религиозных обрядов.

1. Гуаньинь – буддийская богиня милосердия, дарующая детей.

Мама была счастлива. Впервые в жизни ее окружали радость и спокойствие. В прошлом остались и напряженная атмосфера, в которой прошли два года в доме дедушки и бабушки, и обиды, которые она целый год терпела от внуков доктора Ся.

Особенно ей нравились праздники, а они случались чуть не каждый месяц. У простых китайцев отсутствовало понятие рабочей недели. Только правительственные учреждения, школы и японские фабрики закрывались по воскресеньям. Остальные люди отдыхали от повседневного труда лишь по праздникам.

В двадцать третий день двенадцатой луны, за семь дней до китайского Нового года, начиналась череда зимних праздников. Согласно легенде в этот день Бог Очага, живший вместе со своей женой над очагом (где висели их изображения), отправлялся на небо, чтобы рассказать верховному богу, Яшимовому императору, как семья вела себя весь год. Хвалебное донесение означало, что в будущем году кухня будет ломиться от еды, и в этот день в каждом доме отбивали поклоны перед портретами божественной четы, после чего предавали ее огню, что символизировало вознесение на небо. Бабушка всегда просила маму смазать им рот медом. Она также сжигала миниатюрные фигурки лошадей и слуг, которых делала из гаоляна, чтобы царственные супруги ни в чем не нуждались, были всем довольны и рассказали Небесному императору как можно больше хорошего о семье Ся.

Следующие несколько дней посвящались приготовлению всевозможной еды. Особым образом нарезалось мясо; рис и соевые бобы перемалывались в муку, из которой делали пампушки, хлебцы и пельмени. До Нового года пищу оставляли в погребе — при температуре 30 градусов мороза он служил естественным холодильником.

В полночь накануне Нового года раздавался гром фейерверков, доставлявший маме несказанное удовольствие. Она вместе с бабушкой и доктором Ся выходила из дома и кланялась в ту сторону, откуда должен был появиться Бог Богатства. Все люди на улице делали то же самое. Затем поздравляли друг друга со словами "желаю Вам разбогатеть".

На Новый год принято было дарить подарки. Едва белая бумага на восточных окнах озарялась лучами, мама вскакивала с кровати и спешила надеть новый наряд: новую куртку, новые штаны, новые носки и новую обувку. Потом они вместе с бабушкой отправлялись к соседям и знакомым, и она отбивала поклоны перед старшими. За каждый удар головой о землю она получала "красный сверток" с деньгами. Это были ее карманные деньги на целый год.

В течение следующих пятнадцати дней взрослые ходили друг к другу с поздравлениями и пожеланиями удачи. Удача, то есть деньги, была заветной мечтой большинства простых китайцев. Люди жили бедно, и в доме Ся, как и во многих других, мяса можно было наесться вдоволь только по праздникам.

Кульминация празднества — карнавальное шествие и вечерняя демонстрация фонарей — наступала на пятнадцатый день. Поводом для шествия служила "инспекционная поездка" Бога Огня по всей его вотчине. Бога носили по округе, чтобы не случались пожары. Поскольку большинство домов частично строилось из дерева, в здешнем сухом и ветреном климате страшный пожар мог начаться в любую минуту, и статуя получала пожертвования круглый год. Шествие начиналось у храма

Бога Огня, перед глиняной хижиной, где семья Ся жила первое время после переезда в Цзиньчжоу. Копию статуи, великана с красными волосами, бородой и бровями, облаченного в красный же плащ, несли в открытом паланкине восемь мужчин. За ними следовали львы и извивающиеся драконы — каждый в виде процессии из нескольких человек, украшенные повозки, акробаты на ходулях и танцоры янгэ, игравшие длинными кусками яркого шелка, обвязанными вокруг пояса. Оглушительно гремели фейерверки, барабаны и тарелки. Мама вприпрыжку бежала за процессией. Почти каждый дом выставлял Богу соблазнительную снедь, но мама заметила, что божество ни к чему не притрагивалось. "Рвение для богов, еда для людей!" — объясняла ей бабушка. В давние дни лишений мама с нетерпением ждала лишь тех праздников, когда могла порадовать свой желудок. Ее оставляли равнодушной события, имевшие скорее поэтическую, чем гастрономическую окраску; она изнывала от нетерпения, пока бабушка отгадывала загадки, прикрепленные к изящным фонарям у дверей домов во время Праздника Фонарей, или любовалась хризантемами в садах соседей на девятый день девятой луны.

Однажды во время ярмарки в храме Бога Города бабушка показала ей ряд глиняных скульптур, подновленных и покрашенных к празднику. То были сцены ада, где людей наказывали за грехи. Бабушка указала на глиняную фигуру, у которой изо рта вытягивали язык длиной сантиметров в тридцать и одновременно резали два демона со стоявшими торчком, словно ежовые колючки, волосами и с глазами, выпученными, как у лягушек. Бабушка пояснила, что они пытают лжеца и то же случится с мамой, если она будет врать.

Среди жужжащей толпы и лотков с едой, от одного взгляда на которую текли слюнки, стояло не меньше дюжины аллегорических скульптурных композиций, имевших целью нравственное наставление. Бабушка бодро показывала маме одну страшную сцену за другой, но мимо некой скульптурной группы она протащила ее молча. Только несколько лет спустя мама узнала, что то было изображение женщины-вдовы, которая повторно вышла замуж, — ее распиливали пополам двое мужчин: первый и второй муж, — потому что она принадлежала им обоим. В те дни многие вдовы боялись такой судьбы и оставались верны покойным мужьям, чего бы это ни стоило. Некоторые даже кончали с собой, если семья заставляла их снова выйти замуж. Мама поняла, что решение стать женой доктора Ся далось бабушке нелегко.

## 3

## "*Все говорят, как хорошо жить в Маньчжоу-го*" — *жизнь под японцами (1938–1945)*

Наступил 1938 год, маме было почти семь лет. Она была очень умной девочкой и очень хотела учиться. Родители считали, что она должна пойти в школу, как только начнется новый учебный год, сразу после китайского Нового года.

Японцы жестко контролировали образование, особенно школьные курсы истории и этики. Государственным языком был японский, а не китайский. После четвертого класса начальной школы все предметы преподавались по-японски, и большинство учителей были японцы.

Одиннадцатого сентября 1939 года в Цзиньчжоу с официальным визитом прибыл император Маньчжоу-го Пу И с супругой. Маме, ученице второго класса начальной школы, доверили преподнести цветы императрице. На ярко украшенном помосте собралась большая толпа с желтыми флажками Маньчжоу-го. Маме дали большой букет, и она, преисполненная чувства собственной значимости, стояла рядом с духовым оркестром и группой высокопоставленных лиц в визитках. Подле нее с надменным видом застыл мальчик примерно ее лет с букетом для Пу И. Как только показалась императорская чета, оркестр грянул гимн Маньчжоу-го. Все встали по стойке "смирно". Мама вышла вперед и сделала реверанс, сумев сохранить равновесие, несмотря на тяжелый букет. На императрице было белое платье и изящные белые перчатки до локтей. Мама подумала, что она прекрасна. Ей удалось украдкой взглянуть на Пу И, одетого в военную форму. За толстыми стеклами очков она заметила "поросячьи" глазки.

Мама училась на отлично, но удостоилась чести преподнести букет императрице не только поэтому, но и потому, что была маньчжуркой — так она всегда писала в анкетах как дочка доктора Ся. Предполагалось, что Маньчжоу-го — независимое государство маньчжур. Пу И был особенно удобен для японцев, потому что большинство людей полагало (если и вообще задумывалось над этим), что ими продолжает править маньчжурский император. Доктор Ся считал себя его верным подданным, и бабушка разделяла эти взгляды. По традиции одной из важных форм выражения женской любви почиталось полное согласие с мужем, и для бабушки не было ничего естественней, чем следовать этому обычаю. Ей так хорошо жилось с доктором Ся, что она избегала малейших разногласий.

В школе маму учили, что она живет в стране Маньчжоу-го и что соседние государства — это две китайские республики: одна — враждебная, во главе с Чан Кайши, другая — дружественная, во главе с Ван Цзинвэем[1]. У нее не было ни малейшего представления о Китае как таковом, часть которого и составляла Маньчжурия.

Школьников воспитывали как законопослушных подданных государства Маньчжоу-го. Одной из первых песен, которые выучила моя мама, была такая:

> Красные мальчики и зеленые девочки идут по улицам,
> Все они говорят, как хорошо жить в Маньчжоу-го.
> Тебе хорошо и мне хорошо,
> Люди мирно живут и радостно трудятся без горестей и забот.

Учителя твердили, что Маньчжоу-го — это рай на земле. Но даже в своем юном возрасте мама понимала, что если это и был рай, то только для японцев. Японские дети ходили в особые, теплые и хорошо оборудованные школы, где блестели полы и чисто вымыты окна. Школы для местных размещались в ветхих храмах и полуразрушенных домах, по-

1. Японский марионеточный правитель северо-восточной провинции Китая.

жертвованных частными лицами. Отопление отсутствовало. Зимой весь класс бегал вокруг здания или топал ногами, чтобы согреться.

Мало того что большинство учителей были японцы, они еще и пользовались японскими методами воспитания и, не задумываясь, рукоприкладствовали. Малейшая ошибка, нарушение этикета или существующих правил (вроде волос, свисающих на полдюйма ниже мочки) наказывались ударами. И девочек, и мальчиков били по лицу изо всей силы, а мальчиков часто еще и по голове деревянной дубинкой. Другим видом наказания было многочасовое стояние на коленях в снегу.

При виде японца местным детям следовало кланяться и уступать ему дорогу, даже если тот был моложе их. Часто японские дети останавливали китайских и били без всякого повода. Ученикам надлежало приветствовать учителей сложным поклоном. Мама в шутку говорила своим друзьям, что японский учитель — это вихрь, проносящийся по полю: только и видно, как трава клонится к земле.

Многие взрослые тоже кланялись японцам — на всякий случай. Но на жизни семьи Ся их присутствие на первых порах отражалось мало. Низшие и средние должности занимали местные жители, маньчжуры и китайцы, такие, как мой прадед, остававшийся заместителем начальника исяньской полиции. К 1940 году в Цзиньчжоу было около пятнадцати тысяч японцев. Японцы жили в доме по соседству, и бабушка относилась к ним дружелюбно. Глава семьи служил чиновником. Каждое утро, когда он на рикше отправлялся в свою контору, жена и трое детей провожали его с поклонами. Затем она принималась за работу — скатывала угольную пыль в шарики для топки. По причинам, непонятным бабушке и маме, она всегда при этом надевала белые перчатки, которые мгновенно пачкались.

Японка почти не видела своего мужа и чувствовала себя одинокой. Она часто заходила к бабушке и приносила с собой саке, а бабушка готовила какую-нибудь закуску, вроде соленых овощей в соевом соусе. Бабушка немного говорила по-японски, а японка — по-китайски. Они напевали песни и, расчувствовавшись, вместе плакали. Нередко они помогали друг другу в саду. У японки был красивый садовый инструмент, приводивший бабушку в восхищение; маму часто приглашали поиграть там.

Но семья не могла не слышать о том, что вытворяли японцы. На бескрайних просторах Северной Маньчжурии они жгли деревни и сгоняли тех, кто выжил, в "стратегические поселения". Более пяти миллионов человек, около одной шестой населения, остались без крова, а десятки тысяч погибли. Рабочие умирали в шахтах, где они под надзором японцев добывали руду для отправки в Японию, — Маньчжурия была очень богата полезными ископаемыми. Многие страдали солевым голоданием, и им не хватало сил совершить побег.

Долгое время доктор Ся утверждал, что император не знает о жестокости японцев, потому что фактически и сам их узник. Но когда Пу И стал называть Японию не "дружественной соседней державой", как раньше, а "державой-старшим братом", а потом "державой-родительницей", доктор Ся ударил кулаком по столу и обозвал его "слабоумным трусом". Впрочем, даже тогда он говорил, что ему неизвестно, в какой мере император ответствен за зверства японцев, но потом в жизни семьи Ся произошло два горестных события.

В конце 1941 года в кабинет доктора Ся вошел незнакомец. Он был одет в лохмотья, истощен и не мог разогнуться. Человек объяснил, что он железнодорожный кули и что его мучают страшные боли в животе. На работе ему приходилось триста шестьдесят пять дней в году от рассвета до заката таскать тяжелые грузы. Он не знал, как ему быть, потому что без работы не мог прокормить жену и новорожденного ребенка.

Доктор Ся сказал, что желудок этого человека не способен усваивать грубую пищу. 1 июня 1939 года правительство объявило, что отныне все запасы риса предназначаются для японцев и кое-кого из коллаборационистов. Большинство местного населения питалось желудевой мукой и гаоляном, которые почти невозможно было переварить. Доктор Ся бесплатно дал человеку лекарство и попросил у бабушки мешочек риса, купленный ею тайком от властей — на черном рынке.

Вскоре доктору Ся сообщили, что этот человек умер в концлагере. Вернувшись из лечебницы, он поел риса и вышел на работу, где его вырвало. Японский надсмотрщик заметил в блевотине рис, кули арестовали как "экономического преступника" и отправили в лагерь, где он прожил всего несколько дней. Когда жена узнала, что с ним случилось, она утопилась вместе с ребенком.

Этот случай поверг доктора Ся и бабушку в глубокое горе. Они винили себя в его смерти. Не раз доктор Ся говорил: "Рис не только спасает, но и убивает! Маленький мешочек — три жизни!" Он начал называть Пу И "этот тиран".

Вскоре беда подошла ближе. Младший сын доктора Ся работал в Исяне учителем. Как и во всех школах Маньчжоу-го, в кабинете директора-японца висел большой портрет Пу И, которому все должны были кланяться всякий раз, как заходили туда. Однажды сын доктора Ся забыл поклониться портрету. Директор крикнул, чтобы он немедленно поклонился, и так сильно ударил его по лицу, что тот едва устоял на ногах. Сын доктора Ся гневно ответил: "Почему я должен гнуться пополам каждый день? Почему я не могу распрямить спину даже на мгновение? Я только что кланялся на утреннем собрании..." Директор ударил его опять и рявкнул: "Это ваш император! Вас, маньчжур, нужно учить элементарным приличиям!" Сын доктора Ся крикнул в ответ: "Подумаешь! Это всего лишь бумага!" Два других учителя из местных сумели удержать его от дальнейших неосторожных замечаний. Он взял себя в руки и изобразил нечто вроде поклона.

Вечером к нему домой пришел друг и сказал, что его объявили "идеологическим преступником" — и значит, ему грозит тюрьма, а может быть, и смерть. Он бежал, и с тех пор семья ничего не слышала о нем. Возможно, его поймали и посадили в тюрьму или отправили в лагерь, где он и погиб. Доктор Ся тяжело пережил удар и с тех пор стал заклятым врагом Маньчжоу-го и Пу И.

История на этом не кончилась. Местные гангстеры начали преследовать Дэгуя, единственного оставшегося в живых сына доктора Ся, требуя с него платы за "защиту" и утверждая, что он пренебрег своим долгом старшего брата. Он платил, но вымогатели требовали еще и еще. В конце концов он вынужден был продать лавку и уехать из Исяня в Мукден, где открыл новый магазин.

Дела доктора Ся шли все лучше. Он лечил японцев наравне с местными жителями. Иногда, после того как от него уходил высокопоставленный японский офицер или коллаборационист, он говорил: "Я желаю ему смерти", однако его личные взгляды никогда не влияли на лечение. "Пациент — это человек, — говорил он. — Вот все, о чем должен думать врач. Ему должно быть безразлично, хороший он или плохой".



Тогда же бабушка перевезла свою мать, мою прабабушку, в Цзиньчжоу. Когда она покинула дом, выйдя за доктора Ся, мать осталась с презиравшим ее мужем и двумя монголками-наложницами, которые ее ненавидели. У прабабушки возникло подозрение, что наложницы хотят отравить ее и маленького Юйлиня. Она всегда пользовалась серебряными палочками, потому что китайцы верят, что серебро чернеет от яда, и никогда не притрагивалась к еде и не позволяла это делать сыну, не дав попробовать сначала собаке. Однажды, через несколько месяцев после бабушкиного отъезда, собака упала замертво. Впервые в жизни прабабушка устроила скандал мужу и, заручившись поддержкой свекрови, старой госпожи Ян, переселилась вместе с Юйлинем в наемное жилье. Старая госпожа Ян так разгневалась на сына, что уехала вместе с невесткой и увиделась с ним уже только на смертном одре.

Первые три года Ян хоть неохотно, но посылал им месячное содержание, а в начале 1939-го прекратил, и доктор Ся с бабушкой должны были помогать всем троим. В то время не существовало законов об алиментах, как и вообще надлежащей системы законодательства, и жена полностью зависела от мужа. Когда в 1942 году старая госпожа Ян умерла, прабабушка вместе с Юйлинем переехали в Цзиньчжоу, в дом доктора Ся. Она считала себя с сыном иждивенцами, людьми второго сорта. Обстирывала всю семью, вылизывала дом и всегда разговаривала с дочерью и доктором Ся подобострастным и униженным тоном. Она была истовой буддисткой и каждый день молила Будду в следующем рождении не делать ее женщиной. "Кошкой, собакой, только не женщиной", — бормотала она, семеня по дому и извиняясь на каждом шагу.

Бабушка также перевезла в Цзиньчжоу горячо любимую сестру Лань. В Исяне Лань вышла замуж за человека, который оказался гомосексуалистом. Он предложил жену своему богатому дяде, на чьем маслоочистительном заводе работал. Дядя изнасиловал нескольких женщин в доме, включая и юную внучку. Но он был главой семьи и обладал неограниченной властью, Лань не посмела сопротивляться. Но когда муж предложил ее деловому партнеру своего дяди, она взбунтовалась. Бабушке пришлось заплатить мужу сестры выкуп, чтобы он отпустил ее (сю), потому что женщина не имела права просить о разводе. Бабушка привезла Лань в Цзиньчжоу, где ее вновь выдали замуж за человека по имени Пэй-о.

Пэй-о служил тюремным надзирателем. Супруги часто навещали бабушку, и от историй Пэй-о волосы у моей мамы становились дыбом. Тюрьма была до отказа набита политическими заключенными. Пэй-о часто рассказывал об их храбрости, о том, как они проклинали японцев, даже когда их пытали. Пытки применялись регулярно, и узников никто не лечил. На гноящиеся раны никто не обращал внимания.

Доктор Ся вызвался лечить заключенных. Во время одного из первых посещений Пэй-о представил его своему другу по имени Дун, палачу, работавшему на "удавке": казнимого привязывали к стулу, а шею об-

вязывали веревкой, которую медленно затягивали. Смерть была долгой и мучительной.

Доктор Ся знал от свояка, что Дуна терзала совесть и что перед тем, как задушить человека, он напивался. Доктор Ся пригласил Дуна к себе, кое-что ему подарил и намекнул на то, что веревку, может быть, не обязательно затягивать до конца. Дун сказал, что подумает. Обычно при казни присутствовал японский конвоир или пользующийся доверием коллаборационист, но иногда, если жертва не была важной персоной, японцы не появлялись. Иногда они уходили прежде, чем человек умирал. Тогда-то, сообразил Дун, он и может остановить удавку.

После казни тела заключенных клали в дощатые ящики, вывозили на телеге на далекий пустырь под названием Южный холм и сваливали в мелкий ров. Место кишело дикими собаками, поедавшими трупы. Часто в ров бросали и новорожденных девочек, убитых, по обычаю того времени, собственными родственниками.

Доктор Ся завязал дружбу со старым возницей и давал ему деньги. Порой возница заходил в кабинет и начинал что-то бессвязно бормотать, но затем непременно заводил речь о кладбище: "Я сказал душам мертвых, что не по моей вине они нашли там свой конец. Сказал, что хотел им только добра: 'В следующем году, прилетайте, души, на свою годовщину. Но пока, если вы хотите подобрать себе тело получше, летите туда, куда повернуты ваши головы. Это правильный путь'". Дун и возница никогда не говорили между собой о том, что они делали, и доктор Ся так и не узнал, скольких людей они спасли. После войны спасенные "трупы" сложились и собрали Дуну денег на дом с земельным участком. Возница к тому времени умер.

Среди тех, кому спасли жизнь, был и бабушкин дальний родственник по имени Хань-чэнь, игравший важную роль в Сопротивлении. Поскольку Цзиньчжоу был главным железнодорожным узлом к северу от Великой стены, он стал местом, куда японцы стягивали войска для нападения на Китай, что и произошло в июле 1937 года. Меры безопасности были очень жесткими, в организацию Хань-чэня внедрили провокатора, и всю группу арестовали. Всех пытали. Сначала им в нос заливали воду с перцем; потом били по лицу сапогом, подошва которого была утыкана гвоздями. Большинство казнили. Долгое время Ся думали, что Ханьчэня нет в живых, но однажды мой дядя Пэй-о сказал, что он жив и скоро его казнят. Доктор Ся немедленно связался с Дуном.

В ночь казни доктор Ся и бабушка отправились на повозке к Южному холму. Они остановились за деревьями и стали ждать. Они слышали, как дикие собаки рыщут вокруг рва, из которого поднимался тошнотворный запах разлагающейся плоти. Но вот показалась телега. Они разглядели сквозь тьму, что возница вываливает тела из деревянных ящиков. Подождали, пока он отъедет, и подошли ко рву. Поискав среди трупов, обнаружили Хань-чэня, но не знали, жив он или мертв. В конце концов поняли, что он еще дышит, но не может передвигаться: несчастного страшно пытали. С большим трудом они погрузили его на повозку и отвезли домой.

Спрятали его в каморке в самом дальнем углу дома. Единственная дверь вела в комнату мамы, куда попасть можно было только через спальню ее родителей – туда не мог зайти посторонний. Так как выход

во двор имелся только в доме Ся, Хань-чэнь мог спокойно гулять там, если кто-то стоял на страже.

Но существовала опасность налета полиции или местных комитетов. С самого начала оккупации японцы организовали разветвленную систему таких комитетов. Во главе поставили местных воротил и вменили им в обязанность сбор налогов и круглосуточную слежку за "неблагонадежными". То было формой узаконенного вымогательства, а за счет доносов можно было приобрести влияние. Японцы предлагали большое вознаграждение за подобные услуги. И все же полиция Маньчжоу-го представляла меньшую угрозу, чем обычные граждане. На самом деле среди полицейских многие не любили японцев. Их основной обязанностью считалась проверка прописки, и они часто обходили дома. Однако они всегда предупреждали о своем появлении громкими криками: "Проверка прописки! Проверка прописки!", так что все кому надо могли вовремя спрятаться. Заслышав эти крики, бабушка прятала Хань-чэня в куче сушеного гаоляна, приготовленного в задней комнате для топки. Полицейские неторопливо заходили в дом, садились, выпивали чашечку чаю и говорили бабушке извиняющимся тоном: "Понимаете, это просто формальность..."

В то время маме было одиннадцать лет. Хотя родители не предупреждали ее, она знала: никому нельзя рассказывать, что Хань-чэнь живет у них в доме. Осторожности она научилась с детства.

Постепенно бабушка выходила Хань-чэня, и через три месяца он достаточно окреп, чтобы отправиться в путь. Прощание было волнующим. "Старшая сестра, старший брат, — сказал он, — я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь. При первой же возможности я верну вам долг". Три года спустя он сдержал свое слово.

Мама и ее подруги должны были в обязательном порядке следить за донесениями о военных успехах Японии — это входило в школьную программу. Японцы не только не стеснялись своей жестокости, но, наоборот, похвалялись ею, чтобы вселить в людей страх. В фильмах показывали, как японские солдаты разрубают людей пополам, как собаки разрывают на куски заключенных, привязанных к кольям. Долго, крупным планом показывали расширенные от ужаса глаза жертв, ожидающих смерти. Японцы не разрешали девочкам одиннадцати-двенадцати лет закрывать глаза и затыкать рот платком, чтобы сдержать крик. Долгие годы маме снились кошмары.

В 1942 году японцы, растянувшие свои фронты в Китае, Юго-Восточной Азии и вдоль берегов Тихого океана, начали испытывать нехватку рабочих рук. Весь мамин класс, вместе с японскими детьми, отправили работать на текстильной фабрике. Девочки из местных должны были дважды в день проходить пешком около четырех миль — японских детей возили на грузовиках. Местные дети ели жидкую кашу с червями — японские получали пакеты с завтраками, куда входили мясо, овощи и фрукты.

Японским девочкам поручали легкую работу, например, мытье окон; местным — работу на сложных прядильных станках, требовавших большой сноровки и осторожности даже от взрослых. Основная задача состояла в том, чтобы соединять порванные нити, не останавливая станков, которые вращались на большой скорости. Если не замечали

разрыва или соединяли нить недостаточно быстро, японские надзирательницы жестоко их избивали.

Девочки были запуганы. Нервное напряжение, холод, голод и усталость — все это часто приводило к несчастным случаям. Больше половины маминых одноклассниц получили травмы. Однажды мама увидела, как из станка выскочил челнок и выбил глаз девочке, стоявшей рядом с ней. Всю дорогу в больницу японская надзирательница ругала ее за неосторожность.

Отработав свой срок на фабрике, мама перешла в старшую школу первой ступени. Времена изменились, и девушки уже не должны были, как в годы бабушкиной молодости, сидеть в четырех стенах. Общество допускало обучение девочек в старших классах. Тем не менее мальчики и девочки получали разное образование. Из девочек воспитывали "изящных жен и добрых матерей", как гласил девиз школы. Они учились тому, что японцы называли "путем женщины": ведению хозяйства, стряпне, шитью, чайной церемонии, икебане, вышиванию, рисованию и искусству наслаждаться прекрасным. Главное умение, которое прививалось, — это умение нравиться собственному мужу: одеваться, причесываться, кланяться, а прежде всего беспрекословно повиноваться. Но у мамы, как говаривала бабушка, были "непокорные кости", и она почти ничему не научилась, даже готовить. Некоторые экзамены представляли собой практические задания, например, приготовить какое-нибудь блюдо или расставить в вазе цветы. Экзаменационная комиссия состояла из местных чиновников, китайцев и японцев, и они оценивали не только результаты экзаменов, но и самих девушек. Их фотографии в нарядных фартучках, сшитых собственными руками, висели на доске рядом с их характеристиками. Японские чиновники часто присматривали себе там невест, потому что браки между японскими мужчинами и местными женщинами поощрялись. Некоторых девушек выбирали для отправки в Японию, где выдавали замуж за мужчин, которых они никогда не видели. Нередко девушки, точнее их семьи, бывали этому рады. В конце оккупации одну из маминых подруг должны были отправить в Японию, но она опоздала на корабль и осталась в Цзиньчжоу, а в это время японцы капитулировали. Мама не жаловала эту девушку.

В отличие от своих предшественников, китайских мандаринов, избегавших каких-либо физических нагрузок, японцы увлекались спортом, который мама очень любила. От перелома таза неприятных последствий практически не осталось, и она хорошо бегала. Однажды ей поручили участвовать в ответственных соревнованиях. Она тренировалась неделями, чтобы подготовиться к выступлению, но за несколько дней до срока тренер-китаец отвел ее в сторону и попросил не стремиться к победе. Он сказал, что не может объяснить почему. Но мама поняла без слов. Она знала, что японцы не любят, когда китайцы в чем-нибудь их превосходят. В соревнованиях участвовала и другая местная девушка, и тренер попросил маму передать ей тот же совет, не говоря, от кого он исходит. На соревнованиях мама не попала даже в первую шестерку. Подруги видели, что она и не старалась. Но другая спортсменка не смогла себя сдержать и пришла первой.

Вскоре японцы отомстили ей за это. Каждый день начинался с собрания, на котором председательствовал директор школы по кличке

Осел[1]: его имя, произнесенное по-китайски (маоли), звучало как "осел" (маолюй). Он резким, горловым голосом выкрикивал приказы; следовало отвесить четыре поклона. Сначала совершался "Дальний поклон столице империи!" – нужно было низко поклониться в сторону Токио. Потом шел "Дальний поклон столице страны!" – то есть Синьцзину[2], столице Маньчжоу-го. Затем "Верноподданный поклон Небесному императору!" – то есть императору Японии. И наконец "Верноподданный поклон императорскому портрету!" – на этот раз портрету Пу И. Следом шел более легкий поклон учителям. Однажды утром, когда поклоны закончились, Осел внезапно вытащил из рядов ученицу, победившую в соревновании, и обвинил в том, что ее поклон Пу И составил меньше девяноста градусов. Он бил и пинал девушку, потом наконец остановился и объявил, что исключает ее из школы. Для всей ее семьи это была катастрофа.



Родители спешно выдали несчастную за мелкого чиновника. После поражения Японии его причислили к коллаборационистам, из-за чего жена смогла получить работу только на химическом заводе, где не контролировалось содержание в воздухе вредных веществ. И когда в 1984 году мама вернулась в Цзиньчжоу и разыскала старую подругу, та уже почти ослепла от химикатов. Горько усмехаясь, она поведала о злой шутке, которую сыграла с ней судьба: ее, победившую японцев в соревновании и за это наказанную, назвали их пособницей. И все же, сказала она, ей ничуть не жаль, что выиграла тогда.

Жители Маньчжоу-го плохо себе представляли, что происходит за пределами их страны и каково положение Японии в войне. Сражения шли далеко, новости подвергались жесткой цензуре, а из радиоприемников доносилась лишь грубая пропаганда. Но по ряду признаков, в первую очередь по ухудшению ситуации с продовольствием, они чувствовали, что Японии приходится нелегко.

Первая не фальсифицированная новость дошла до населения летом 1943 года, когда газеты сообщили, что Италия, союзница Японии, капитулировала. К середине 1944 года некоторых японцев, работавших в гражданских учреждениях Маньчжоу-го, призвали в армию. Затем 29 июля 1944 года в небе над Цзиньчжоу впервые появились американские самолеты Б-29, но город не бомбили. Японцы мобилизовали всех на рытье бомбоубежищ, и каждый день в школе проходили обязательные занятия по противовоздушной обороне. Однажды мамина одноклассница схватила огнетушитель и облила струей из него японского учителя, которого особенно ненавидела. Раньше возмездие было бы ужасным, но теперь выходка сошла ей с рук. Ветер подул в другую сторону.

Власти долго проводили кампанию по ловле мух и крыс. Ученики должны были отрезать крысам хвосты, класть в конверты и сдавать полиции. Мух следовало сдавать в стеклянных бутылках. Полиция считала каждый хвост и каждую муху. Как-то в 1944 году, когда мама вручила полицейскому бутылку, полную мух до самых краев, тот сказал: "Недостаточно для обеда". Увидев ее удивленный взгляд, он продолжал: "Раз-

1. По-японски звучит как Мори.
2. Букв.: "новая столица", ныне Чанчунь.

ве ты не знаешь? Япошки любят дохлых мух. Они их жарят и едят!" По его дерзкому взгляду мама поняла, что он больше не боится японцев.

Мама ожидала радостных перемен, но осенью 1944 года их жизненный горизонт затянули тучи; обстановка в доме больше не была такой радостной, как раньше. Она чувствовала, что между родителями наступил разлад.

В пятнадцатый день восьмой луны по китайскому календарю отмечался Праздник Середины Осени — праздник семейного единения. В тот день бабушка, в соответствии с обычаем, ставила на улице под луной стол с дынями, круглыми лепешками и булочками. Праздник приходился именно на этот день потому, что по-китайски одно и то же слово "юань" обозначает "единение" и "круглый, целый"; считалось, что в этот осенний день полная луна особенно прекрасна и кругла. Все, что подавалось в этот день на стол, тоже было круглым.

В струящемся, как шелк, лунном свете бабушка рассказывала маме истории о луне: самая большая тень на ее лике была огромной кассией, которую всю жизнь пытался срубить У Ган. Но дерево защищали волшебные чары, и попытки его были обречены на неудачу. Мама слушала, завороженно глядя на небо. Полная луна притягивала ее своей красотой, но в ту ночь нельзя было восхвалять светило: мать запретила ей произносить слово "круглый", потому что семья доктора Ся была разделена. В день праздника, а также несколько дней до и после него доктор Ся ходил печальный, а бабушка утратила вкус к рассказам.

В праздничную ночь 1944 года мама и бабушка сидели под шпалерой, увитой зимней дыней и фасолью, и смотрели сквозь тенистую листву на бескрайнее чистое небо. Мама начала было: "Сегодня луна такая круглая", но бабушка оборвала ее и разрыдалась. Она вбежала в дом, и мама слышала, как она всхлипывала и кричала: "Уходи к сыну и внукам! Брось меня с дочерью и уходи!" В перерывах между всхлипываниями она продолжала: "Разве я виновата, разве ты виноват, что твой сын застрелился? Почему мы должны нести это бремя всю жизнь? Я не мешаю тебе видеться с детьми. Это они отказываются к тебе приходить..." С тех пор как они покинули Исянь, их навещал только Дэгуй, средний сын доктора. Доктор Ся не произнес в ответ ни слова.

Именно тогда мама почувствовала неладное. Доктор Ся делался все молчаливей, и она стала инстинктивно избегать его. Бабушка то и дело заливалась слезами и бормотала, что они с доктором Ся никогда не будут счастливы, потому что заплатили слишком большую цену за свою любовь. Обнимая дочь, она говорила, что та — ее единственное сокровище.

С наступлением зимы мама погрузилась в не свойственную ей меланхолию. Настроение не улучшилось, даже когда она снова, во второй раз, увидела, как в ясном, холодном декабрьском небе над Цзиньчжоу летают американские самолеты Б-29.

Японцы нервничали с каждым днем все больше. Однажды мамина подруга раздобыла книгу запрещенного китайского писателя. В поисках укромного уголка она забрела куда-то в поле, приметила какую-то пещеру, показавшуюся ей пустым бомбоубежищем, и, пошарив, нащупала в темноте что-то вроде выключателя на стене. Раздалось пронзительное завывание: она включила сирену. То был оружейный склад. У нее

подкосились ноги. Она пыталась убежать, но через несколько сотен метров ее схватили японские солдаты.

Два дня спустя всю школу привели на голое заснеженное поле за западными воротами в излучине реки Сяолин. Туда же начальство согнало местных жителей. Детям сказали, что они увидят, как накажут "злодейку, поднявшую руку на Великую Японию". Вдруг мама увидела, что прямо перед ней японские тюремщики поставили ее подругу. На девочку надели цепи, ее тащили волоком. После пыток лицо у нее так опухло, что она стала неузнаваемой. Затем японские солдаты вскинули винтовки и прицелились в девочку, которая, казалось, силилась что-то сказать, но не могла издать ни звука. Раздался сухой треск выстрелов, и она рухнула в обагрившийся кровью снег. Осел, директор-японец, впился взглядом в ряды учеников. Нечеловеческим усилием подавив чувства, мама заставила себя посмотреть на тело подруги, вокруг которого на белом снегу расползалось ярко-красное пятно.

Она услышала чьи-то приглушенные рыдания. Плакала госпожа Танака, молодая японская учительница, которую мама любила. В мгновение ока Осел набросился на госпожу Танака. Он обрушил на нее град ударов, и она упала. Она пыталась увернуться от его сапог, но он в бешенстве пинал ее и орал, что она предает японскую нацию. В конце концов он устал и остановился. Потом посмотрел на учеников и рявкнул, чтобы они расходились.

Мама в последний раз взглянула на скорчившуюся на земле учительницу и на мертвую подругу и ощутила, что ее переполняет ненависть.

## 4
## *"Рабы, у которых нет родины" – под властью разных хозяев (1945–1947)*

В пятнадцать лет мама была девушкой на выданье. Она обладала привлекательной внешностью, пользовалась большим успехом и считалась одной из лучших учениц в школе. Ее руки уже просили несколько офицеров, но она заявила родителям, что никто из них ей не подходит. Один из сватавшихся, начальник штаба, пригрозил послать за ней носилки как за наложницей – коль скоро от его почетного предложения отказались. Когда он высказывал эту угрозу родителям, мама подслушивала под дверью. Она ворвалась в комнату и бросила ему в лицо, что там, в носилках, и покончит с собой. К счастью, вскоре он получил приказ покинуть город.

Мама решила сама себе выбрать мужа. Она не питала никаких иллюзий на счет отношений мужчин и женщин и ненавидела институт наложничества. Родители разделяли ее взгляды, но, опасаясь офицеров, принуждены были вести сложную, изматывающую дипломатическую игру, старались говорить "нет", не зля женихов.

Маму искренне любила ее учительница по фамилии Лю. В Китае люди, которым вы нравитесь, зачастую стремятся с вами породниться. В те дни, хотя юношей и девушек уже не разделяла такая глухая стена, как в годы бабушкиной молодости, возможности для общения выпадали

редко. Поэтому молодежь, не желавшая, чтобы ее сватали родители, сама старалась познакомиться с братом или сестрой подруги или друга — то был способ найти себе пару. Учительница Лю представила маму своему брату. Впрочем, первым делом их знакомство должны были одобрить господин и госпожа Лю.

В 1946 году маму пригласили на встречу китайского Нового года в роскошный дом семьи Лю. Господин Лю был одним из крупнейших в Цзиньчжоу владельцев магазинов. Его девятнадцатилетний сын производил впечатление человека светского; он носил темно-зеленый костюм с платочком, выглядывавшим из нагрудного кармашка, что в провинциальном городе, вроде Цзиньчжоу, казалось верхом утонченности и щегольства. Молодой Лю изучал русский язык и литературу в одном из пекинских университетов. На маму он произвел большое впечатление, а она пришлась по душе его домашним. Вскоре они послали к доктору Ся сваху, не говоря, конечно, ни слова самой девушке.

Доктор Ся, человек куда более либеральный, чем большинство мужчин его времени, спросил маминого мнения. Она согласилась стать "подругой" молодого господина Лю. В те годы, если юноша и девушка разговаривали друг с другом на людях, им следовало быть по меньшей мере помолвленными. А мама жаждала веселья и свободы, ей хотелось общаться с мужчинами, не беря на себя брачных обязательств. Зная маму, доктор Ся и бабушка были осторожны с Лю и отказывались от положенных подарков. В соответствии с китайской традицией семья невесты часто не соглашалась на брачное предложение с первого раза, чтобы не показаться слишком в нем заинтересованной. Принять подарок означало неявно выразить согласие. Доктор Ся и бабушка опасались возможных недоразумений.

Мама некоторое время встречалась с молодым Лю. Ей нравились его хорошие манеры, и все родственники, знакомые и соседи говорили, что он ей подходит. Доктор Ся и бабушка думали, что они прекрасная пара, и про себя уже считали его своим зятем. Но мама чувствовала, какая он поверхностная натура. Она заметила, что он никогда не ездит в Пекин, а слоняется по городу, наслаждаясь праздностью как человек без определенных занятий. Однажды она обнаружила, что он не читал даже "Сон в Красном тереме", знаменитый классический китайский роман XVIII века, известный всякому грамотному китайцу. Она не стала скрывать, что разочарована, но молодой Лю, не смущаясь, ответил, что китайская классика — не его конек и что ему больше нравится иностранная литература. Пытаясь утвердить свое превосходство, он добавил: "Читала ли ты 'Госпожу Бовари'? Это моя любимая книга. По моему мнению, лучшее из написанного Мопассаном".

Мама читала "Госпожу Бовари" и знала, что ее автор Флобер, а не Мопассан. Такое самонадеянное заявление оттолкнуло ее от Лю, но она удержалась и смолчала, не желая показаться "вздорной".

Лю любил азартные игры, особенно мацзян, наводивший на маму смертельную скуку. Однажды вечером, вскоре после вышеописанного разговора, во время игры вошла служанка и спросила: "Какая девушка будет прислуживать господину в кровати?" Он совершенно спокойно сказал: такая-то. Мама задрожала от возмущения, но Лю лишь поднял брови, словно удивился ее реакции. Затем высокомерно произнес: "Это широко распространенный японский обычай. Все так делают. Это на-

зывается сы-цинь ('кровать с обслуживанием')". Он пытался заставить маму почувствовать себя ревнивой провинциалкой, а ревность традиционно считается в Китае одним из худших женских пороков — муж вправе был отказаться от жены, которая им страдала. Мама опять ничего не сказала, хотя в душе у нее все кипело от гнева.

Она поняла, что не будет счастлива с супругом, для которого интрижки и внебрачный секс — естественная часть жизни "настоящего мужчины". Она мечтала встретить человека, который будет ее любить и не станет ранить таким образом. Тогда же она решила порвать с женихом.

Несколько дней спустя внезапно умер господин Лю-старший. В те дни большое значение придавалось пышным похоронам, особенно если покойный был главой семьи. Похороны, не отвечавшие ожиданиям родственников и общества, бросали тень на близких. Лю желали провести сложную церемонию, а не просто ограничиться процессией, идущей из дома на кладбище. Для чтения сутры об "опускании головы" — она читается в присутствии всей семьи усопшего — были приглашены буддийские монахи. После чего родственники немедленно принялись рыдать. С этого мгновения до похорон, которые устраивались на сорок девятый день после смерти, с раннего утра до полуночи должны были раздаваться плач и причитания, в это же время положено жечь "загробные" деньги, чтобы почивший мог тратить их в ином мире. Многие семьи не выдерживали подобного марафона и нанимали профессионалов. Из уважения к усопшему Лю рыдали "собственными силами" — при участии многочисленных родственников.

На сорок второй день украшенный тонкой резьбой сандаловый гроб с телом поместили в шатер во дворе. Считалось, что в каждую из семи ночей, предшествующих погребению, покойник поднимается в загробном мире на высокую гору и смотрит на свою семью; он радуется, если все его близкие на месте и никто не забыт. В противном случае ему никогда не обрести покоя. Семья хотела, чтобы мама как будущая невестка присутствовала на похоронах.

Но она отказалась. Как ни жалко ей было старого господина Лю, который всегда был добр к ней, она не могла участвовать в церемонии — тогда пришлось бы выйти замуж за его сына. А в дом Ся один за другим всё являлись посланцы семьи Лю.

Доктор Ся заявил маме, что разорвать помолвку в такую минуту значит предать господина Лю-старшего и что это безнравственно. Хотя при нормальных обстоятельствах он не стал бы возражать против разрыва с молодым Лю, в данном случае, полагал он, следует пожертвовать собой во имя высших принципов. Бабушка также считала, что мама должна присутствовать на похоронах. "Слыханное ли дело, чтобы девушка отказывала мужчине из-за того, что он перепутал имя какого-то писателя да еще имел связи на стороне? Все богатые молодые люди любят поразвлечься и должны перебеситься. Кроме того, тебе нечего бояться служанок и наложниц. Ты с характером и сможешь держать мужа в узде", — урезонивала она дочь.

Мама представляла себе жизнь по-другому, о чем и заявила бабушке. В душе та была согласна с дочерью, но боялась держать ее дома из-за постоянно сватавшихся гоминьдановских офицеров. "Мы можем отказать одному, другому, но не всем, — сказала она. — Не за Лю, так за Чжана те-

бе выйти придется. Подумай, разве Лю не много лучше остальных? Если ты станешь его женой, ни один офицер больше тебя не потревожит. Я день и ночь думаю о том, что может с тобой случиться. И не успокоюсь, пока ты не покинешь дом". Но мама ответила, что скорей умрет, чем выйдет замуж за того, кто не даст ей ни счастья, ни любви.

Лю были в ярости, так же как и мамины родители. Целыми днями они убеждали, умоляли, уговаривали маму, кричали и плакали — без малейшего результата. В конце концов доктор Ся — впервые с тех пор, как ударил ее в детстве за то, что она села на его место на кане, — разгневался на маму: "Ты позоришь имя Ся. Мне не нужна такая дочь!" Мама встала и бросила ему в лицо: "Прекрасно, тогда у тебя не будет такой дочери. Я ухожу!" Она выскочила из комнаты, сложила вещи и покинула дом.

В бабушкины времена и речи не могло быть о том, чтобы подобным образом уйти от родителей. Женщина могла устроиться на работу разве что служанкой, да и то лишь имея рекомендательное письмо. Но жизнь изменилась. В 1946 году женщины уже могли содержать себя и служить, например, учительницами или медсестрами, хотя в большинстве семей на это по-прежнему смотрели как на крайний вариант. При маминой школе действовало педагогическое отделение, предлагавшее бесплатное проживание и обучение для девушек, окончивших в этом заведении не менее трех классов. Кроме сдачи вступительного экзамена, выдвигалось лишь одно условие: выпускницы должны были стать учительницами. Большинство девушек происходили из бедных семей и не могли платить за обучение или же считали, что, так как у них нет шансов попасть в университет, нет смысла оставаться в старших классах. Женщин стали принимать в высшие учебные заведения только с 1945 года — при японцах образование завершалось старшими классами, где школьниц обучали в основном ведению домашнего хозяйства.

Прежде маме и в голову не приходило поступать на это отделение — оно считалось второсортным. А она полагала, что достойна университета. Начальство слегка удивилось, увидев ее заявление, но мама объяснила, что всегда считала педагогику своим призванием. Правда, она еще не отучилась в этой школе полных три года, но ее знали как отличницу и с радостью приняли — экзамен она сдала без труда и переселилась в школу. Вскоре туда примчалась бабушка, умоляя ее вернуться. Мама была рада примирению, обещала часто приходить домой и оставаться на ночь. Но так и не отказалась от койки в общежитии: она решительно не желала зависеть даже от тех, кто ее любит. Педагогическое отделение идеально ей подходило. Оно гарантировало работу после курса обучения, тогда как даже выпускники университетов часто не могли найти себе места. Важно было и то, что за учебу не нужно было платить, ведь и доктор Ся уже начал ощущать на себе последствия неумелого государственного управления экономикой.

Когда гоминьдановцы взяли Исянь, они освободили из тюрьмы моего прадеда Яна — а может, он купил себе свободу. Местные не без основания считали, что гоминьдановские чиновники делают состояния на бывших коллаборационистах. Ян попытался обезопасить себя, выдав младшую дочь от одной из своих наложниц за гоминьдановского офицера, но тот был всего лишь капитаном и не обладал достаточной влас-

тью, чтобы избавить тестя от преследований. Собственность Яна конфисковали, и он был низведен до положения нищего, "сидящего на корточках у придорожной канавы", как выражались в тех местах. Узнав об этом, прабабушка запретила своим детям помогать ему деньгами или как-либо иначе.



В 1947 году, через год с небольшим после Освобождения, у него на шее выросла раковая опухоль. Он понял, что умирает, и сообщил об этом в Цзиньчжоу, умоляя детей приехать навестить его. Прабабушка отказала ему, но он продолжал слать письма, заклиная дочерей и сына приехать. В конце концов она смягчилась, и бабушка, Лань и Юйлинь отправились в Исянь на поезде. Дочь десять лет не видела отца, выглядевшего теперь жалкой тенью себя прежнего. При появлении детей по щекам у него потекли слезы. Но они не могли простить ему того, как он обошелся с их матерью и с ними самими, и обращались к нему как к чужому. Он умолял Юйлиня назвать его отцом, но тот ни в какую не соглашался. На лице Яна отразилось такое беспредельное отчаяние, что бабушка попросила брата уступить. В конце концов он сдался. Отец взял его за руку и проговорил: "Будь ученым или открой небольшое дело. Никогда не пытайся стать чиновником. Это разрушит твою жизнь, как разрушило мою". То были его последние слова.

Когда он умер, рядом находилась лишь одна из его наложниц. По бедности он не смог обеспечить себе даже покупку гроба. Тело положили в старый рваный чемодан и похоронили без всякой церемонии. При этом не было никого из членов семьи.

В маминой школе работал молодой учитель Кан, преподававший китайскую литературу. Он отличался большим умом и обширными знаниями, и мама относилась к нему с огромным уважением. Он рассказал ей и двум другим девушкам, что участвовал в антигоминьдановском движении в Куньмине, городе на юго-западе Китая, и его подругу убило гранатой во время демонстрации. Его лекции, явно имевшие прокоммунистическую направленность, производили на маму сильное впечатление.

Однажды утром в начале 1947 года маму остановил у школьных ворот старый смотритель. Он вручил ей записку и сказал, что Кан уехал. Мама не знала, что Кана предупредили об опасности — некоторые агенты гоминьдановской разведки тайно работали на коммунистов. Тогда мама имела слабое представление о коммунистах и уж тем более не подозревала, что Кан — один из них. Она лишь поняла, что ее любимый учитель скрылся, чтобы избежать ареста. Записка была от него и состояла из одного слова: "Молчание". Понять это можно было двояко. Либо то был намек на строчку из стихотворения, написанного Каном в память о своей подруге: "Молчание, в котором зреет наша сила", в этом случае записку следовало понимать как призыв сохранять мужество; либо то было предостережение от опрометчивых поступков. К тому времени мама заслужила репутацию бесстрашной личности и приобрела авторитет среди учеников. Почти тотчас ей стало известно, что в школу прислали новую директрису, делегатку национального съезда Гоминьдана, по слухам связанную с тайными службами. Она привезла с собой группу сотрудников разведки, в число которых входил Яохань, ставший политическим руководителем школы и осуществлявший слежку за студентами.

Ближайшим маминым другом в то время был ее дальний родственник, которого она называла Брат Ху. Его отец владел сетью универмагов в Цзиньчжоу, Мукдене и Харбине, имел жену и двух наложниц. Жена родила ему сына, тогда как у наложниц детей не было, и поэтому они ее возненавидели. Однажды в отсутствие мужа наложницы подмешали какого-то зелья в еду хозяйке и молодому слуге, а затем положили их в одну кровать. Когда господин Ху вернулся и нашел свою жену, по видимости пьяную до беспамятства, в постели со слугой, он пришел в неистовство, запер ее в каморке в дальнем углу дома и запретил сыну видеться с матерью. У него было смутное подозрение, что все это подстроили наложницы, поэтому он не отказался от жены и не выбросил ее на улицу, что считалось наивысшим позором (не только для супруги, но и для супруга). Он боялся, что наложницы причинят вред сыну, и отослал его в пансион в Цзиньчжоу. Там моя мама познакомилась с ним, когда ей было семь, а ему двенадцать лет. Его мать вскоре сошла с ума в своем одиночном заключении.

Брат Ху вырос и стал скрытным, чувствительным юношей. Он не мог оправиться от случившегося и иногда говорил о прошлом с моей мамой. Эта история напоминала маме о загубленных женских судьбах в ее собственной семье и об известных ей бесчисленных трагедиях матерей, дочерей, жен и наложниц. Бесправие женщин, варварство вековых обычаев, задрапированных под "традицию" и даже "нравственность", выводили ее из себя. Незначительные перемены к лучшему тонули в море всесильных предрассудков. Мама жаждала перемен более решительных.

В школе она узнала, что лишь одна политическая сила — коммунисты — обещает преобразовать жизнь в корне. Так ей сказала близкая подруга, восемнадцатилетняя Шу, которая порвала с семьей и жила в школе, потому что отец заставлял ее выйти замуж за двенадцатилетнего мальчика. Однажды Шу попрощалась с мамой: вместе с тайным возлюбленным она бежала к коммунистам. Ее прощальные слова были: "Они — наша надежда".

Примерно тогда мама очень сблизилась с Братом Ху. Он понял, что любит ее, ощутив жгучую ревность к молодому Лю, которого считал фатом, и страшно обрадовался, когда мама порвала с женихом. Стал навещать ее почти ежедневно.

Однажды вечером в марте 1947 года они вместе пошли в кино. Существовало два вида билетов: сидячие и — гораздо более дешевые — стоячие. Брат Ху купил маме сидячий билет, а себе — стоячий, объяснив, что не хватило денег. Маме это показалось странным, и время от времени она украдкой поглядывала в его сторону. Примерно в середине фильма, заметила она, к нему направилась нарядная молодая женщина, а когда заскользила мимо него, руки их на долю секунды соприкоснулись. Мама тут же встала и сказала, что не останется тут ни минутой больше, а на улице потребовала объяснений. Вначале Брат Ху пытался все отрицать. Когда же мама заявила, что отговорки звучат неубедительно, он пообещал ей рассказать обо всем позже: она слишком молода, чтобы понять некоторые вещи. Они подошли к маминому дому, но она не впустила его. Несколько дней подряд он являлся с визитами — мама отказывалась от встреч.

Через некоторое время она уже была готова принять извинения и забыть о случившемся и то и дело посматривала, не появится ли он в воротах. Однажды в сильный снегопад она увидела, как он вошел во двор вместе с другим человеком. Но направился не к ней, а к двери их жильца по имени Юй-у. Почти тотчас вышел наружу и быстро зашагал к ее подъезду. Войдя в комнату, торопливо сказал, что должен немедленно покинуть Цзиньчжоу, так как по его следам идет полиция. Когда она спросила почему, он ответил только: "Я коммунист", и исчез в ночной метели.

Тут у нее сверкнула мысль, что в кино Брат Ху, должно быть, выполнял секретное задание. Сердце у нее разрывалось на части, потому что мириться уже было поздно. Она поняла, что их жилец Юй-у тоже коммунист-подпольщик и что по решению руководства должен был спрятать Брата Ху у себя. До этого вечера мужчины никогда не встречались, но встретившись, поняли, что Брату Ху никак нельзя тут оставаться: его отношения с мамой были слишком известны, его здесь будут искать и заодно обнаружат и Юй-у. Той же ночью Брат Ху попытался перебраться в район, который контролировался коммунистами и находился в двадцати милях от города. Но через некоторое время, когда на деревьях распускались первые весенние почки, Юй-у сообщили, что по дороге Ху схватили, а его провожатого застрелили. Позднее дошли слухи, что он был казнен.

Мама испытывала все большую ненависть к Гоминьдану. Единственной альтернативой были коммунисты, чьи обещания положить конец несправедливому обращению с женщинами особенно ее привлекали. Раньше (ей исполнилось пятнадцать лет) она не чувствовала готовности отдать всю себя делу революции, но после известия о смерти Брата Ху сомнения отступили. Она решила стать коммунисткой.

## 6

## *"Разговор о любви" – революционный брак (1948–1949)*

[Вскоре Ся Дэхун – мать писательницы – организовала студенческую демонстрацию протеста и попала в тюрьму. Она не поддалась запугиваниям, не выдала своих подпольных связей и через несколько дней была отпущена на свободу благодаря усилиям коммунистов и доктора Ся, обратившегося к своим влиятельным пациентам. Затем, благодаря невольной помощи Хуэйгэ, влюбленного в нее молодого гоминьдановского офицера, ей удалось взорвать оружейный склад. В октябре 1948 года коммунисты взяли Цзиньчжоу. Партия велела Ся Дэхун встретиться с товарищем Ван Юем, отвечавшим в Цзиньчжоу за работу с молодежью].

Худой, мечтательный человек, которого мама в то октябрьское утро застала за чисткой зубов, считался среди партизан чистюлей. Он чистил зубы ежедневно, удивляя этим и своих товарищей, и крестьян в деревнях, где воевал. В отличие от остальных, сморкавшихся на землю, он пользовался носовым платком, который стирал при каждом удобном случае. И никогда не обмакивал личное полотенце в общий таз, так как

глазные инфекции встречались повсеместно. Славился он и своей ученостью, к тому же всегда имел при себе несколько томиков классической поэзии, не расставался с ними даже в бою.

Когда мама впервые прочла объявление "Разыскивается" и услышала об этом опасном "бандите" от родственников, она сразу поняла, что они и восхищаются им, и боятся его. И сейчас, обнаружив, что легендарный партизан выглядит отнюдь не воинственно, нисколько не была разочарована.

Он тоже был наслышан о маминой смелости и о том, что она, девушка семнадцати лет, как это ни невероятно, командовала мужчинами. Он представлял ее себе эмансипированной женщиной, достойной восхищения, но конечно стервой. К его радости, она оказалась хорошенькой и женственной, даже кокетливой. Она говорила спокойно, убедительно и — что для китайцев редкость — точно. Это качество отец, ненавидевший традиционные цветистые, туманные и ни к чему не обязывающие речи, особенно высоко ценил.

Она заметила, что он много смеется и что зубы у него блестящие и белые, а не коричневые и гнилые, как у большинства партизан. Привлекала и его манера изъясняться. Он производил впечатление человека образованного — не из тех, что путают Флобера с Мопассаном.

Когда мама сказала, что явилась с докладом о работе студенческого союза, он поинтересовался, какие книги читают студенты. Мама перечислила целый список и спросила, не прочитает ли он несколько лекций по марксистской философии и истории. Он согласился и задал вопрос, сколько человек учится у нее в школе. Она тут же назвала точную цифру. Затем он спросил, какая доля учащихся поддерживает коммунистов; и опять она дала обоснованную оценку.

Через несколько дней он пришел на первую лекцию. Он кратко рассказал о работах Мао, разъяснив слушателям основополагающие элементы его учения. Отец был замечательным оратором и сразил девушек, включая маму, наповал.

Однажды он сообщил слушательницам, что партия организует поездку в Харбин, временную столицу коммунистов на севере Маньчжурии. Харбин в основном строился русскими, и за широкие бульвары, нарядные дома, роскошные магазины и кафе в европейском вкусе его называли "восточным Парижем". Считалось, что люди поедут осматривать достопримечательности, но на самом деле партия опасалась, что Гоминьдан может отбить Цзиньчжоу, и хотела на всякий случай, не поднимая паники, вывезти из города сочувствующих коммунистам преподавателей и учащуюся молодежь, а также профессиональную элиту, например врачей. Среди ста семидесяти человек, отобранных для поездки, были мама и несколько ее знакомых.

В конце ноября мама села в поезд и отправилась на север, полная самых радужных ожиданий. Мои родители полюбили друг друга в Харбине, в окружении его прекрасных зданий, овеянных дымкой русской поэтической мечтательности. Отец писал маме чудесные стихи. Он владел изящным классическим стилем, что являлось незаурядным достоинством, а кроме того, как обнаружила мама, был искусным каллиграфом, отчего еще более вырос в ее глазах.

Он пригласил к себе маму и ее подругу встречать Новый год. Жил он в старинном русском отеле, словно сошедшем со страниц сказки, — с

расписной крышей, нарядными фронтонами и тонкой лепниной вокруг окон и на веранде. Войдя, мама увидела на столике в стиле рококо заграничную бутылку с надписью "Шампанское". Вообще-то он и сам до того никогда не пил шампанского, только читал о нем у иностранных авторов.

К этому времени мамины однокашники уже прознали о ее романе. Мама, возглавлявшая студенческую организацию, часто ходила к папе с долгими докладами и возвращалась, как было замечено, только за полночь. У папы имелось и несколько других обожательниц, в частности мамина подруга, приходившая в тот новогодний вечер, но по ласковым взглядам, легкому поддразниванию и тому, как папа и мама старались использовать всякую возможность, чтобы оказаться рядом, подруга поняла, что они любят друг друга. Когда ближе к ночи она засобиралась, стало ясно, что мама остается. Под бутылкой из-под шампанского папа потом нашел записку: "Увы! Мне незачем больше пить шампанское! Пусть бутылка всегда будет полна для вас!"

В ту ночь отец спросил маму, была ли у нее связь с кем-нибудь до него. Она рассказала ему о прежних своих отношениях с мужчинами и сказала, что по-настоящему любила только Брата Ху, но он погиб от рук гоминьдановцев. Затем в соответствии с новым коммунистическим моральным кодексом, который, отменяя обычаи прошлого, декларировал равенство мужчин и женщин, отец рассказал маме о своих связях. У него была возлюбленная в Ибине, но они расстались, когда он отправился в Яньань. И пока он был в Яньани, и потом в дни партизанской войны он встречался с несколькими девушками, но тогда нечего было и думать о женитьбе. Одна из его девушек впоследствии вышла замуж за Чэнь Бода, который прежде возглавлял отдел Яньаньской академии, где работал и отец, но затем приобрел огромную власть, став секретарем Мао.

Когда "чистосердечные признания" подошли к концу, отец сказал, что подаст в горком партии Цзиньчжоу заявление с просьбой разрешить ему "говорить о любви" (тань лянь ай) с мамой, чтобы впоследствии они могли пожениться. Так предписывали правила. Мама подумала, что это немного напоминает разрешение на брак, даваемое главой семьи, и в сущности была совершенно права: компартия стала новой патриархальной силой. В ту ночь после их разговора мама получила от папы первый подарок — романтическую русскую повесть "Всего лишь любовь".

На следующий день мама написала домой, что встретила человека, который ей очень нравится. Поначалу бабушка и доктор Ся отнеслись к этому известию настороженно, потому что отец был чиновником, а чиновники всегда пользовались у простых китайцев дурной славой. Не говоря уж о прочих пороках, одной их привычки к неограниченной власти было достаточно, чтобы усомниться в их уважительном отношении к женщинам. Бабушка сразу же заподозрила, что у отца уже есть жена, а маму он хочет взять в наложницы. Ведь обычно в Маньчжурии мужчины его возраста давно были женаты.

Примерно через месяц руководство сочло, что харбинская группа может без всяких опасений вернуться в Цзиньчжоу. Партия сообщила папе, что он вправе "говорить о любви" с мамой. Заявления такого же

содержания подали еще двое, но опоздали. Один был Лян, мамин подпольный связной. Он очень огорчился и попросил перевести его из Цзиньчжоу в какое-нибудь другое место. Но ни он, ни тот, другой, подавая заявление, и словом не обмолвились о своих намерениях маме.

Вернувшись, отец узнал, что назначен главой цзиньчжоуского отдела пропаганды. Через несколько дней мама привела его домой — представить семье. Как только он вошел, бабушка повернулась к нему спиной, отказываясь ответить на приветствие. Папа был смугл, очень худ (он отощал, когда был в партизанском отряде), казалось, ему хорошо за сорок, и бабушка ни капли не сомневалась, что он давно женат. Доктор Ся держался вежливо, но суховато.

Вскоре отец ушел. Тут бабушка залилась слезами. От чиновника нельзя ждать добра, плакала она. Однако доктор Ся уже успел понять по папиному поведению и маминым словам, что коммунисты очень жестко контролируют своих людей и человек на таком посту просто не может пойти на обман. Бабушку это не слишком убедило: "Он же из Сычуани. Откуда коммунистам знать, ведь он из таких дальних мест!"

Бабушка никак не могла успокоиться и продолжала высказывать подозрения, но остальные члены семьи прониклись к папе симпатией. Доктор Ся прекрасно с ним ладил, и они, бывало, разговаривали часами. Юйлинь с женой также полюбили его. Жена Юйлиня происходила из очень бедной и несчастной семьи. Ее мать принудили к замужеству после того, как дед проиграл дочь в карты. Брат попал в японскую облаву и три года провел на исправительных работах, подорвавших его здоровье. Выйдя за Юйлиня, она должна была каждый день подниматься в три часа утра, чтобы успеть приготовить множество блюд, соответствовавших изощренному маньчжурскому ритуалу. Бабушка заправляла всем в доме, и, хотя в принципе они принадлежали к одному поколению, жена Юйлиня чувствовала, что стоит ниже ее, потому что они с мужем зависят от семьи Ся. Отец был первым человеком, взявшим себе за правило обращаться с ней как с равной, что в корне расходилось с китайской традицией. Несколько раз он дарил супругам билеты в кино, а это было редким в их жизни удовольствием. Впервые на своем веку они встретили чиновника, который не важничал перед ними, и жена Юйлиня считала, что коммунисты безусловно несравненно лучше всех их предшественников.

Не прошло и двух месяцев после возвращения из Харбина, как родители подали соответствующее заявление. С точки зрения традиции, брак представлял собой договор между двумя семьями — ни гражданской регистрации, ни свидетельства о браке не существовало. Но отныне для тех, кто "участвовал в революции", партия играла роль главы семьи. Установленное ею правило выглядело так: "28-7-полк.-1". Это значило, что мужчина должен быть не моложе двадцати восьми лет, состоять в партии не меньше семи лет и иметь звание не ниже полковника; единица обозначала единственное требование к женщине — работу на благо партии не меньше года. Папе было двадцать восемь лет (китайцы считают, что новорожденный уже год живет на свете), он состоял в партии больше десяти лет, а должность его соответствовала заместителю командира дивизии. Хотя мама не была членом партии, ей зачли подпольную деятельность, а вернувшись из Харбина, она поступила на полную ставку в так называемую Женскую федерацию, где занималась

тем, что освобождала наложниц и закрывала бордели, призывала женщин шить тапки для армии, устраивала на учебу и на работу, рассказывала им о правах и следила, чтобы их не выдавали замуж против воли.

Теперь Женская федерация была маминой "рабочей единицей" (дань-вэй), учреждением, через которое партия осуществляла полный контроль за населением. Горожан приписывали к таким учреждениям, которые, как в армии, определяли практически все и вся в жизни каждого служащего. Маме следовало жить на территории Федерации и получить от нее разрешение на брак. Федерация оставила вопрос на усмотрение папиного руководства, так как отец занимал более высокий пост. Горком Цзиньчжоу сразу же дал письменное разрешение, но из-за отцовской должности необходимо было получить подтверждение от партийного комитета провинции Западная Ляонин. Считая, что препятствий больше не будет, родители назначили свадьбу на 4 мая, день маминого восемнадцатилетия.

В тот день, собираясь переселиться к отцу, мама скатала тюк из постельного белья и одежды. Надела свое любимое бледно-голубое платье и белый шелковый шарф. Бабушка пришла в ужас. Неслыханно, чтобы женщина являлась в дом жениха своими ногами. Мужчине следовало послать за ней паланкин. Если она идет пешком, это означает, что мужчина ее не ценит и на самом деле не нуждается в ней. "Кто сейчас думает обо всей этой чепухе?" — сказала мама, увязывая тюк. Но бабушка не могла смириться с мыслью, что у ее дочери не будет традиционной торжественной свадьбы. С самого рождения девочки каждая мать начинала собирать для нее приданое. Как предписывал обычай, в приданое мамы входила дюжина шелковых стеганых одеял и подушек с утками-мандаринками и нарядный полог для алькова. Однако традиционный обряд казался ей старомодным и излишне пышным. И она и отец хотели избежать подобных церемоний, которые, как они считали, не имели ничего общего с их чувствами. Для двух революционеров значение имела только любовь.

Мама взвалила тюк на плечи и отправилась в дом к папе. Как и все партийные служащие, он жил там же, где работал, то есть на территории горкома партии. Одноэтажные дома с раздвижными дверьми, где селились чиновники, окружали двор несколькими рядами. Когда уже стемнело и молодые готовились ложиться в постель, мама встала на колени, чтобы снять с папы туфли. Тут в дверь постучали. У порога стоял человек с письмом из провинциального партийного комитета, где говорилось, что им пока нельзя вступать в брак. Только по сжатым маминым губам можно было понять, до чего она несчастна. Она кивнула, собрала вещи, сказала: "До свидания", и ушла. Не было ни слез, ни сцен, ни возмущения. Эта картина навеки врезалась в папину память. В детстве я часто слышала от него: "Как изменились времена! Ты не похожа на свою мать! Ты бы так не поступила — не встала бы на колени, чтобы снять с мужчины обувь!" В последние дни мая наконец пришло разрешение на брак. Мама в тот день сидела на собрании Женской федерации. Вдруг кто-то сунул ей в руку записку от председателя горкома Линь Сяося, приходившегося племянником верховному главнокомандующему Линь Бяо, чьи войска взяли Маньчжурию. Там стихотворным размером было написано: "Провинциальное начальство дало добро. Вряд ли вам хочется торчать на собрании. Скорее идите жениться!"

Мама, стараясь сохранять спокойствие, подошла к председательнице собрания и показала записку. Та кивком головы отпустила ее. Всю дорогу до папиной квартиры она бежала бегом. Она так и осталась в голубом "ленинском костюме", униформе для госслужащих: в присборенном на поясе двубортном пиджаке и мешковатых брюках. Открыв дверь, мама увидела Линь Сяося и других партийных начальников, приехавших в сопровождении телохранителей. Отец сказал, что послал пролетку за доктором Ся. Линь спросил: "А как же теща?" Отец ничего не ответил. "Так нельзя", — сказал Линь и велел отправить пролетку и за бабушкой. Мама очень обиделась на папу, но объяснила себе его поступок тем, что он ненавидит гоминьдановскую разведку, а у бабушки там знакомства. Но, подумала она, разве ее мать в этом виновата? А что папино поведение может быть ответом на то, как обращалась с ним бабушка, ей в голову не пришло.

Не было никакой свадебной церемонии, просто собралось несколько человек. Потом явился доктор Ся. Поели свежих крабов — угощение от горкома. Коммунисты пытались сделать свадьбы дешевыми, так как традиционно на них тратились огромные деньги, намного превосходившие возможности семьи. Совсем не редкостью были случаи, когда люди разорялись из-за богатого свадебного угощения. Мои родители ели финики и арахис, которые подавали на брачных пирах в Яньане, и сушеный фрукт лонган[1], символизировавший пожелание счастливого союза и сыновей. Вскоре доктор Ся и большинство гостей уехали. Через некоторое время явилась группа из Женской федерации.

Ни бабушка, ни доктор Ся не подозревали, что их зовут на свадьбу, и извозчик первой пролетки тоже ничего не сказал. Бабушка узнала, что ее дочь выходит замуж, только после приезда второй коляски. Когда из окна стало видно, как бабушка спешит по дорожке, женщины из Федерации, пошептавшись, спешно скрылись через черный ход. Отец тоже ушел. Мама чуть не расплакалась. Она знала, что сотрудницы ее отдела презирают бабушку не только из-за связей с Гоминьданом, но и потому, что она была наложницей. Многие коммунистки, происходившие из необразованных крестьянских семей, смотрели на подобные коллизии по-обывательски. Они были убеждены, что хорошая девушка не стала бы наложницей — хотя коммунисты и заявляли, будто наложница имеет тот же статус, что и жена, и может расторгнуть "брак" в одностороннем порядке. Чиновницам с такими косными взглядами и было поручено осуществлять политику партии в деле раскрепощения женщины.

Мама скрыла от бабушки правду, сказав, что жених ушел на работу: "У коммунистов не принято освобождать новобрачных от работы. Я, вообще говоря, тоже скоро пойду в Федерацию". Бабушку поразила небрежность, с которой коммунисты относятся к такой важной вещи, как свадьба, но они уже нарушили так много традиций — может быть, надо перестать удивляться?

В то время в мамины обязанности входило обучение чтению и письму работниц текстильной фабрики, где она работала при японцах, и пропаганда равенства полов. Фабрика все еще оставалась частной, и

1. Лонган ("око дракона") — тропический фрукт, мелкий желтовато-коричневый плод с ароматной сладкой белой мякотью.

один из мастеров бил женщин всякий раз, как пожелается. Мама весьма оперативно добилась его увольнения и помогла работницам выбрать себе мастера-женщину. Но похвалы от Федерации не удостоилась, и вот почему.



Важнейшей задачей Женской федерации было шитье тапок для армии. Мама шить их не умела, поэтому перепоручила это своей матери и теткам, которых с детства приучали делать изящные, богато украшенные туфли, и мама с гордостью принесла их в Федерацию, причем в количестве, намного превосходящем норму. Она очень удивилась, когда ее не только не похвалили за находчивость, но еще и отчитали как маленькую девочку. Крестьянки из Федерации не могли себе представить, что на свете есть женщины, которые не умеют шить тапки. Это было все равно что сказать: "Я не умею есть". На собраниях ее критиковали за "буржуазную упадочность".

У мамы не сложились отношения с некоторыми из начальниц. Эти крестьянки были старше и консервативнее ее, многие годы воевали в партизанских отрядах и терпеть не могли хорошеньких, образованных городских девушек, мгновенно привлекавших к себе мужчин-коммунистов. Мама подала заявление о вступлении в партию, но ей сказали, что она недостойна.

Каждый раз, когда она уходила домой, ее критиковали. Обвиняли в том, что она "слишком привязана к своей семье", а это "буржуазная привычка", и она все реже и реже видела собственную мать.

В то время существовало неписаное правило, согласно которому революционер не мог покидать рабочее помещение даже ночью, увольнительную он получал только в субботу. Мамина кровать находилась в здании Женской федерации, отделенном от папиного жилья низкой глинобитной стеной. Ночью она через нее перелезала, пробиралась через маленький садик и оказывалась в папиной комнате. А перед рассветом возвращалась обратно. Скоро ее разоблачили и вместе с папой подвергли критике на партсобраниях. Коммунисты старались изменить кардинальным образом не только общественный уклад, но и частную жизнь людей, особенно "участвующих в революции". Считалось: "Личное — это политическое", а на самом деле личное просто отменялось. Мелочность объявили "политической сознательностью", и собрания стали для коммунистов местом сведения счетов.

Отцу пришлось выступить с устной, а маме с письменной самокритикой. Ее обвинили в том, что она "поставила на первое место любовь", тогда как приоритет следовало отдавать революции. Мама чувствовала себя несправедливо обиженной. Какой урон терпела революция от того, что она проводила ночи с собственным мужем? Она могла допустить, что в подобном требовании было нечто рациональное, когда вокруг бушевала партизанская война, но зачем это нужно было теперь? Она не желала писать самокритику и сказала об этом мужу. Но увы — он лишь отчитал ее. "Революция еще не одержала победу, — сказал он. — Война продолжается. Мы нарушили правила и должны признать свою ошибку. Революция требует железной дисциплины. Ты обязана повиноваться партии, даже если не понимаешь ее решений или не согласна с ними".

Вскоре случилось несчастье. Поэт по фамилии Бянь, ездивший в Харбин и близко подружившийся с мамой, попытался покончить с со-

бой. Он был последователем поэтической школы "Новолуние", которую возглавлял Ху Ши, ставший при Гоминьдане послом в США. В этом литературном направлении особое внимание уделялось эстетике формы и ощущалось влияние Китса. Во время войны Бянь вступил в компартию, но обнаружил, что его поэзию считают неуместной: революция требовала пропаганды, а не самовыражения. Он частично соглашался с обвинением, но в то же время был подавлен, мучился сомнениями. Чувствовал, что не сможет больше писать и в то же время что не сможет жить без поэтического творчества.

Эта попытка самоубийства потрясла партию. Если человек способен настолько разочароваться в Освобождении, что предпочитает расстаться с жизнью, это плохо говорит о партии. Бянь работал учителем в цзиньчжоуской школе для партийных работников, многие из которых не умели ни читать, ни писать. Школьная парторганизация провела расследование и пришла к неожиданному выводу, что Бянь попытался покончить с собой от несчастной любви... к моей маме. На обличительных собраниях женщины из Федерации обвиняли маму в том, что она обнадежила Бяня, а потом бросила его ради более ценной добычи — моего отца. Мама гневно требовала доказательств. Конечно, они так и не были представлены.

В этом случае отец встал на мамину сторону. Он знал, что во время поездки в Харбин, когда она якобы бегала на свидания к Бяню, она встречалась с ним, а не с тем. Он видел, как Бянь читал маме свои стихи, знал, что мама им восхищалась, и не находил во всем этом ничего предосудительного. Но ни он, ни мама не могли остановить поток сплетен. Особенно злобствовали женщины из Федерации.

Маме едва исполнилось восемнадцать, она только что вышла замуж и дышала надеждой на новую жизнь, но в то же время чувствовала себя растерянной и одинокой. Она всегда доверяла своему чувству справедливости, а теперь оно вступало в конфликт с ее "делом", а часто и со взглядами любимого мужа. Мама впервые начала сомневаться в себе самой.

Она не винила партию и революцию. Не могла она винить и женщин из Федерации, потому что они были ее товарищами и, казалось, верно проводили партийную линию. Мамино негодование обратилось на мужа. Она чувствовала, что о ней он думает в последнюю очередь и в спорах всегда берет сторону своих соратников. Мама понимала, как нелегко ему было бы на людях оказывать ей поддержку, но он мог бы ободрить ее хотя бы, когда они оставались наедине. С самого начала между моими родителями существовало глубокое различие. Папина преданность коммунизму была всепоглощающей: он считал, что должен разговаривать дома, даже с собственной женой, тем же языком, что и на публике. Мама вела себя гораздо гибче; ее приверженность коммунизму не избежала проверки разумом и чувством. Она оставляла место для личной жизни, а папа — нет.

Воздух Цзиньчжоу стал для мамы невыносимым. Она сказала мужу, что им надо поскорее отсюда уехать. Он согласился, хотя ожидал повышения, и обратился в горком с просьбой о переводе, мотивируя желанием вернуться в родной город Ибинь. В горкоме были удивлены, потому что совсем недавно слышали от него, что именно там он работать не

хочет. На протяжении всей китайской истории чиновников отправляли служить подальше от родных мест, чтобы не было соблазна покровительствовать родным и близким.

Летом 1949 года коммунисты развернули стремительное наступление на Юг. Они взяли столицу Чан Кайши Нанкин, и казалось, вот-вот войдут в Сычуань. Опыт работы в Маньчжурии доказал, что они отчаянно нуждаются в верных управленцах из числа местных жителей.



Партия утвердила папин перевод. Через два месяца после свадьбы — и меньше чем через год после Освобождения — родители покинули мамину родину, спасаясь от злобных наветов. Радость, с которой мама встретила Освобождение, сменилась тревогой и некоторой апатией. При Гоминьдане она разряжала напряжение активной работой и не сомневалась в своей правоте, что придавало ей мужества. Теперь же ее не покидало чувство вины. Когда она заговаривала об этом с отцом, тот отвечал, что нельзя стать коммунистом, не пройдя через горнило испытаний.

## 7
## *"Через пять горных ущелий" — мамин Великий поход (1949–1950)*

Перед самым отъездом из Цзиньчжоу маму временно — на испытательный срок — приняли в партию, благодаря заместительнице председателя горсовета, ведавшей Женской федерацией. Она заявила, что маме это понадобится на новом месте. Полноправным членом партии она могла стать только через год, если ее сочтут достойной.

Родители отправлялись в путь вместе с другими коммунистами — всего набралось больше сотни человек, — и двигались они в Сычуань. Ядро группы составляли мужчины, коммунисты-руководители, уроженцы юго-западных областей, женщин было совсем мало — в основном жительницы Маньчжурии, вышедшие замуж за сычуаньцев. На время путешествия их разбили на отряды и выдали зеленую армейскую форму. Им предстояло пересечь территории, где все еще бушевала гражданская война.

27 июля 1949 года бабушка, доктор Ся и ближайшие мамины друзья, бóльшая часть которых находилась под подозрением у коммунистов, пришли на вокзал, чтобы проводить моих родителей. Во время прощания маму раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она казалась себе птицей, вырвавшейся на свободу из клетки; с другой — не знала, доведется ли ей, а если доведется, то когда вновь увидеть любимых и дорогих людей, особенно мать. Путешествие предстояло опасное, Сычуань по-прежнему находилась в руках Гоминьдана. Ее отделяло невообразимое расстояние в тысячу миль, и мама не слишком надеялась когда-нибудь вернуться в Цзиньчжоу. Ей очень хотелось плакать, но она сдерживала слезы, чтобы еще больше не расстраивать мать. Когда перрон начал уплывать вдаль, папа попробовал ободрить

ее. Он сказал, что надо проявить стойкость и что как молодая студентка, "пришедшая в революцию", она должна "пройти через пять горных ущелий" — то есть полностью изменить свое отношение к семье, профессии, любви, прежнему образу жизни и физической работе, а новые взгляды можно обрести, только испытав трудности и лишения. Партия учила, что образованным людям, вроде мамы, нужно избавиться от "буржуазности" и стать ближе к крестьянам, которые составляли более восьмидесяти процентов населения страны. Мама слышала эти теории сотни раз. Она соглашалась с тем, что должна перевоспитать себя, чтобы принять участие в построении нового Китая; она даже написала стихотворение о том, как встретит "песчаную бурю". Но она жаждала нежности и понимания и не могла смириться с тем, что у мужа их не находила.

В Тяньцзине, примерно в двухстах пятидесяти милях к юго-западу, поезд остановился — здесь кончалась железнодорожная ветка... Путь пришлось продолжать пешком.

Однажды, одолев горный перевал, они очутились перед несколькими глубокими, бурными потоками. Вода доходила маме до пояса, и она с трудом удерживалась на ногах. Посреди одной из рек она споткнулась, и ее унесло бы стремниной, если бы шедший рядом мужчина не успел подхватить ее. Она чуть не разрыдалась, особенно когда увидела, что в этот самый момент другую женщину переносит через реку муж. Хотя он занимал высокую должность и имел право ехать в машине, он отказался от привилегии, чтобы идти вместе с женой.

Мой отец маму не нес. Его везли в джипе вместе с телохранителем. Ранг позволял ему пользоваться джипом или лошадью, в зависимости от ситуации. Мама долго надеялась, что он возьмет ее — или хотя бы вещи — в машину, но надежды не оправдались. Вечером того дня, когда она чуть не утонула в реке, мама рискнула выяснить с мужем отношения. Это был ужасный день. Кроме всего прочего, ее постоянно рвало. Неужели он не может хоть иногда брать жену в свой джип? Он ответил резко: такой поступок сочли бы протекционизмом, ведь ей машина не полагается. Папа твердо решил бороться с вековой китайской традицией опекания родственников. К тому же маме надлежало пройти через трудности. Когда она возразила, что ее подругу нес муж, папа ответил: это совсем другое дело, ведь подруга была старой коммунисткой. В 30-е годы она командовала партизанским отрядом вместе с Ким Ир Сеном, возглавившим впоследствии Северную Корею, и сражалась с японцами на северо-востоке. В длинном списке утрат, пережитых ею на революционном пути, значилась и гибель первого мужа, казненного по приказу Сталина. Мама, молоденькая студентка, не в праве сравнивать себя с этой женщиной, сказал мой отец. Если окружающие увидят, что ей делают поблажки, она не избежит неприятностей. "Это в твоих же интересах, — добавил он, напомнив, что решение о постоянном членстве в партии еще не принято. — У тебя есть выбор: попасть либо в машину, либо в партию, одно исключает другое".

Однажды мамин отряд должен был пробежать в полном снаряжении несколько миль до могилы основателя республики Сунь Ятсена. Вернувшись, мама почувствовала боль внизу живота. В тот вечер в проти-

воположной части города представляли пекинскую оперу с одной из прославленных китайских звезд в главной роли. Мама унаследовала от бабушки страсть к пекинской опере и с нетерпением ожидала спектакля.



Вечером она вместе с товарищами прошла пять миль до места, где показывали оперу. Отец ехал в автомобиле. По дороге боли у мамы усилились, она даже хотела повернуть назад, но все же решила продолжить путь. В середине спектакля ей стало совсем плохо. Она попросила отца отвезти ее домой на машине. Правда, о своем состоянии ничего не сказала. Он посмотрел туда, где сидел его шофер, застывший с открытым ртом, и ответил: "Неужели я должен помешать ему наслаждаться спектаклем только потому, что моя жена хочет уехать?" Мама не стала вдаваться в объяснения — просто повернулась и ушла.

Она с большим трудом добрела пешком до казарм: у нее кружилась голова, она продиралась сквозь мрак, наполненный яркими, режущими глаза звездами, словно сквозь вату. Дороги она не видела и не знала, сколько еще осталось идти. Казалось, она идет всю жизнь. В казармах никого не было. Все, кроме часовых, отправились смотреть оперу. Коекак взобравшись на кровать, она при свете лампы увидела, что штаны мокры от крови. Сознание покинуло ее. Так она потеряла своего первого ребенка.

Чуть позже появился муж. На машине он вернулся в казарму одним из первых. Он нашел жену распростертой на кровати и сначала подумал, что она просто переутомилась, но потом увидел кровь и понял, что она без сознания. Он помчался за доктором, который предположил: у нее случился выкидыш. Это был военный врач, не знавший, какие меры принимают в таких случаях, поэтому он позвонил в городскую больницу и попросил прислать карету "скорой помощи". В больнице согласились, но при условии, что им заплатят серебряными долларами и за машину, и за срочную операцию. Хотя у отца не было своих денег, он согласился без малейших колебаний. Человек "революции" автоматически получал медицинскую страховку.

Мама чуть не умерла. Ей сделали переливание крови и вычистили матку. Открыв глаза после операции, она увидела рядом с собой мужа. Первое, что она сказала: "Я хочу развода". Отец долго извинялся. Он и не подозревал, что она беременна, как, впрочем, и она сама. У нее была задержка месячных, но она посчитала это результатом изнурительного похода. Отец же, по его признанию, и вообще понятия не имел, что такое выкидыш. Он обещал изменить свое отношение к жене, быть более внимательным и неустанно твердил о своей любви.

Пока мама не могла вставать, он стирал ее испачканную кровью одежду — дело весьма необычное для китайского мужчины. Со временем мама согласилась не просить развода, но сказала, что хочет вернуться в Маньчжурию и возобновить занятия медициной. И еще сказала, что, как бы ни старалась, никогда не сможет соответствовать требованиям революции, ведь не случайно до сих пор любой ее шаг подвергался критике. "Лучше уж мне отойти в сторону", — сказала она. "Ни в коем случае! — ответил отец. — Это будет истолковано как страх перед трудностями. Тебя назовут дезертиркой, и ты лишишься будущего. Даже если тебя примут в университет, ты никогда не получишь хорошей работы. Всю жизнь тебя будут считать человеком второго сорта".

Мама еще не знала, что из системы выйти нельзя, хотя это железное правило, как и большинство других, было неписаным. Но она уловила напряжение в голосе мужа. Да, "придя в революцию", из нее уже нельзя было уйти.

Мама лежала в больнице, когда 1 октября всех их предупредили: вскоре по радио прозвучит сообщение особой важности, и его будут транслировать через громкоговорители, спешно установленные вокруг здания. Они услышали, как Мао с Ворот Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь) провозгласил основание Народной Республики. Мама плакала как ребенок. Наконец-то на свет рождался Китай, о котором она мечтала, за который боролась, на который надеялась, — этой стране она готова была посвятить всю свою жизнь. Внимая голосу Мао, говорившему, что "китайский народ поднялся на ноги", она корила себя за сомнения. Ее страдания — пустяк по сравнению с великим делом спасения Китая. Она испытывала невероятную гордость, верила в свой народ и поклялась себе, что всегда будет на стороне революции. Когда Мао закончил краткую речь, слушатели разразились радостными криками и стали бросать в воздух кепки — жест, который китайские коммунисты переняли у русских.

3 октября отряд покинул город. Силы коммунистов приближались к Сычуани. Маме пришлось остаться в больнице еще на месяц, а затем на время поправки ее поместили в роскошный особняк, ранее принадлежавший главному финансисту Гоминьдана Х. Х. Куну (Кун Сянси), свояку Чан Кайши... В конце января маме сообщили, что для нее, так же как и для других людей, оставшихся в городе из-за болезни, есть место на пароходе...

Доплыв до Трех ущелий Янцзы, где река резко сужается и начинается Сычуань, они пересели на два небольших судна, пришедших из Чунцина. На одно поместили военный груз с охраной, на другое — пассажиров.

Ущелья Янцзы называли "Воротами ада". Однажды в полдень яркое зимнее солнце вдруг исчезло. Мама выскочила на палубу, чтобы узнать, что случилось. По обе стороны реки высились гигантские отвесные скалы, склонившиеся к судну и будто готовые раздавить его. Скалы, покрытые буйной растительностью, были так высоки, что почти закрывали небо. Каждый следующий утес казался круче предыдущего, и выглядели они так, словно некогда могучий меч обрушился с неба и прорубил себе между ними дорогу...

Перед мамой открывался совершенно новый природный мир. На обрывах вдоль ущелий росли гигантские ползучие ротанги[1], добавлявшие фантастической картине еще больше экзотики. В пышной листве с ветки на ветку прыгали обезьяны. После плоской равнины вокруг Цзиньчжоу бесконечные обрывистые горы завораживали.

Иногда судно причаливало у подножия узких черных каменных ступеней, ведших к вершине горы, скрытой за облаками. Обычно неподалеку располагался какой-нибудь городок. Из-за постоянного густого тумана жители зажигали лампы с рапсовым маслом даже днем. Было

1. Лианы рода каламус (семейство пальмовых).

холодно, и с реки, и с гор дул сырой ветер. Местные крестьяне казались маме ужасно черными, тощими и маленькими, с большими круглыми глазами и острыми чертами лица. На голове они носили нечто вроде тюрбана из белой ткани. В Китае белый — цвет траура, и мама так сначала и подумала — они в трауре...



Проснувшись однажды утром, она почувствовала, как сквозь мягкий туман пробивается теплое солнце. Вдоль реки тянулись зеленые нежные холмы, мама легла, расслабилась и стала слушать, как плещется вода, ударяясь о нос судна. В тот день, накануне китайского Нового года, она приплыла в Ибинь. Город явился перед ней словно видение, парящее в облаках. Когда они стали приближаться к пристани, мама начала искать глазами отца. Наконец она различила сквозь туман его фигуру: он стоял в расстегнутом армейском пальто, за ним — телохранитель. Широкий бере́г реки покрывали песок и булыжники. Город будто карабкался вверх по холму. Некоторые дома держались на тонких деревянных сваях, казалось, они покачиваются и вот-вот рухнут.

Судно причалило. Матрос перекинул мостик, и папин телохранитель подошел и взял мамины пожитки. Мама запрыгала по трапу, и отец протянул руки, чтобы ее поддержать. На публике обниматься не позволялось, хотя мама видела, что он радуется встрече не меньше, чем она, и чувствовала себя очень счастливой.

## 8

## *"Возвращение домой в парчовых одеждах" — семья и бандиты (1949–1951)*

В Яньани отец, как и многие другие, взял себе военный псевдоним, Ван Юй. Юй значит "бескорыстный до глупости". Приехав в родной город, он стал пользоваться настоящей фамилией, Чжан, но включил в свое имя псевдоним и стал называться Чжан Шоуюй — "сохраняющий Юй".

Десять лет назад он покинул дом бедным, голодным подмастерьем, которым все помыкали; теперь, не достигнув еще и тридцати, возвращался могущественным человеком. Именно об этом традиционно мечтали китайцы, называя такие случаи и-цзинь-хуань-сян — "возвращением домой в парчовых одеждах". Его семья необычайно гордилась им, всем не терпелось узнать, как он выглядит после долгого отсутствия, потому что они слышали о коммунистах самые странные вещи. И конечно, его матери особенно хотелось увидеть новую невестку...

Отец громко смеялся и шутил — веселился, как мальчишка. Он почти не изменился, подумала его мать со вздохом счастливого облегчения. Семья вела себя традиционно сдержанно, но радость сияла в их глазах, блестящих от слез. Только младшая сестра держалась непосредственно. Оживленно разговаривая, она играла своими длинными косами, то и дело отбрасывала их за спину и наклоняла голову, чтобы добавить словам убедительности. Папа улыбался, узнавая традиционное сычуаньское девичье кокетство. За десять суровых северных лет оно почти стерлось из его памяти.

Им было о чем рассказать друг другу. В середине долгого рассказа о том, что случилось с семьей за время его отсутствия, папина мать сказала, что ее тревожит одна вещь: что будет со старшей дочерью, которая заботилась о ней, когда они жили в Чунцине. Ее муж умер, оставив надел земли, и для его обработки она наняла нескольких крестьян. О коммунистической земельной реформе ходило множество слухов, и родственники беспокоились, как бы вдову не посчитали помещицей и не отняли у нее землю. Женщины разволновались, их сетования незаметно приняли форму обвинений: "Что-то с ней станется? Как могут коммунисты так себя вести?" Папа обиделся и рассердился. Он воскликнул: "Я так ждал этого дня, чтобы поделиться с вами нашей победой. Все несправедливости позади. Сейчас время радоваться и смотреть в будущее. Но вы ни во что не верите, во всем сомневаетесь. Только ищете везде недостатки..." После чего он заплакал, как маленький мальчик. Женщины тоже разрыдались. Его слезы были вызваны разочарованием. Их чувства были сложнее — смесь сомнений и неуверенности в завтрашнем дне.

Папина мать жила на краю города в старом доме, доставшемся ей от покойного мужа. Это был довольно дорогой дом на низком фундаменте, из дерева и кирпича, отгороженный от дороги стеной. Перед входом — большой сад, а сзади — посадки благоухающих зимних вишен и густые заросли бамбука, создававшие атмосферу заколдованного царства. Дом сверкал чистотой. Окна блестели, нигде не было ни пылинки. Всюду стояла мебель из красивого сандалового дерева, густо-красного, иногда почти черного. Мама влюбилась в дом с первого взгляда, как только на следующий день после приезда перешагнула его порог.

Это было важное событие. Согласно китайской традиции, полной властью над замужней женщиной пользовалась свекровь, которой надлежало беспрекословно подчиняться. Когда женщина в свою очередь становилась свекровью, она начинала точно также тиранить собственную невестку. "Освобождение" невесток было важным направлением политики коммунистов, и ходили слухи, что коммунистические невестки — это злые фурии, помыкающие свекровями. Все семейство отца с нетерпением ожидало, как поведет себя его молодая жена.

В тот день в доме собралась вся огромная семья. Едва мама подошла к калитке, послышался шепот: "Идет, идет!" Взрослые утихомиривали детей, которые прыгали вокруг и старались хоть одним глазком посмотреть на странную коммунистическую невестку с далекого севера.

Когда мама с папой вошли в гостиную, свекровь сидела в дальнем конце комнаты на парадном квадратном резном сандаловом стуле. По обеим сторонам комнаты, усиливая атмосферу официальности, тянулись два симметричных ряда сандаловых стульев с тонкой резьбой. Между каждой парой стульев стояло по столику с вазой или каким-нибудь другим украшением. Дойдя до середины комнаты, мама увидела, что у свекрови очень спокойное лицо с высокими скулами (их унаследовал мой отец), маленькие глаза, острый подбородок и тонкий рот со слегка опущенными уголками. Она сидела, чуть опустив веки, словно медитировала. Мама медленно подошла вместе с папой к ее стулу и остановилась. Затем встала на колени и трижды ударила головой о землю. Именно это полагалось сделать в соответствии с традиционным обрядом, и все напряженно ожидали, подчинится ли ему молодая комму-

нистка. По комнате пронесся вздох облегчения. Родственники зашептали явно обрадованной хозяйке дома: "Какая замечательная невестка! Такая благородная, красивая, почтительная! Матушка, вам невероятно повезло!"



Мама гордилась своей маленькой победой. Они с папой долго обсуждали, как поступить. Коммунисты призывали покончить с земными поклонами, в которых видели унижение человеческого достоинства, но маме хотелось на этот раз сделать исключение. Отец согласился. Он не желал ни ранить свою мать, ни обижать жену — особенно после болезни, к тому же в данном случае он отводил ритуалу и совсем необычную роль: его выполнение успокоит родню и может зародить в них симпатию к коммунистам. Но сам он, вопреки ожиданиям, не поклонился.

Все женщины в папиной семье были буддистками, и одна из его сестер, незамужняя Цзюньин, верила особенно истово. Она велела маме кланяться статуе Будды, алтарям предков, которые ставились на китайский Новый год, и даже зарослям зимних вишен и бамбука позади дома. Тетя Цзюньин верила, что у каждого цветка и каждого дерева есть душа. Она просила маму отбить двенадцать поклонов бамбуку, чтобы он не зацвел — а это по китайскому поверью, предвещало несчастье. Маме все это казалось весьма забавным. Она вспомнила свое детство и увлеклась игрой. Папа ее не одобрял, но она смягчала его гнев, объясняя, что принимает участие в обрядах нарочно — чтобы привлечь людей на сторону коммунистов. Гоминьдан утверждал, что коммунисты сметут все традиции и обычаи, и, говорила мама, важно, чтобы народ видел: ничего подобного не происходит...

Вскоре маме дали работу в отделе пропаганды администрации правительства Ибиньского уезда. Она мало времени проводила на рабочем месте. Главной задачей было накормить население, и выполнить ее становилось все сложнее... Коммунисты начали посылать в деревни вооруженные продовольственные отряды, организованные из служащих и военных. Мобилизовали почти всех. В здании администрации остались только две женщины: одна сидела в приемной, а у другой только что родился ребенок.

Во время третьей экспедиции мама почувствовала тошноту и головокружение. Она опять забеременела и в Ибинь вернулась совершенно обессиленная, но возможности отдохнуть не представилось — отряду надлежало немедленно отправляться в новый поход. Было непонятно, имеют ли беременные женщины право на какие-нибудь поблажки, и мама мучилась сомнениями. Ей хотелось идти вместе со всеми, и дух самопожертвования, распространенный в то время, не допускал никаких жалоб. Но ее пугали воспоминания о выкидыше, случившемся всего пять месяцев назад. Что будет, если история повторится в дикой глуши, где нет ни врачей, ни транспорта? Кроме того, экспедиции сопровождались почти ежедневными стычками с бандитами, и нужно было уметь бегать — и бегать быстро. А у мамы голова кружилась даже при ходьбе.

И все же она решилась идти. Вместе с ней в экспедицию отправилась еще одна беременная женщина. Однажды днем отряд готовился пообедать на заброшенном дворе. Хозяин, видимо, сбежал при их приближении. Глинобитная стена высотой по плечо опоясывала заросший сорняками двор. Распахнутая деревянная калитка скрипела на весеннем ветру. В покинутой кухне повар варил отряду рис. Но тут на пороге по-

явился мужчина средних лет. Выглядел он как крестьянин: плетеные из соломы сандалии, мешковатые штаны, большой кусок ткани, заткнутый за пояс с одной стороны, и грязный белый тюрбан на голове. Он сказал, что сюда движется большая банда, известная как "Отряд широкого меча", и особенно им хочется захватить маму и вторую женщину, так как, по их сведениям, это жены больших коммунистических начальников.

Пришедший не был обычным крестьянином. При Гоминьдане он служил старостой волости, объединявшей несколько деревень, включая ту, где находился в то время отряд. Банда попыталась заручиться поддержкой бывшего старосты, и такой тактики они придерживались со всеми, кто раньше служил Гоминьдану и помещикам. Он присоединился к "Широкому мечу", но решил подстраховаться и поэтому предупредил коммунистов о скором набеге и рассказал, как лучше скрыться.

Члены отряда немедленно вскочили и побежали. Но мама и другая беременная женщина не могли бежать, поэтому староста вывел их через дыру в ограде и помог спрятаться в ближайшем стогу. Повар задержался в кухне — упаковать сваренный рис и охладить водой котел. И рис, и котел были слишком дороги, чтобы их бросать; к тому же железные котлы вообще считались большой редкостью, особенно в дни войны. Двое солдат остались в кухне помогать повару. В конце концов тот схватил рис и котел, и они втроем рванули к черному ходу. Но через переднюю дверь уже вбегали бандиты и догнали их через несколько ярдов — набросились и закололи ножами. Банда отлично видела, как убегают коммунисты, достать которых можно было, только стреляя из ружей. Ни ружей, ни снарядов у нападавших практически не имелось. Спрятанных в стогу маму и другую женщину они не заметили.

Вскоре банду поймали. И старосту тоже. Как оказалось, он был одним из предводителей банды, а также "змеей в старой норе". По законам того времени он заслуживал смертную казнь. Но ведь именно он предупредил продотряд и спас жизнь двум женщинам. В ту пору смертельные приговоры утверждались тройкой. Так случилось, что главой этой тройки был мой отец, еще одним ее членом — муж спасшейся вместе с мамой женщины, а третьим — начальник местной полиции.

Трибунал раскололся: два против одного. Муж маминой знакомой проголосовал за то, чтобы сохранить старосте жизнь. Отец и начальник полиции — за смертный приговор. Мама умоляла их пощадить старосту, но отец держался твердо, как кремень. Ведь именно на это староста и надеялся, сказал он маме: он предупредил ваш отряд о налете банды исключительно потому, что знал — в него входят жены двух крупных начальников. "У него все руки в крови", — добавил отец. Муж другой женщины бурно протестовал. "Нет, — возразил отец, стукнув кулаком по столу, — мы не можем быть снисходительными как раз потому, что дело имеет отношение к нашим женам. Если на наше решение повлияют личные чувства, в чем будет разница между старым и новым Китаем?"

Старосту казнили. Мама не могла простить этого мужу. Как можно казнить человека, спасшего столько жизней? А отец был перед ним еще и в личном долгу. На такой поступок она смотрела так, как посмотрело бы большинство китайцев: поведение отца означало, что он не ценит и не бережет ее, в отличие от мужа другой женщины.

Тем временем бабушка в Цзиньчжоу тревожилась за свою дочь. Едва получив от нее письмо о том, что она добралась до Ибиня, бабушка решила отправиться туда и удостовериться, все ли в порядке. В марте 1950 года она направилась в свой собственный "великий поход" совершенно одна.



Она ничего не знала о дальних землях огромной страны и воображала, будто Сычуань не только отрезана от остального Китая горами, но там нет самого нужного для жизни. Первым ее порывом было прихватить с собой побольше предметов первой необходимости. Но страна еще не отошла от потрясений, и повсюду продолжались сражения. Бабушка понимала: придется тащить вещи самой и много идти пешком, а это было очень трудно для женщины с бинтованными ножками. В конце концов она остановилась на одном маленьком узелке, который могла унести сама.

С тех пор как она вышла замуж за доктора Ся, ее ножки подросли. По традиции маньчжурки не бинтовали ножки, поэтому бабушка сняла бинты. Но ходить было почти так же больно. Сломанные кости, конечно, не могли срастись как следует, а ноги — приобрести правильную форму, они остались искалеченными. Бабушка хотела, чтобы ее ножки выглядели нормально, и набивала туфли ватой.

Прежде чем она отправилась в дорогу, Линь Сяося, человек, который привел ее на свадьбу моих родителей, дал ей бумагу, где говорилось, что она — мать революционерки; и благодаря этому партийные организации на всем пути следования обязаны были обеспечивать ее едой, жильем и деньгами. Она почти повторила маршрут моих родителей; часть пути проехала на поезде, часть — на грузовиках, а когда ехать было не на чем, шла пешком. Однажды она ехала на открытом грузовике вместе с другими женщинами и детьми из семей коммунистов. Едва грузовик остановился, чтобы дети могли пописать, в деревянную обшивку кузова вонзились пули. Бабушка забралась поглубже и присела на корточки, а пули свистели в нескольких дюймах над ее головой. Охрана ответила пулеметным огнем, и атака захлебнулась. Это были остатки гоминьдановских войск. Бабушка не получила ни единой царапины, но несколько детей и охранников погибли.

Когда она, одолев две трети пути, добралась до Уханя, большого города в Центральном Китае, ей сказали, что и последний отрезок — вверх по Янцзы — не менее опасен. Пришлось ждать месяц, пока обстановка не станет поспокойнее, и тем не менее их судно несколько раз обстреливали с берега бандиты. Судно, довольно старое, имело плоскую, открытую палубу, и охрана соорудила по бортам заграждения из мешков с песком высотой в четыре фута и со щелями для ружей. Оно напоминало плавучую крепость. Когда начинался обстрел, капитан гнал его вперед на всех парах, пытаясь вырваться из-под пуль, а охрана отстреливалась, лежа за мешками с песком. Бабушка спускалась в трюм и ждала конца боя.

В Ичане она пересела на судно поменьше, миновала Три ущелья и к маю подплывала к Ибиню в лодке, покрытой пальмовыми листьями, любуясь рябью на хрустальной воде и вдыхая разносимое ветерком благоухание цветущих апельсинов.

Вверх по течению лодку вели двенадцать гребцов. Они распевали арии из традиционной сычуаньской оперы и на ходу сочиняли песни о названиях деревень, мимо которых проплывали, легенды о холмах и ду-

хах бамбуковых рощ. Они пели и о своих чувствах. Бабушку больше всего позабавили игривые песни, адресованные одной из пассажирок и сопровождаемые лукавыми взглядами. Бабушка не понимала большинства выражений, потому что они были на сычуаньском диалекте, но легко улавливала смысл нескромных намеков, на которые пассажиры отвечали тихими смущенными смешками. Она слышала о характере сычуаньцев, столь же склонных к острым словечкам, как их кухня к острым приправам. Бабушка радовалась. Она не знала ни о том, что мама несколько раз оказывалась на краю гибели, ни о выкидыше.

До места добрались к середине мая. Путешествие заняло более двух месяцев. Мама, чувствовавшая себя больной и несчастной, была вне себя от счастья. Папа радовался меньше. В Ибине он впервые жил с женой вдвоем и в относительно спокойной обстановке. Едва он избавился от тещи, как она снова была тут как тут, хотя ей, с его точки зрения, полагалось находиться за тысячу миль от них. Он прекрасно понимал, что связь между ним и женой далеко не так крепка, как узы между матерью и дочерью.

Мама кипела обидой на отца. Бандиты бушевали все сильней, и были восстановлены полувоенные порядки. Оба много разъезжали и редко проводили ночь вместе. Папа большую часть времени мотался по деревням: изучал местные условия, выслушивал жалобы крестьян и занимался разными проблемами, прежде всего продовольственным снабжением. Даже в Ибине отец до поздней ночи засиживался на работе. Родители виделись все меньше и вновь начали отдаляться друг от друга.

Бабушкин приезд вскрыл старые раны. Ей дали комнату во дворе, где поселили папу с мамой. Тогда все служащие жили на полном обеспечении, называвшемся гун-цзи-чжи. Они не получали зарплаты, но государство предоставляло им жилье, пищу, одежду и предметы первой необходимости, плюс крошечную сумму карманных денег — как в армии. Все ели в столовых, где кормили плохо и невкусно. Дома готовить запрещалось, даже если имелся какой-то дополнительный источник дохода.

Сразу после приезда бабушка начала распродавать часть своих драгоценностей, чтобы покупать еду на рынке; ей особенно хотелось подкормить маму, потому что, согласно традиции, беременной женщине следовало хорошо питаться. Но вскоре к маминой начальнице, товарищу Ми, стали поступать жалобы на то, что мама ведет себя "буржуазно": пользуется особым вниманием и тратит дефицитное топливо, которое, так же как и еду, везли из деревни. Ее обвиняли в "изнеженности": присутствие матери мешало ее перевоспитанию. Папа обратился в свою парторганизацию с самокритикой и приказал бабушке прекратить готовить дома. Маму это возмутило так же, как и бабушку. "Неужели ты не можешь защитить меня хотя бы сейчас? — с горечью спросила мама. — Ребенок, которого я ношу, не только мой, но и твой, и он хочет есть!"

Со временем папа пошел на небольшую уступку: бабушка могла готовить дома дважды в неделю, но не чаще. "Даже это — нарушение правил", — сказал отец.

Оказалось, бабушка нарушила и более важное правило. Только высокопоставленные служащие имели право жить вместе с родителями, а мама такого права не имела. Ведь зарплат они не получали, и членов их семей тоже обеспечивало государство, а оно хотело уменьшить свои

расходы. Хотя отец занимал достаточно важную должность, он оставил собственную мать на попечении тети Цзюньин. Жена пыталась спорить: ее мать не будет бременем для государства, потому что живет на средства от продажи украшений, и ее пригласила к себе тетя Цзюньин. Товарищ Ми вынесла приговор: в любом случае бабушка не должна находиться здесь, и ей надлежит вернуться в Маньчжурию. Отец согласился. Мама яростно с ним спорила, но он заявил: правило есть правило, и он не собирается его нарушать. Одним из главных пороков старого Китая было то, что для человека, облеченного властью, законов не существовало, поэтому коммунисты придавали особое значение соблюдению чиновниками законов наравне с остальными. Мама рыдала. Она боялась, что у нее снова случится выкидыш. Может быть, муж подумает о ее здоровье и позволит бабушке остаться до родов? И на это он ответил отказом. "Разложение всегда начинается с подобных мелочей. Именно такие вещи разъедают нашу революцию". Маме не удалось его переубедить. Он бесчувственный, решила она. И не думает обо мне. Он меня не любит.

Бабушка уехала, и мама так и не простила этого отцу. Бабушка провела с мамой только месяц с небольшим. А ведь она тащилась через весь Китай больше двух месяцев, рискуя жизнью. Кроме того, бабушка не верила в ибиньскую медицину. Перед отъездом она пошла к тете Цзюньин и торжественно отбила поклоны, говоря, что оставляет свою дочь на нее. Тетя тоже опечалилась. Она беспокоилась за мою маму, хотела, чтобы бабушка присутствовала при родах, и попробовала смягчить брата, но тот упрямо стоял на своем.

...Отец, вечно занятый работой, находился в отъезде, когда жена 8 ноября родила первенца – девочку. Так как доктор Ся дал маме имя Дэхун, которое состоит из иероглифа "дикий лебедь" (хун) и имени поколения "мораль" (дэ), отец назвал дочь Сяохун, что значит "похожая" (сяо) на свою мать. Через семь дней после родов тетя Цзюньин наняла двух носильщиков, чтобы те перенесли маму на бамбуковых носилках из больницы в дом Чжанов. Отец вернулся несколько недель спустя и сразу заявил жене, что как коммунистка она не должна была позволять нести себя. Мама объяснила: по традиции женщина не должна ходить некоторое время после родов. На что отец возразил: а как же крестьянки, которые должны продолжать работу в поле сразу после рождения ребенка?

Мама все еще чувствовала внутренний разлад и не знала, сможет ли остаться в партии. Не имея возможности выместить гнев ни на партии, ни на отце, в своем несчастье она обвинила новорожденную дочь. После выхода из больницы моя сестра плакала не замолкая четыре ночи подряд. У мамы лопнуло терпение, она закричала на нее и довольно сильно ударила. Тетя Цзюньин, спавшая в соседней комнате, вбежала со словами: "Ты очень устала. Теперь ухаживать за ней буду я". После этого с сестрой сидела тетя. Когда через несколько недель мама вернулась на работу, сестра осталась в доме тети Цзюньин.

До сих пор мама с горечью и угрызениями совести вспоминает ту ночь. Когда она ходила навестить Сяохун, та пряталась, и мама, повторяя то, что запомнилось ей из раннего детства, проведенного в особняке генерала Сюэ, не разрешала Сяохун называть себя мамой.

Тетя нашла для малышки кормилицу. Государство оплачивало кормилицу каждому младенцу, родившемуся в семье служащих, а также

обеспечивало регулярный бесплатный медицинский осмотр. Кормилицы тоже считались государственными служащими. Они не были прислугой и даже не стирали пеленок. Государство могло себе позволить такой расход, потому что, согласно партийным правилам, касающимся "революционеров", вступать в брак позволялось только тем, кто занимал довольно высокий пост, и младенцев у них рождалось мало.

Кормилице едва исполнилось двадцать, ее собственный ребенок родился мертвым. Она вышла замуж за помещичьего сына, чья семья потеряла теперь доход с земли. Она не желала работать в поле, а хотела жить в городе, как и муж, который был здесь учителем. Через общих знакомых она нашла мою тетю, и они с мужем поселилась в доме Чжанов.

Постепенно мама начала выбираться из депрессии. После родов она получила декретный отпуск на тридцать дней, который провела у свекрови и тети Цзюньин. Вернувшись на службу, она в связи с полной переорганизацией района перешла на работу в комсомол. Ибиньский район, занимавший площадь примерно в семь с половиной тысяч квадратных миль с населением более чем в два миллиона, кроме города включал девять сельских уездов. Отец стал членом комитета из четырех человек, управлявшего всем районом, а также главой районного отдела пропаганды.

В результате реорганизации перевели на другую работу и товарища Ми, а у мамы появилась новая начальница, возглавлявшая отдел агитации города Ибиня, которому подчинялся комитет комсомола. В коммунистическом Китае, несмотря на все официальные правила, личность непосредственного начальника играла гораздо большую роль, чем на Западе. Мнение начальника – это мнение партии. Хороший начальник делал жизнь подчиненных вполне сносной.

Маминой начальницей стала женщина по имени Чжан Ситин. Они с мужем служили в частях, посланных брать Тибет в 1950 году. Сычуань была остановкой на пути в Тибет, который ханьцы (китайцы по национальности) считали медвежьим углом. Когда супруги попросили об увольнении из армии, их направили в Ибинь. Мужа звали Лю Цзетин. Он изменил старое имя на Цзетин ("связанный с Тин"), чтобы показать, как ценит свою жену. Супругов стали называть "двумя Тинами".

Весной маму сделали главой комитета комсомола, что было высокой должностью для женщины, которой не исполнилось и двадцати. К ней вернулись былые уравновешенность и энергия. В июне 1951 года была зачата я.

## 9

## *"Когда человек приходит к власти, его куры и собаки возносятся на небо" – жизнь с неподкупным человеком (1951–1953)*

Одной из основных маминых задач было обеспечивать поддержку новому правительству, особенно среди фабричных рабочих. С начала 1951 года она ездила по фабрикам, выступала с речами, выслушивала жалобы

и решала массу всяких вопросов. В ее обязанности входило объяснять молодым рабочим, что такое коммунизм, и призывать их вступать в комсомол и партию. Она подолгу жила то на одной фабрике, то на другой: считалось, что коммунисты должны "жить и работать среди рабочих и крестьян" и знать их чаяния.

Фабрика, находившаяся на окраине города, производила изоляторы. Условия жизни там, как и везде, были ужасающие, десятки женщин спали в большой лачуге, построенной из соломы и бамбука. Пища никак не соответствовала их изнурительному труду: мясо они получали только дважды в месяц. Многим работницам приходилось по восемь часов стоять в холодной воде, промывая фарфоровые изоляторы. Свирепствовал туберкулез — из-за недоедания и отсутствия гигиены. Чашки и палочки никогда как следует не мылись и сваливались в кучу.

В марте мама начала кашлять кровью. Она сразу поняла, что у нее туберкулез, но продолжала трудиться. Она была счастлива, потому что никто не вмешивался в ее жизнь, верила в то, чем занималась, и радовалась плодам своей работы: условия на фабрике улучшались, молодые работницы любили ее, а многие благодаря ей проникались идеями коммунизма. Искренне считая, что революции нужны ее преданность и самопожертвование, она выкладывалась полностью — семь дней в неделю с утра до вечера, без выходных. Но вскоре выяснилось, что она тяжело больна. В ее легких возникли четыре каверны. К тому же она была беременна.

Однажды в конце ноября мама потеряла сознание в заводском цеху. Ее спешно доставили в маленькую городскую больницу, некогда основанную иностранными миссионерами. Там за ней ухаживали китайские католики. В больнице все еще оставались европейский священник и несколько западных монахинь, носивших подобающее облачение. Товарищ Тин разрешила приехавшей к маме бабушке передавать еду, и мама ела чудовищно много: иногда за один день съедала целую курицу, десяток яиц и фунт мяса. В результате я выросла в ее чреве до гигантских размеров, а она набрала тридцать фунтов.

В больнице имелось американское лекарство от туберкулеза. Товарищ Тин ворвалась в больницу и конфисковала все его запасы для мамы. Когда отец узнал об этом, он попросил товарища Тин вернуть хотя бы половину, но та огрызнулась: "Какой в этом смысл? Его и для одного человека мало. Если вы мне не верите, спросите у врача. Кроме того, ваша жена работает под моим началом, и решения тут принимаю я".

Мама была страшно благодарна товарищу Тин за то, что та проявила такую заботу. Отец не спорил. Он разрывался между тревогой за здоровье жены и своими принципами, согласно которым интересы близких нельзя ставить выше интересов простых людей и хотя бы часть лекарства следовало оставить для других.

Я росла очень быстро, и каверны в маминых легких сократились и стали закрываться. Так считали врачи, но, по мнению мамы, ей помогло американское лекарство, добытое товарищем Тин. В больнице мама провела три месяца, до февраля 1952 года, когда ей посоветовали оттуда выписаться — "ради ее же собственной безопасности". По сведениям, полученным от одной знакомой, в доме некоего иностранного священника в Пекине нашли оружие, после чего все иностранные священники и монахини попали под подозрение.

Маме не хотелось покидать больницу, которая располагалась в чудесном дворе с красивыми кувшинками и где больных окружали профессиональный уход и чистота, редкие в Китае тех времен. Но выбора не было, и ее перевели в Народную больницу номер один. Главный врач этой больницы никогда в жизни не принимал родов. Он служил врачом в армии Гоминьдана, пока его часть не взбунтовалась и не перешла на сторону коммунистов. Он страшно волновался, ведь умри мама при родах, он окажется в незавидном положении: поводом для обвинений могут стать и его прошлое, и высокий пост, занимаемый мужем пациентки.

Незадолго перед тем днем, когда я должна была появиться на свет, врач предложил папе перевести маму в больницу бóлее крупного города, где и оборудование лучше, и есть специалисты-акушеры. Он боялся, что когда ребенок станет выходить, из-за быстрой смены давления снова откроются каверны и начнется кровотечение. Но отец отказался: его жена должна пользоваться теми же услугами, что и все остальные, ведь коммунисты поклялись покончить с привилегиями. Услышав об этом, мама с горечью подумала, что он всегда действует ей во вред и ему как будто все равно, выживет она или нет.

Я родилась 25 марта 1952 года. Случай был сложный, поэтому пригласили хирурга из другой больницы. Собралось еще несколько врачей и сестер, принесли дополнительный кислород и оборудование для переливания крови. Пришла и товарищ Тин. По традиции китайские мужчины не присутствовали при родах, но главный врач попросил папу побыть возле родовой палаты — видимо, он хотел подстраховаться. Роды были трудные. Когда показалась головка, стало ясно, что плечи у младенца слишком широкие, и он застрял. Я была слишком толстой. Сестры тянули меня за голову руками, и я вышла наружу вся синяя и едва дышала. Врачи окунули меня сначала в горячую воду, потом в холодную, подняли за ноги и сильно шлепнули. Наконец я заплакала, причем очень громко. Все облегченно рассмеялись. Я весила больше десяти фунтов. К счастью, мамины легкие не пострадали.

Женщина-врач подхватила меня и показала отцу, и первые слова его были: "О господи, у этого ребенка глаза навыкате!" Маму его замечание очень расстроило. А тетя Цзюньин сказала: "Нет, просто у нее красивые, большие глаза!"

В Китае для каждого случая предписано особое блюдо, так, женщине сразу же после родов совершенно необходимы яйца, сваренные без скорлупы в сахарном соусе со сброженным клейким рисом. Бабушка сварила их в больнице, где, как и в любой другой, имелась кухня, чтобы пациенты и их родственники могли сами себе готовить, и передала маме, как только та смогла есть.

Когда новость о моем рождении достигла доктора Ся, он сказал: "Вот и родился еще один дикий лебедь".

Мне дали имя Эрхун, что значит "второй дикий лебедь".

Дав мне имя, доктор Ся совершил одно из последних дел в своей жизни. Через четыре дня после моего рождения он умер в возрасте восьмидесяти двух лет. Он сидел в кровати и пил молоко. Бабушка на минуту отлучилась из комнаты, а когда вернулась, увидела, что молоко разлито, а чашка валяется на полу. Он умер мгновенно и без страданий.

Похороны в Китае были делом огромной важности. Простые люди часто разорялись, чтобы устроить пышную церемонию, а бабушка любила доктора Ся и хотела воздать ему должное. Она настаивала на трех вещах: во-первых, чтобы был хороший гроб; во-вторых, чтобы гроб несли на плечах, а не везли на катафалке; и в-третьих, чтобы буддийские монахи пели заупокойные сутры, а музыканты играли на соне, духовом инструменте с пронзительным звуком, без которого не обходились традиционные похороны. Отец согласился на первое и второе, но категорически отверг третье требование. Коммунисты считали подобные церемонии расточительными и "феодальными". Обычно тихо хоронили только самых незначительных людей. Шумные похороны демонстрировали уважение к усопшему и придавали событию общественное значение: без этого покойный словно бы "терял лицо". Отец заявил, что ни сонь, ни монахов не будет. Бабушка устроила ему бурную сцену. Для нее это были совершенно необходимые вещи. Во время ссоры она от гнева и горя лишилась чувств — выходило, что в самый печальный момент своей жизни ее некому было поддержать. Маме она ничего не рассказала, чтобы не расстраивать. После похорон у нее произошел нервный срыв, и она почти на два месяца попала в больницу.

Доктора Ся похоронили на кладбище на вершине холма, на краю Ибиня, над Янцзы. У его могилы росли тенистые сосны, кипарисы и камфарные деревья. За то недолгое время, что он прожил в Ибине, доктор Ся заслужил любовь и уважение всех, кто его знал...

Старость доктора Ся была счастливой. Ему очень нравился Ибинь и особенно экзотические цветы, в изобилии произраставшие в субтропическом климате, так сильно отличавшемся от маньчжурского. До самого конца он пользовался отменным здоровьем. В Ибине ему жилось хорошо: в собственном доме с двором, за который ничего не требовалось платить. О них с бабушкой заботились, щедро снабжали продуктами, доставляемыми прямо на дом. Каждый китаец, живя в обществе, где не было никакой системы социального обеспечения, мечтал о том, чтобы в старости его опекали так же, как доктора Ся. Это было немалой удачей.

У доктора Ся сложились прекрасные отношения со всеми, в том числе и с моим отцом, который глубоко уважал его за принципиальность. Доктор Ся считал отца очень знающим человеком. Он часто говорил, что повидал на своем веку многих чиновников, но ни один из них не был похож на моего отца. Известная пословица гласила: "Нет чиновника без взяток", но папа никогда не злоупотреблял своим положением, даже в интересах собственной семьи.

Мужчины разговаривали часами. Их взгляды на мораль и этику во многом совпадали, хотя у отца они были облачены в одежды идеологии, а доктор Ся оставался на позициях общечеловеческих ценностей. Однажды доктор Ся сказал отцу: "Коммунисты сделали много добра. Но вы убили слишком много людей. Людей, убивать которых не следовало". — "Кого, например?" — спросил отец. "Учителей из Общества разума".

Это была околорелигиозная секта, к которой принадлежал доктор Ся. Ее лидеров расстреляли в ходе кампании по "подавлению контрреволюции". Новый режим разгромил все тайные общества, потому что

они пользовались влиянием, что мешало коммунистам взять население под полный контроль.

"Они не делали ничего дурного, и вы не должны были трогать Общество", – сказал доктор Ся. Последовало долгое молчание. Отец попробовал защитить коммунистов, утверждая, что борьба с Гоминьданом была для революции делом жизни и смерти. Но его слова прозвучали неубедительно – он сам это понимал, хотя ни за что бы не признал ошибок партии.



## 14

## *"Папа родной, мама родная, но никого нет роднее Председателя Мао" – культ Мао (1964–1965)*

[Товарищ Тин, которая когда-то помогла матери Чжан Жун, попыталась соблазнить Чжан Шоуюя (отца автора). Семья была вынуждена переехать в Чэнду, где отец получил новую работу.]

Политика стала все больше проникать в мою жизнь с осени 1964 года, когда я пошла в школу средней ступени. В первый же день нам сказали, что нас приняли благодаря Председателю Мао, потому что при наборе применяли "классовый подход". Мао обвинял школы и университеты в том, что они принимают слишком много детей буржуазии. Теперь, учил он, преимущество должно быть отдано детям с "хорошим происхождением" (чу-шэнь хао). Это означало, что в качестве родителей, особенно отцов, было предпочтительно иметь рабочих, крестьян, солдат или партийных работников. Применение подобного "классового подхода" приводило к невероятной зависимости человека от социального положения.

Однако положение это часто бывало неясным: рабочий, некогда работавший в учреждении Гоминьдана; служащий, не относившийся ни к одной из известных категорий; интеллигент, то есть "неблагонадежный" элемент, но при этом член партии... – кем считать детей подобных родителей? Приемные комиссии зачастую шли по самому безопасному пути, то есть отдавали предпочтение детям партработников. Таковые составляли половину моего класса.

Моя новая школа – Центральная средняя № 4 – принимала учеников из всей Сычуани, показавших лучшие результаты на вступительных экзаменах. Раньше учитывались только оценки, но в год, когда поступала я, результаты экзаменов и происхождение были одинаково важны.

Я получила сто процентов по математике и, что необычно, сто с плюсом по китайскому. Отец постоянно вдалбливал мне в голову: негоже рассчитывать, что мне поможет имя родителей; а мне не нравилась мысль, что я попала в школу благодаря "классовому подходу". Но вскоре я перестала об этом думать: если так сказал Председатель Мао, значит, все как надо.

Я влюбилась в школу, как только вошла в нее. Внушительные ворота венчала широкая голубая черепичная крыша с резными коньками. В здание вели каменные ступени, балкон покоился на шести колоннах из красного дерева. Дорогу к крыльцу обрамляли симметричные ряды темно-зеленых кипарисов, что придавало атмосфере особую торжественность.

Школа существовала со 141 года до нашей эры. Это было первое учебное заведение в Китае, учрежденное местными властями. В центре возвышался величественный конфуцианский храм, хорошо сохранившийся, но не действовавший: внутри, между массивными колоннами, было установлено с полдюжины столов для пинг-понга. Перед резными дверьми, у подножия длинной лестницы, начиналась роскошная аллея. На другом ее конце, за ручьем с тремя выгнутыми мостами, перила которых были украшены фигурками миниатюрных львов и других зверей, помещался двухэтажный учебный корпус. За мостиками раскинулся прекрасный парк из платанов и персиковых деревьев. У ведущей в храм лестницы стояли огромные бронзовые курильницы, над которыми больше не вздымались крутые сизые завитки дыма; по обеим сторонам святилища разбили баскетбольную и волейбольную площадки. К ним примыкали две лужайки, где весной на большой перемене мы сидя или лежа грелись на солнышке. За храмом зеленела еще одна лужайка, а за ней — возле небольшого холма, поросшего деревьями, вьющимися кустарниками и травами, — тянулся большой фруктовый сад.

В лабораториях мы изучали биологию и химию, учились пользоваться микроскопом — исследовали внутренние органы животных. В лекционных залах нам показывали учебные фильмы. Я записалась в биологический кружок и, сопровождая учителя во время прогулок по холму и саду, изучала названия растений и их свойства. У нас были инкубаторы, мы наблюдали, как из яиц вылупляются утята, из икринок — головастики. Весной школа утопала в розовом персиковом цвету. Но больше всего я любила двухэтажную библиотеку, построенную в традиционном китайском стиле. С обеих сторон здание опоясывали балконы с изящными расписными сиденьями в форме крыльев (фэй-лай-и). У меня там был любимый уголок, и я читала часами, иногда протягивая руку, чтобы потрогать веерообразные листья серебристого гинкго. Два великолепных раскидистых дерева этой редкой породы росли перед главным входом библиотеки. Только они и отвлекали меня от чтения.

Яснее всего я помню своих учителей — лучших специалистов в своей области. Ходить на их уроки было счастьем, всегда хотелось еще и еще.

Но в школе становилось все больше политической пропаганды. Постепенно утреннюю линейку стали посвящать учению Мао, на специальных собраниях мы изучали партийные документы. Теперь в нашем учебнике китайского языка было больше агитационных материалов, чем классической литературы, и частью учебной программы стали политические тексты — в основном работы Мао.

Практически любая деятельность приобретала политическое значение. Однажды на линейке директор сказал, что мы будем делать упражнения для глаз. По его словам, Председатель Мао заметил, что слишком много школьников носят очки, дети переутомляют глаза. И

распорядился исправить ситуацию. Все мы были страшно растроганы его заботой. Некоторые плакали от благодарности. Мы стали каждое утро делать пятнадцатиминутную зарядку для глаз. Разработанные медиками движения выполнялись под музыку. Сначала мы терли различные точки вокруг глаз, а потом старательно всматривались в ряды тополей за окном – считалось, что зеленый цвет успокаивает. Наслаждаясь упражнениями и видом листвы, я думала о Мао и вновь и вновь клялась про себя в верности ему.

Чаще всего речь шла о том, что мы не можем позволить Китаю "изменить цвет", то есть перейти от коммунизма к капитализму. Раскол между Китаем и Советским Союзом поначалу замалчивался, но в 1963 году тайна выплыла наружу. Нам было сказано, что с 1953 года, с тех пор как после смерти Сталина к власти пришел Хрущев, Советский Союз находится во власти международного капитализма и русские дети вновь бедствуют и страдают – как китайские дети при Гоминьдане. Однажды, в двадцать пятый раз предупредив нас об опасности советского пути, наш учитель по идеологии сказал: "Если вы не будете осторожны, наша страна постепенно изменит цвет: сначала от ярко-красного к блекло-красному, потом к серому, а потом и к черному". По случайности, сычуаньское выражение "блекло-красный" (эр-хун) звучит точно так, как мое имя. Одноклассники захихикали, я видела, как они украдкой поглядывают на меня. И решила, что немедленно избавлюсь от своего имени. В тот вечер я упросила отца дать мне другое имя. Он предложил Чжан, что значит "проза" и "созревающий рано", тем самым выразив надежду, что я буду хорошо писать с ранних лет. Но мне это имя не нравилось. Я заявила, что хочу, чтобы имя звучало "по-военному". Многие мои друзья вставили в свои имена иероглифы, означающие "армия", "солдат". Выбор отца свидетельствовал о его познаниях в классической литературе. Моим новым именем стало Жун, малоизвестное древнее слово со значением "военный", употребляемое только в классической поэзии и в кое-каких старинных оборотах речи. Оно вызывало в воображении картины древних сражений между воинами в сияющих доспехах, с копьями, украшенными шелковыми кистями, скачущими на ржущих скакунах. Когда я появилась в школе и назвала свое новое имя, оказалось, что даже некоторые учителя не знают соответствующий иероглиф.

## 20

## *"Я не продам свою душу" – арест моего отца (1967–1968)*

[В 1966 году началась "культурная революция". Отец автора Чжан Шоуюй, сознававший, что идет на большой риск, тем не менее написал Мао письмо, где критиковал "культурную революцию".]

На третий день после того, как отец отправил Мао письмо, в дверь нашей квартиры постучали. Мама открыла. Вошли трое мужчин в мешковатой синей форме, какую носили тогда все в Китае. Отец знал одного

из них: он служил в его отделе уборщиком и был воинствующим цзаофанем[1]. Высокий пришелец с нарывами на худом лице объявил, что они, цзаофани из полиции, пришли арестовать "действующего контрреволюционера, покушающегося на жизнь Председателя Мао и 'культурную революцию'". Затем он и третий пришелец, пониже ростом и поплотнее, схватили отца за руки и подтолкнули — дескать, иди!

Они не предъявили удостоверений и уж тем более ордера на арест. Но никто не усомнился в том, что это полицейские в штатском. Их полномочия подтверждались присутствием известного отцу цзаофаня из его отдела.

Хотя они не упомянули о письме, отец понимал, что его, скорее всего, перехватили — это было почти неизбежно. Он ожидал ареста, и не только потому, что нанес оскорбление Его Величеству в письменной форме, но и потому, что теперь у власти стояли супруги Тин, которые могли санкционировать его арест. Он ясно сознавал последствия своего шага, но не мог не воспользоваться единственной, пусть и призрачной возможностью выразить свое мнение. Он молчал во время ареста и не выражал протеста, хотя чувствовалось, что нервы у него напряжены; а выходя, он ласково сказал маме: "Не держи зла на нашу партию. Верь, что она исправит свои ошибки, даже самые серьезные. Разведись со мной. Скажи детям, что я их люблю. Не пугай их".

Когда я в тот день вернулась домой, родителей уже не было. Бабушка сказала, что мама поехала в Пекин хлопотать за отца, которого увели цзаофани из его отдела. Она не произнесла слова "полиция" — это было бы слишком страшно и означало бы полную безнадежность.

Тем временем мама была на вокзале и ждала поезда, чтобы во второй раз отправиться в Пекин. Тогда, полгода назад, еще существовала какая-то надежда на справедливость, сейчас — почти никакой. Но мама решила не поддаваться отчаянию и драться до конца.

Она пришла к мысли, что единственный, к кому есть смысл обращаться, — Чжоу Эньлай. Больше никто не мог помочь. Встреча с любым другим руководителем лишь ускорила бы гибель мужа, ее самой и их близких. Она знала, что Чжоу гораздо умереннее, чем мадам Мао и Группа по делам "культурной революции", и что он имеет большое влияние на цзаофаней, которым ежедневно дает руководящие указания.

Но добиться встречи с ним было все равно что попасть в Белый дом или получить аудиенцию у Папы Римского. Даже если ее не схватят по дороге и она доберется до Пекина, даже если ей удастся попасть в нужную приемную, она не посмеет назвать имя того, с кем хочет встретиться, потому что это было бы воспринято как оскорбление других руководителей и даже как прямой выпад против них. К тому же она все время думала, прознали ли уже цзаофани о ее отъезде или нет. Ведь ей надлежало оставаться дома и ждать очередного "митинга борьбы". Надеяться можно было только на то, что одна группа цзаофаней решит, будто в данный момент ею занимается другая.

Вдруг перед ее глазами мелькнул огромный транспарант со словами "Делегация 'Красного Чэнду' едет с петицией в Пекин". Вокруг собралось человек двести, все чуть старше двадцати лет. Из надписей на про-

1. Цзаофани ("бунтари"), участники отрядов рабочей молодежи, и хунвэйбины ("красные охранники") — школьники и студенты, были призваны воплощать в жизнь "культурную революцию".

чих транспарантах она поняла, что это студенты, едущие в Пекин жаловаться на супругов Тин, и что им обещана встреча с премьером Чжоу.

Мама проскользнула вслед за "Красным Чэнду" мимо билетной стойки — на платформе уже пыхтел пекинский экспресс. Но когда она попыталась вместе со студентами пробраться в вагон, один из них ее остановил. "А вы кто такая? — закричал он. Мама, которой тогда было тридцать пять, мало была похожа на студентку. — Вы не из нашей группы. Вылезайте!"

Мама изо всех сил ухватилась за дверную ручку. "Я тоже еду в Пекин с жалобой на супругов Тин! — крикнула она. — Я давно их знаю". Студент посмотрел на нее недоверчиво. Но сзади раздались два голоса, мужской и женский: "Впусти ее! Послушаем, что она скажет!"

Мама втиснулась в набитое купе и села между мужчиной и женщиной. Они представились штабными офицерами "Красного Чэнду". Мужчину звали Юн, а женщину — Янь.

Из их речей мама поняла, что студенты мало что знали о супругах Тин. И рассказала обо всех случаях преследования людей в Ибине — еще до "культурной революции", — которые сумела вспомнить; о попытке Тин, маминой начальницы, соблазнить моего отца в 1953 году; о недавнем визите этой пары к моему отцу и его отказе сотрудничать с ними. Призналась, что супруги Тин приказали арестовать ее мужа, потому что он написал Председателю Мао о том, что таким, как они, нельзя доверять руководство Сычуанью.

Янь и Юн обещали, что возьмут ее на встречу с Чжоу Эньлаем. Всю ночь мама не сомкнула глаз, обдумывая, что и как она ему скажет.

Когда делегация прибыла на пекинский вокзал, там их уже ждал представитель премьера. Всех отвезли в правительственную гостиницу и предупредили, что Чжоу примет их завтра вечером.

На другой день, воспользовавшись отсутствием студентов, мама приготовила письменное обращение к Чжоу. Кто знал, удастся ли ей с ним поговорить, да и в любом случае лучше было подать бумагу. В девять часов вечера она вместе со студентами явилась в Дом народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Встреча проходила в Сычуаньском зале, в украшении которого в 1959 году участвовал и мой отец. Студенты сидели полукругом перед премьером. Мест не хватало, и некоторые расположились на ковре. Мама оказалась в заднем ряду.

Она знала, что ее речь должна быть лаконичной и убедительной, и, пока шло собрание, репетировала про себя. Она была слишком занята, чтобы слушать, что говорят студенты, и следила только за реакцией премьера. Он то и дело кивал, показывая, что принял к сведению услышанное, но ни разу не выразил ни одобрения, ни порицания. Только молчал, лишь время от времени отпуская общие замечания, вроде "нужно следовать за Председателем Мао", "необходимо сплотиться". Референт делал записи.

Вдруг мама услышала, как премьер говорит, словно в заключение: "Что-нибудь еще?" Она вскочила со стула. "Премьер, я хочу сказать".

Чжоу поднял глаза. Мама определенно не была студенткой. "Кто вы такая?" — спросил он. Мама назвала свои имя и должность и сразу же добавила: "Моего мужа арестовали как действующего контрреволюционера. Я приехала сюда в поисках справедливости". Затем назвала имя и должность отца.

Чжоу пристально посмотрел на нее. Отец занимал важный пост. "Студенты могут идти, — сказал он. — С вами я поговорю отдельно".

Мама жаждала поговорить с Чжоу с глазу на глаз, но решила пожертвовать этим шансом ради более важной цели. "Премьер, не позволите ли вы студентам остаться и быть моими свидетелями?" Говоря это, она вручила свое обращение сидевшему впереди студенту, который передал его Чжоу.



Премьер кивнул: "Хорошо, продолжайте".

Быстро и четко мама рассказала, что отца арестовали за письмо Председателю Мао, где он выражал несогласие с назначением супругов Тин новыми сычуаньскими руководителями, так как еще в Ибине был свидетелем их злоупотреблений. И в конце быстро прибавила: "В письме моего мужа также содержалась глубоко ошибочная оценка 'культурной революции'".

Мама тщательно обдумала эту формулировку. Она обязана была сказать Чжоу правду, но не могла процитировать слова мужа из страха перед присутствовавшими здесь цзаофанями. Ей ничего не оставалось, кроме как говорить отвлеченно: "Мой муж серьезно заблуждался в некоторых вопросах. Однако никогда не предавал свои взгляды гласности. Следуя Уставу коммунистической партии, он поделился своими мыслями с Председателем Мао. Согласно Уставу, это неотъемлемое право члена партии, и письмо не может служить поводом для ареста. Я явилась сюда в поисках справедливости".

Когда мама встретилась взглядом с Чжоу Эньлаем, она увидела: он понял, что́ написано в письме на самом деле и почему невозможно прямо сказать об этом. Он проглядел мамину жалобу, обернулся к сидящему позади референту и что-то шепнул. В зале царило гробовое молчание. Все глаза были устремлены на премьера.

Референт передал Чжоу несколько листов бумаги с грифом Государственного совета. Чжоу с трудом стал писать — много лет назад он сломал руку, упав в Яньане с лошади. Закончив, вернул бумагу референту, и тот зачитал ее вслух.

"Первое: как член коммунистической партии Чжан Шоуюй имеет право писать партийному руководству. Какие бы серьезные ошибки ни содержались в его письме, они не могут служить основанием для обвинения его в контрреволюционной деятельности. Второе: необходимо провести расследование и, как заместитель заведующего отделом пропаганды провинции Сычуань, Чжан Шоуюй должен подвергнуться критике со стороны народных масс. Третье: окончательное решение по поводу Чжан Шоуюя может быть принято только по окончании 'культурной революции'. Чжоу Эньлай".

От радости мама лишилась дара речи. Записка не была адресована новым хозяевам Сычуани, чего естественно было ожидать, поэтому она могла не передавать ее ни им, ни кому-либо другому. Значит, Чжоу хотел, чтобы она сохранила ее у себя и показывала, кому сочтет нужным.

Время шло, и в апреле отец вернулся домой. На душе у меня стало легче и веселее, но почти тотчас радость сменилась страхом. Его глаза горели странным огнем. Он не рассказывал, где был, а если вообще произносил что-либо, я с трудом разбирала слова. Он не спал и круглые сутки расхаживал по квартире, разговаривая сам с собой. Однажды он выгнал

всю семью под ливень, твердя, что нужно "пройти через революционную бурю". В другой раз, получив конверт с зарплатой, бросил его в печку и заявил, что "порывает с частной собственностью". Нам открылась страшная правда: отец сошел с ума.

Средоточием его безумия стала мама. Он набрасывался на нее, обзывая "бесстыжей" и "трусливой", обвиняя в том, что она "продала душу". Затем без всякого перехода начинал, к ее величайшему смущению, выражать при всех свои нежные чувства: признавался в горячей любви, каялся в том, что был дурным мужем, молил "простить и вернуться".

В первый день по возвращении он, подозрительно глядя на маму, спросил, чем она занималась все это время. Она сказала, что ездила в Пекин хлопотать о его освобождении. В ответ он недоверчиво покачал головой и потребовал доказательств. Она решила не рассказывать ему о записке Чжоу Эньлая. Она видела, что он не в себе, и боялась, что он отдаст записку не тем, кому следует, возможно супругам Тин, если "партия прикажет". Она даже не могла призвать в свидетели Янь и Юна, потому что отец мог счесть, что она не вправе была общаться со студентами-цзаофанями.

Он настойчиво возвращался к этой теме. Каждый день подвергал маму все новым и новым допросам, ловил на непоследовательности. Им все более овладевали подозрительность и смятение. В гневе он порой доходил до рукоприкладства. Мы, дети, хотели помочь ей, старались прибавить ее рассказам убедительности. Но когда отец начинал нас допрашивать, дело только еще больше запутывалось.

Как выяснилось позднее, в тюрьме следователи постоянно внушали ему, что, если он не напишет "признания", жена и дети откажутся от него. Добиваться признаний было обычным делом. Чтобы сломить дух жертвы, требовалось выбить из нее "повинную". Но отец сказал, что ему не в чем признаваться и он ничего не напишет.

Тогда следователи заявили, что мама от него отреклась. Когда он попросил, чтобы ему разрешили свидание с ней, то услышал в ответ, что она получила такое разрешение, но отказалась им воспользоваться, ибо "проводит черту" между собой и мужем. Когда следователи поняли, что у отца начались слуховые галлюцинации, свидетельствовавшие о шизофрении, они, обратив его внимание на слабый гул голосов в соседней комнате, заявили: мама там, но не хочет его видеть, пока он не напишет признания. Следователи очень хорошо разыграли эту сцену, и отец решил, будто и впрямь слышит мамин голос. Рассудок стал изменять ему. И все же он не оговорил себя.

Когда его освобождали, один из следователей сказал, что его отпускают домой под надзор жены, которой "партия поручила следить" за ним; дом будет его новой тюрьмой. Он не знал причины своего внезапного освобождения и в растерянности ухватился за это объяснение.

Мама понятия не имела о том, что с ним делали в тюрьме. А когда отец спрашивал ее, почему его выпустили, не могла дать удовлетворительного ответа. Она не смела сказать ему не только о записке Чжоу Эньлая, но и о том, что ходила к Чэнь Мо, правой руке супругов Тин. Отец не потерпел бы, чтобы его жена "просила подачки у Тинов". Образовался порочный круг: безвыходность маминого положения и безумие отца усугублялись тем, что подпитывали друг друга.

Мама пыталась его лечить. Обратилась в клинику при бывшем управлении провинции, потом в психиатрическую больницу. Но как только в регистратуре слышали имя отца, в ответ качали головами. Там не могли принять его без разрешения властей — и не отваживались сами просить о подобном разрешении.



Однажды в полдень мама отдыхала в спальне, а отец сидел в кабинете в своем любимом бамбуковом кресле. Вдруг он вскочил на ноги и вмиг очутился в спальне. Услышав грохот, мы ринулись вслед за ним и увидели, что он вцепился маме в горло. Мы с криками пытались оторвать его руки. Казалось, он сейчас ее задушит. Вдруг он отшвырнул ее и большими шагами вышел из комнаты.

Мама медленно села. Лицо у нее было землистого цвета. Левой рукой она прикрывала ухо. Отец разбудил ее ударом в висок. Тихо, но спокойно она сказала рыдающей бабушке: "Не волнуйся, все в порядке". Потом обратилась к нам: "Посмотрите, что с отцом, и ступайте к себе". Она прислонилась к овальному зеркалу в раме камфорного дерева, висевшему в головах кровати. В зеркале я увидела ее правую кисть, судорожно вцепившуюся в подушку. Бабушка просидела у дверей родительской спальни всю ночь. Мне тоже не спалось. Что будет, если в другой раз он запрет дверь, прежде чем напасть на маму?

Слух в левом ухе так и не восстановился — мама почти перестала им слышать. Она поняла, что оставаться дома слишком опасно, и на следующий день пошла в свой отдел — просить, чтобы ей выделили угол. Цзаофани встретили ее приветливо. Дали ей крошечную, примерно восемь на десять футов, комнатку в домике садовника в глубине сада. Воткнуть туда удалось только кровать и стол, между которыми невозможно было протиснуться.

В ту ночь мы спали в этой клетушке с мамой, бабушкой и Сяофаном — все вместе на одной кровати, не имея возможности ни вытянуть ноги, ни повернуться. У мамы усилилось маточное кровотечение. Мы очень испугались, потому что на новом месте не было плиты, чтобы стерилизовать шприц и иглу и сделать укол. От усталости я в конце концов забылась неверным сном. Но знала, что ни бабушка, ни мама не сомкнули глаз.

В течение последующих нескольких дней младший брат Цзиньмин оставался с отцом, а я жила с мамой, помогала бабушке ухаживать за ней. Соседнюю комнату занимал молодой вожак цзаофаней из маминого района. Я с ним не поздоровалась — вдруг он не хочет, чтобы к нему обращались члены семьи "попутчика капитализма". К моему удивлению, он приветствовал нас как обычно. С мамой он вел себя вежливо, хотя и суховато. После демонстративной враждебности отцовских сослуживцев-цзаофаней это было приятным сюрпризом.

Как-то утром, когда мама умывалась перед домом — внутри места не хватало, — сосед окликнул ее и спросил, не хочет ли она поменяться с ним комнатами. Его была вдвое больше нашей. Мы переехали в тот же день. Он же помог добыть вторую кровать, так что теперь мы могли спать с относительными удобствами. Нас очень тронула его забота.

У этого молодого человека, сильно косившего, была очень красивая девушка, которая оставалась с ним на ночь (по тем временам смелость почти неслыханная). От нас они, похоже, не скрывались. Да и верно — "попутчикам капитализма" не до сплетен. Утром они всегда приветливо

мне улыбались при встрече, и я видела, как они счастливы. Я поняла, что когда люди счастливы, они становятся добрее.

Мама почувствовала себя лучше, и я вернулась к отцу. Квартира была в ужасном состоянии: стекла выбиты, по всему дому валялись обломки горелой мебели и клочья одежды. Отец, казалось, был безразличен к моему присутствию; только беспрестанно описывал круги по дому. На ночь я запиралась в спальне, потому что, страдая бессонницей, он постоянно завязывал бесконечные бессмысленные разговоры. Но над дверью было слуховое окошко, которое не закрывалось. Однажды я проснулась и увидела, как он пролезает в это небольшое отверстие и ловко спрыгивает на пол. На меня он, однако, не обратил никакого внимания. Только стал хватать тяжелые предметы красного дерева и швырять о стены. В своем безумии он стал нечеловечески ловок и силен. Жизнь с ним превратилась в кошмар. Неоднократно я собиралась бежать к маме, но совестно было оставить его.

Несколько раз он набрасывался на меня с побоями, чего никогда не случалось раньше, и я пряталась во внутреннем дворике под окнами нашей квартиры. Холодными весенними ночами я с отчаянием ожидала, когда наконец он уснет и наверху все стихнет.

Однажды он куда-то исчез, и, охваченная дурным предчувствием, я выбежала из квартиры. По дороге я встретила соседа, который спускался с верхнего этажа. Некоторое время тому назад мы перестали здороваться во избежание неприятностей, но тут он сам со мной заговорил: "Я видел, как твой отец лезет на крышу".

В доме было пять этажей. Я помчалась наверх. Слева над лестничной площадкой было прорезано небольшое окошко, выходившее на плоскую черепичную крышу соседнего четырехэтажного дома. Крышу обрамляло низкое железное ограждение. Подтянувшись и выглянув в окно, я увидела, что отец стоит на самом краю крыши. Мне показалось, что он уже занес над ограждением левую ногу.

"Папа", — позвала я дрожащим голосом, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Я инстинктивно поняла, что его нельзя пугать. Он замер, а потом обернулся ко мне: "Что ты здесь делаешь?" — "Пожалуйста, помоги мне пролезть через окно".

Каким-то образом мне удалось подманить его поближе. Я схватила его за руку, и мы перебрались на лестничную площадку. Меня трясло. Его душа словно пробудилась, лицо приняло почти нормальное выражение, исчезла обычная маска пустого безразличия, прояснился безумный невидящий взгляд вечно вращающихся глаз. Он отнес меня вниз, положил на диван и даже достал полотенце, чтобы вытереть мне слезы. Но рассудок вернулся к нему лишь на мгновение. Не успев опомниться от пережитого, я вынуждена была бежать со всех ног, потому что он опять на меня замахнулся.

Вместо того чтобы позволить отцу лечиться, цзаофани потешались над его безумием. Они выпускали "сериал" из дацзыбао[1], называвшийся "Подлинная история сумасшедшего Чжана", авторы которого разили своего бывшего сотрудника стрелами иронии и сатиры. Каждый второй день новые дацзыбао вывешивались на самом видном месте — ря-

1. Настенные плакаты, орудие борьбы "народных масс" в 50–70-е гг.; букв.: "газета с большими иероглифами".

дом со входом в отдел — и собирали целую толпу любопытных. Я тоже заставляла себя их читать, не обращая внимания на окружающих, многие из которых меня знали. Я слышала, как они шепотом просвещают остальных, кто я такая. Сердце у меня бешено колотилось от гнева и невыносимой боли за отца, но я знала, что о моей реакции будет доложено его преследователям. Я старалась сохранять спокойствие, чтобы показать, что мы не сдаемся. Я не испытывала ни страха, ни унижения — только одно презрение.



Что превращало людей в чудовищ? Зачем нужна была вся эта бессмысленная жестокость? Именно тогда поколебалась моя преданность Мао. Раньше, когда я наблюдала, как преследуют других, у меня не было полной уверенности в их невиновности. Но уж своих родителей я знала. В душу мою стали закрадываться сомнения, однако на этой стадии я, как и многие другие, в основном винила его жену и Группу по делам "культурной революции". Сам Мао, богоподобный император, был, как и прежде, выше подозрений.

Мы видели, что отец с каждым днем угасает душевно и физически. Мама вновь обратилась к Чэнь Мо. Он обещал помочь. Но время шло, и ничего не происходило: молчание, должно быть, означало, что ему не удалось выпросить у супругов Тин разрешение на лечение. В отчаянии мама отправилась в штаб-квартиру "Красного Чэнду" к Янь и Юну.

В Сычуаньском медицинском институте главенствующие позиции принадлежали ячейке "Красного Чэнду". При институте имелась психиатрическая больница, куда отца положили бы, если б в "Красном Чэнду" замолвили за него словечко. Янь и Юн отнеслись к маминой просьбе весьма сочувственно, но для начала им требовалось заручиться поддержкой своих товарищей.

Мао объявил гуманизм "буржуазным лицемерием", не говоря уж о том, что жалость к "классовым врагам" считалась непростительной слабостью. Янь и Юн обязаны были дать политическое обоснование необходимости лечить отца. И такое обоснование нашлось: он был жертвой преследований супругов Тин. У "Красного Чэнду" появлялось оружие против них, которое, как знать, даже могло помочь их свергнуть. А это, в свою очередь, сулило победу над "Двадцать шестым августа"[1].

Существовала и иная причина. Мао призвал к тому, чтобы в новые революционные комитеты наряду с цзаофанями и военными вошли "революционные кадры". И "Красный Чэнду", и "Двадцать шестое августа" искали чиновников, которые представляли бы их в сычуаньском ревкоме. К тому же цзаофани начинали понимать, как сложна политика и как трудно управлять людьми. Им требовались опытные политики-советники. В "Красном Чэнду" сочли, что отец — идеальный кандидат, и дали добро на лечение.

В "Красном Чэнду" знали, что отца обвиняют в клевете на Мао и "культурную революцию" и что его заклеймила сама мадам Мао. Однако все эти обвинения выдвигались в дацзыбао, где истина часто перемешана с ложью. Следовательно, их можно было спокойно игнорировать.

1. Одна из основных группировок цзаофаней в районе Чэнду.

Отца положили в психиатрическую больницу при Сычуаньском мединституте. Она располагалась в пригороде Чэнду, среди рисовых полей. Над кирпичными стенами и железными воротами покачивались бамбуковые листья. За вторыми воротами скрывался двор, поросший мхом, — здесь жили врачи и сестры. В дальнем конце двора стояло двухэтажное здание из красного песчаника, обращенное во двор слепой стеной и огороженное широким и высоким забором, туда вело несколько ступенек. Только по этим ступенькам и можно было попасть внутрь — в палаты психлечебницы.

Явившиеся за отцом двое санитаров (белых халатов на них не было) сказали, что должны отвести его на очередной "митинг борьбы". Когда добрались до больницы, отец стал вырываться. Они затащили его в пустую каморку и закрылись там, чтобы мы с мамой не видели, как на него натягивают смирительную рубашку. У меня сердце разрывалось от того, как грубо с ним обращаются, но я понимала: это для его же блага.

Психиатр, доктор Су, мужчина лет тридцати со спокойным лицом и суховатой профессиональной манерой держаться, сказал маме, что понаблюдает за отцом в течение недели, прежде чем поставит диагноз. В конце недели он пришел к выводу — шизофрения. Отца лечили электрошоком и инъекциями инсулина, для чего привязывали к кровати. Через несколько дней рассудок стал возвращаться к нему. Со слезами на глазах он молил маму, чтобы она упросила врача сменить лечение. "Это такая боль, — повторял он дрожащим голосом. — Лучше умереть". Но доктор Су объяснил, что другого метода не существует.

Когда я пришла в следующий раз, отец уже сидел на кровати и болтал с мамой, Янь и Юном. Все улыбались, он даже смеялся. И выглядел хорошо, как прежде. Я убежала в туалет, чтобы выплакаться.

По приказу руководителей "Красного Чэнду" отцу давали особую пищу, при нем круглосуточно дежурила медсестра. Янь и Юн часто навещали его вместе с сотрудниками из его отдела, которые ему сочувствовали и сами попали под удар группы товарища Шао. Отец очень хорошо относился к Янь и Юну; и хотя порой бывал не наблюдателен, на этот раз приметил, что у них роман, и очаровательно их поддразнивал. Я видела, как им это нравится. Наконец, думала я, кошмар позади. Теперь, когда отец здоров, нам не страшны никакие невзгоды.

Лечение продолжалось около сорока дней. К середине июля отец поправился окончательно, и его выписали. Им с мамой предоставили квартиру с отдельным двориком в университете Чэнду. У ворот стояли студенты-часовые. Отцу дали псевдоним и велели днем не покидать пределы двора из соображений безопасности. Мама приносила готовую еду из особой кухни. Янь и Юн приходили каждый день, как и вожди "Красного Чэнду", державшиеся исключительно вежливо.

Я часто просила у кого-нибудь велосипед и, с час поколесив по разбитым деревенским дорогам, приезжала к родителям. Отец, казалось, пребывал в мирном расположении духа. Он непрерывно повторял, как благодарен студентам за помощь в лечении.

С наступлением сумерек его выпускали наружу, и мы долго бродили по кампусу в сопровождении пары охранников, следовавших в отдалении. Гуляли по аллеям, обрамленным кустами китайского жасмина. Белые цветы величиной с кулак, овеваемые летним ветерком, источали

дурманящее благоухание. Мы словно очутились в безмятежном сне, далеко от ужаса и жестокости. Я понимала, что это такая особая тюрьма, но мечтала, чтобы отец остался в ней навсегда.



Однажды ночью в конце сентября 1967 года машина отвезла его и маму домой. Янь и Юн не могли больше оберегать его — проводили до дверей и распрощались.

Родители немедленно угодили в лапы супругов Тин и группы товарища Шао. Супруги Тин дали понять, что будущее сотрудников зависит от того, какую позицию они займут по отношению к отцу. Товарищу Шао была обещана во вновь организуемом сычуаньском ревкоме такая же должность, как у отца, если она ему "хорошенько задаст". Проявлявшие к нему сочувствие сами попадали под огонь.

Однажды к нам пришли двое мужчин из группы товарища Шао и увели отца на "митинг". Некоторое время спустя они вернулись и велели нам с братьями пойти привести его домой.

Отец полулежал во дворе своего отдела, опершись о стену, — видно, пытался встать на ноги. Лицо превратилось в один сплошной синяк, голова была наполовину обрита.

На самом деле никакого "митинга" не было. Едва отец появился, его немедленно затолкали в комнатку, где на него набросилось с полдесятка незнакомцев спортивного телосложения. Дубасили кулаками, били ногами, стараясь попасть в пах. Лили в рот и нос воду, а затем пинали в живот. Отец потерял сознание.

Когда он очнулся, истязатели исчезли. Его мучила жажда. Он выполз из комнаты и зачерпнул воды из лужи во дворе. Попробовал встать, но не удержался на ногах. По двору ходили люди из группы товарища Шао, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы ему помочь.

Громилы были из группировки "Двадцать шестое августа" — из Чунцина, который находится в ста пятидесяти милях от Чэнду. Там шли упорные бои, через Янцзы летали артиллерийские снаряды. После того как "Двадцать шестое августа" вытеснили из города, многие его члены бежали в Чэнду, кое-кого поселили в нашем блоке. Они изнывали от бездействия и заявили товарищу Шао, что "у них чешутся руки — надоела 'вегетарианская' жизнь, пора отведать крови и мяса". Им предложили расправиться с отцом.

В ту ночь отец, который никогда раньше, что бы ни случилось, не издавал ни стона, буквально выл от боли. На следующее утро мой четырнадцатилетний брат Цзиньмин примчался к открытию кухни, чтобы одолжить там тачку и отвезти отца в больницу. Сяохэй, которому тогда было тринадцать, купил машинку и сбрил оставшиеся на голове у отца волосы. Увидев в зеркале свою лысую голову, отец криво улыбнулся: "Это хорошо. На следующем митинге меня точно не будут таскать за волосы".

Мы погрузили отца в тачку и привезли в расположенную неподалеку травматологическую больницу. На этот раз нам не потребовалось дозволения на осмотр — недуг не имел отношения к рассудку. Психическая болезнь считалась делом тонким, у костей же не было идеологической окраски. Доктор принял нас очень тепло. Наблюдая, как осторожно он прикасается к отцу, я ощутила ком в горле. Столько раз я видела, что людей толкают, топчут, бьют, и так редко — доброту.

В течение почти двух лет — с конца 1967 до октября 1969 года — маму то сажали в самые разные тюрьмы, то выпускали на волю. Условия содержания зависели в основном от надсмотрщиц. Некоторые обращались с ней хорошо — когда никто не видел. Одна из них, жена военного, доставала ей лекарство от кровотечений. Она же попросила мужа, получавшего особый паек, каждую неделю приносить маме молоко, яйца и курятину.

Благодаря добрым стражницам маму несколько раз отпускали на несколько дней домой. Супруги Тин узнали об этом и заменили их новой, с кислым выражением лица, пытавшей и мучившей ее в свое удовольствие. Она то и дело заставляла маму часами стоять во дворе согнувшись. Зимой мама стояла на коленях в ледяной воде, пока не теряла сознание. Дважды она пытала маму так называемой "тигровой скамьей": нужно было сесть на узкую скамью, вытянув перед собой ноги. Туловище привязывали к столбу, а бедра — к скамье, чтобы нельзя было пошевелиться; под пятки засовывали кирпичи. Делалось это, чтобы сломать коленные чашечки или кости таза. Двадцать лет назад в Цзиньчжоу маме угрожали такой же пыткой в застенках Гоминьдана. На этот раз пытку "тигровой скамьей" не удалось довести до конца потому, что тюремщице не хватало сил впихнуть нужное количество кирпичей, а мужчины ей сначала неохотно помогали, но потом отказались. Годы спустя этой тюремщице поставили диагноз "психопатия" и определили на принудительное лечение в психбольницу.

Мама подписала много "признаний" в том, что, дескать, сочувствовала "капиталистическому пути развития". Однако ни разу не предала отца и отрицала все обвинения в "шпионаже", которые, как она понимала, неизбежно навлекут беду и на других людей.

Когда она сидела под арестом, нам, детям, обычно не разрешали свиданий и даже не сообщали, где она. Я бродила по улицам возле мест возможного заточения, надеясь увидеть ее хоть на миг.

Одно время маму держали в заброшенном кинотеатре на главной торговой улице города. Иногда нам дозволялось передать через надзирательницу гостинец или увидеть маму на несколько минут, но всегда под надзором тюремщиков. Когда дежурила злая надсмотрщица, она не сводила с нас своего леденящего взгляда. Как-то осенним днем 1968 года я принесла передачу, но ее не взяли без всяких объяснений. Только сказали, чтобы я больше ничего не приносила. Услышав это, бабушка лишилась чувств. Она решила, что дочь умерла.

Мы терзались неизвестностью. Не выдержав, я взяла за руку своего шестилетнего братика Сяофана, и мы пошли к кинотеатру. Ходили туда-сюда перед воротами и глядели на окна второго этажа. В отчаянии мы истошно кричали: "Мама! Мама!" На нас глазели прохожие, но мне было не до них. Я так хотела увидеть ее. Брат плакал. Но мама не отозвалась.

Годы спустя она призналась, что слышала нас. Надзирательница-психопатка даже приоткрыла окно, чтобы наши голоса доносились громче. Маме объявили, что, если она согласится донести на отца и признается в том, что она гоминьдановская шпионка, нас немедленно впустят. "А иначе, — грозила тюремщица, — ты не выйдешь отсюда никогда". Мама сказала: "Нет". Чтобы сдержать слезы, она так крепко сжимала кулаки, что ногти впивались в ладони.

## 22

# "Преобразование мышления через труд" – в отрогах Гималаев (январь–июнь 1969)

Бабушка приближалась к своему шестидесятилетию, и боль в конце концов взяла верх над ее стоицизмом. Болело все тело, но мучительнее всего – уши. Врачи в участковой поликлинике считали, что причина скорее всего в нервах и что единственное лекарство – положительные эмоции. Но я все же повезла ее в больницу, находившуюся в получасе ходьбы от Метеоритной улицы[1].

Новых хозяев жизни, передвигавшихся на автомобилях с личными шоферами, мало заботило существование простых людей. Автобусы в Чэнду не ходили – революции это было не важно; а велорикш запретили – чтоб не эксплуатировать человека человеком. Бабушка не могла идти, пришлось усадить ее на багажник велосипеда, покрытый подушкой. Она держалась за сиденье, я толкала велосипед, Сяохэй поддерживал ее, а Сяофан сидел на раме.

Больница все еще работала благодаря профессионализму и жертвенности некоторых сотрудников. На кирпичных стенах красовались огромные лозунги, написанные их более воинственными коллегами, где разоблачались те, кто "использует работу для подавления революции" – таково было стандартное обвинение в адрес людей, не переставших трудиться. У принимавшего нас врача дергались веки, под глазами залегли глубокие тени, видимо, вследствие крайнего утомления: пациенты шли толпами, нервы были напряжены – все боялись политических нападок. Больница не могла вместить поток угрюмых мужчин и женщин с синяками на лицах, кое-кто лежал на носилках со сломанными ребрами – все это были жертвы "митингов борьбы".

Никто из врачей не мог понять, что происходит с бабушкой. Не было ни рентгеновского аппарата, ни какого-либо другого оборудования, чтобы всерьез ее обследовать, – все было сломано. Бабушке дали болеутоляющее, оно не помогло, и ее положили в больницу. Палаты были переполнены, кровати стояли и в коридоре. Несколько медсестер, носившихся между больными, явно не справлялись с таким объемом работы, и я решила остаться с бабушкой.

Я принесла из дома посуду, чтобы готовить для нее, а также бамбуковый матрас, который расстелила под ее кроватью. Ночью я часто просыпалась от стонов, тогда вылезала из-под тоненького покрывала и делала ей массаж, на время облегчавший боль. Под кроватью особенно сильно ощущался смрад – все вокруг пропахло мочой. Рядом с каждой кроватью стоял ночной горшок. Бабушка была крайне чистоплотна и даже по ночам упорно добиралась до туалета, находившегося в конце коридора. Но остальные пациенты не осложняли себе жизнь, а горшки часто не опорожнялись сутками. Сестры были слишком перегружены, чтобы следить за подобными мелочами.

1. Улица в Чэнду, куда семью автора выслали из дома в годы "культурной революции". Названа так, потому что на это место упал метеорит.

Окно рядом с бабушкиной кроватью выходило на сквер перед больницей. Он весь зарос сорняками, деревянные скамейки покосились. Впервые бросив туда взгляд, я заметила детей, ломавших ветки маленькой магнолии, на которой еще осталось два-три цветка. Взрослые проходили мимо не реагируя. Вандализм так распространился в повседневной жизни, что стал восприниматься как норма.

Однажды я увидела в открытое окно, как с велосипеда слезает мой друг Бин. У меня заколотилось сердце, к щекам прилила кровь. Я быстро посмотрелась в оконное стекло. Погляди я на людях в настоящее зеркало, сразу прослыла бы "буржуазным элементом". На мне был жакет в бело-розовую клетку — рисунок, только-только разрешенный для девушек. Опять дозволялось носить длинные волосы, но заплетенные в две косы, и я часами мучилась сомнениями, как их лучше заплести: поближе или подальше одну от другой? Оставить кончики прямыми или завитыми? Побольше заплести или побольше распустить? Существовало бесконечное множество едва заметных вариантов. Прически и одежда не регулировались государственными актами. Правила определялись тем, что вокруг носят в данный момент, и из-за узости этого диапазона люди придавали значение мельчайшим отличиям. Верхом изобретательности было выглядеть необычно, привлекательно и в то же время так, чтобы никто не мог ткнуть пальцем и сказать, где допущена ересь.

Я все еще размышляла над тем, как выгляжу, когда Бин вошел в палату. В его внешности не было ничего особенного, но чем-то он выделялся из толпы. Может быть, легкой усмешкой, редкой в те лишенные юмора годы. Меня сильно к нему тянуло. До "культурной революции" его отец был главой местной администрации, но Бин отличался от детей большого начальства. "С какой стати я должен ехать в деревню?" — возмутился он и в самом деле сумел достать справку о "неизлечимой болезни". Он первый показал мне, что такое свободное мышление, иронический, пытливый ум, ничего не принимающий на веру. Первый поставил передо мной вопросы, над которыми я боялась думать раньше.

До тех пор я гнала от себя мысли о любви. Преданность семье, которая только обострялась жизненными лишениями, заставляла забыть обо всем остальном. Хотя во мне всегда существовала другая, сексуальная личность, жаждущая вырваться на свободу, мне удавалось держать ее под контролем. Знакомство с Бином едва не привело меня к потере душевного равновесия.

В тот день Бин появился в бабушкиной палате с синяком под глазом. Он сказал, что ему только что врезал Вэнь, парень, который недавно сопровождал из Ниннаня девочку, сломавшую ногу. О драке Бин упомянул с подчеркнутым безразличием, зато не без самодовольства заявил, что Вэнь просто приревновал меня к Бину, потому что я уделяю ему больше внимания и времени. Потом мне случилось узнать, что об этом думает Вэнь: по его словам, он ударил Бина, потому что не мог стерпеть "его победоносной ухмылки".

В вечер выписки бабушка почувствовала острую боль в пояснице. Она уже не могла сидеть на багажнике велосипеда, поэтому Сяохэй отвез на нем домой одежду, полотенца, тазы, термосы и кухонные принадлежности, а я тихонько вела бабушку по улице, осторожно поддерживая. Вечер был душный. Даже медленная ходьба причиняла ей страшную боль,

о чем свидетельствовали закушенные губы и дрожь — она старалась не стонать. Я пыталась отвлечь ее разговорами, пересказывала всякие истории и сплетни. На платанах, некогда отбрасывавших густую тень на тротуары, теперь торчали лишь редкие жалкие веточки: за три года "культурной революции" их ни разу не подрезали. Время от времени на пути попадались полуразрушенные здания — свидетельство жестоких боев между группировками хунвэйбинов.

За час мы преодолели всего полпути. Вдруг небо потемнело. Резкий порыв ветра взметнул в воздух пыль и обрывки дацзыбао. Бабушка закачалась. Я крепко ее держала. Грянул ливень, и в один миг мы промокли до нитки. Укрыться было негде, мы продолжали брести. Облеплявшая тело одежда мешала двигаться. Я почувствовала, что задыхаюсь и мне все тяжелее поддерживать крошечную, худенькую бабушку. Дождь с шумом падал и шлепал по лужам, ветер хлестал по нашим мокрым телам, я вся продрогла. Бабушка зарыдала: "О небо, дай мне умереть! Дай мне умереть!" Мне тоже хотелось плакать, но я только сказала: "Бабушка, скоро мы будем дома..."

Тут я услышала колокольчик. "Эй, хотите подвезу?" Остановилась велосипедная тележка; за рулем сидел молодой парень в расстегнутой рубашке, по лицу струился дождь. Он слез и перенес бабушку в кузов, где уже лежал свернувшись калачиком старик, который кивнул при виде нас. Молодой человек сказал, что это его отец, которого он везет домой из больницы. Он высадил нас у дверей дома, на мои многословные выражения глубокой благодарности ответил беззаботным "пустяки" и скрылся во тьме под дождем. Из-за ливня я так и не спросила его имя.

Через два дня бабушка уже была на ногах и хлопотала на кухне, раскатывая тесто для пельменей. Затем взялась за уборку и, как всегда, работала, не давая себе продыху. Я видела, что она переутомляется, просила лечь в постель, но безуспешно.

Наступило уже начало июня. Бабушка твердила, что мне пора уезжать, и настаивала на том, чтобы Цзиньмин тоже отправился со мной в деревню, потому что недавно я сильно болела. Хотя Цзиньмину исполнилось шестнадцать лет, его еще не приписали к коммуне. Я послала сестре телеграмму в Ниннань с просьбой приехать, чтобы ухаживать за бабушкой. Сяохэй, которому тогда было четырнадцать, пообещал справиться и сделать все что нужно, и семилетний Сяофан торжественно поклялся в том же.

Когда я пришла прощаться, бабушка заплакала. Она сказала, что не знает, доведется ли ей еще увидеть меня. Тогда я погладила отощавшую руку с проступившими венами и прижала к щеке. Глотая слезы, я сказала, что скоро вернусь.

## 23

## *"Чем больше книг читаешь, тем глупее становишься" — я работаю крестьянкой и "босоногим врачом" (июнь 1969–1971)*

Когда мы с Цзиньмином, проведя в дороге больше недели, добрались до дома, то увидели только пустую кровать. Я вспомнила, как обессилен-

ная бабушка со впалыми щеками, с распущенными, но аккуратно причесанными волосами лежала на ней, кусая губы. Она боролась со смертельным недугом молча, спокойно, не крича, не извиваясь от боли. Из-за ее выдержки я не осознавала, как тяжела болезнь.

Маму продолжали держать в заключении. То, что Сяохэй и Сяохун рассказали о последних днях бабушки, было так ужасно, что я попросила их замолчать. Только через долгие годы я узнала, что произошло после моего отъезда. Бабушка понемногу занималась домашним хозяйством, но то и дело возвращалась в кровать и лежала с застывшим лицом, борясь с болью. Она постоянно шептала, что беспокоится, как я добралась до места, и боится за моих младших братьев. "Кем вырастут мальчики без школы?" — вздыхала она.

Однажды она не смогла встать с кровати. Вызвать врача на дом было невозможно, и парень моей сестры, Очкарик, отнес ее в больницу на спине. Сестра шла рядом, придерживая бабушку. Так было раз, потом другой. После нескольких визитов доктора попросили их больше не являться. Сказали, что не находят у нее никакой болезни и ничем не могут помочь.

Она лежала в постели и ждала смерти. Жизнь уходила из нее по капле. Губы временами шевелились, но ни сестра, ни братья ничего не могли разобрать. Много раз они ходили туда, где сидела под арестом мама, и умоляли отпустить ее домой. Но возвращались ни с чем, не получив даже свидания.

Казалось, все бабушкино тело умерло. Но глаза оставались открыты и смотрели выжидательно. Она отказывалась их закрыть, не повидав дочь.

Наконец маму отпустили. В течение последующих двух дней она не отходила от постели бабушки, которая все время нашептывала ей что-то. Оказывается, она рассказывала, как заболела.

Соседи, входившие в группу товарища Шао, провели против нее "митинг борьбы" во дворе. Квитанцию на драгоценности, пожертвованные ею государству в годы войны в Корее, конфисковали какие-то хунвэйбины, явившиеся с обыском. Они называли бабушку "вонючей представительницей эксплуататорского класса" — дескать, откуда бы иначе взялись все эти драгоценности. Потом поставили на маленький столик. Земля была неровная, столик покачивался, голова кружилась, соседи кричали. Женщина, обвинявшая Сяофана в изнасиловании своей дочери, от злости ударила по одной из ножек столика палкой. Потеряв равновесие, бабушка упала спиной на твердую землю. Вот с того времени ее и не отпускала страшная боль в пояснице.

На самом деле ничего такого не было. Бабушку преследовало видение, преследовало до последнего вздоха.

На третий день после маминого возвращения она умерла. Как только бабушку кремировали два дня спустя, маме пришлось вернуться в тюрьму.

С той поры мне часто снится бабушка, и я просыпаюсь в слезах. Она была незаурядной личностью — энергичной, талантливой, замечательно умной. Но ее способности не нашли применения. Дочь тщеславного полицейского из маленького городка, наложница генерала, мачеха в большой семье, раздираемой враждой, мать и теща двух чиновников-коммунистов — ничто из этого не принесло ей счастья.

Жизнь с доктором Ся была омрачена тенью прошлого, они с мужем страдали от бедности, пережили японскую оккупацию, гражданскую войну. Она могла бы обрести счастье во внуках, но слишком тревожилась за их будущее. Бóльшую часть жизни она провела в страхе и много раз лицом к лицу встречалась со смертью. Она была сильной, но в конце концов несчастья, обрушившиеся на моих родителей, беспокойство за внуков, грязная пена человеческой вражды — все это сломило ее. Самым невыносимым для нее оказались страдания дочери. Душой и телом ощущала она каждый укол боли, причиняемой маме, и умерла, в сущности, от горя.

Конечно, были и другие, более простые причины: отсутствие медицинской помощи и дочернего ухода, да что там — даже смертельно заболев, она не могла видеться с дочкой. И все из-за "культурной революции". Как может революция быть благом, спрашивала я себя, если она приносит невинным людям столько зла? Я говорила себе вновь и вновь, что ненавижу "культурную революцию", но мне становилось только хуже оттого, что я ничего не могла поделать.

Я упрекала себя за то, что не ухаживала за бабушкой по-настоящему. Как раз когда она лежала в больнице, я познакомилась с Бином и Вэнем; дружба с ними и отвлекла, и отдалила меня от бабушки, чувства притупились — я не понимала меры ее страданий. Я сказала себе, что стыдно было испытывать радость, когда рядом, как мне стало понятно теперь, бабушка лежала на смертном одре. Я решила никогда не влюбляться. Только самоотречением, думала я, можно хоть отчасти искупить вину.

Следующие два месяца я провела в Чэнду вместе с подругой Нана и сестрой, отчаянно пытаясь где-нибудь поблизости найти "родственника", который согласился бы взять нас к себе в коммуну. Найти его нужно было прежде, чем уберут осенний урожай, когда распределялись пайки, иначе нам нечего было бы есть в следующем году — государственное довольствие кончалось в январе.

Когда ко мне пришел Бин, я была очень холодна с ним и просила больше не появляться. Он писал, но я бросала письма в печку не вскрывая — жест, почерпнутый мною, наверное, из русских романов. Вэнь приехал из Ниннаня с моей регистрационной книжкой и багажом, но я отказалась повидаться. Однажды встретив его на улице, я посмотрела ему прямо в глаза, словно не узнавая, и прочла в них растерянность и обиду.

Вэнь вернулся в Ниннань. Летом 1970 года рядом с деревней, где он тогда находился, начался лесной пожар. Они с другом бросились гасить его, вооружившись метлами. Порыв ветра бросил в лицо другу огненный шар, изуродовав на всю жизнь. Оба они бежали из Ниннаня в Лаос, где шла партизанская-война. В то время многие дети крупных чиновников перебирались тайно в Лаос и Вьетнам, чтобы сражаться с американцами, — вопреки правительственному запрету. Такие молодые люди верили, что могут вернуть себе юношеский адреналин, воюя с "американскими империалистами".

Однажды, уже в Лаосе, Вэнь услышал сирену, предупреждавшую о налете американских самолетов. Он выскочил с автоматом в руках, но по неопытности наступил на мину, установленную его же собственными товарищами. Его разнесло в клочья. Мое последнее воспоминание о нем — грязная чэндуская улица, растерянный и раненый взгляд.

После года жизни в Дэяне[1] произошла перемена: я вступила в ряды медиков. Сельскохозяйственная бригада, к которой была прикомандирована моя деревня, располагала собственной поликлиникой, где лечили кое-какие несложные заболевания. Поликлинику вместе содержали деревни, входившие в бригаду, и за лечение, правда, примитивное, больные не платили. В поликлинике работали двое врачей. Один из них, молодой человек с тонким, умным лицом, в пятидесятые годы закончил в уезде Дэян мединститут и вернулся практиковать в родную деревню. Другой, мужчина средних лет с бородкой, — начинал учеником у старого деревенского доктора, знатока традиционной китайской медицины, но в 1964 году коммуна послала его повышать квалификацию — он прошел экспресс-курс западной медицины.

В начале 1971 года руководство коммуны распорядилось, чтобы поликлиника взяла на работу "босоногого врача". Название подразумевало, что врач должен жить так же, как крестьяне, которые берегли обувь и не надевали ее на работу в поле. В то время в разгаре была пропагандистская кампания, превозносившая "босоногих врачей" как изобретение "культурной революции". Моя деревня ухватилась за возможность избавиться от меня: если бы я работала в поликлинике, за мою пищу и все остальное платила бы бригада, а не деревня.

Я всегда мечтала быть врачом. Болезни близких, и особенно бабушкина смерть, убедили меня в важности этой профессии. Перед приездом в Дэян я начала учиться иглоукалыванию у подруги; кроме того, я штудировала книгу "Руководство 'босоногого врача'" — одно из немногих разрешенных в тот период изданий.

Пропаганда "босоногих врачей" представляла собой один из политических маневров Мао. Он заклеймил Министерство здравоохранения, существовавшее до "культурной революции", за то, что оно не заботилось о крестьянах, а занималось только здоровьем горожан, в первую очередь партийных работников. Он также обвинил докторов в нежелании работать в деревне, особенно в отдаленных районах. Но Мао не предложил никаких конкретных шагов, чтобы исправить ситуацию, например, построить больше больниц или подготовить больше настоящих врачей. Таким образом, в годы "культурной революции" положение медицины только ухудшилось. Пропагандистская трескотня о том, что крестьян никто не лечит, на деле имела одну цель — породить ненависть к партийной системе, существовавшей до "культурной революции", и к интеллигенции (частью которой были врачи и сестры).

Мао предложил крестьянам волшебное средство — докторов, которых можно было производить в массовом порядке, "босоногих врачей". "Совершенно не обязательно обучаться в институтах, — заявил он. — Нужно учиться и повышать свой уровень во время практической работы". 26 июня 1965 года он высказал мысль, ставшую принципом действия для системы образования и здравоохранения: "Чем больше книг читаешь, тем глупее становишься".

Я приступила к своим обязанностям, не имея ни малейшей подготовки. Поликлиника располагалась в большом зале на вершине холма, примерно в часе ходьбы от моего жилища. По соседству находился ма-

1. Коммуна недалеко от Чэнду, куда героине удалось перевестись.

газин, торговавший спичками, солью и соевым соусом, все отпускалось по карточкам. Каковы мои обязанности, оставалось неясным.

Я сидела за отдельным столом рядом с двумя другими докторами, в пыльной, как и у них, повседневной одежде, и видела, что больные крестьяне, входящие в помещение, мудро направляются не ко мне, неопытной восемнадцатилетней девчонке, уткнувшейся в какую-то книгу, даже не слишком толстую, а быстро сворачивают к двум моим коллегам. Я испытывала скорее облегчение, чем обиду. Доктор в моем представлении не должен заглядывать в книгу каждый раз, когда слышит жалобы пациента, чтобы вычитать нужный рецепт. Иногда, пребывая в язвительном настроении, я спрашивала себя: захотели бы наши новые руководители лечиться у меня, босоногой или обутой? Ответ прост, отвечала я себе: "босоногие врачи" прежде всего должны "служить народу, а не чиновникам". В конце концов я с удовольствием стала просто медсестрой, которая выдает по рецептам немногие имеющиеся лекарства и делает уколы, чему научилась раньше, когда нужно было бороться с маминими кровотечениями.

Все стремились попасть к молодому врачу, закончившему мединститут. Его снадобья, приготовленные из китайских трав, исцеляли от многих болезней. К тому же он был на редкость добросовестен, навещал пациентов в деревнях, а в свободное время собирал и выращивал травы. Другой врач, с бородкой, ужасал меня своей небрежностью. Делал нескольким пациентам укол одной и той же иглой, не стерилизуя ее, вводил пенициллин, не проверяя, нет ли у больного аллергии. Это было очень опасно, потому что плохо очищенный пенициллин китайского производства мог вызвать серьезные побочные реакции, даже смерть. Я вежливо предложила делать пробы. Он не обиделся на меня, только улыбнулся и сказал, что несчастных случаев не бывает: "Деревенские не такие неженки, как городские".

Но все равно я хорошо относилась к нашим врачам: они были ко мне очень добры и всегда приходили на помощь, если я в чем-либо сомневалась. Неудивительно, что они не воспринимали меня как конкурента. В деревне значение имела не политическая риторика, а профессионализм.

Мне нравилось жить на холме, вдали от деревни. Каждое утро я вставала рано и, прогуливаясь по вершине, читала восходящему солнцу строчки из древнего поэтического трактата об иглоукалывании. У моих ног под пение петухов пробуждались поля и дворы. Одинокая Венера бледно светила на загорающемся небе. Я с наслаждением вдыхала разносимое утренним ветерком благоухание жимолости и любовалась большими лепестками паслена, стряхивающими с себя жемчужины росы. Всю округу наполнял щебет птиц, отвлекавший меня от стихов. Нагулявшись, я возвращалась домой и растапливала печь, чтобы приготовить завтрак.

Благодаря анатомической схеме и акупунктурным стихам, я довольно хорошо представляла, куда нужно воткнуть иголки, чтобы вылечить то или иное заболевание. И с нетерпением ожидала пациентов. У меня было несколько бесстрашных юных добровольцев из соседних деревень – высланных туда горожан, которые увлеклись моей особой. Они шли по нескольку часов ради сеанса иглоукалывания. Один молодой че-

ловек, закатывая рукав, чтобы обнажить точку рядом с локтем, как-то спросил отважно: "Для чего нужны друзья-мужчины?"

Я не влюбилась ни в одного из них, хотя моя решимость отказаться от личной жизни ради родителей и во искупление вины перед покойной бабушкой начала ослабевать. Кроме того, мне было трудно дать сердцу волю, а воспитание не допускало интимных отношений без любви. Вокруг городская молодежь вела свободный образ жизни. Я же восседала на своем пьедестале в гордом одиночестве. Прошел слух, что я пишу стихи, и это оказалось кстати: репутация романтической девушки оградила меня от домогательств.

Молодые люди вели себя по-рыцарски. Один из них подарил мне щипковый музыкальный инструмент саньсянь, который состоит из чашеобразной деки, обтянутой змеиной кожей, и длинного грифа с тремя струнами, и целыми днями обучал меня игре на нем. Все разрешенные мелодии воспевали Мао, да и набор их был крайне скуден, но это серьезного значения не имело: мои способности и без того весьма ограничивали мой репертуар.

Теплыми вечерами я сидела в саду с душистыми лекарственными травами, окруженном китайским кампсисом[1], и тихонько перебирала струны. Когда магазин по соседству закрывался, я оставалась совершенно одна. Вокруг царила темнота, озаряемая лишь нежной луной и мерцающими огоньками далеких домов. Иногда мимо проплывали светлячки, похожие на фонарики в руках невидимых летающих человечков. От благоухания, источаемого садом, у меня приятно кружилась голова. Моя музыка не слишком гармонировала с хором надрывавшихся лягушек и тоскливым стрекотом сверчков, но я находила в ней утешение.

## 24

## *"Прими, пожалуйста, мои извинения, опоздавшие на целую жизнь" – родители в лагерях (1969–1972)*

В трех днях езды от Чэнду, в Северном Сичане, находится равнина Волопаса. Там есть дорожная развилка: одна ветка идет на юго-запад в Мии, лагерь отца, а другая – на юг, в Ниннань.

Название равнине дала знаменитая легенда. Божественная Ткачиха, дочь Небесной Государыни, спускалась туда из небесного дворца купаться в озере. (Считается, что метеорит, упавший на Метеоритной улице в Чэнду, служит основанием ее ткацкого стана.) Юноша, пасший у озера волов, увидел богиню, и они полюбили друг друга. Они поженились, у них родились сын и дочь. Небесная Государыня позавидовала их счастью и велела богам похитить Ткачиху. Они схватили ее, Волопас ринулся за ними вслед. Когда он уже настигал их, Небесная Государыня вытащила из прически шпильку и пустила между ними огромную реку.

1. Кампсис – вид лианы с крупными красными или оранжевыми цветами.

Серебряная река с тех пор всегда разделяет супругов, за исключением седьмого дня седьмой луны, когда со всех концов Китая слетаются сороки и выстраиваются в мост, чтобы семья могла воссоединиться.

Серебряной рекой китайцы называют Млечный Путь. Над Сичаном он широкий и состоит из множества звезд, среди которых ярко сияющая Вега — Божественная Ткачиха — по одну сторону, и Альтаир — Волопас с двумя детьми — по другую. Эта легенда веками привлекала китайцев, потому что их семьи часто разлучались из-за войн, разбоя, нищеты и бессердечия правителей. По иронии судьбы, именно сюда отправили маму.



Она прибыла в лагерь в ноябре 1969 года с пятьюстами другими бывшими чиновниками из Восточного района — и цзаофанями, и "попутчиками капитализма". Из Чэнду их выслали в спешке, жилищ никаких не подготовили, не считая бараков, которые остались после военных инженеров, строивших железную дорогу из Чэнду в Куньмин — столицу провинции Юньнань. Одни набились в эти бараки, другим пришлось ютиться в домах местных крестьян.

Ночами мама, как и остальные, дежурила у свинарника, сторожа его от волков. За бараками-мазанками из глины и травы тянулась горная гряда, по праву называемая Волчьим логовом. Волки, как поведали местные вновь прибывшим, были очень умны. Забравшись в свинарник, волк почесывал и лизал свинью, особенно за ушами, погружая животное в своеобразный сладостный транс, чтобы оно не подняло шум. Затем прихватывал свинью зубами за ухо и выводил из свинарника, не переставая поглаживать своим пушистым хвостом. Свинье все еще грезилось, что она в объятиях возлюбленного, когда волк набрасывался на нее.

Крестьяне предупредили городских, что волки — а также встречающиеся временами леопарды — боятся огня, поэтому каждую ночь возле свинарника жгли костры. Мама провела много бессонных ночей, наблюдая за метеоритами, проносящимися по сияющему звездному небосводу, и слушая далекий, доносившийся из темноты вой Волчьего логова.

Как-то вечером мама стирала у небольшого водоема. Встав с корточек, она обнаружила, что прямо на нее устремлены красные глаза волка, замершего ярдах в двадцати по ту сторону пруда. У мамы волосы встали дыбом, но она вспомнила, что друг детства, Большой Ли, учил ее, что делать при встрече с волком: медленно отступать, не проявляя ни малейших признаков паники, не поворачиваться спиной и не бежать. Она стала тихо пятиться в сторону поселка, не отрывая глаз от преследовавшего ее волка. Когда она достигла границы лагеря, волк остановился: уже виден был огонь, слышны голоса. Мама повернулась и в мгновение ока скрылась за дверью.

Ночами, лежа на соломенной подстилке, она вспоминала своих детей, время, когда они были маленькими. Воспоминаний оказалось немного. Пока мы росли, она редко бывала дома — жертвовала семьей ради дела. Теперь она горько сожалела об этой бессмысленной жертве. Тоска по детям причиняла непереносимую, почти физическую боль.

В феврале 1970 года, за десять дней до китайского Нового года, мамин отряд, проживший более трех месяцев на равнине, выстроили пе-

ред лагерем для встречи какого-то высокопоставленного военного, прибывавшего с инспекцией. После долгого ожидания люди заметили вдалеке на глинистой тропе, отходящей от шоссе, маленькую фигурку. Понятно, что это было не начальство: оно ехало бы в машине с эскортом. Но не мог быть и местный крестьянин — слишком элегантно лежал вокруг шеи черный шарф. Это оказалась девушка с большой корзиной на спине. Мама с замиранием сердца смотрела, как та подходит все ближе. То она говорила себе, что это я, то — что ей это только чудится. "Если бы это была Эрхун!" — молила она небо. Вдруг люди стали возбужденно подталкивать ее: "Смотри, твоя дочь! К тебе пришла Эрхун! Это Эрхун!"

Так мама увидела меня впервые после разлуки, тянувшейся, казалось, целую жизнь. Я была первой гостьей, появившейся в лагере, и меня принимали со смесью радости и зависти. Большая корзина, которую я несла на спине, была набита колбасой, яйцами, сластями, выпечкой, лапшой, сахаром и мясными консервами. Мы, пятеро детей и Очкарик, муж моей старшей сестры, собирали продукты из своих пайков и того, что нам выдавали в наших производственных бригадах, чтобы приготовить родителям гостинец. Я едва волокла тяжелый груз.

Пробыла я в мамином лагере десять дней, а сразу после Нового года намеревалась отправиться в лагерь к отцу. Добрый водитель грузовика согласился подобрать меня там же, где я слезла. У мамы в глазах блестели слезы, потому что им с отцом запрещалось видеться, хотя их лагеря находились неподалеку один от другого. Я взвалила на спину нетронутую корзину — мама настояла, чтобы я все отнесла отцу. Сберечь драгоценную еду для близких — в Китае это всегда считалось высшим проявлением любви и заботы. Мама очень грустила из-за моего отъезда и все повторяла, как ей жалко, что я уезжаю так рано, не дождавшись традиционного китайского новогоднего завтрака, который готовят и в лагере, — танъюаня, круглых клецок, символа семейного воссоединения. Но я не могла задерживаться: боялась пропустить грузовик.

За полчаса мы вместе дошли до шоссе, сели в высокой траве и стали ждать. По густым зарослям камыша ходили плавные волны. Солнце уже и пригревало, и ярко светило. Мама прижимала меня к себе, и все ее тело говорило, как она не хочет меня отпускать, как боится, что мы никогда не увидимся. Кто знает, выпустят ли ее когда-нибудь из лагеря и смогу ли я уехать из коммуны? Ведь нам внушали, что это навсегда. Мы могли никогда больше не встретиться по сотне причин. Я заразилась маминой печалью — мне вспомнилось, как я не сумела выбраться из Ниннаня до бабушкиной смерти.

Солнце поднималось все выше. Грузовика не было. Когда крупные клубы дыма, валившие из кухонной трубы, окончательно растворились в воздухе, маме стало ужасно жалко, что она так и не угостила меня новогодним завтраком. И она решила сходить за ним.

Пока ее не было, пришел грузовик. Я посмотрела в сторону лагеря и увидела, как она в голубом шарфе бежит среди волн бледно-золотой травы. В правой руке — большая яркая эмалированная миска. Она бежала осторожно, чтобы, как я догадалась, не расплескать суп с клецками. Она была еще далеко — на дорогу уйдет не меньше двадцати минут. Неудобно было просить водителя ждать так долго, он ведь оказывал мне

большую услугу. Я вскарабкалась в кузов. А мама все бежала ко мне. Но миски в руках уже не было.

Годы спустя она призналась, что уронила миску, когда я забиралась в грузовик. Но продолжала бежать туда, где мы сидели, просто чтобы удостовериться, что я уехала, хотя кого другого мог подобрать грузовик? В этой желтой безбрежности не было ни единой живой души. Несколько дней она бродила по лагерю словно в забытьи, не находя себе места.



После многочасовой тряски в кузове я прибыла в находившийся выше в горах исправительно-трудовой лагерь отца — *гулаг*. Заключенные вырубили деревню в неприступных горах, после чего их перегнали на новое место распахивать целину, а эту относительно освоенную территорию оставили тем, кто стоял ступенькой выше на китайской пенитенциарной лестнице — ссыльным чиновникам. Лагерь был огромный, там отбывали заключение тысячи бывших работников провинциальной администрации.

Мне пришлось часа два добираться от дороги до отряда отца. Веревочный мост над бездной зашатался при первом же моем шаге, и я чуть не потеряла равновесие. Усталая, с грузом на спине, я все же не могла не поразиться ошеломляющей красоте гор. Весна только начиналась, но земля уже покрылась яркими цветами, распустившимися рядом с капоком и кустами папайи. Дойдя наконец до барака отца, я увидела пару нарядных величественных фазанов, расхаживающих под облаками грушевого, сливового и миндального цвета. Несколько недель спустя белые и розовые лепестки засыпали всю тропинку.

При виде отца, с которым мы были в разлуке больше года, у меня заныло сердце. Ковыляя, он нес на коромысле две полные корзины кирпичей. Старый синий пиджак болтался на нем, как на вешалке, а из-под закатанных штанин выглядывали тощие ноги с выпирающими жилами. Его обожженное солнцем лицо испещрили морщины, волосы почти совсем поседели. Тут он заметил меня. Потрясенный, он неловко опустил на землю груз, а я бросилась к нему. Китайская традиция не позволяет отцу касаться дочери, и о том, как он счастлив меня видеть, говорили только его глаза. В них было столько любви и нежности! И выражение горечи — следы пережитых мучений. Энергия молодости и воодушевление сменились старческой растерянностью, к которой примешивался и какой-то тихий стоицизм. А ведь он был в расцвете лет, ему исполнилось всего сорок восемь. У меня перехватило горло. Я вглядывалась в его глаза, искала признаки того, чего боялась всего больше, — возвращения безумия. Нет, он не походил на безумца. С души у меня свалился камень.

В одной комнате с ним жило еще семь человек из его прежнего отдела. Там было только одно маленькое окошко, так что дверь приходилось оставлять на день открытой, чтобы внутрь проникало хоть немного света. Соседи редко говорили друг с другом, со мной никто не поздоровался. Я сразу ощутила, что атмосфера здесь гораздо более тяжелая, чем в мамином отряде. Дело было в том, что этот лагерь напрямую подчинялся Сичанскому революционному комитету, а соответственно — супругам Тин. На дворовой стене, у которой выстроились побитые мотыги и лопаты, все еще красовались дацзыбао и лозунги: "Долой такого-то!" и "Покончим с таким-то!" Как я вскоре поняла, после тяжелого рабочего дня отца все еще таскали на вечерние "митинги

борьбы". Поскольку вырваться из лагеря можно было, лишь попав обратно в ревком, для чего требовалось угодить Тинам, некоторые цзаофани соревновались в подлости, и отец, естественно, оказывался их жертвой.

Его не допускали на кухню. Считалось, что он, "покусившийся на Мао", может отравить пищу. Неважно, что в это никто не верил. Смысл был в том, чтобы нанести оскорбление.

Отец стойко переносил все издевательства. Только однажды он дал волю гневу. Когда он только появился в лагере, ему приказали надеть белую повязку с надписью: "Действующий контрреволюционер". Он яростно отбросил тряпку и проговорил сквозь сжатые зубы: "Можете забить меня до смерти. Я не буду это носить!" Цзаофани отступили. Они поняли, что отец не шутит, а приказа убить его у них не было.

Супруги Тин имели возможность отомстить старым врагам. Так, один из лагерников в 1962 году участвовал в расследовании их деятельности. До 1949 года он находился в подполье, потом попал в гоминьдановскую тюрьму, подвергся пыткам, потерял здоровье. В лагере он вскоре тяжело заболел, но его по-прежнему заставляли работать без единого выходного. Он все делал медленно и, чтобы выполнить норму, трудился и по вечерам. В дацзыбао его клеймили за лень. Одно дацзыбао, попавшееся мне на глаза, начиналось словами: "Товарищ, ты видел этого кошмарного типа — живой скелет с жутким лицом?" Под безжалостным сичаньским солнцем кожа у него обгорела, сморщилась и сходила кусками. Он отощал до потери человеческого облика; после операции осталась лишь треть желудка, и есть он мог только очень понемногу. Не имея возможности питаться так часто, как следовало, он постоянно мучился голодом. Однажды он в отчаянии отправился на кухню в поисках чего-нибудь, хоть капли рассола. Его обвинили в намерении отравить пищу. Понимая, что ему недолго осталось жить, он подал лагерному начальству прошение — писал, что умирает и просит освободить его от тяжелых работ. Единственным ответом была злобная кампания в дацзыбао. Вскоре, разбрасывая навоз в поле под жгучим солнцем, он потерял сознание и упал. Его положили в лагерную больницу, где он через день умер. У смертного одра не было никого из близких. Его жена покончила с собой.

В "школах кадров" томились не только "попутчики капитализма". Люди, даже самым отдаленным образом связанные с Гоминьданом, либо те, кто имел несчастье стать объектом чьей-то мести или зависти, будь это даже вожаки потерпевших поражение группировок цзаофаней, умирали десятками. Многие бросались в реку, с грохотом бежавшую по долине. Называлась она рекой Спокойствия (Аньнинхэ). Глухими ночами эхо разносило далеко по округе ее шум, напоминавший стенания духов, и у лагерников кровь стыла в жилах.

Услышав об этих самоубийствах, я еще яснее поняла, что должна немедленно что-то придумать и как-то смягчить психологическое и физическое давление, оказываемое на отца. Нужно было дать ему почувствовать, что жизнь стоит усилий и что его любят. На "митингах борьбы", теперь уже не сопровождавшихся насилием, ибо у агрессивных лагерников кончался запал, я садилась там, где он мог меня видеть и ощутить мою поддержку. После митинга мы уходили гулять. Я рассказывала что-нибудь ободряющее, чтобы он забыл об омерзительном собрании, и

массировала ему голову, шею и плечи. Он читал мне классическую поэзию.

Днем я помогала ему выполнять работу — разумеется, доставалась ему самая тяжелая и грязная. Иногда я вместо него носила корзину с кирпичами, весившую больше сотни фунтов, стараясь сохранять беззаботное выражение лица, хотя едва держалась на ногах при этом.



Я пробыла в лагере больше трех месяцев. Начальство позволило мне есть в столовой и дало койку в комнате, где уже было пять других женщин, которые почти не разговаривали со мной. Большинство лагерников при виде меня отворачивались. Я же смотрела словно сквозь них. Но попадались и хорошие или, может быть, более смелые люди, не скрывавшие своей доброты.

Один из них, Юн, человек чуть моложе тридцати, с узким лицом и большими ушами, по окончании университета — а это было накануне "культурной революции" — попал в отдел к моему отцу. В лагере он командовал отцовским отрядом. Хотя ему было вменено в обязанность посылать отца на самые тяжелые работы, он при любой возможности старался незаметно уменьшить ему норму. Как-то я невзначай посетовала, что не могу готовить еду, которую привезла с собой, потому что нет керосина для плитки. Через пару дней Юн прошел мимо меня с безразличным видом, но сунул мне в руку какую-то железку: это была сделанная им проволочная горелка — дюймов восьми в высоту и четырех в окружности. Растопкой служили скомканные старые газеты — теперь их разрешалось рвать, потому что с их страниц исчезли портреты Мао. (Он сам отменил эту практику, сочтя, что цель — "самым явным и несомненным образом утвердить свою абсолютную и непререкаемую власть" — уже достигнута, и пора остановиться, чтобы не перегнуть палку.) На оранжево-голубом пламени горелки я готовила пищу, мало похожую на лагерный паек. Когда из кастрюли вырывался соблазнительный пар, я видела, как челюсти семерых соседей отца непроизвольно начинают двигаться. Я жалела, что не могу угостить Юна: если бы его воинственные коллеги прознали о чем-либо подобном, нам бы обоим не поздоровилось.

Благодаря Юну и другим порядочным людям отец имел право на посещения родных. Юн также позволил ему в дождливые дни, его единственные выходные, уходить из лагеря, потому что, в отличие от остальных заключенных, отец, как и мама, обязан был работать и по воскресеньям. Едва дождь чуть стихал, мы отправлялись в лес и собирали под соснами грибы и дикий горох, которые я, вернувшись в лагерь, готовила с банкой утиных или каких-нибудь других мясных консервов. Мы пировали, как боги.

После ужина мы часто приходили к моему любимому месту, которое я прозвала "зоопарком", — к россыпи причудливых камней на травянистой лесной поляне. Они напоминали стадо удивительных животных, нежащихся на солнце. В глубокие впадины на некоторых валунах легко помещался взрослый человек, и, устроившись там, мы смотрели вдаль. Вниз по склону росли громадные капоковые деревья, без листьев, с алыми цветками, похожими на большие магнолии, которые крепились на голых черных ветвях, устремленных прямо вверх. За месяцы, проведенные в лагере, я видела, как распускаются эти огромные цветы — багровые на черном. Потом на них завязались плоды размером с фигу. Со-

зрев, они лопались и превращались в шелковистый пух, разносимый теплым ветром по горам, словно не тающий снег. За капоками текла река Спокойствия, а далее тянулись бескрайние горы.

Однажды, когда мы блаженствовали так в нашем "зоопарке", мимо прошел крестьянин, такой маленький и скрюченный, что я испугалась. Отец сказал, что в этих глухих краях кровосмешение – обычная история, а потому и немало случаев вырождения. Потом он продолжал: "В горах столько всего можно сделать! Это прекрасное место с огромными возможностями. Как бы я хотел жить здесь, вот если б у меня была коммуна или производственная бригада, можно было бы заниматься каким-то реальным делом. Чем-то полезным. Пусть простым крестьянским трудом. Я так устал быть чиновником. Если бы только наша семья могла тут поселиться и радоваться обычной сельской жизни". В его словах слышалась тоска энергичного, талантливого человека, которому отчаянно хочется работать. То были и отголоски традиционной идиллической мечты китайского ученого, разочаровавшегося в чиновничьей карьере. Но я отчетливо понимала, что о другой жизни отец может только мечтать как о недостижимом чуде: для партийного работника пути назад не существовало.

Я приезжала в лагерь трижды, каждый раз оставаясь по нескольку месяцев. Братья и сестра тоже навещали отца, так что его всегда согревало семейное тепло. Он часто с гордостью говорил, что ему завидует весь лагерь: никого дети так не балуют. На самом деле ко многим вообще никто не ездил: "культурная революция", ожесточив людей, разрушила бессчетное число семей.

Со временем мы становились все ближе друг другу. Мой брат Сяохэй, которого отец часто поколачивал в детстве, теперь полюбил его. Когда он впервые приехал в лагерь, им пришлось спать на одной кровати, потому что лагерное начальство, раздраженное тем, что отца часто навещала семья, не выделило еще одной койки. Чтобы отец выспался – а это было особенно важно для его нервной системы, – Сяохэй не смыкал глаз, боясь нечаянно потревожить его во сне.

Отец, со своей стороны, каялся, что был суров к Сяохэю, гладил его по голове и просил прощения. "Как я мог так лупить тебя? Это было несправедливо, – говорил он. – Я много думал о прошлом, я виноват перед тобой. Как ни смешно, "культурная революция" и в самом деле сделала меня лучше".

Кормили в лагере в основном вареной капустой, недостаток белка вызывал у людей постоянный голод. Каждого мясного дня ожидали с огромным нетерпением и отмечали, словно веселый праздник. Даже самые воинственные цзаофани, казалось, приходили в сравнительно хорошее настроение. В такие дни отец вылавливал мясо из своей чашки и отдавал детям. Неизменно разыгрывалась битва на палочках.

Отца преследовали угрызения совести. Он вспоминал, как не пригласил бабушку на свадьбу, как, несмотря на подстерегавшие в пути опасности, отослал ее обратно в Маньчжурию всего через месяц после приезда. Он много раз упрекал себя в том, что недостаточно заботился и о своей матери и держался так сурово, что ему даже не сообщили о ее похоронах. Качая головой, он восклицал: "Слишком, слишком поздно!" Он раскаивался и в том, как обращался в пятидесятые годы со своей се-

строй Цзюньин, внушал, что ей необходимо отказаться от буддизма, и даже заставлял ее, вегетарианку, есть мясо.

Тетя Цзюньин умерла летом 1970 года. Паралич постепенно завладел всем ее телом, да ее и не лечили по-настоящему. Умерла она так же стоически и тихо, как и жила. Семья скрыла от отца ее смерть. Мы знали, что он любил и уважал ее.



Той осенью отца навещали мои братья Сяохэй и Сяофан. Однажды во время прогулки восьмилетний Сяофан проговорился, что тетя Цзюньин умерла. Отец изменился в лице. Он застыл на месте и долго смотрел в пустоту, потом сошел с тропинки, опустился на корточки и прикрыл лицо руками, плечи его затряслись от рыданий. Братья, которые никогда не видели, как отец плачет, буквально потеряли дар речи от неожиданности.

Летом 1971 года у мамы случилось сильное маточное кровотечение, она потеряла сознание и попала в больницу. Отцу не разрешили проведать ее, хотя оба они находились в Сичане. Когда ее состояние несколько стабилизировалось, ей позволили вернуться в Чэнду для лечения. Там кровотечение наконец остановили, однако врачи обнаружили у нее кожное заболевание — склеродермию. Участок кожи за правым ухом затвердел и начал сжиматься. Правая часть челюсти стала заметно меньше левой, все хуже слышало правое ухо. Правая сторона шеи задеревенела, правая рука онемела. Дерматологи сказали ей, что впоследствии могут затвердеть и ссохнуться внутренние органы, в таком случае она умрет через три-четыре года. По их словам, западная медицина была тут бессильна. Они могли предложить маме лишь кортизон, который ей давали в таблетках и кололи в шею.

Когда пришло письмо от мамы с этой новостью, я была у отца в лагере. Отец немедленно попросил разрешения съездить домой навестить ее. Ян, бригадир отца, отнесся к просьбе сочувственно, но лагерное начальство отказало. Отец разрыдался прямо во дворе в присутствии остальных лагерников. Бывшие сотрудники его отдела были поражены. Они знали его как "железного человека". На следующий день он пришел на почту ранним утром, за несколько часов до открытия. Он послал маме трехстраничную телеграмму, начинавшуюся словами: "Пожалуйста, прими мои извинения, опоздавшие на целую жизнь. Я так виноват перед тобой, что рад понести любое наказание. Я не был тебе достойным мужем. Пожалуйста, выздоравливай поскорее и дай мне возможность исправиться..."

В конце 1971 года в лагерь приехал Цзиньмин. Здоровье отца внушало ему такую тревогу, что он оставался там до весны. Затем он получил письмо из своей сельскохозяйственной бригады с приказом немедленно вернуться, иначе его не поставят на довольствие после сбора урожая. В день отъезда отец проводил его до поезда — в Мии только что протянули железнодорожную ветку, потому что в Сичан перевели промышленные объекты стратегического назначения. Во время всего долгого пути они молчали. Вдруг отец начал задыхаться, и Цзиньмин усадил его у края дороги. Отец долго пытался отдышаться. Цзиньмин услышал, как он с глубоким вздохом сказал: "Видно, мне недолго осталось. Жизнь — это сон". Цзиньмин, который никогда не слышал, чтобы отец рассуждал о смерти, испугался и попробовал успокоить его. Но отец медленно проговорил: "Я спрашиваю себя, боюсь ли я смерти. Ду-

маю, нет. Моя жизнь сейчас хуже смерти. И, кажется, ей не будет конца. Иногда я поддаюсь слабости: стою у реки Спокойствия и думаю: "Всего один прыжок – и кончено". Но потом говорю себе: "Нельзя". Если я умру неоправданным, вы будете мучаться всю жизнь... В последнее время я много думал. У меня было тяжелое детство. Общественный строй отличался несправедливостью. Я стал коммунистом, чтобы исправить его. Многие годы я делал для этого все что мог. Но что хорошего это дало народу? Да и мне самому? Как случилось, что в конце концов я стал наказанием для собственной семьи? Люди, верящие в воздаяние, говорят, что плохо кончает тот, у кого грех на душе. Я долго думал, что я такого совершил в жизни. Да, я понял – отдавал приказы о казнях..."

Отец рассказал Цзиньмину о смертных приговорах, подписанных им, о делах "э-ба" (злых деспотов) во время земельной реформы в Чаояне, назвал имена главарей банд в Ибине. "Но они причинили людям так много зла, что сами боги повелели бы их убить. Что же я тогда сделал, чем заслужил все это?" После долгой паузы он прибавил: "Если я умру так, как живу, не верь больше в коммунистическую партию".

## 26

## *"Сладкая иностранная вонь" – изучение английского в последние годы* Мао *(1972–1974)*

[Побывав крестьянкой, "босоногим врачом", литейщицей и электриком и преодолев множество препон, автор поступила в Сычуаньский университет на факультет английского языка. По окончании учебы ей удалось, вопреки установленным правилам, не возвращаться на фабрику, где она раньше работала, а стать преподавателем английского языка в университете, в связи с чем ее сразу же отправили на год в деревню на курс "перевоспитания". Сяохэй, второй брат автора, по окончании школы поступил в летное училище, чтобы избежать высылки в деревню.]

...Как и все, Сяохэй хотел вступить в партию. Для него это не было делом жизни и смерти, как для бывших крестьян, которые по окончании военной службы обязаны были вернуться в деревню. Солдаты возвращались туда, где их призвали, и Сяохэй, ушедший в армию в Чэнду, в любом случае имел право получить там работу. Но членство в партии улучшало перспективы, а также давало более широкий доступ к информации, чем тоже не стоило пренебрегать, ибо Китай в ту пору представлял собой интеллектуальную пустыню, где нечего было читать, кроме агиток.

Помимо этих практических соображений, существовало еще одно – *страх*. Для многих вступить в партию означало своеобразную индульгенцию. Члены партии пользовались бóльшим доверием, чем остальные, и это чувство относительной безопасности весьма согревало душу. К тому же в сверхполитизированной среде, окружавшей Сяохэя, нежелание вступать в партию, что непременно отмечалось в личном де-

ле, выглядело подозрительно: "Это еще почему?" Подавшие заявление, но не принятые тоже внушали подозрение: "Не взяли? Что-то тут не так".

Сяохэй читал классиков марксизма с неподдельным интересом, ведь только их тексты и можно было раздобыть, а ему нужно было как-то утолять интеллектуальную жажду. К тому же, в Уставе коммунистической партии говорилось, что для вступления в нее прежде всего нужно овладеть марксизмом-ленинизмом, и брат надеялся, что сможет сочетать интерес с практической выгодой. Но ни на командиров, ни на товарищей его знания не производили впечатления. Напротив, полуграмотные люди, в основном выходцы из крестьян, не понимавшие Маркса, сочли, что Сяохэй выхваляется перед ними. Его критиковали за то, что он чванится и отделяет себя от коллектива. В общем, ему нужно было искать какой-то другой путь в партию.

В первую очередь, как он вскоре понял, нужно было угождать непосредственным начальникам, а уж потом — товарищам. Кроме уважения коллектива и ударного труда, требовалось еще "служить народу" в самом прямом смысле слова. Как правило, в армии неприятную и черную работу обычно поручают низшим чинам, в китайской же армии охотники, добивавшиеся чести вступить в партию, сами вызывались натаскать воды для умывания или подмести территорию. Подъем был в 6.30 утра, "честь" вставать еще раньше выпадала на долю кандидатов в члены партии. А их было так много, что разгорались драки: чтобы "забить" себе метлу, люди вставали все раньше и раньше. Однажды Сяохэй в четыре утра проснулся от шарканья метлы.

Существовали и другие важные сферы деятельности, и самой значительной была продовольственная.

Даже офицерский паек был крайне скуден. Мясо давали лишь один раз в неделю. Каждая рота сама выращивала зерновые и овощи, сама выкармливала свиней. Во время деревенской страды ротный комиссар выступал с зажигательными речами: "Товарищи, настал час! Партия нас проверяет! К вечеру мы должны пройти все поле. Да, для этой работы требуется вдесятеро больше людей, чем есть. Но каждый из нас, революционных бойцов, может трудиться за десятерых! Коммунисты должны играть руководящую роль. Тем же, кто мечтает вступить в партию, пришло время показать, на что они способны. Тот, кто пройдет испытание, станет коммунистом сегодня вечером — прямо на поле боя!"

Члены партии действительно старались вовсю, но роль у них была "руководящая", так что по-настоящему выкладываться приходилось кандидатам — "коммунистам полевого призыва", которые поднимали сжатую в кулак правую руку и давали клятву "всю жизнь бороться за славное дело коммунизма". Однажды Сяохэй до того доработался, что потерял сознание и рухнул посреди поля, в результате чего угодил в больницу, где провалялся довольно долго.

Самой короткой дорогой в партию служило свиноводство. За ротой числилось несколько десятков свиней, занимавших особое место в солдатских сердцах, и офицеры, и рядовые буквально не отходили от свинарника. Ведь если хрюшки прибавляли в весе, всеобщей любовью окружали и их опекунов, поэтому на должность свинаря всегда хватало претендентов.

Сяохэй всецело посвятил себя свиноводству. Работа была тяжелая, грязная, не говоря уж о психологической ее стороне. Каждую ночь приходилось вставать ни свет ни заря, чтобы покормить питомцев. Когда свиноматка поросилась, дежурили ночами, чтобы она не заспала приплод. Драгоценные соевые бобы курсанты собирали, промывали, мололи, отжимали, а полученное соевое "молоко" любовно преподносили кормящей матери, чтобы усилить лактацию. Жизнь в военной авиации мало походила на то, что некогда представлялось Сяохэю. Пожалуй, не меньше трети армейской службы ушло на "производство продовольствия". Правда, после года беззаветного служения свиньям Сяохэя в партию приняли. Тут он, как и многие другие, дал себе расслабиться.

Каждый новоявленный партиец ставил себе следующую цель — выбиться в офицеры, что сулило двойную выгоду по сравнению с членством в партии как таковым. Поэтому очень важно было не настраивать против себя начальство. Как-то Сяохэя вызвали к одному из политруков училища. Сяохэй места себе не находил, не зная, что его ждет — удача или беда. Политрук, толстяк лет пятидесяти с налитыми кровью глазами и громким командирским голосом, встретил брата чрезвычайно благосклонно: закурив, стал расспрашивать Сяохэя о его социальном происхождении, возрасте и состоянии здоровья. Затем последовал вопрос о невесте, и Сяохэй ответил, что невесты у него пока нет. А про себя подумал, что личная заинтересованность — пожалуй, хороший знак. Политрук продолжал нахваливать его: "Ты добросовестно изучал марксизм-ленинизм и учение Мао Цзэдуна. Ударно трудился. Коллектив тебя одобряет. Ты конечно не задавайся, скромность — залог успеха", и так далее. К тому времени, как политрук стал тушить бычок, Сяохэй уже думал, что звание у него в кармане.

А тот закурил вновь и стал рассказывать о пожаре на хлопкопрядильной фабрике и о работнице, сильно обгоревшей при спасении "государственной собственности". Ей ампутировали и руки и ноги, только и осталось, что голова да туловище; но, подчеркнул политрук, не пострадали ни лицо, ни, что еще важнее, детородные органы. Политрук сказал, что она героиня и ее собираются широко прославить в прессе. Партии хотелось бы пойти навстречу ее желаниям, а она призналась, что мечтает выйти замуж за летчика. Сяохэй молод, хорош собой, свободен и может стать офицером в любую минуту...

Сяохэю было жалко девушку, но не жениться же в самом деле! Как отказать политруку? Какие доводы привести? Любовь? Но партия считала, что любовь — классовое чувство, а кого же любить, если не коммунистическую героиню? То, что он с ней не знаком, не поможет ему сорваться с крючка: в Китае многие браки совершались по решению партии. Как член партии, а тем более ожидающий производства в офицеры курсант, Сяохэй обязан был сказать: "Я беспрекословно повинуюсь воле партии!" А он, к тому же, проболтался, что у него нет невесты. Голова его бешено работала в поисках вежливого отказа, а политрук тем временем распространялся о преимуществах подобного брака: Сяохэй незамедлительно станет офицером, его прославят как героя, жене назначат постоянную сиделку и всю жизнь будут выплачивать щедрое денежное содержание.

Политрук раскурил следующую папиросу и замолчал. Сяохэй тщательно подбирал слова. Просчитав риск, он спросил, приняла ли уже

партия решение. Он знал, что там всегда предпочитают "добровольцев". Как и ожидалось, политрук сказал: "Нет". То есть решение оставалось за Сяохэем, и он дерзнул: "признался", что, хотя у него нет невесты, мать нашла ему подругу. Чтобы переплюнуть искалеченную героиню, "подруге" требовалось обладать двумя преимуществами: безупречным классовым происхождением и общественно значимой профессией — в вышеуказанной последовательности. Поэтому она оказалась дочерью командующего военным округом и медицинской сестрой в госпитале, брат только начал "говорить с ней о любви". Политрук отступился, заявив, что только хотел знать мнение Сяохэя и не намерен навязывать ему супругу.



Брата не наказали, а некоторое время спустя даже произвели в офицеры и назначили в службу наземной связи. А калеку-героиню согласился взять в жены крестьянский парень.

## 28

## "Борьба за крылья" (1976–1978)

Вернувшись из поездки в деревню, я узнала, что моему факультету выделили одну стипендию для обучения на Западе, и он вправе послать туда кого-нибудь из своих преподавателей — человека молодого или средних лет — для повышения квалификации. Но стипендия досталась не мне.

Эту печальную новость я узнала от профессора Ло. Ей было за семьдесят, она ходила, опираясь на палочку, но сохранила активность, живость, даже страстность натуры. По-английски она говорила быстро, словно ей не терпелось выложить все, что она знает. Она прожила в Соединенных Штатах около тридцати лет. Ее отец, член Верховного суда при Гоминьдане, пожелал дать ей западное образование. В Америке она взяла себе имя Люси и влюбилась в американского студента Люка. Они собирались пожениться, но когда сообщили о своих планах его матери, та сказала: "Люси, ты мне очень нравишься. Но на кого будут похожи ваши дети? Это непросто..."

Люси порвала с Люком — гордость не позволила ей войти в семью, которая не была ей рада. В начале пятидесятых годов, после победы коммунистов, она вернулась на родину в надежде, что теперь наконец китайцы обретут чувство собственного достоинства. Она так и не забыла Люка и в брак вступила очень поздно — вышла замуж за профессора английского языка — китайца, которого не любила и с которым постоянно ссорилась. В годы "культурной революции" у них отобрали квартиру, и они поселились в каморке, примерно футов десять на восемь, набитой старыми пожелтевшими газетами и пыльными книгами. Сердце щемило, когда эти хрупкие, седовласые, не переваривавшие друг друга старики старались сесть подальше, в разные концы комнатенки: один садился на краешек кровати, другая — на единственный, с трудом втиснутый в комнату стул.

Профессор Ло любила меня. Она говорила, что видит во мне себя, свою собственную юность — пятьдесят лет тому назад она тоже бунтова-

ла, пытаясь найти в жизни счастье. Ей это не удалось, но хотелось, чтобы повезло мне. Услышав о стипендии и о поездке за границу, возможно, даже в Америку, она пришла в страшное волнение, ведь я была далеко, в деревне, и не могла отстаивать свои интересы. Место отдали товарищу И, которая была на год старше меня и уже вступила в партию. Она и другие молодые преподаватели, окончившие университет в годы "культурной революции", посещали курс английского языка для продвинутых слушателей, а я в это время пребывала в деревне. Одним из их наставников была профессор Ло; для обучения она, в частности, использовала статьи из англоязычных изданий, которые добывала у друзей, работавших в таких городах, как Пекин и Шанхай (Сычуань все еще оставалась закрытой для иностранцев). Всякий раз, когда мне удавалось выбраться из деревни, я посещала эти занятия.

Однажды мы разбирали текст о промышленном использовании атомной энергии в США. Едва профессор Ло закончила объяснение, товарищ И гневно подняла голову, расправила плечи и возмущенно произнесла: "Эту статью следует читать критически! Как могут американские империалисты использовать атомную энергию в мирных целях?" Я почувствовала раздражение, услышав, как она, точно попугай, повторяет слова из агиток. В запальчивости я возразила: "Откуда вам знать, могут или не могут?" Товарищ И, да и почти вся группа, посмотрела на меня с изумлением. Такая постановка вопроса была для них немыслима, даже кощунственна. Зато в глазах профессора Ло я увидела огонек, губы ее тронула едва заметная улыбка. Я почувствовала поддержку и одобрение.

Не только профессор Ло, но и некоторые другие профессора также предпочитали, чтобы на Запад поехала я, а не товарищ И. Но хотя общая атмосфера несколько смягчилась и преподавателей начали уважать, никакого реального влияния они не имели. Если кто и мог помочь, то только мама. По ее совету я сходила к нескольким бывшим коллегам отца, ведавшим теперь университетами, и заявила, что хочу подать жалобу: товарищ Дэн Сяопин говорит, что принимать в университет нужно исходя из достоинств абитуриента, и безусловно ошибочно было бы не руководствоваться этим же принципом при выборе кандидата для заграничной стажировки. Я просила устроить честное состязание, иначе говоря — экзамен.

Пока мы с мамой "интриговали", из Пекина неожиданно пришел приказ: впервые с 1949 года стипендии для обучения на Западе распределялись на основе единого общегосударственного экзамена, который планировалось провести одновременно в Пекине, Шанхае и Сиане — древней столице, где позднее на раскопках была найдена глиняная армия.

Мой факультет посылал в Сиань трех кандидатов. Решение о поездке товарища И отменили и выбрали двоих кандидатов — превосходных преподавателей, начавших работать еще в годы, предшествовавшие "культурной революции". Отчасти благодаря пекинскому приказу проводить отбор по профессиональным качествам, отчасти вследствие кампании, развернутой мамой, выбрать третьего, молодого кандидата из двадцати с лишним людей, окончивших университет во времена "культурной революции", факультет решил на основании письменного и устного экзаменов, назначенных на 18 марта.

Я получила высший балл по обоим предметам, хотя в устном испытании победу одержала весьма необычным образом. Мы по одному заходи-

ли в аудиторию, где сидело двое экзаминаторов: профессор Ло и другой пожилой профессор. На столе перед ними лежали бумажные шарики, мы брали один из них, разворачивали и отвечали на соответствующий вопрос по-английски. Мой билет звучал так: "Каковы основные положения недавно завершившегося Второго пленума XI съезда Коммунистической партии Китая?" Я конечно понятия об этом не имела и застыла как в столбняке. Ло глянула на мое лицо и потянулась за листком. Она прочла его и показала коллеге. Потом молча засунула в карман и сделала знак глазами, чтобы я взяла другой. На этот раз в билете было написано: "Расскажите о славных успехах нашей социалистической Родины".



Многолетнее вменявшееся в обязанность восхищение "славными успехами социалистической Родины" вызывало у меня тошноту, но на этот раз мне было что сказать. Недавно я даже написала восторженное стихотворение о весне 1978 года. Ху Яобан, правая рука Дэн Сяопина, возглавил кадровый отдел партии и начал процесс массовой реабилитации "классовых врагов" – страна на глазах сбрасывала с себя бремя маоизма. Промышленность работала на полную мощность, в магазинах стало гораздо больше товаров. Функционировали школы, больницы и другие общественные учреждения. Переиздавались давно запрещенные книги, и люди иногда по два дня стояли в очереди у книжных магазинов, чтобы их купить. На улицах и в домах звучал смех.

Я начала яростно готовиться к экзаменам в Сиане, до которых оставалось меньше трех недель. Мне предложили свою помощь несколько профессоров. Профессор Ло дала список обязательного чтения и с дюжину английских книг, но затем решила, что у меня не будет времени прочитать их все. Одним махом она расчистила на своем заваленном бумагами столе пространство для портативной пишущей машинки и просидела две недели, печатая по-английски краткое содержание основных произведений. Так, сказала она с озорной улыбкой, пятьдесят лет тому назад ей помогал сдавать экзамены Люк, ведь она предпочитала чтению танцы и вечеринки, а теперь настала ее очередь.

Вместе с двумя преподавателями и заместителем партийного секретаря мы сутки ехали на поезде до Сианя. Бóльшую часть пути я провела на полке плацкартного вагона, лежа на животе и торопливо конспектируя заметки профессора Ло. Никто не знал ни числа стипендий, ни стран, куда отправляли победителей, так как бóльшая часть информации в Китае составляла государственную тайну. Однако добравшись до Сианя, мы узнали, что экзаменоваться будет двадцать два человека, в основном старшие преподаватели из четырех провинций Западного Китая. Запечатанные экзаменационные материалы накануне доставили из Пекина самолетом. Письменный экзамен, занявший все утро, состоял из трех частей; одним из заданий был перевод на китайский большого отрывка из "Корней"[1]. За окнами ветер нес по улицам опавшие вербные "зайчики". Перед полуднем наши переводы собрали, опечатали и отослали в Пекин, где одновременно проверяли и другие работы, доставленные из всех экзаменационных комиссий. Во второй половине дня был устный экзамен.

1. Алекс Хэйли (1921–1992) – американский писатель, автор "Корней", биографии семьи чернокожих американцев.

В конце мая я из неофициальных источников узнала, что оба экзамена сдала на отлично. При этом известии мама с еще большей энергией стала добиваться реабилитации отца. Даже после смерти родителей их досье продолжало определять будущее детей. В предварительной реабилитационной характеристике отца говорилось о "серьезных политических ошибках". Мама знала, что, хотя Китай и становится свободнее, мне не позволят выехать за границу.

Она обратилась к бывшим коллегам отца, которых вновь пригласили работать в провинциальной администрации, и приложила к своему прошению о пересмотре дела записку Чжоу Эньлая о том, что отец имел право писать Мао. Записку с редкой изобретательностью спрятала бабушка, зашившая ее в матерчатый верх своей туфельки. Теперь, через одиннадцать лет после того, как Чжоу вручил маме этот документ, она решила передать его провинциальным властям, во главе которых встал Чжао Цзыян.

Время было на редкость удачное: заклятие Мао теряло свою парализующую силу, большую роль тут сыграл Ху Яобан, ведавший реабилитациями. 12 июня на Метеоритной улице появился ответственный работник с партийной характеристикой отца. Он вручил маме листок папиросной бумаги, где говорилось, что отец был "хорошим работником и достойным членом партии". То была официальная реабилитация. После чего мою стипендию утвердило пекинское Министерство образования.

От возбужденных друзей, прибежавших с факультета, я узнала, что еду в Англию, раньше, чем от начальства. Люди, едва со мной знакомые, были счастливы за меня, присылали мне поздравительные письма и телеграммы. Устраивались праздничные вечеринки, лились слезы радости — поездка на Запад была невероятным событием. На протяжении десятилетий Китай оставался закрытым государством, люди задыхались, живя взаперти. После 1949 года я первой из своего университета и, сколько знаю, из провинции Сычуань (которую населяло тогда около девяноста миллионов человек) поехала учиться на Запад. Причем поехала благодаря профессиональной подготовке, ведь я даже не состояла в партии. Это было еще одним знаком грандиозных перемен, происходивших в стране. Люди жили надеждой, перед ними открывались новые возможности.

Но я испытывала не только радость. Я достигла цели, столь желанной и недостижимой для остальных, что чувствовала себя виноватой перед друзьями. Ликовать было бы неприлично, даже жестоко, но и скрывать радость — нечестно. Интуитивно я выбрала сдержанность. К тому же я с грустью думала о стагнации и монотонности жизни в Китае — столько людей были лишены возможности реализовать свои таланты! Я понимала, что мне повезло родиться в привилегированной семье, какие бы страдания ни выпали на ее долю. Но теперь, когда Китай становился более открытой и свободной страной, я с нетерпением ждала более стремительных и глубоких перемен в обществе.

Я думала об этом, проходя через весь тот цирк, который предшествовал тогда любой зарубежной поездке. Меня послали в Пекин на специальные курсы для отъезжающих за границу. Сначала нам целый месяц промывали мозги, а потом еще на месяц отправили в путешествие по всему Китаю. С какой целью? Поразить нас красотой родины, чтобы

у нас не возникло соблазна покинуть ее навсегда. За нас сделали все необходимые для поездки приготовления и вдобавок выдали деньги на покупку одежды. Нам следовало предстать перед иностранцами в приличном виде.



В последние вечера перед отлетом я часто бродила по берегам Шелковой реки, мерцавшей и в лунном свете, и в густом тумане летних ночей. Я размышляла о двадцати шести годах, прожитых мною. Я знала, что такое благополучие и лишения, страх и отвага, видела доброту и верность – как и крайние пределы человеческой подлости. Противостоять страданиям, разрушению и смерти мне прежде всего помогали любовь и извечное человеческое стремление к жизни и счастью.

Меня переполняли разные чувства, особенно когда я вспоминала отца, бабушку и тетю Цзюньин. Раньше я пыталась заглушить мысли об их смерти: это было слишком больно. Теперь я представляла себе, как бы они радовались за меня, как бы гордились моими успехами.

Я улетела в Пекин, откуда вместе с остальными тридцатью университетскими преподавателями, к которым был приставлен и идеологический работник, должна была следовать дальше. Наш самолет отправлялся 12 сентября в 8 часов вечера, и я чуть не опоздала, потому что в Пекинский аэропорт пришли попрощаться друзья и мне казалось неудобным следить за часами. Плюхнувшись наконец в кресло, я вдруг поняла, что не обняла по-настоящему маму. Мы попрощались в аэропорту Чэнду как-то буднично, деловито, не проронив ни слезинки, словно мое путешествие через полмира – лишь еще один эпизод в нашей богатой событиями жизни.

Китай уходил все дальше, я выглянула из иллюминатора и увидела под серебряным крылом самолета Землю. Я вновь окинула взглядом свою прошлую жизнь и устремила взор в будущее. Мне хотелось обнять весь мир.

## *Эпилог*

Я выбрала Лондон в качестве своего дома. Десять лет я старалась не думать о Китае, который оставила позади. Затем в 1988 году ко мне в Англию приехала мама. Тогда она впервые рассказала мне семейную историю – свою жизнь и жизнь бабушки. Она вернулась в Чэнду, а я погрузилась в размышления и воспоминания и пролила немало слез. И решила написать "Диких лебедей". Мысль о прошлом перестала причинять боль, потому что я обрела любовь, твердую почву под ногами и в результате – спокойствие.

Китай со времени моего отъезда изменился до неузнаваемости. В конце 1978 года коммунистическая партия отправила на свалку "классовую борьбу" Мао. Изгоев, в том числе "классовых врагов" из моей книги, реабилитировали; среди них были и мамины маньчжурские друзья, заклейменные как "контрреволюционеры" в 1955 году. Официальное преследование их и их семей прекратилось. Они оставили тяжелый физический труд и получили другую, лучшую работу. Многих восстановили в партии и взяли на госслужбу. В 1980 году Юйлинь, мой двоюродный дядя, его жена и дети получили разрешение уехать из деревни и

вернуться в Цзиньчжоу. Он стал главным бухгалтером медицинской компании, она — заведующей детским садом.

В досье бывших жертв ложились оправдательные характеристики, старые обвинительные документы изымались и сжигались. В учреждениях по всему Китаю разводили костры, в которых горели эти жалкие листки, погубившие несметное количество жизней.

Мамино дело распухло от доносов о ее юношеских связях с Гоминьданом. Теперь все они сгинули в пламени. Их заменила двухстраничная характеристика, датированная 20 декабря 1978 года, где все обвинения отметались как ложные. В качестве компенсации за пережитое ей изменили происхождение: в графе "отец" вместо предосудительного "генерал-милитарист" написали невинное — "врач".

Решив остаться в 1982 году в Великобритании, я сделала очень необычный выбор. Опасаясь, что это приведет к неприятностям на работе, мама раньше срока подала заявление об уходе на пенсию, которую и получила в 1983 году. Однако то обстоятельство, что дочь живет на Западе, никак не осложнило ее жизнь, что при Мао было бы немыслимо.

Двери Китая открывались все шире. Трое моих братьев живут сейчас на Западе. Цзиньмин, специалист с мировым именем в области физики твердого тела, занимается исследовательской работой в Англии, в Саутгемптонском университете. Сяохэй, оставивший авиацию ради журналистики, поселился в Лондоне. Оба женаты и имеют по ребенку. Сяофан получил степень магистра международной торговли в Страсбургском университете и теперь работает в одной французской компании.

Только моя сестра Сяохун осталась в Китае. Она служит в управлении Института китайской медицины в Чэнду. Когда в восьмидесятые годы разрешили частное предпринимательство, она взяла двухлетний отпуск, чтобы принять участие в создании компании по моделированию одежды, о чем давно мечтала. Затем ей пришлось выбирать между радостями и опасностями свободной коммерции и скукой и безопасностью государственной должности. Она предпочла последнее. Ее муж, Очкарик, — один из руководителей банка.

Связь с окружающим миром стала частью повседневной жизни китайцев. Письмо из Чэнду в Лондон доходит за неделю. Мама может посылать мне факсы с центрального почтамта. Я звоню ей домой по прямой линии из любой точки мира. Каждый день по телевидению наряду с официальной пропагандой передают и информацию иностранных агентств. Сообщается о происшедших всюду важнейших событиях.

Между 1983 и 1989 годами я ездила к маме ежегодно и каждый раз поражалась очевидному ослаблению того, что более всего характеризовало жизнь при Мао, — страха.

Весной 1989 года, путешествуя по Китаю, я собирала материал для этой книги. И видела, как люди выходят на демонстрации по всей стране от Чэнду до площади Тяньаньмэнь. Мне подумалось: неужели страх настолько забылся, что никто из миллионов демонстрантов не чует в воздухе опасность? Многие, казалось, были застигнуты врасплох, когда солдаты открыли огонь. Да и я, вернувшись в Лондон, не поверила своим глазам, увидев расстрел по телевидению. Неужели приказ отдал тот самый человек, который и для меня, и для множества других стал освободителем?

Страх попробовал было вернуться, но в нем уже нет вездесущей, всесокрушающей силы, как при Мао. Сегодня на политических собраниях люди открыто критикуют партийных руководителей поименно. Либерализация необратима. И все же Мао по-прежнему взирает с портрета на площадь Тяньаньмэнь.



Экономические реформы восьмидесятых годов принесли небывалый рост уровня жизни, отчасти благодаря внешней торговле и инвестициям. По всему Китаю чиновники и население горячо приветствуют иностранных бизнесменов. В 1988 году, приехав в Цзиньчжоу, мама остановилась у Юйлиня в маленькой, темной, неблагоустроенной квартирке, рядом со свалкой, из окон которой видна лучшая гостиница Цзиньчжоу, где каждый день задают роскошные пиры для всевозможных зарубежных инвесторов. Однажды мама увидела, как один из таких гостей выходит с банкета в окружении льстивой толпы и демонстрирует идущим рядом фотографии своего роскошного тайваньского дома и машин. Она узнала в нем гоминьдановца Яоханя, школьного политинструктора, из-за которого ее арестовали сорок лет назад.

*Май 1991 г.*

## *Предисловие к изданию 2003 года*

"Дикие лебеди" вышли в свет в 1991 году. Это событие изменило мою жизнь: я наконец стала писателем.

Об этом я мечтала всегда. Но когда жила в Китае, я и помыслить не могла о том, чтобы писать и публиковаться. В те годы страной управлял Мао, и во время его бесчисленных политических кампаний почти все писатели подверглись гонениям. Одних ошельмовали, других сослали в лагеря, третьих довели до самоубийства. В 1966 и 1967-м, во времена устроенной Мао Великой чистки (ошибочно названной "культурной революцией"), большинство книг, которые хранились у людей в домашних библиотеках, предали огню. Моего отца, партийного работника, репрессированного как контрреволюционера, заставили сжечь личную библиотеку, что, среди прочего, стало причиной его безумия. Даже "в стол" писать было чрезвычайно опасно. Мне пришлось порвать и спустить в унитаз свое первое стихотворение, сочиненное в день шестнадцатилетия, 25 марта 1968 года: в доме шел обыск.

Но потребность писать продолжала жить во мне, и я делала это воображаемым пером. Несколько лет я занималась крестьянским трудом, потом работала электриком. Разбрасывая навоз на рисовых полях или взбираясь на электрические столбы, я мысленно шлифовала длинные фразы текста или старалась запомнить стихотворные строки.

В сентябре 1978 года я приехала в Великобританию. Это была невероятная удача, и я обрела свободу писать все, что душе угодно.

Однако именно тогда желание браться за перо исчезло. Писать мне хотелось меньше всего. Ведь для этого требовалось заглянуть в себя и вернуться мысленно в то время, одно воспоминание о котором приводило меня в содрогание. Я старалась забыть Китай. Я словно попала на другую планету и была так очарована увиденным, что лишь стремилась ежеминутно отдаваться новым ощущениям.

Все в Лондоне восхищало меня. Мое первое письмо к маме было полно сентиментальных восторгов по поводу палисадников и ящиков с цветами на Мэйдавейл, куда нас поселили, — там под номером 42 стоял один из домов, принадлежавших китайскому посольству. Тогда в жилища моих соотечественников еще не вернулись цветы. В 1964 году Мао заклеймил любовь к цветам и газонам как "феодальную и буржуазную привычку" и отдал распоряжение "избавиться от садовников". В детстве мне вместе с другими учениками не раз приходилось выпалывать траву на школьных лужайках и с грустью замечать, что из зданий исчезают цветочные горшки. В ту пору я не только старалась как можно лучше скрывать свои чувства, но и корила себя за то, что испытываю их — в результате "промывания мозгов" дети в Китае вечно мучились угрызениями совести. Хотя ко времени моего отъезда из страны разводить цветы уже не возбранялось, Китай по-прежнему являл собой безрадостное зрелище: зелень в домах практически вывелась, исчезли и торговцы цветами, почти все парки превратились в уродливые пустыри.

В свой первый же день в Лондоне — как только меня отпустили на волю — я отправилась гулять по просторам Гайд-парка. Там, под величественными каштанами, я радовалась как безумная каждой травинке, каждому цветку. Однажды, рискуя схлопотать строгий выговор, а может, что и похуже, я предложила политическому руководителю нашей группы перенести субботние политзанятия — так называемую "политинформацию" — на лужайки знаменитого ботанического сада Кью-гарденз.

Посещение еженедельных политсобраний, навевавших на меня смертельную скуку, все еще считалось обязательным, да и вообще мы, жители континентального Китая, находились в Лондоне, можно сказать, под тюремным надзором: покидать здание по одному и без особого разрешения строго запрещалось. Неповиновение могло стоить позорной высылки на родину и даже привести к полному жизненному краху. Но манящая лондонская свобода так контрастировала с душным застенком, в котором мы жили! И я только и делала, что придумывала, как добиться послабления правил. Иногда мне это удавалось — так мы и впрямь отправились в Кью-гарденз, ибо нашему руководителю и самому пришлась по душе эта идея, хотя он страшно боялся, что в посольстве на это посмотрят косо. В результате кучка нелепых, но счастливых молодых людей и девушек в мешковатых синих "костюмах Мао" оказалась в пылающем красками розовом саду.

Мне повезло — неприятностей не последовало. То было время бурных перемен в Китае. В конце 1978 года наступил поворотный момент: страна отказалась от основных принципов маоизма. Весь 1979 год, продолжая рисковать, я потихоньку расширяла границы дозволенного — и все обошлось! Больше всего меня интриговали английские пабы, куда нам категорически возбранялось ходить. В те дни китайский эквивалент слова "паб" — цзю-ба — рождал у меня в воображении образ чего-то непристойного, с извивающимися голыми женщинами. Я буквально умирала от любопытства и однажды не выдержала. Улизнув потихоньку из дома, стрелой понеслась в паб напротив нашего колледжа. Толкнула дверь и увидела... нескольких стариков, пьющих пиво. Как же я была разочарована!

Полагаю, что была первой китайской студенткой, которая расхаживала по улицам иностранного государства безнадзорно. Сотрудник колледжа, где я обучалась, — ныне это Университет долины Темзы, однажды пригласил меня съездить в Гринвич. Как предписывалось нашими правилами, я спросила, можно ли мне "взять с собой друга". Он не так понял и стал меня заверять: "Со мной тебе ничего не грозит". Я смутилась, но объяснить ничего не могла: говорить, что мы

не имеем права ходить без сопровождающего, было запрещено, причем обязанность придумывать отговорки возлагалась на нас же. Лгать я не желала, но поехать очень хотелось, и уж конечно без опекуна. Поэтому я умоляла посольского атташе дать мне соответствующее разрешение; в противном случае, изощрялась я, англичанин подумает, что китайцы ему не доверяют, а то и в чем-то его подозревают, а это может повредить англо-китайской дружбе в целом и даже репутации нашей социалистической родины. Выслушав весь этот бред, атташе в конце концов позволил поездку, но велел соблюдать осторожность. Казалось, ему и самому были не по душе подобные порядки. И в самом деле — как-то вечером, когда мы остались в здании одни, он разоткровенничался. Оказывается, двадцать лет назад он любил одну девушку, и они уже было собирались пожениться, но тут во время очередной политической кампании ее заклеймили как "правую уклонистку". Женитьба положила бы конец его многообещающей карьере. Невеста настаивала на разрыве. После мучительных колебаний он так и поступил и со временем стал преуспевающим дипломатом. Но не забыл ее и не простил себя. Рассказывая, он не мог сдержать слез.

В том, что посольский работник обнажал душу перед едва знакомым человеком, не было ничего странного. В те годы люди были так измучены случившимися с ними трагедиями, что порой доверялись первому встречному, если ощущали в нем родственную натуру. Шлюзы человеческой памяти благодаря начавшейся в стране либерализации приоткрылись. Вот и атташе на свой страх и риск разрешил мне нечто беспрецедентное — выйти без сопровождения за пределы посольской территории.

Я по сей день помню ту поездку в Гринвич. Вообще говоря, в ней не было ничего особенного: добрались на машине, гуляли, фотографировались на меридиане, поставив ступни на разные полушария. Но меня трясло от волнения. Я все время искала глазами китайцев, а завидев их, старалась угадать по их одежде, из КНР они или нет; если из КНР, как неправдоподобно часто чудилось мне (тогда на Запад попадало очень мало китайцев с континента), я поскорее отворачивалась, в то же время пытаясь держаться со своим спутником как можно естественнее. Я боялась, что меня заметят и донесут в посольство, тогда и мне, и доброму атташе не поздоровится. Самым тяжелым испытанием оказался пикник: мы сидели на большой тихой лужайке и ели сандвичи с сыром — все вроде бы хорошо, но если что, спрятаться было бы негде.

Страх не удержал меня от дальнейших эскапад, и дело не в любви к опасности, а просто в неспособности устоять перед искушением. По мере того как правила смягчались, я все чаще выходила в свет одна и завязывала знакомства с самыми разными людьми. Большинству из них я говорила, что приехала из Южной Кореи, а не из Китая. И не только из-за полуподпольного характера моих вылазок, но и потому что не хотела упоминать свою родину, которая в то время, вследствие полной ее изоляции, казалась загадочной, как космос. Хотелось слиться с лондонской толпой и ничем не выделяться.

Первым и самым сильным моим впечатлением была удивительная бесклассовость британского общества. Я родилась в элитарной коммунистической семье и знала, сколь иерархичным и классово структурированным был Китай при Мао. Никто не мог выйти за жесткие рамки той или иной сословной категории: в анкете рядом с датой рождения и полом неизменно стояла графа "социальное происхождение". Этим определялись карьера, отношения с людьми, вся жизнь. Представители привилегированных слоев часто держались надменно, а рожденные в "дурных" семьях были обречены на жалкое существование. В результате все мы зациклились на том, кто из какой семьи родом, китайцы нередко задава-

ли этот вопрос при первом же знакомстве. Совсем иначе обстояло дело в Лондоне — казалось, здесь все абсолютно равны и никто даже не задумывается о происхождении.

Со временем я увидела вещи в несколько другом свете. Однако мне и сегодня не кажется, что тогда я смотрела на мир через розовые очки. Несмотря на традиционные классовые различия, в Великобритании люди сохраняют чувство собственного достоинства, обделенных привилегиями здесь не топчут и не унижают, как в маоистском Китае. Честность общества, самоуважение как национальная идея — ничего такого и сегодня не знают в Китае.

Я полюбила Англию всей душой. Свой первый год я провела буквально в состоянии головокружения от счастья. Побывала во всех музеях и галереях, какие только обозначены на туристической карте, часто посещала театральные спектакли — для студентов почти бесплатные. С удовольствием экономила на транспорте, ходила по Лондону пешком — каждый дом, каждая улица представляли для меня интерес. Забредала в сомнительные ночные клубы и глазела на товары в секс-магазинах Сохо. На своей первой дискотеке я танцевала как в бреду. Пещерой Аладдина казался даже самый захудалый кинотеатр, чьи тусклые лампы, вытертый красный плюш и облезшая позолота словно намекали на тайны и сокровища. Как мне стало ясно потом, я задавала собеседникам странные вопросы, стараясь понять людей разных культур. Последним нарушенным мной табу были романы с иностранцами, которые я скрывала, по-прежнему опасаясь наказания. В Китае меня когда-то предупредили, что всякого, кто попытается крутить любовь с иностранцем, накачают снотворным и отправят обратно в Китай в джутовом мешке, — я верила в это безоговорочно. Когда я оказывалась хотя бы в относительной близости от Портленд-плейс, где находится посольство, у меня буквально подкашивались ноги от страха, а проезжая мимо в машине, я старалась забиться в угол и пониже пригнуть голову. В те дни я впервые в жизни накрасилась — думала, так мне легче будет обмануть бдительность сотрудников посольства (которые, вопреки моим опасениям, не занимались слежкой такого рода). От алой или пурпурной помады и густо наложенных зелено-золотых теней мое лицо так менялось, что я сама с трудом узнавала себя в зеркале.

Но косметика — это игрушки, на самом деле я с головой ушла в написание лингвистической диссертации. Мне предложил аспирантскую стипендию университет Йорка — города, притягивавшего меня к себе задолго до того, как я его увидела, своим легендарным кафедральным собором, городскими стенами (как считается, это ближайший в мире аналог Великой Китайской стены) и войнами Алой и Белой Роз. В те времена решения о распределении иностранных стипендий принимались на правительственном уровне. Но мне в очередной раз сделали в посольстве послабление: заступился добрый атташе, да и ситуация в Китае все больше смягчалась, так что стипендию мне дали. Защитив в 1982 году диссертацию, я стала первой гражданкой коммунистического Китая, получившей британскую докторскую степень.

Но я не просто изучила лингвистику (которую, к стыду своему, основательно подзабыла), а поняла нечто более важное. Помню, как обсуждала план диссертации со своим руководителем, профессором Ли Пейджем, благодаря чуткости и такту которого вдруг ощутила, что больше не испытываю вечно снедавшего меня беспокойства. Его мягкая ирония, ненавязчивые советы — все свидетельствовало о том, что никто в Англии меня не обидит: не надо ничего бояться. И увлекшись, я пустилась рассуждать о лингвистических теориях, обзор которых мне предстояло сделать. Он внимательно выслушал и попросил показать диссертацию. Я с удивлением воскликнула: "Но ведь я к ней еще не приступала!" "Одна-

ко у вас уже готовы все выводы", — заметил он. Это короткое замечание навсегда освободило мой ум от удавки тоталитарного псевдообразования. В Китае нас приучили делать выводы не на основании фактов, а на основании марксистских теорий, или мыслей Мао, или исходя из "линии партии", все, что тому противоречило, даже факты, отрицались или опровергались. Возвращаясь через кампус в свою комнату, выходившую на берег прекрасного озера, где жило много пернатых, я размышляла об ином подходе к действительности и следила за полетом птиц, словно символизировавших свободу, которую я только что обрела. Открытое мышление — это так просто, но дорога к нему оказалась такой долгой!



В Йорке мне однажды ночью и пришла в голову мысль написать книгу о моем прошлом. Как-то меня пригласили на лекцию профессора, только что вернувшегося из Китая. Он показывал слайды, которые сделал в школе, где в холодный зимний день ученики сидели в неотапливаемых классах с выбитыми стеклами. "Им не холодно?" — спросил сердобольный профессор. "Нисколько", — последовал ответ.

После демонстрации слайдов состоялся прием, и одна женщина, скорее всего в порядке любезности, обратилась ко мне со словами: "Вам, наверно, тут у нас очень жарко". Это невинное замечание так меня ранило, что я выбежала из комнаты и расплакалась впервые с тех пор, как приехала в Англию. И не столько от обиды, сколько от невыносимой боли за моих соотечественников. Наше собственное правительство не считало нас полноценными человеческими существами, и, соответственно, людям из внешнего мира мы тоже казались другими, не такими, как они сами. Я вспомнила старое присловье, что жизнь китайца ничего не стоит, вспомнила и анекдот о том, как удивился англичанин, узнав, что его слуга-китаец страдает от зубной боли. У меня в памяти всплывали отзывы иностранцев, побывавших в маоистском Китае и удивлявшихся странному народу, которому, похоже, нравится, когда его третируют, обличают, "перевоспитывают" в трудовых лагерях, — нравится все, что западному человеку показалось бы сущим адом.

Все эти мысли бурлили в голове; перед глазами проносились разные картины: моя жизнь в Китае, моя семья, люди, которых я знала, Я ощутила жгучее желание поведать миру наши истории, рассказать о наших подлинных чувствах. Ко мне вернулась потребность писать.

Но до выхода в свет "Диких лебедей" оставались годы. Подсознательно я старалась не думать о книге. Слишком тяжело было ворошить прошлое....

В 1988 году ко мне в Лондон приехала мама. Она впервые оказалась за границей, и мне хотелось повозить ее повсюду, показать как можно больше, но почему-то, ощутила я, ей это не в радость. Что-то было у нее на уме, что-то ее беспокоило. Однажды, отказавшись от поездки по магазинам, она села за мой черный обеденный стол, на котором сияли золотые нарциссы, и, сжимая кружку с жасминовым чаем, призналась, что больше всего на свете хочет поговорить со мной.

Беседа наша продолжалась несколько месяцев — она впервые рассказывала о себе и бабушке. Разговоры велись и во время туристических поездок. Я слушала ее в самолетах, автомобилях, на теплоходах, во время пеших прогулок и дома на диване — мы нередко засиживались за полночь. Когда я была на работе, она наговаривала свои истории на магнитофон. До отъезда из Англии она сделала шестьдесят часов записей. Так ей удалось исполнить мечту всей жизни, не исполнимую на родине, — высказать свои мысли и чувства.

...Слушая маму, я ощущала, как она жаждет, чтобы я ее поняла, более того — чтобы взялась за перо. Казалось, она знает о моей склонности к писательскому

труду и поощряет ее, хотя никогда не говорит на эту тему. Рассказывая одну историю за другой, она учила меня смотреть прошлому в лицо. В ее воспоминаниях, как ни полна была страданий и мучений ее жизнь, не было мрачности и уныния, они поражали стойкостью и силой духа.

Именно мама в конце концов и вдохновила меня на написание "Диких лебедей", книги о моей бабушке, матери, обо мне самой и о бушевавших вокруг нас бурях, пришедшихся на долю Китая в XX веке. За два года я пролила немало слез и провела немало бессонных ночей. Наверное, я бы не справилась с работой, если бы к тому времени не обрела любовь, давшую мне ощущение полноты жизни и глубокое спокойствие. Джон Халлидей, мой не нуждающийся в доспехах рыцарь, чья внутренняя сила, скрытая под мягкостью манеры, в них не нуждается, — главное, что я обрела на новой родине. Благодаря его поддержке я верила, что все у меня получится — включая "Диких лебедей".

Работая над книгой, я во многом полагалась на Джона. Английский язык я начала учить всерьез только в двадцать один год, в обстановке полной изоляции от внешнего мира. Единственными иностранцами, с которыми я разговаривала до приезда в Англию, были моряки в южнокитайском порту Чжаньцзян, прежней французской колонии, где мы с однокашниками в течение двух недель практиковались в английском языке. Оказавшись в Лондоне, я стала много читать, одной из первых моих книг был "1984" — я не уставала восхищаться тем, как точно описания Оруэлла соответствуют Китаю времен Мао. Но говорить правильно по-английски я еще не умела. Китайские учебники, по которым я училась, были написаны людьми, никогда не общавшимися с иностранцами; тексты по большей части представляли собой буквальные переводы. Например, в разделе "Приветствия" приводились прямые соответствия китайских выражений "Куда ты идешь?" и "Ты голоден?" — именно так здороваются в Китае. Первое время и я так здоровалась с англичанами. И конечно без помощи Джона, без его оценки и верного глаза я не могла бы написать книгу по-английски...

В общем, "Дикие лебеди" писались при благословенной поддержке двух самых важных людей в моей жизни — матери и мужа. Перед выходом книги мама написала мне: будь готова к тому, что она будет плохо продаваться и люди не обратят на нее особого внимания, но не огорчайся, потому что она нас сблизила и тем самым подарила счастье. Уже одного этого достаточно, писала она. Мама была права. Я стала еще больше любить и уважать ее. Но понимала, что она призывает меня не думать об успехе, стараясь, как всегда, уберечь от ран. Письмо глубоко меня тронуло...

"Диких лебедей" ожидал успех. За двенадцать лет я получила множество благоприятных отзывов, встречалась с разными людьми, получала письма — в общем, была на верху блаженства. Маму, которая по сей день живет в Китае, в городе Чэнду, и сейчас часто навещают люди из самых разных стран: дипломаты и путешественники с рюкзаком за плечами, бизнесмены и туристы. Она побывала в Голландии, Таиланде, Венгрии, Бразилии, не говоря уж о Великобритании.

Казалось бы, у всей этой истории счастливый конец, но есть в ней и грустная нота: "Дикие лебеди" до сих пор запрещены к публикации в Китае. Похоже, режим видит в книге угрозу для коммунистической партии. Хотя "Дикие лебеди" — повесть об отдельных людях, в ней отразилась история Китая XX столетия, и роль партии выглядит незавидно. В свое оправдание власти создали официальную версию истории, но "Дикие лебеди" в эти рамки не вписываются. В частности, в моей книге показано, каким преступным правителем был Мао... Вот почему в Китае запрещено издавать "Диких лебедей". Запрещено также упоминать книгу, как

и имя ее автора — в средствах массовой информации. Хотя за прошедшие годы китайские журналисты не раз брали у меня интервью и писали статьи о "Диких лебедях", но ни один материал не вышел: редакторы боятся нарушить запрет. Существует даже особая сверхсекретная директива Министерства иностранных дел по этому поводу — ситуация для печатного издания необычная, если не исключительная. Это отпугивает читателей и в то же время привлекает. В результате множество людей, даже государственных цензоров, отыскали книгу и прочли ее.

Жизнь в сегодняшнем Китае неизмеримо лучше той, что была у моих соотечественников в прошлом веке, чему я неустанно радуюсь. Однако, хотя нация получила толику личной свободы, до настоящей свободы еще далеко. За печатным словом следят гораздо пристальнее, чем до прихода коммунистов к власти. Еще до того, как в 1994 году на "Диких лебедей" был наложен запрет, один китайский издатель сделал купюры — прежде всего фрагменты о Мао — и отнес книгу в цензуру. Поскольку таких купюр оказалось немного, я согласилась издать ее при условии, что на соответствующей странице будет указано: "Ниже опущено столько-то иероглифов". Так делалось до прихода коммунистов. Однако нынешние власти на это не дали согласия. И все же текст с купюрами в конце концов вышел — как пиратское издание. Даже пираты не осмелились опубликовать полную версию!

Как говорят, есть еще одно пиратское издание — полное. Видимо, это фотокопия книги на китайском языке, вышедшая в свет на Тайване или в Гонконге, вопреки его вхождению в состав КНР в 1997 году. Немало экземпляров попало в Китай (таможня редко обыскивает багаж пассажиров). Я и сама беспрепятственно ввозила экземпляры, но из отправленных по почте не дошел ни один. Замечательный китайский кинорежиссер, которым я восхищаюсь, хотел снять по книге фильм, но не получил разрешения, к тому же его предупредили, что, если он попробует снять картину за границей, его съемочную группу ожидают в Китае большие неприятности[1].

Хотя "Дикие лебеди" запрещены, людей не преследуют за их чтение или обсуждение в частном кругу. Я разъезжаю по Китаю свободно и не замечаю за собой слежки. Очевидно, во мне, в отличие от книги, угрозы не видят: я не устраиваю митингов, не выступаю с речами и не веду подрывной работы. Поскольку путь в СМИ для меня закрыт, я лицо частное, а не публичное. Ныне режим точнее, чем раньше, выбирает объекты для преследований. Метят в то, что считают по-настоящему опасным, в то, что может получить общественный резонанс и стать знаменем организованной оппозиции. Это много лучше, чем во времена Мао, когда пострадали миллионы безвинных людей. Но это также означает, что монополия на власть по-прежнему существует и что один миллиард триста миллионов китайцев продолжают зависеть от горстки тайно избираемых людей.

"Дикие лебеди" обострили мою любовь к Китаю. Я расколдовала свое прошлое и больше не хочу "все забыть". Если я долго там не бываю, мной овладевает тревога. Эта земля, древняя, но кипящая энергией юности, пережившая столько трагедий, но смотрящая вперед с упрямым оптимизмом, — у меня в крови. Я приезжаю туда один — два раза в году и всегда возвращаюсь в Лондон выжатая

1. Переводчик может добавить свои наблюдения относительно судьбы книги в Китае. Английская версия – полная, без купюр – продается в центральном шанхайском книжном магазине. Многие китайцы (все, кого мы спрашивали) слышали о ней, ее обсуждают в Интернете. Следует отметить, что, в отличие от иностранцев, далеко не все китайцы, знакомые с книгой, оценивают ее положительно.

как лимон. Радость и восторг утомляют, так же как гнев и возмущение, а я их испытываю здесь на каждом шагу. Цель этих путешествий — собрать материалы для биографии Мао, которую мы с Джоном пишем вместе последние десять лет и надеемся опубликовать в 2004 году[1].

Каждый день у себя дома в Лондоне, в Ноттинг-хилле, я пишу за своим столом. Джон внизу, в кабинете; слышен скрип двери — это он идет за чашкой чаю. Мне становится радостно: я предвкушаю наш разговор за обедом, обмен мнениями, обсуждение исторических находок. За окном справа растет огромный платан, закрывающий небо уступами своих веток. Он удивительно прекрасен в дни, когда накрапывает дождик, а солнце лишь изредка улыбается из-за дымчатых облаков. Под деревом черный фонарный столб — как в любом фильме о Лондоне. Сзади по улице проплывают классические двухэтажные красные автобусы. Спешат прохожие под зонтиками. Обычная лондонская картина. И все же мне никогда не надоедает смотреть на нее, как никогда не наскучивает писать. Конечно, бывают минуты, когда я в отчаянии говорю себе и друзьям: "С меня довольно!" Но я на седьмом небе от счастья.

Чжан Жун
*Лондон*
*Май 2003 г.*

1. Jung Chang, John Halliday. Mao: The Unknown Story, Jonathan Cape, 2005.

# Жан-Поль Сартр

*Нобелевская премия 1964 года*

# *"Аминадав", или О фантастике, рассматриваемой как особый язык*

*Перевод с французского и вступление* С. Зенкина

Сартр никогда не был удобным человеком — ни при жизни, ни для посмертных толкователей. Таков эффект его знаменитой "ангажированности" — открытой вовлеченности в злободневные дела, споры и даже свары (политические и не только). Глубокие мысли, оригинальные и сильные художественные создания то и дело соседствуют у него с идеологически предвзятыми суждениями, запальчивыми и безоглядно резкими оценками, которые еще и странно сочетаются с блестящим, но и педантичным стилем профессора философии. Невозможно составить какой-либо мало-мальски представительный "избранный" корпус его текстов, где осталось бы одно "вечное" и было бы отсеяно все случайное, сиюминутное и просто малосимпатичное.

Вот и теперь для юбилейной публикации мне показалось уместным выбрать одну из самых спорных и во многом несправедливых статей Сартра-критика — большую рецензию на роман Мориса Бланшо "Аминадав" (1943). Вообще, в последнее время исследование творчества Сартра все чаще идет по пути сопоставлений с другими писателями-мыслителями его времени — теперь уже не столько с Альбером Камю, его знаменитым партнером по "экзистенциализму", сколько

© С. Зенкин. Перевод, вступление, 2005

с Жоржем Батаем, Морисом Бланшо, Роланом Бартом. Все они реагировали на сходные проблемы, все находились в заинтересованном интеллектуальном общении с Сартром, все (кроме разве что Барта) рано или поздно становились предметом его критических разносов: такая была у него манера вести диалог.

Вся язвительность — на грани допустимого — его статьи о Бланшо может быть понята лишь с учетом политической обстановки в оккупированной Франции 1943 года. Когда Сартр издевается над "моррасизмом" Бланшо (в 30-е годы крайне правого политического публициста), он презрительно отмежевывается от коллаборационизма, к которому скатился в 40-е годы престарелый националист Шарль Моррас; а подчеркивая неожиданное сближение Бланшо, "французского писателя, убежденного, что следует 'думать по-французски'", с Францем Кафкой, "писателем из Центральной Европы" (читай — "евреем"), он не менее издевательски компрометирует его в глазах тех же самых националистов. Свои снисходительные литературно-технические замечания о романе "молодого писателя" (который на самом деле был всего на два года младше его самого) он ничтоже сумняшеся перемежает личными нападками.

Интересно, однако, что, насколько известно, эти нападки не оскорбили Бланшо. Сартр не знал или же игнорировал, что он еще до войны оставил политическую публицистику, а позднее и вовсе радикально пересмотрел свои убеждения. Сопоставление с Кафкой, по-видимому, показалось ему столь важным, что в дальнейшем именно Кафка стал героем наибольшего числа собственных критических статей Бланшо (они составили целую книгу "От Кафки к Кафке", переведенную и на русский язык). А важнейшая для статьи Сартра теоретическая идея о тотальном характере фантастики ("фантастике нельзя выгородить какую-то область — или ее нет, или она распространяется на весь мир") отчетливо откликнулась в программно-теоретической статье Бланшо "Литература и право на смерть" (1947), хотя в ней же содержится и полемика с сартровской концепцией "ангажированной" литературы. Только Бланшо придал мысли своего бывшего критика иное содержание: универсальным характером обладает не фантастический "мир наизнанку", а вообще *воображаемый* мир, то есть наш собственный мир, мыслимый как целое[1]. Поистине, Сартр на примере романа Бланшо уловил нечто важное для всей современной философии художественного творчества — вот только самого Бланшо ему для этого понадобилось ославить неловким эпигоном и политически сомнительным субъектом.

Теория фантастики, изложение которой занимает основную часть его статьи, до сих пор остается одним из лучших, наиболее глубоких исследований этого литературного феномена[2]. Фантастика, по мысли Сартра, последовательно очищается от конкретных сверхъестественных мотивов и приближается (в частности, у Кафки и у Бланшо) к своей абстрактной сущности — "бунту средств против целей", нарушению рациональной целесообразности мира. По своей обобщенности понятие фантастики сближается у Сартра с другим понятием, которым он активно пользовался в поздних работах и применял на практике во всем своем творчестве, — с

1. Цитирую свой перевод статьи Бланшо: "Ирреальность начинается вместе с целостностью. Воображаемое – это не какая-то экзотическая область по ту сторону нашего мира, это сам наш мир, только взятый в совокупности, как целое. Поэтому ему нет места в мире – оно и есть мир, воспринятый и воплощенный в своей целокупности и всеобъемлющем отрицании содержащихся в нем частных реальностей..." – Морис Бланшо. Литература и право на смерть / Новое литературное обозрение, 1994, № 7, с. 84. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

2. Она явно повлияла, уже на следующем этапе истории гуманитарной мысли, на выработку структуралистского понятия фантастики в книге Цветана Тодорова "Введение в фантастическую литературу" (1970).

понятием сакрального, которое также способно к экспансии "на весь мир". С другой стороны, сводя фантастику к категориям деятельной жизни — "целям" и "средствам", он оставляет в стороне другую пару понятий — "означаемое" и "означающее", то есть категории языка; упущение особенно странное в статье, заголовок которой гласит: "О фантастике, рассматриваемой как особый *язык*"[1]. Действительно, недооценка языка, его собственных сил и законов в процессе культурного творчества образует постоянное "слепое пятно" сартровской мысли; впрочем, эта недооценка в большей степени относится к теоретической мысли писателя, и ее во многом компенсирует его же художественная практика, где язык, со своим потенциалом "пустоты", используется виртуозно.



Как сказано в его статье о Бланшо, "когда философ останавливается, художник идет дальше..."

> Мысль, иронически ставшая предметом чего-то иного, чем мысль.
>
> Морис Бланшо *Темный Тома*[2]

Тома проходит через какое-то селение. Кто такой Тома, откуда, куда идет? Об этом мы ничего не знаем. Из одного дома ему помахала рукой женщина. Он входит и внезапно оказывается в странной республике жильцов, где каждый как будто бы сразу и испытывает на себе власть закона и сам диктует его остальным. Его подвергают несообразным обрядам посвящения, сковывают вместе с другим, почти немым человеком, и в таком виде он бродит из комнаты в комнату, поднимается с этажа на этаж, часто забывая, чего ищет, но всякий раз вспоминая об этом, как только его пытаются задержать. Пережив много приключений, он изменяется внешне, теряет своего спутника и заболевает. Тут его в последний раз предостерегают: пожилой служитель говорит ему: "Задавай вопросы себе самому", сестра-сиделка добавляет: "Вы стали жертвой иллюзии, вам показалось, что кто-то вас зовет, но там никого не было и призыв исходил от вас". Однако же он не отступает, добирается до верхних этажей, разыскивает женщину, подавшую ему знак, — чтобы услышать от нее: "Никто тебя не звал и не приказывал войти, ждали не тебя, а другого". Мало-помалу Тома ослабел; вечером его навещает бывший товарищ по оковам и объясняет ему, что он ошибся дорогой. "Вы не сумели распознать свой путь... Я был как бы вашим вторым я. Я знал все пути в доме и знал, которым из них вы должны были идти. Достаточно было спросить у меня..." Тома задает было последний вопрос, но ответа не получает, и в комнату снаружи наползает мрак, "прекрасный и успокоительный... огромная греза, непостижимая тому, кого она накрывает".

В таком изложении романа г. Бланшо его замысел кажется вполне ясным. Еще яснее необычайное сходство его книги с романами Кафки. Здесь тот же тщательно-обходительный стиль, та же учтивость кошмара, та же мелочная, несуразная церемониальность, те же тщетные, ни к

1. Сартр толкует скорее о "духе" и "материи" — традиционных категориях европейской метафизики, которые затем упрощенно переносит на роман Бланшо, объясняя, например, одного из оригинальных его персонажей как плоскую аллегорию "тела, унижаемого и подвергаемого издевательствам в обществе, где расторгнут союз между телесным и духовным".
2. Перевод некоторых названий отличается от расхожих вариантов.

чему не ведущие искания, те же подробные и топчущиеся на месте рассуждения, те же бесплодные, ни во что не посвящающие посвятительные обряды. Однако г. Бланшо утверждает, что ничего не читал из Кафки к тому времени, когда писал "Аминадава". Раз так, то тем удивительнее это странное схождение: молодой, еще не уверенный в своей манере писатель, пытаясь выразить кое-какие расхожие мысли о человеческой жизни, отыскал себе инструмент, который под пальцами другого автора некогда издавал звуки неслыханные.

Не знаю, чем вызвано это схождение. Меня оно интересует лишь постольку, поскольку позволяет определить "современное состояние" фантастической литературы. В самом деле, у фантастического жанра, как и у всех прочих литературных жанров, есть сущность и история, и в истории развертывается сущность. Какова же должна быть современная фантастика, чтобы французский писатель, убежденный, что следует "думать по-французски"[1], смог сомкнуться в этом способе выражения с писателем из Центральной Европы?

Чтобы создать фантастику, не является ни необходимым, ни достаточным изображать что-либо необычайное. Самое странное событие, если оно одиноко в законосообразном мире, само собой включается во всеобщий порядок. Если в вашем рассказе заговорит конь, я на какой-то момент сочту его заколдованным. Но если он будет и дальше говорить среди неизменных деревьев, на неизменной земле, то я признаю за ним естественную способность говорить. Я стану видеть в нем уже не коня, а человека в обличье коня. Напротив того, если вам удастся убедить меня, что этот конь фантастичен, значит, деревья, земля, река тоже фантастичны, даже если вы ничего об этом не сказали. Фантастике нельзя выгородить какую-то область — или ее нет, или она распространяется на весь мир; это целостный мир, где в вещах проступает какая-то пленная, искаженная мысль, одновременно прихотливая и скованная, которая понемногу разъедает свои оковы, но так и не может выразить себя. Здесь материя — всегда не совсем материя, поскольку детерминизм в ней лишь намечается и все время буксует, а дух всегда не совсем дух, поскольку он порабощен, его пропитывает и облипает материя. Всюду беда: вещи страдают и стремятся к инертности, но не могут ее достичь; дух унижен, обращен в рабство и тщетно силится достигнуть сознания и свободы. В фантастике перевернут образ единства души и тела: в ней душа занимает место тела, а тело — место души, и мы не можем помыслить этот образ в ясных и отчетливых понятиях; приходится пользоваться смутными, фантастическими же мыслями, то есть, оставаясь бодрствующим, взрослым и цивилизованным человеком, возвращаться к "магической" ментальности сновидца, первобытного дикаря, ребенка. А потому нет нужды рассказывать о феях; сами по себе феи — просто красивые женщины; фантастической бывает природа, когда она подчиняется феям, природа вне и внутри человека, воспринимаемая как человек наизнанку.

Пока считалось возможным вырваться из пут человеческого удела путем аскезы, мистики, метафизических учений или поэтического творчества, фантастическому жанру приходилось играть четко определенную роль. В нем проявлялась наша человеческая способность превозмогать человеческую природу; писатели старались создать какой-то иной,

1. Если не ошибаюсь, г. Бланшо был учеником Ш. Морраса. (*Прим. автора*)

не наш мир — одни, как По, опирались на принцип искусственности; другие, как Казотт, Рембо и вообще все, кто высматривал "гостиную на дне озера"[1], веровали в чудотворческое призвание писателя; третьи, как Льюис Кэрролл, желали систематически приложить к литературе беспредельную власть, которой обладает математика в создании новых миров из условных допущений; четвертые, наконец, как Нодье, понимали, что писатель — это прежде всего лжец, и пытались дойти до лжи абсолютной. Создаваемый при этом объект не отсылал ни к чему, кроме себя самого, он ничего не изображал, он хотел просто существовать, он утверждал себя одной лишь своей плотностью. Если же некоторые авторы использовали фантастический язык, чтобы под покровом приятных вымыслов выражать какие-либо философские или нравственные идеи, то они охотно признавали, что лишают этот способ выражения его обычных целей и создают, так сказать, лишь бутафорскую фантастику.

Г-н Бланшо начинает писать в эпоху утраты иллюзий — послевоенное пиршество метафизики закончилось катастрофой, и новое поколение писателей и художников из гордости, самоуничижения или просто из духа серьезности торжественно обратилось назад, к человеку. Такая тенденция оказала влияние и на фантастику. Для Кафки, явившегося ее предтечей, хоть и существует некая трансцендентная реальность, но она недоступна и служит лишь затем, чтобы нам еще больнее было переживать оставленность человека в его человеческом состоянии. Г-н Бланшо, не верящий в трансцендентность, скорее всего подписался бы под мнением Эддингтона[2]: "Мы обнаружили на берегу Неведомого странный след чьей-то ноги. Чтобы объяснить его происхождение, мы громоздили одни теории на другие. Наконец нам удалось установить, кто оставил след, — оказалось, это мы сами". Отсюда и вытекает возврат фантастики "к человеку". Разумеется, ее не используют в целях доказательства и назидания. В частности, г. Бланшо открещивается от аллегорий, где, по его словам, "смысл бесспорно соответствует рассказанной истории, но может быть вполне выражен и отдельно от нее". Просто фантастика, ища себе место в лоне современного гуманизма, становится домашней, как и все остальное, отрекается от исследований чего-либо трансцендентного, соглашается заняться бытописанием людей. В то же время этот литературный жанр претерпевал и собственную эволюцию под действием внутренних факторов, избавляясь от фей, джиннов и корриганов[3] как от ненужных и устарелых условностей. Дали и Кирико показывали нам природу призрачную, однако свободную от сверхъестественного: один рисовал нам жизнь и страдания камней, другой создавал иллюстрированную биологию каких-то про́клятых существ, показывая чудовищное почкование человеческих тел или зараженных жизнью металлов. Странным образом эта эволюция ускоряется благодаря новейшему гуманизму: идя вслед за Кафкой, г. Бланшо больше не повествует о заколдованной материи, чудовища Дали из живой плоти, очевидно, кажутся ему шаблонными, как самому Дали казались шаблонными таинственные замки. Для него остался лишь один фантастический предмет — человек. Не тот человек, которого имеют в виду религии или спиритуалистические уче-

1. Цитата из "Алхимии слова" А. Рембо (в книге "Сезон в аду", 1873).
2. Артур Стэнли Эддингтон (1882–1944) — английский астроном и физик.
3. Корриганы — злые духи в бретонских преданиях.

ния и который лишь до пояса погружен в реальный мир, а человек как данность, человек как природа, человек как общество, тот человек, что снимает шляпу, встретив похороны, по утрам бреется перед окном, встает на колени в церкви, марширует под знаменем. Этот человек — микрокосм, в нем целый мир, целая природа; только в нем теперь и показывают ее заклятье. В нем — не значит в его теле (г. Бланшо отказывается от физиологических фантазий, его персонажи физически заурядны, автор характеризует их одним словом, походя), а во всей его реальности как homo faber, homo sapiens[1]. Так фантастика, гуманизируясь, приближается к идеальной чистоте своей сущности, становится такой, какой была. Кажется, она отбросила всякие ухищрения — никаких чудес, одна ловкость рук; мы признаем, что сами оставили след на берегу; никаких суккубов, никаких плачущих фонтанов — одни лишь люди, и творец фантастики провозглашает свое тождество с фантастическим объектом. Для современного человека фантастика — это один из многих других способов явить себе свой собственный образ.

Исходя из этих замечаний, попытаемся лучше уяснить необычайное сходство между "Аминадавом" и "Замком". Действительно, как мы видели, сущность фантастики в том, что образ единства души и тела вывернут в ней наизнанку. Однако у Кафки, как и у г. Бланшо, фантастика ограничивается изображением мира людей. Не ведет ли это к тому, что она у того и у другого автора оказывается подчинена каким-то новым условиям? И что же может означать такая инверсия человеческих отношений?

Входя в кафе, я сразу же вижу вокруг себя служебные предметы. Не вещи, не вещества, а орудия — столы, сиденья, зеркала, бокалы и блюдца. Каждое из них есть частица покоренной материи, все вместе они подчинены наглядному порядку, и значение этого порядка есть цель — цель, которой являюсь я сам, вернее заключенный во мне человек-клиент. Таков человеческий мир *налицо*. В нем напрасно искать материального "сырья": вместо материи здесь средства, а форма — духовный строй вещей — представлена целью. А теперь нарисуем то же самое кафе *наизнанку*; для этого нужно показать, как цели подавлены своими же средствами, как они тщетно пытаются прорваться сквозь огромную толщу материи или, если угодно, сквозь толщу вещей, которые сами демонстрируют свое служебное предназначение, но при этом как-то ухитряются не повиноваться и нарушать порядок, проявляют какую-то вязкую независимость, вдруг отнимают у нас свою цель, как только мы пытаемся ее уловить. Вот, скажем, дверь: она висит на петлях, с замком и щеколдой. Она тщательно заперта, как будто за нею хранится сокровище. После долгих стараний мне удается раздобыть к ней ключ, я отпираю ее и обнаруживаю за нею глухую стену. Я сажусь за столик, заказываю кофе со сливками, гарсон трижды переспрашивает у меня мой заказ и сам повторяет его, чтобы не могло быть никакой ошибки. Потом стремительно удаляется, сообщает мой заказ другому гарсону, тот записывает его в книжку и передает третьему. Наконец приходит четвертый и, сказав: "Пожалуйста", — ставит мне на стол чернильницу. "Но я же заказывал кофе со сливками", — говорю я. "Ну так вот", — говорит он и уходит. Если, читая такого рода рассказы, читатель решит, что гарсоны издеваются надо мной или же охвачены ка-

1. Человек-производитель, человек мыслящий (*лат.*).

ким-то массовым психозом, значит, мы проиграли. Если же нам удастся создать у него впечатление, что в мире, о котором идет речь, все эти странные дела в порядке вещей, тогда он внезапно очутится в фантастике. Человеческая фантастика — это бунт средств против целей: либо тот или иной предмет шумно утверждает себя как средство и самой силой этого самоутверждения скрывает от нас свою цель; либо он отсылает к какому-то другому средству, оно к третьему и так далее до бесконечности, так что до окончательной цели никак не добраться; либо сквозь наложение разнопорядковых целей проступает смутный, составной образ какой-то противоречивой целесообразности.



Ну, а если мне, наоборот, удалось уловить некую цель? Тогда к ней нет дороги, нельзя ни отыскать, ни придумать никаких средств для ее осуществления. Мне назначили встречу на втором этаже этого кафе; надо немедленно туда подняться. Снизу я вижу этот второй этаж, сквозь большой круглый проем я различаю его балкон, вижу даже столики и сидящих за ними людей; но сколько бы я ни кружил по залу, я никак не найду лестницы. В данном случае средство точно определено, все на него указывает и его требует, его отсутствие косвенно обозначено явным присутствием цели. Но само оно издевательски уничтожилось. Следует ли здесь говорить об "абсурдном" мире, как у г. Камю в "Чужом"? Так ведь абсурд — это полное отсутствие цели. Абсурд служит предметом ясной и отчетливой мысли, он принадлежит "миру налицо", как фактический предел человеческих возможностей. В том маниакально-галлюцинаторном мире, который мы пытаемся описать, абсурд казался бы спасительным оазисом, моментом передышки — поэтому ему и нет здесь места; мне не задержаться в нем ни на миг; каждое средство тут же отсылает меня к маячащему за ним призраку цели, а каждая цель — к призрачному средству, которым я мог бы ее осуществить. Я не в состоянии что-либо думать — разве что какими-то мерцающими, переходящими друг в друга понятиями, которые распадаются у меня на глазах.

Оттого и неудивительно, что у столь разных писателей, как Кафка и Бланшо, мы обнаруживаем точно одни и те же темы; просто они оба стремятся описать один и тот же несуразный мир. Для обоих первой заботой становится исключить из романа "равнодушную природу"; отсюда свойственная им обоим удушливая атмосфера. Герой "Процесса" бьется посреди большого города, пересекает улицы, входит в дома; в "Аминадаве" Тома бродит по бесконечным коридорам большого дома. Ни тому ни другому никогда не увидеть лесов, лугов, холмов. А ведь каким облегчением было бы для них встретить клочок земли, частицу материи, которая бы *ни для чего* не служила! Но тогда мгновенно рассеялась бы и фантастика; закон жанра обрекает их всюду находить одни лишь орудия. Как мы видели, эти орудия призваны не служить им, а все время демонстрировать какую-то несообразно-уклончивую целесообразность; отсюда этот лабиринт коридоров, дверей, лестниц, которые не ведут никуда; отсюда эти указатели, которые ничего не указывают, эти бесчисленные знаки, которые расставлены вдоль пути и ничего не означают. В качестве частного случая таких знаков следует упомянуть мотив известия, столь важный и у г. Бланшо, и у Кафки. В мире "налицо" известие предполагает отправителя, вестника и получателя, оно представляет собой лишь средство, целью является его содержание. А в мире наизнанку средство обо-

собляется и полагается просто как таковое: здесь нас забрасывают известиями без содержания, без вестника или без отправителя. Или же цель существует, но мало-помалу разъедается средством: в одной из притч Кафки император посылает кому-то из горожан известие, но вестник вынужден проделать столь долгий путь, что оно так и не достигает получателя; так же и г. Бланшо рассказывает об известии, чье содержание последовательно меняется по ходу движения: "Все эти предположения, — пишет он, — подводят к вероятному выводу, что, при всей своей добросовестности, вестник, добравшись до верхнего этажа, забывает известие и оказывается неспособен его сообщить; или же, если допустить, что он тщательно сохранил в памяти его слова, для него окажется невозможным понять их значение, ибо то, что имело здесь один смысл, там обязательно будет иметь иной или же не иметь никакого... Не берусь даже воображать, что станет с ним самим, могу лишь предположить, что он предстал бы мне столь непохожим на меня, как и посылаемое известие непохоже на получаемое". Возможно также, что известие достигнет нас и окажется частично разборчивым. Но, как выяснится позже, оно предназначалось не нам. В "Аминадаве" г. Бланшо открыл еще одну возможность: мне приходит известие, которое, разумеется, неудобопонятно; я начинаю разбираться и в конце концов обнаруживаю, что сам же был его отправителем. Разумеется, все эти варианты представляют собой не какие-то несчастные случайности среди многих других — они принадлежат самой *природе* известия, это знает отправитель, это ведомо и получателю, но тем не менее они неустанно продолжают один — отправлять письма, а другой — их получать, как будто главным является само известие, а не его содержание: средство поглотило цель, как промокашка поглощает чернила.

По той же причине, по какой оба наших автора изгоняют из своих рассказов природу, они изгоняют из них и естественного человека, то есть отдельного индивида, которого Селин называл "парнем без всякой собирательной значимости" и который мог бы быть только абсолютной целью. В фантастическом императиве переворачивается наоборот императив Канта: "Поступай всегда так, — говорит он нам, — чтобы рассматривать свою и чужую человечность как средство, а ни в коем случае не как цель". Чтобы погрузить героев в гущу лихорадочной, изматывающей, непонятной деятельности, г. Бланшо и Кафка должны окружить их людьми-орудиями. Обращаясь от служебного предмета к человеку как от средства к цели, читатель обнаруживает, что и сам человек всего лишь средство. Отсюда все эти чиновники, солдаты, судьи, которыми населены книги Кафки, и вся эта прислуга, называемая также "служителями", которой населен "Аминадав". Соответственно фантастический мир являет собой какую-то бюрократию: действительно, общество наизнанку более всего походит на большие административные структуры; в "Аминадаве" Тома ходит из кабинета в кабинет, от одного служителя к другому и нигде не находит нанимателя или начальника, подобно тому как посетителей, которым надо подать прошение в министерство, бесконечно отсылают из отдела в отдел. К тому же действия этих чиновников остаются абсолютно непостижимыми. В мире налицо я достаточно четко отличаю чихание судьи или прокурора, которое является случайностью, или же его посвистывание, которое является прихотью, от его юридической деятельности, которая является применением закона. А теперь вывернем это

наоборот: тогда мне поначалу будет казаться, что служащие фантастического мира тщательно, с мелочной дотошностью выполняют свои обязанности. Но вскоре мне откроется, что их служебное рвение бессмысленно или даже вредно — это всего лишь прихоть. Зато какой-нибудь торопливый жест, поражавший меня своей несообразностью, при более широком рассмотрении оказывается в полном соответствии с общественным достоинством данного лица; он был совершен по закону. Так закон распадается на прихоти, а в прихотях неожиданно проявляется закон. Напрасно требовать здесь писаных кодексов, правил, распоряжений: на рабочих столах валяются какие-то старые предписания, служители подчиняются им, но невозможно понять, действительно ли эти приказы исходят от полномочного лица, или же они представляют собой плод вековой безымянной привычки, или же они просто сочинены самими чиновниками. Сама их применимость двусмысленна, и мне никогда не решить, относятся ли они ко всем членам общества или же только лично ко мне. И вместе с тем такой двусмысленный закон, колеблющийся между правилом и прихотью, между всеобщим и единичным, всюду присутствует, сдавливает и угнетает вас; думая ему следовать, вы его нарушаете, а восстав против него, вы обнаруживаете, что подчиняетесь ему неведомо для себя. Считается, что он известен каждому, и тем не менее его не знает никто. Его цель не хранить порядок или регулировать отношения между людьми, это просто Закон, без цели, без значения, без содержания, и от него никому не уклониться.

Теперь пора замкнуть этот круг: нельзя проникнуть в мир снов, не заснув, и нельзя войти в фантастический мир, не став самому фантастическим. Между тем известно, что, приступая к чтению, читатель отождествляет себя с героем романа. Следовательно, герой, чью точку зрения мы принимаем, только и дает нам доступ к фантастике. При старинной технике его представляли как человека "налицо", чудесным образом перенесенного в мир "наизнанку". Этим приемом, по меньшей мере однажды, воспользовался и Кафка: в "Процессе" К. является нормальным человеком. Понятно, чем выгодна такая техника: она подчеркивает по контрасту всю странность нового мира, и фантастический роман становится Erziehungsroman'ом[1]; читатель разделяет удивленные чувства героя и следует за ним от одного открытия к другому. Но зато он видит фантастику *извне*, словно зрелище, как если бы бодрствующий разум спящего спокойно созерцал его сны. В "Замке" Кафка усовершенствовал свою технику: его герой сам фантастичен; мы вынуждены разделять приключения и воззрения этого землемера, но нам о нем ничего не известно, кроме того непонятного упорства, с каким он пытается поселиться в запретной деревне. Для достижения цели он жертвует всем, сам себя рассматривает как средство. Но нам так и остается неизвестно, чем она была для него столь ценна и стоила ли подобных усилий. Тот же прием использовал и г. Бланшо: его Тома не менее таинствен, чем прислуга в доме. Мы не знаем, откуда он, почему он так старается найти женщину, помахавшую ему рукой. Подобно Кафке, Замзе, Землемеру, Тома *никогда не удивляется:* он возмущается, как если бы череда событий, при которых он присутствует, ка-

1. Романом воспитания (*нем.*).

залась ему естественной, но заслуживающей осуждения, как будто у него была в душе какая-то странная норма Добра и Зла, только г. Бланшо тщательно избегает сообщать нам о ней. Так получается, что сами законы романа вынуждают нас принимать чужую точку зрения, осуждать, не понимая, озадачивающие нас события и созерцать их без удивления. Впрочем, г. Бланшо открывает и закрывает душу своего героя словно коробку с крышкой. Порой мы проникаем в нее, порой нас оставляют снаружи. А оказавшись внутри, мы находим в ней уже начатые рассуждения, которые механически сцепляются друг с другом, предполагая какие-то неизвестные нам исходные принципы и конечные цели. Мы начинаем им следовать; раз мы и *есть* герой романа, то мы рассуждаем вместе с ним; но эти речи так ни к чему и не приводят, как будто главным было просто рассуждать. В очередной раз средство поглотило цель. И наш разум, который должен был вновь вывернуть мир налицо, оказывается захвачен этим кошмаром и сам становится фантастическим. Г-н Бланшо даже заходит еще дальше: в одном превосходном пассаже "Аминадава" герой вдруг обнаруживает, что он тоже неведомо для себя служит в доме и выполняет в нем обязанности палача. Итак, мы терпеливо расспрашивали чиновников, которые, казалось, знают закон и тайны этого мира, и вдруг внезапно выясняется, что мы и сами на службе, просто не знали о том; теперь уже другие глядят на нас умоляюще и задают нам вопросы. В конце концов, возможно, мы и впрямь знаем закон. Как пишет Ален, "знать — значит знать, что знаешь". Однако эта максима — из мира налицо. В мире наизнанку человек не ведает того, что знает; а если он знает, что знает, — значит, не знает. Итак, наше последнее спасение — самосознание, где искал прибежища стоицизм — тоже ускользает и распадается; оно прозрачно прозрачностью пустоты, а наше бытие где-то снаружи, в чужих руках.

Таковы вкратце основные мотивы "Замка" и "Аминадава"; надеюсь, я показал, что они необходимо возникают у любого, кто взялся изображать мир наизнанку. Но зачем же, спросят меня, изображать его наизнанку? Что за глупая затея — описывать человека вверх ногами! В самом деле, ведь наш-то мир не фантастичен, в нем все налицо, а не наизнанку. Роман ужасов может выдавать себя за простую транспозицию реальности, потому что время от времени нам встречаются ужасные ситуации. А фантастических происшествий, как мы видели, не бывает, поскольку фантастика может существовать только как целый мир. Рассмотрим это получше. Если я сам вывернут наизнанку в мире наизнанку, то мне кажется, что в нем все налицо. Поэтому если бы я, сам будучи фантастическим, жил в фантастическом мире, то никоим образом не мог бы считать его фантастическим; это и поможет нам понять замысел наших двух писателей.

Итак, я не могу судить об этом мире, так как мои суждения сами составляют его часть. Если я мыслю его как художественное произведение или как сложный механизм, то я пользуюсь человеческими понятиями; если я, наоборот, объявляю его абсурдным, то опять-таки пользуюсь человеческими представлениями. Что же касается целей, преследуемых родом человеческим, то как можно их охарактеризовать, не соотнося с другими целями? Я еще могу надеяться, что однажды узнаю детали окружающего меня механизма, но как же человеку судить о мире в целом, то есть о мире, включающем в себя самого человека? Тем не менее я притязаю выяснить всю по-

доплеку, я хотел бы созерцать человечество так, как оно есть. Когда философ останавливается, художник идет дальше. Чтобы удовлетворить нас, он придумывает удобные вымышленные фигуры: Микромегаса, доброго дикаря, собаку Рике[1] или же того "Чужого", о котором недавно поведал нам г. Камю, – воплощения чистого взгляда, неподвластные человеческому уделу и оттого способные его наблюдать. В глазах таких ангелов человеческий мир есть реальная *данность*, они могут сказать, что он такой-то или такой-то, а мог бы быть и иным; человеческие цели случайны, это просто факты, которые ангелам видятся так же, как нам – цели пчел или муравьев; человеческий прогресс – сплошное топтание на месте, ибо ему не выйти за пределы своего конечного и безграничного мира, подобно тому как муравью не вырваться из муравьиного мира. Однако, заставляя читателя отождествиться с героем иной, нечеловеческой природы, мы возносим его над человеческим уделом; оторвавшись от него, он теряет из виду первейшую необходимость созерцаемого им мира – то, что человек внутри него. Как же показать ему *снаружи* эту его обязанность быть внутри? В сущности, именно эта проблема стояла перед Бланшо и Кафкой. Проблема исключительно литературно-техническая, в философском плане она не имела бы никакого смысла. И вот какое решение они ей нашли: они уничтожают ангельский взгляд, помещают читателя в гущу мира, вместе с К. и Тома; однако они делают так, чтобы среди этой имманентности брезжил как бы призрак трансцендентности. Служебные предметы, поступки, цели – все это нам привычно, и с ними нас связывают едва заметные нам самим отношения интимности; но в то время как мы чувствуем себя заключенными в жаркую атмосферу органической симпатии с ними, нам представляют их в холодно-отчужденном свете. Вот эта щетка – она у меня в руке, мне достаточно взять ее, чтобы почистить свою одежду. Но в миг прикосновения к ней я останавливаюсь, ведь эта щетка видна мне извне, она передо мной во всей своей случайности, она соотносится со случайными целями; таким предстает в человеческих глазах белый камешек, который муравей тупо волочит к себе в нору. "Каждое утро они чистят щеткой свою одежду", – сказал бы Ангел. И этого было бы довольно, чтобы такая деятельность предстала маниакально-непонятной. У г. Бланшо ангелов нет, зато *наши* цели – те, что рождаются из нас и придают смысл нашей жизни – нам стараются показать как *цели для других;* эти отчужденные, оцепеневшие под чужим взором цели демонстрируются нам только с внешней стороны, которая обращена наружу и с которой они являются *фактами.* Цели окаменелые, глядящие исподлобья, захваченные материальностью, цели, которые мы сначала констатируем, а уже потом желаем. Одновременно и средства начинают играть сами за себя. Если необходимость чиститься по утрам больше не является самоочевидной, то щетка предстает каким-то непостижимым орудием, обломком исчезнувшей цивилизации. Она все еще что-то значит, словно те предметы в форме курительной трубки, которые найдены в Помпеях. Но никто уже не знает, что же именно она значит. Вот такие застывшие цели, такие чудовищные и неэффективные средства как раз и образуют фантастический мир. Теперь нам понятно, в чем состоит прием: поскольку человеческая деятельность, видимая извне, кажется вывернутой наизнанку, то Кафка и г. Бланшо, да-

1. Речь идет о повестях Вольтера "Микромегас" и "Простодушный" и Анатоля Франса "Рике".

бы показать нам нашу жизнь без помощи ангелов, стали изображать мир наоборот. Это противоречивый мир, где дух становится материей, поскольку ценности предстают фактами, где материя разъедается духом, так как все сразу и цель и средство, где я вижу себя снаружи, не переставая находиться внутри. Мы можем мыслить такой мир лишь в эфемерных, саморазрушающихся понятиях. Собственно, мы даже и вовсе не можем его мыслить. Поэтому г. Бланшо пишет: "[Смысл] можно уловить лишь через посредство вымышленного рассказа, и он рассеивается, как только его пытаются понять как таковой... История... кажется таинственной, так как высказывает все о том, что как раз и не выносит высказанности". Фантастика обладает каким-то боковым существованием: если глядеть ей прямо в лицо, пытаясь выразить словами ее смысл, то она исчезает, ибо в конечном счете надо все-таки быть либо снаружи, либо внутри. Если же вы читаете рассказ, не пытаясь его истолковать, он наседает на вас с флангов. Кое-какие истины, которые можно выудить из "Аминадава", сразу же станут бесцветными и безжизненными, лишь только их вынешь из воды; ну да, человек одинок, он сам решает свою судьбу, сам создает закон, которому повинуется; каждый из нас чужой самому себе и является жертвой и палачом для других; напрасно стремиться к преодолению удела человеческого, лучше обрести ницшеанское чувство земли; ну да, кажется, мудрость г. Бланшо принадлежит к числу тех "трансцендентностей", о которых говорил Жан Валь[1] в связи с Хайдеггером. Но в общем-то все это звучит не слишком ново. А пока эти истины скользили в глубине вод вверх по течению рассказа, они блистали каким-то странным блеском. Просто мы видели их наизнанку: то были фантастические истины.

Здесь два наших автора, до сих пор долго шедшие одной дорогой, расходятся. О Кафке я могу сказать лишь то, что он один из самых необычных и великих писателей нашего времени. К тому же он был первым, избранная им техника отвечает прямой потребности. Показывая нам, как человеческую жизнь все время возмущает недостижимая трансцендентность, он сам верит в существование этой трансцендентности. Просто она недоступна для нас. Его мир одновременно фантастичен и безупречно правдив. Г-н Бланшо, несомненно, наделен значительным талантом. Но он пришел вторым, применяемые им искусные приемы нам уже вполне привычны. Он сам писал по поводу "Тарбских цветов" Жана Полана: "Те, кто мнил чудесами аскетизма уйти прочь от всякой литературы, стремясь избавиться от ее условностей и форм и напрямую коснуться тайного мира и глубинной метафизики, которую они желали раскрыть... в конечном счете довольствовались тем, что использовали этот мир, эту тайну и эту метафизику как формы и условности, охотно показывая их публике и создавая из них одновременно и несущий каркас и внутреннее содержание своих произведений... У писателей такого рода метафизика, религия и чувства занимают место техники и языка. Для них это выразительная система, литературный жанр, одним словом литература"[2]. Боюсь, этот упрек — если это упрек — может быть обращен и к самому г. Бланшо. Избранная им система знаков не вполне соответствует мысли, которую он выражает. Чтобы показать "природу духа, его глубинную раз-

1. Жан Валь (1888–1974) — французский философ.
2. Maurice Blanchot. Comment la littérature est-elle possible? José Corti, p. 23. (*Прим. автора.*)

деленность, борьбу Того же Самого с Тем же Самым, посредством которой достигается его мощь, мука и слава"[1], напрасно было прибегать к приемам, вводящим в глубь сознания чей-то внешний взгляд. О г. Бланшо можно сказать то же, что Ланьо[2] говорил о Барресе: "Он украл инструмент". Из-за этого легкого зазора между знаком и означаемым мотивы, искренне пережитые у Кафки, переходят теперь в разряд литературных условностей. По вине г. Бланшо у нас теперь есть шаблон фантастики "а-ля Кафка", подобно тому как есть шаблон замка с привидениями и чудовища из телячьей требухи. Конечно, я знаю, что искусство живет условностями, но все-таки надо выбирать их с толком. На фоне трансцендентности с оттенком моррасизма фантастика кажется какой-то фальшивой.

Неудовольствие читателя еще более нарастает от того, что г. Бланшо сам изменяет своему замыслу. По его словам, он хотел, чтобы смысл "Аминадава" "рассеивался, как только его пытаются понять как таковой". Хорошо, но тогда зачем же он все время дает нам толкование, многословный комментарий к своим символам? Во многих местах эти объяснения становятся столь навязчивыми, что вся история отчетливо принимает вид аллегории. Возьмите наугад любую страницу из длинного рассказа-мифа о домашней прислуге, например вот эту: "Я предупреждал вас, что большую часть времени персонал невидим. Я сказал глупость, поддался искушению гордыней и сам теперь краснею за это. Персонал невидим? Невидим большую часть времени? Да нет, мы вообще его не видим, никогда не замечаем даже издали; неизвестно, что может значить применительно к нему слово "видеть", есть ли какое-то слово для выражения его отсутствия и не является ли сама мысль об этом отсутствии просто последней прискорбной уловкой, дабы мы воображали себе его появление. Небрежение, с каким он к нам относится, в некоторых отношениях просто невообразимо. А значит, мы могли бы жаловаться на его равнодушие к нашим интересам, поскольку многие из нас уже подорвали себе здоровье или заплатили своей жизнью за его упущения по службе. Однако мы готовы все ему простить, если только время от времени он доставлял бы нам какое-то удовлетворение..."[3] Замените в этом пассаже слово "персонал" словом "Бог", а слово "служба" словом "провидение", и получится вполне четкое выражение определенного аспекта религиозных чувств. Нередко также предметы этого псевдофантастического мира являют нам свой смысл "налицо", не нуждаясь ни в каком комментарии, — как, например, фигура товарища по оковам, которая с очевидностью изображает тело, унижаемое и подвергаемое издевательствам в обществе, где расторгнут союз между телесным и духовным. Впечатление такое, будто мы переводим с перевода, выполняем обратный перевод.

Впрочем, я не утверждаю, что уловил все намерения автора, возможно, в отношении некоторых из них я и ошибся; чтобы вызвать у меня неудовольствие, хватило того, что эти намерения, даже смутные, выходят наружу; я-то думал, что при более внимательном или более умном чтении я бы и сам выяснил их все. Действительно, ведь у Кафки все происшествия

1. Ibid., p. 15. (*Прим. автора.*)
2. Жюль Ланьо (1851—1894) — французский философ.
3. Aminadab, p. 95. (*Прим. автора.*)

сменяют друг друга по необходимым законам интриги: скажем, в "Процессе" мы ни на миг не теряем из виду, что К. борется за свое достоинство, за свою жизнь. Ну а за что борется Тома? У него нет отчетливого характера, нет цели, он еле-еле вызывает у нас сочувствие. События же следуют в прихотливом беспорядке. Мне скажут: так ведь и в жизни. Но жизнь — не роман, и такие бессвязные цепочки событий, не получающие объяснения в самом произведении, невольно заставляют нас вновь гадать о тайных намерениях автора. Почему Тома теряет своего товарища по оковам и заболевает? В мире наизнанку ничто не подготавливает и не объясняет его болезни. Значит, ее смысл находится где-то вне этого мира, в провиденциальных замыслах автора. То есть по большей части г. Бланшо понапрасну тратит силы; ему не удается поймать читателя в ловушку изображаемого им кошмарного мира. Читатель вырывается наружу — он вне этого мира, вместе с самим автором, он созерцает эти грезы, как будто сложный механизм; и лишь изредка он теряет равновесие.

Впрочем, этих редких случаев довольно, чтобы увидеть в г. Бланшо настоящего писателя. Он тонок, изобретателен, порою глубок, он любит слова; ему остается лишь найти свой собственный стиль. Его вылазка в область фантастики небесполезна — она позволяет подвести итоги. Кафка был неподражаем, он маячил на горизонте каким-то вечным наваждением. Своим невольным подражанием г. Бланшо избавил нас от него, вывел на свет его приемы. Будучи описаны, расставлены по порядку, зафиксированы, они становятся бесполезными и больше не внушают страха или головокружения: Кафка — это всего лишь один из этапов на пути, по которому фантастика (у него самого и у Гофмана, По, Льюиса Кэрролла и других) непрерывно движется вперед, чтобы в пределе сомкнуться со своей вечной сущностью.

# А. Ливергант

# *Золотой ключик, или Литинститут в Канаде*

"Золотого ключика в природе нет", — ласково, но твердо заверил слушателей одного из семинаров для начинающих канадских литераторов низкорослый и краснолицый книгораспространитель, для которого — это чувствовалось по первой же фразе — в реализации книжной продукции тайн не существовало. Семинары и круглые столы, поясню, предваряли Международную книжную ярмарку в Торонто, на которую я отправился "в составе российской делегации" (если четыре человека можно назвать делегацией) в конце июня этого года. Правда, про саму ярмарку в этом очерке, вопреки вполне естественным читательским ожиданиям, не будет сказано, за полным отсутствием впечатлений, ни единого слова. Два впечатления, впрочем, остались: многочасовые читательские очереди за автографами и стенд с книжной продукцией из далекой Московии, заставленный книгами религиозно-патриотической тематики и обслуживаемый неулыбчивыми отечественными культуртрегерами.

"Главное, — продолжал с широкой североамериканской улыбкой краснолицый в красной же майке и в неформальных бермудах цвета овсяной каши, — знать свое дело! Книга, — обнадежил он далее юных (в возрастном диапазоне от двадцати до шестидесяти пяти) канадских 'инженеров человеческих душ', — это не самоцель, важно, чтобы за книгой стоял человек, вот что самое главное..."

© А. Ливергант, 2005

На этом, да и на других семинарах, начинавшихся, как водится на Западе, в восемь утра и сопровождавшихся легким позевыванием еще не вполне проснувшейся аудитории, а также едва слышным интеллигентным почавкиваньем (к семинару был приурочен, вопреки почитаемым в Канаде британским традициям, наиконтинентальнейший из завтраков), вообще говорилось немало полезного и в высшей степени оригинального. Все тот же salesmanager, к примеру, настоятельно рекомендовал юным писателям изучать роль Интернета в рекламе книг, прикладывать к издательской заявке на публикацию отдельные главы своего шедевра (совет, между нами говоря, довольно рискованный), вдумчиво изучать тенденции и запросы книжного рынка, читать современные книги, вообще читать "побольше хороших книг". Так и сказал, словно запамятовав общеизвестное: "Чукча не читатель..."

Старайтесь, учили нас умудренные опытом знатоки канадского книжного дела, по возможности избегать орфографических ошибок (спорен и этот тезис: в пору постмодернизма издатель, тем более искушенный читатель, может ведь воспринять пробелы в орфографии и пунктуации как самобытный литературный прием), заранее тщательно продумывайте заглавие опуса, с которым вы идете в издательство, и, главное, дерзайте, дерзайте, "пишите по-настоящему хорошо".

Стоило, впрочем, юным дарованиям, неспешно жевавшим булки, прихлебывавшим кофе и усердно

конспектирующим говорившееся, слегка приободриться — дерзать и "писать по-настоящему хорошо" из всего перечисленного самое, пожалуй, простое, — как с кафедры прозвучали предостережения. Во-первых, большой тираж первой книги (как вы догадались?!) вовсе не сулит успеха второй. Во-вторых, книги в целом продаются неважно, особенно fiction, поэтому, если уж взялись за перо, сочиняйте не романы, а self-help books — самопомощь, за неимением помощи извне, нынче "идет на ура". В-третьих, ни в коем случае не следует предлагать издателю фэнтэзи или хоррор — и того и другого (эка невидаль!) на канадском книжном рынке переизбыток. Хоррора, подумалось тут, и в жизни хватает.

"Писать, — авторитетно наставляла слушателей в своей лекции 'Парадоксы писательской профессии' известная теперь не только у них, но и у нас Сьюзан Суонн (по-нашему — Лебедева), прославленный автор романа с беспроигрышным названием 'Что рассказал мне Казанова', — следует регулярно, 'по крайней мере, четыре часа каждое утро'. Помните, — вещала эта немолодая, статная, со следами былой красоты именитая дама, несколько, на вид, утомившаяся от стабильного литературного успеха, — писать от первого лица честнее, откровеннее, чем от третьего... Главное, не терять эмоциональный контакт с читателем... быть суперактивным на рынке литературы. Писать роман, — сыпала метафорами Сьюзан Суонн, — это все равно что пуститься в бурные воды на утлой лодчонке... Литература — это, можно сказать, суровое духовное испытание..." Которое, опять вмешался, не проронив, впрочем, ни слова я, оглядев аудиторию, далеко не каждому по плечу.

В эту минуту ужасно, не скрою, захотелось и самому подвергнуться "суровому духовному испытанию", но, увы, вместо того чтобы *писать*, пришлось и дальше *записывать* за другими — на этот раз, правда, уже не за звездами современной канадской словесности, обучавшими юную творческую поросль, и не за непревзойденными мастерами PR'а, рекламы и книгораспространения, а за теми, кто сам совсем недавно пустился, если воспользоваться образным выражением автора "Что мне рассказал Казанова", "в бурные воды на утлой лодчонке".

И тут на смену образности Сьюзан Суонн, которая неумолимо растущим числом своих книг подает молодым отличный пример "суперактивности на рынке литературы", явилась мистика. Юные канадские письменники, недавно отпраздновавшие выход в свет своей первой книги, как правило, толстого, страниц на восемьсот, романа и почему-то обязательно о войне, которой эта мирная и благополучная страна не знала, почитай, уже много столетий, испытывали, по их собственным словам, некое тайное влечение к сочинительству, их, точно Шелли или Колриджа, будто бы подталкивал к творчеству прежде хранивший молчание внутренний голос. "Какая-то тайная рука вела меня, — признался аудитории высокий, бледный, чем-то и в самом деле напоминавший собирательный образ английских романтиков отрок, который только что опубликовал роман про вьетнамскую войну с рассыпанными по тексту намеками на войну иракскую. "В нашей жизни есть некая внутренняя логика, нам порой недоступная, — вторила ему совсем еще молодая, довольно неказистая девица, которая, впрочем, еще не поставила точку в своем тоже не самом коротком сочинении. — И поэтому (делала она несколько неожиданный вывод) писать книги о современности не представляется возможным". Еще один начинающий сочинитель, признавшийся, что ни за что не сядет за вторую книгу, пока не убедится, что хотя бы одна рецензия на первую была положительной, с не меньшей глубокомысленностью заметил: "А меня подвигнул на написание романа пейзаж, открывшийся мне из окна". Признания вроде: "Не я выбираю тему, а тема выбирает меня", плохо, согласитесь, сочетаются

не только с утренним йогуртом, но и с многолюдной аудиторией, жаждущей заглянуть в замочную скважину чужой творческой лаборатории, тем более если слова эти принадлежат очень уже не молодой особе, на боевом счету которой на сегодняшний день лишь один сборник рассказов со скелетом на обложке, где она к тому же выступает в скромной, хотя и почетной, роли составителя...

Поскольку и в моем случае не я выбирал тему, а она — меня, обращусь напоследок к информации куда более познавательной для нашего, еще совсем недавно "лучшего в мире" читателя, который о канадской литературе знает, подозреваю, прискорбно мало. Думаю, даже меньше, чем канадец о нашей. Если для канадцев наша словесность начинается (и кончается) с Dostoyevsky и Chekhov (к которым в случае читательской суперэрудированности присоединятся Tolstoy, Bulgakoff и Solghenitsyn), то популярные канадские авторы вроде Сетона-Томпсона, Стивена Ликока, Робертсона Дейвиса или Маргарет Этвуд вряд ли вообще ассоциируются с канадской литературой как таковой. Если перевод с английского — значит, писатель либо английский, либо американский, так ведь? Третьего — ирландского, австралийского, новозеландского, канадского — не дано. Так вот, пока канадский литературный материк еще толком не открыт, ограничимся некоторыми цифрами и фактами, почерпнутыми нами помимо советов "молодому бойцу", красочных метафор и мистических откровений, на предшествовавших книжной ярмарке в Торонто встречах с издательской и литературной общественностью.

На основании опроса 10 000 (!) канадцев (и нам бы, кстати говоря, такой опрос тоже не помешал) выяснилось:

— 45 % канадцев книг не читают вообще;

— канадцы покупают книги исключительно по рекомендации;

— покупают в основном (перехожу по необходимости на английский) нон-фикшн, сайнс-фикшн, фэнтэзи, гарденинг, кукинг, уже упоминавшиеся селф-хелп букс, а также книги для детей, книги по истории и конечно же биографии с мемуарами — вышедшие за месяц до ярмарки воспоминания о легендарном Морисе Ришаре шли нарасхват;

— чтение считают важным всего 6 % канадцев (у нас, боюсь, не больше), 87 % читают из удовольствия или чтобы отвлечься, при этом 65 % мало читают из-за нехватки времени;

— 20 % свободного времени в неделю, натурально, уходит на ТВ (цифра, кстати, не такая уж пугающая), 15 % — на музыку и радио, 14 % — на Интернет и только 7 % — на книги;

— половина канадцев, как и мы с вами, полагают, что книжная продукция стоит непомерно дорого, и, как и мы с вами, при этом валом валят в книжные магазины. До средней цены их книг нам, впрочем, пока, по счастью, еще далеко: в Канаде книга в обложке обычно стоит 10 канадских долларов, а в переплете — все 25.

Когда же докладчица, сообщившая нам все эти и еще многие другие любопытные сведения, поинтересовалась, что участники семинара взяли бы с собой из дому в случае пожара, то оказалось, что взяли бы, как ни странно, детей, не забыли бы и про домашних животных, а также про документы. Что же до любимых книг, даже тех немногих, что в другом — аналогичном — тесте берут с собой обычно на необитаемый остров или в открытый космос, то их участники семинара оставили бы гореть. В том числе и начинающие канадские авторы. В том числе и "члены российской делегации" с почетным статусом "гости канадского правительства". Все четверо.

# *У книжной витрины*

с Константином Мильчиным



Веско Э. *Введение в практическую магию. Краткий курс поттерологии и поттерографии, а также общее сововедение и основы тыквистики, с приложением лабораторных работ и экзаменационных зданий* / Пер. с ит. Н. Кулиш. — М.: Иностранка, 2005. — 302 с. — (Детям до шестнадцати). 5000 экз. (п)

Типичный пример "околопоттеровской" литературы. Книготорговцы ставят такие произведения в специальные "поттеровские уголки", рядом с книжками Дж. К. Ролинг. Краткая биография писательницы, история написания книги и съемок фильмов, ошибки и неточности, замеченные бдительными поттероманами. После каждой главы вопросы для закрепления пройденного материала. Одно смущает: если романы Ролинг рассчитаны как на детей, так и на взрослых, то книга итальянки Эди Веско годится только для самых маленьких. Уж слишком много сюсюканья.

Докс Э. *Каллиграф*: Роман / Пер. с англ. О. Чумичевой. — СПб.: Ред Фиш, 2005. — 558 с. — (Playbook). 5000 экз. (п)

У древней профессии каллиграфов есть свой покровитель, причем специфический. Это — демон-корректор по имени Титивиллюс. Он внимательно следит за ошибками переписчиков, а по вечерам собирает их в мешок и тащит в ад, чтобы представить дьяволу, порадовать старика сатану: ведь чем больше ошибок, тем хуже люди будут знать Священное писание. Современный каллиграф Джаспер Джексон переписывает гусиным пером на пергамент любовную лирику Джона Донна. Подобное служение музам не терпит суеты, а каллиграф как назло влюбился. Явно не обошлось без демона.

Янниди Ф. *Греческий мир в конце XVIII – начале XX вв. по российским источникам (к вопросу об изучении самосознания греков).* — СПб.: Алетейя, 2005. — 188 с. — (Новогреческие исследования). 1000 экз. (п)

Все о греко-русских отношениях, причем как собственно в Греции, так и в России: две главы монографии посвящены греческим торговцам и фабрикантам в южных губерниях Российской империи, а две — дипломатическим и личным контактам русских и греков как во времена османского владычества, так и после возникновения независимого Греческого королевства. Хотя Россия и приложила все усилия для освобождения единоверцев-греков, но отношения между народами были далеко не всегда безоблачными. Бесконечные русско-турецкие войны мешали торговле, которой традиционно занимались греки, а российские моряки и путешественники относились к грекам, мягко говоря, свысока.

Ласки К. *Золотая страна. Нью-Йорк, 1903. Дневник американской девочки Зиппоры Фельдман* / Пер. с англ. Е. Серегиной. — М.: Текст, 2005. — 189 с. 3000 экз. (о)

Маленькая еврейская девочка перебирается вместе с семьей из царской России в город Нью-Йорк. После белорусского местечка в большом чужом городе все кажется необычным, здесь мужчины не носят пейсы, а женщины ходят без париков. Трога-

тельное и забавное повествование о том, как она открывает большой мир. Так сказать, практическое пособие по ассимиляции. Немного портит дело только одно обстоятельство: дневник этот не подлинный, от лица девочки его сочинила современная американская писательница Кэтрин Ласки. Сочинила в общем довольно правдоподобно — а все равно обидно, что девочка не настоящая.

Эшноз Ж. *Гринвичский меридиан*: Роман / Пер. с франц. И. Волевич. — М.: FreeFly, 2005. — 304 с. — (Французская линия). 5000 экз. (п)

Один из первых романов известного французского писателя Жана Эшноза, смесь триллера и "нового романа". Остросюжетное повествование теряется среди нагромождений абсурда. Горы трупов и моря клюквенного сока вместо крови. С одной стороны, безжалостный слепой убийца, с другой — тайный агент, бывший переводчик с пятнадцати языков, путешествующий по миру с франко-латинским словарем, в котором он прячет пистолет-пулемет. Пересказать сюжет затруднительно, но следить за его головокружительными виражами любопытно.

Фрай С. *Как творить историю*: Роман / Пер. с англ. С. Ильина. — М.: Фантом Пресс, 2005. — 640 с. — (Зебра). 10000 экз. (п)

Историк-неудачник и сумасшедший профессор собираются вдвоем поменять ход истории. Они хотят, воспользовавшись машиной времени, перенестись в прошлое и запустить в водопровод маленького австрийского городка Браунау лошадиную дозу новейшего противозачаточного средства. Тогда Алоиз Гитлер навсегда станет бесплодным и, значит, у него не родится сынишка Адольф, значит, не будет ни нацизма, ни Второй мировой, ни Холокоста. После двухсотой страницы начинается описание мира, который получился без Гитлера, и в итоге все сводится к нехитрой мысли, что ход истории необратим и что, если не родится один маньяк, на том же месте и в той же роли появится другой.

Кацева Е. *Мой личный военный трофей*: Повесть о жизни. — СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2005. — 256 с. 1000 экз. (п)

Личный трофей — это немецкий язык, который недавно скончавшаяся Евгения Александровна Кацева выучила во время войны. Война велась против немцев; немецкий был языком врага, страшного и безжалостного. Фашисты так и остались объектом ненависти, а язык стал не просто "орудием производства", но неотъемлемым элементом жизни Кацевой, которая переводила Кафку и Бёлля, Фриша и Дюрренматта. Больше того: не только переводила, но и "пробивала" издания этих и многих других авторов. Мемуары Кацевой посвящены не только немецкоязычным авторам, но и советскому "литературному быту", однако немецкая тема звучит в них постоянно. Да и сами эти мемуары были впервые написаны ею "с легкой руки" немецких друзей — по-немецки.

Крлежа М. *Поездка в Россию. 1925*: Путевые очерки / Пер. с хорв. Н. Вагаповой. — М.: Гелеос, 2005. — 416 с. 3000 экз. (п)

Статьи хорватского поэта и журналиста Мирослава Крлежи (1893—1981) о поездке в Советскую Россию в 1925 году[1]. Крлежа принадлежал к левому политическому лагерю и потому мечтал съездить в страну победившего

1. Главы из книги были напечатаны в "ИЛ" (2004, № 8).

социализма. Она манила его, с одной стороны, как центр свободы, а с другой — как подлинный центр славянского мира. В книге, помимо рассказа Крлежи о пребывании в России, напечатаны его описания других городов мира, и по ним видно, что к России этот язвительный человек отнесся довольно снисходительно: над остальными странами он просто издевается, а к России в общем добр, хотя и бичует отдельные недостатки. Критика недостатков, а также легкий стиль и блестящее остроумие делают книгу Крлежи очень похожей на фельетоны Ильфа и Петрова. Или — если искать соответствия среди братьев-славян — на тексты Ярослава Гашека. Самое интересное, что хотя рассказ Крлежи о Советской России был очень положительный, у нас он все равно не издавался. Наверное, потому, что уж слишком идиллическую картину первых лет советской власти нарисовал остроумный хорват и слишком сильно эта картина расходилась с реальностью.

*Наваждения: к истории "русской идеи" во французской литературе XX века*: Материалы российско-французского коллоквиума (СПб., 2—3 июля 2001 г.) / Отв. ред. С. Л. Фокин; Науч. совет "История мировой культуры"; Комиссия по лит. и интеллектуал. культуре Франции. — М.: Наука, 2005. — 236 с. (п)

Французские герои статей, вошедших в сборник, — Марсель Пруст и Поль Клодель, Жорж Батай и Луи-Фердинанд Селин, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, сюрреалисты и Пьер Дриё де ла Рошель. Писатели разных литературных вкусов и политических пристрастий. Все они оказались под одной обложкой потому, что в тот или иной момент пережили "обольщение" русской и/или советской литературой и действительностью, стали жертвами "наваждения". В одних случаях источник интереса к "русскому" носит характер возвышенный и культурный (Пруст), в других (Дриё де ла Рошель) влечение к сильной воле и сильной власти заставляет обольщаться разом и Сталиным, и Гитлером. Наконец, есть случаи, когда значимым оказывается само отсутствие русской темы в творчестве французского автора (ранний Сартр).

Флобер Г. *Первое "Воспитание чувств"* / Пер. с фр. И. Васюченко и Г. Зингера; Предисл. и примеч. С. Зенкина. — М.: Текст, 2005. — 381 с. (п)

Это не *вариант* того романа Флобера, который входит во все собрания его сочинений и хорошо известен поклонникам, а совершенно самостоятельное произведение — под тем же заглавием[1]. Второе "Воспитание чувств", вышедшее в 1869 г., было создано зрелым писателем, уже создавшим свои знаменитые романы: "Госпожу Бовари" и "Саламбо". А первое "Воспитание чувств" датируется 1843—1845 гг., когда юный Флобер еще только искал себя и свою манеру. Не будь второго "Воспитания", первое было бы просто хорошим (говоря современным языком, "нормальным") романом про любовь и про "рождение художника". Но второе "Воспитание" существует, и сравнение двух романов позволяет понять, как далеко ушел Флобера за два с лишним десятка лет. А точное и емкое предисловие С. Зенкина этому пониманию очень способствует.

1. Подробнее см.: "ИЛ", 2005, № 1.

**Тони Моррисон**
**Toni Morrison**
Американская писательница, лауреат Нобелевской премии [1993].

Автор романов *Самые голубые глаза* [*The Bluest Eyes*, 1970], *Сула* [*Sula*, 1974, Национальная книжная премия], *Песнь Соломона* [*Song of Solomon*, 1977], *Смоляное чучелко* [*Tar Baby*, 1981], *Джаз* [*Jazz*, 1992], *Рай* [*Paradise*, 1998], а также книг для детей *Большой ящик* [*The Big Box*, 2000] и *Книга нехороших людей* [*The Book of Mean People*, 2001]. В *ИЛ* [1994, № 12] был напечатан ее роман *Возлюбленная* [*Beloved*], отмеченный в 1988 г. Пулицеровской премией.
Роман печатается по изданию *Love* [New York: Alfred A. Knopf, 2003].

**Светлана Макарович**
**Svetlana Makarovič**
Словенский поэт, прозаик, актриса. Лауреат премии фонда Ф. Прешерна, премии имени Ф. Левстика и др.

Автор поэтических сборников *Сумрак* [*Somrak*, 1964], *Ночь Ивана Купалы* [*Kresna noč*, 1968], *Волчьи ягоды* [*Volčje jagode*, 1972], *Сречевец* [*Srcevec*, 1973], *Женщина-полынь* [*Pelin žena*, 1974], *Время воевать* [*Vojskin čas*, 1975], *Счет* [*Izštevanja*, 1977], *Сосед-гора* [*Sosed gora*, 1980], *Хризантема на рояле: шансоны* [*Krizantema na klavirju: sansonska besedila*, 1990] и *То самое время* [*Tisti čas*, 1993]. Пишет также сказки и пьесы для детей. Последняя ее книга *Отчеркнуто когтем* [*S krempljem podčrtano*, 2004] — сборник эссе, написанных для различных периодических изданий.
Переведенные стихи взяты из сборника *Самость* [*Samost*. Ljubljana: Samozalozba, 2002].

**Мартин Вальзер**
**Martin Walser**
[р. 1927]. Немецкий писатель, драматург, публицист. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премий *Группы 47* [1955], имени Германа Гессе [1957], имени Георга Бюхнера [1981], Большой литературной премии Баварской академии изящных искусств [1990], австрийской литературной премии города Граца [1994], Немецкой литературной премии [2002]; кавалер Большого креста за заслуги перед ФРГ [1987] и французского ордена *Pour le mérite* [1993].

Автор романов *Браки в Филиппсбурге* [*Ehen in Philipsburg*, 1957; рус. перев. 2004], *Единорог* [*Das Einhorn*, 1966], *Охота* [*Jagd*, 1988], *Друг без друга* [*Ohne einander*, 1993], *Биография любви* [*Der Lebenslauf der Liebe* 2001; рус. перев. 2005], *Смерть критика* [*Aus dem Wortschatz unserer Kämpfe*, 2002], *Путешествия Месмера* [*Meßmers Reisen*, 2003], сборника рассказов *Самолет над домом* [*Ein Flugzeug über dem Haus*, 1955], сборников эссе *Жизненные и читательские впечатления* [*Erfahrungen und Leseerfahrungen*, 1965], *Самосознание и ирония* [*Selbstbewußtsein und Ironie*, 1981], пьес *В руке Гёте. Сцены из XIX столетия* [*In Goethes Hand. Szenen aus dem 19. Jahrhundert*, 1982], *Тахта. Фарс* [*Das Sofa. Eine Farce*, 1992] и др. В 1997 г. было издано 12-томное собрание его сочинений.
Фрагмент книги *Мысли Месмера* публикуется по изданию *Meßmers Gedanken* [Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985].

**Кристина Россетти**
**Christina Rossetti**
[1830–1894]. Английский поэт.

Автор поэтических сборников, в том числе *Базар гоблинов и другие стихотворения* [*Goblin Market and Other Poems*, 1862], а также стихотворного сборника для детей *Дин-дон* [*Sing-Song*, 1872]. На русском языке публиковалась в журналах и антологиях.
Перевод выполнен по изданию *Избранное Кристины Россетти* [*Selected Poems of Christina G. Rossetti*. New York: The Macmillan Company, 1913].

**Чжан Жун**
Jung Chang
Английская писательница китайского происхождения. В 1978 г. уехала учиться в Англию. В 1982 г. первой из граждан КНР защитила докторскую диссертацию в английском университете.

Ее литературный дебют оказался на редкость удачным – *Дикие лебеди* стали на Западе самой читаемой книгой о Китае. В 2005 г. выпустила совместно с мужем Джоном Халлидеем книгу *Мао: неизвестная история* [*Mao: The Unknown Story*].
Фрагменты книги публикуются по изданию *Wild Swans: Three Daughters of China* [London: Flamingo, 1993].

**Жан-Поль Сартр**
Jean-Paul Sartre
[1905–1980]. Французский писатель, философ, публицист, драматург. Лауреат Нобелевской премии [1964].

Автор трилогии *Дороги свободы* [*Les Chemins de la liberté*, 1945–1949; рус. перев. 1997], автобиографической повести *Слова* [*Les Mots*, 1963; рус. перев. 1966], сборника рассказов *Стена* [*Le Mur*, 1939; рус. перев. 1992], ряда пьес, философских трудов *Бытие и ничто* [*L'Etre et le Néant*, 1943; рус. перев. 2000], *Критика диалектического разума* [*Critique de la raison dialectique*, 1960], книг *Бодлер* [*Baudelaire*, 1947], *В семье не без урода. Гюстав Флобер* [*L'Idiot de la famille. Gustave Flaubert*, 1972] и др. В *ИЛ* напечатаны пьесы *Лиззи* [*La Putain respecteuse*, 1955, № 1], *Дьявол и Господь Бог* [*Le Diable et le Bon Dieu*, 1966, № 1], рассказ *Стена* из одноименного сборника [*Le Mur*, 1987, № 11], роман *Тошнота* [*La Nausée*, 1989, № 7], статьи, выступления и др.
Статья о Морисе Бланшо взята из книги *Литературная критика (Ситуации, I)* [*Critiques littéraires (Situations, I)*. Paris: Gallimard, 1975].

**Александр Яковлевич Ливергант**
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Удостоен почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Дж. Китса и Л. Стерна, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

**Константин Аркадьевич Мильчин**
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

## Переводчики

**Владимир Борисович Бошняк**
[р. 1949]. Переводчик с английского.

В его переводах публиковались романы Э. Л. Доктороу *Всемирная выставка*, Э. Бёрджесса *Заводной апельсин*, Дж. П. Донливи *Печальное лето Сэмюэла С.*, рассказы У. Фолкнера, У. Стайрона, Т. Вулфа, Дж. Леннона, пьесы В. Аллена и др. В его переводе в *ИЛ* напечатана вторая часть романа Т. Вулфа *Костры амбиций* [1991, № 11] и рассказ Дж. П. Донливи *Франц Ф.* [1992, 8-9].

**Жанна Владимировна Перковская [Гилёва]**
Переводчик со словенского, сербского, македонского и польского языков.

В ее переводе (совместно с Е. Верижниковой) напечатаны книга М. Павича *Вывернутая рукавица* [2001], стихи А. Поповского, К. И. Галчинского и др. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи А. Ихана [1999, № 4], А. Поповского [2000, № 2], М. Есиха [2001, № 5], Ф. Прешерна [2001, № 8], а также рассказы Г. Петровича [2000, № 9] и П. Андреевского [2001, № 7]. Переводы стихов и прозы неоднократно издавались в Словении.

**Леонард Семенович Бухов**
[р. 1925]. Переводчик с польского и немецкого языков.

В его переводе публиковались пьесы и рассказы С. Мрожека, пьесы И. Иредыньского, Г. Мюллера; повесть *My Sweet Raskolnikow* Я. Гловацкого. В *ИЛ* опубликованы переводы романа *Начало, или Прекрасная пани Зайденман* А. Щиперского [1992, № 2], пьес *Любовь в Крыму* [1994, № 10], *Прекрасный вид* [2000, № 1] и книги *Дневник возвращения* [2001, № 7] С. Мрожека, пьесы *Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро* Х. М. Энценсбергера [1998, № 7], рассказов Д. Дёрри [1997, № 11] и др.

**Маша Лукашкина [Мария Михайловна Лукашкина]**
Поэт и переводчик с английского.

Автор книг для детей *Забавные животные* [2004], *Моя любимая арифметика* [2004] и др. В ее переводе печатались баллада *Тикондерога* и сборник стихов *Поучительные эмблемы* Р. Л. Стивенсона, сказка *Слон Хортон высиживает яйцо* Доктора Сьюза и др.

**Роман Георгиевич Шапиро**
[р. 1978]. Переводчик с английского.

В его переводе была опубликована повесть Э. Бёрджесса *Долгий путь к чаепитию* [2000]. В *ИЛ* в его переводе печатались очерки Оливера Сакса *Случаи из практики* [2001, № 3].

**Сергей Николаевич Зенкин**
[р. 1954]. Литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук. Награжден французским орденом Академической пальмовой ветви. Дважды лауреат премии им. А. Леруа-Больё [1996, 1999-2000].

Автор книг *Работы по французской литературе* [1999] и *Французский романтизм и идея культуры* [2002]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийяра, А. Компаньона, Р. Кайуа и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Ф. СП-1

**Министерство связи РФ**
ГПС «Моспочтамт»
АБОНЕМЕНТ на журнал
**«Иностранная литература»** (индекс издания)

(наименование издания) Количество комплектов

на 200__ год по месяцам

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ПВ место литер **доставочная карточка**

**на** журнал (индекс издания)

**«Иностранная литература»**

Стоимость по каталогу ..... руб. ..... коп.
доставку за ..... руб. ..... коп.
Кол. комплектов

на 200__ год по месяцам:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

Куда (почтовый индекс) (адрес)

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Арчибальда Мотли [1891–1981] *Субботний вечер* [1935].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journal@inostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.08.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1907.
Тираж 7600 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

## *В следующем – ЮБИЛЕЙНОМ – номере:*

*"Молодость"* – во многом автобиографический роман южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии **ДЖ. М. КУТЗЕЕ.**

Рассказы **КЭНДЗАБУРО ОЭ, ТРУМЭНА КАПОТЕ, АРТУРА МИЛЛЕРА, КАРЛОСА ФУЭНТЕСА, ГОРАНА ПЕТРОВИЧА**.

**РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ** И **СЭМЮЭЛ БЕККЕТ** в рубрике "Из классики XX века".

Воспоминания **ИСААКА БАШЕВИСА ЗИНГЕРА**, **П. Г. ВУДХАУСА** и главы из книги ***Джойс, каким мы его знали.***

Эссе **ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА**, **ЛУИСА МЕНАНДА** и **МАРТИНА ЭМИСА**.

**МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА** в рубрике "Мастер-класс", **УМБЕРТО ЭКО** в рубрике "Трибуна переводчика" и **ГЕНРИХ БЁЛЛЬ** в рубрике "Среди книг".

---

# [10] 2005

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ, ГЕНРИХ БЁЛЛЬ, ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС, П. Г. ВУДХАУС, ДЖЕЙМС ДЖОЙС, ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР, ТРУМЭН КАПОТЕ, ДЖ. М. КУТЗЕЕ, МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА, ЛУИС МЕНАНД, АРТУР МИЛЛЕР, КЭНДЗАБУРО ОЭ, КАРЛОС ФУЭНТЕС, УМБЕРТО ЭКО, МАРТИН ЭМИС, ГОРАН ПЕТРОВИЧ, РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ, АНАТОЛИЙ ГЕЛЕСКУЛ, ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ, ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ, АСАР ЭППЕЛЬ — В ЮБИЛЕЙНОМ НОМЕРЕ "ИЛ"

non/fictio№7

30 ноября – 4 декабря 2005

7 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

Центральный Дом Художника

Гость ярмарки – Польша

Организатор: Компания «ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты»

119049, Москва, Крымский вал, 10, офис 165

Тел./факс: (095) 238 4500, 238 4516

E-mail: mailbox@expopark.ru

http://www.expopark.ru

Генеральные информационные спонсоры:

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №9, 1-288